

моральное
ЖИВОТНОЕ



РОБЕРТ РАЙТ

Райт Роберт
Моральное животное

Посвящается Лизе

Бессознательно он снова отхлебнул из фляжки. Вкус бренди вызвал у него в памяти дочь, вошедшую с яркого, солнечного света в хижину, – ее хитрое, насупленное, недетское лицо.

Он сказал:

– О Господи, помоги ей. Я заслужил твое проклятие, но она пусть живет вечно. – Вот любовь, которую он должен был чувствовать к каждой человеческой душе, а весь его страх, все его стремления спасти сосредоточились не по справедливости на этом одном ребенке. Он заплакал: девочка словно медленно уходила под воду, а он мог только следить за ней с берега, ибо разучился плавать. Он подумал: вот как я должен бы относиться ко всем людям...

Грэм Грин, «Сила и слава»^[1]

Введение

Дарвин и мы

О человеке в «Происхождении видов» не сказано почти ни слова – книга и так получилась скандальной: чего стоит посягательство на библейскую историю сотворения мира и развенчание утешительной веры в божественную природу человека. Лишний раз дразнить общественность Дарвин не хотел, однако в конце последней главы не удержался и заметил, что в процессе изучения эволюции «много света будет пролито на происхождение человека и на его историю». И добавил, что «в будущем... откроется еще новое важное поле исследования... психология».

Как обычно бывает, до светлого будущего ученый не дожил. В 1960 году, через сто один год после первой публикации его эпохального труда, американский историк Джон Грин писал: «Что касается происхождения собственно человеческих качеств – тут Дарвин был бы разочарован, узнав, что обсуждение этих вопросов очень мало подвинулось с момента выхода его статьи «Происхождение человека и половой отбор». Его бы вогнали в уныние слова Джозефа Вайнера из антропологической лаборатории Оксфордского университета о том, что это «большая непостижимая тема, наше эволюционное понимание которой остается весьма скудным». В свете господствующих теперь представлений о человеке как о единственном животном, способном к сохранению и передаче культуры, даже Дарвин бы дрогнул и поддался соблазну вернуться к креационистской идее о том, что человек имеет принципиально иную природу, чем остальные животные»^[2].

Революция грянула через пару лет. С 1963 по 1974 год четверо ученых: Уильям Гамильтон, Джордж Уильямс, Роберт Триверс и Джон Мейнард Смит – высказали ряд идей, которые уточнили и дополнили теорию естественного отбора, существенно углубив представление эволюционных биологов о социальном поведении животных, и человека в том числе. Правда, поначалу о нашем виде почти не

говорили, предпочитая обсуждать статистические аспекты самопожертвования среди муравьев и скрытую логику брачного поведения птиц. Даже в двух эпохальных трудах – «Социобиология» Эдварда Уилсона (1975) и «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза (1976), – где эти новые идеи были впервые четко сформулированы, о человеке почти не упоминалось. Докинз вообще обошел эту скользкую тему стороной, а Уилсон ограничился крошечной и довольно отвлеченной главой в самом конце книги.

Лишь с середины 1970-х годов стали намечаться положительные подвижки. Небольшая, но быстро разросшаяся группа ученых приняла концепцию «нового синтеза», выдвинутую Уилсоном, и начала активно внедрять ее в социальные науки с целью их реорганизации. Они анализировали эволюцию человека, собирали факты, проверяли гипотезы и, пройдя сквозь неизбежные неудачи, добились большого успеха – правда, продолжают упорно (и не без тайной сладострастной гордости) считать себя гонимым меньшинством, хотя оснований для этого уже нет. Сейчас их статьи охотно берут в авторитетные журналы по антропологии, психологии и психиатрии – не то что десять лет назад, когда их печатали лишь в никому не известных изданиях дарвинистского толка.

Медленно, но неуклонно новое мировоззрение пробивает себе дорогу – да, синтетическая теория эволюции – это не только научная теория, подтвержденная фактами, как, например, квантовая физика или молекулярная биология, но и особый взгляд на мир. Стоит однажды в ней разобраться (а сделать это гораздо проще, чем с двумя другими упомянутыми дисциплинами), и ваше восприятие социальной реальности поменяется раз и навсегда. Она помогает находить ответы на самые разные вопросы, касающиеся обыденных и возвышенных сторон нашей жизни: будь то ухаживания, любовь, секс (моногамны ли по своей природе мужчины и женщины? какие обстоятельства заставляют их хранить верность партнеру или нарушать ее?), дружба и вражда (какая эволюционная логика стоит за корпоративной и любой другой политикой?), эгоизм, самопожертвование и чувство вины (зачем в процессе эволюции у человека сформировался такой уникальный орган, как совесть? действительно ли он отвечает за «нравственное» поведение?), социальное положение и честолюбие (обусловлена ли иерархическая

структура общества особенностями нашей природы?), разное отношение мужчин и женщин к карьере и дружбе (являемся ли мы заложниками своего пола?), расизм, ксенофобия, вражда (почему мы с такой легкостью отказываем в сострадании огромным группам людей?), обман, самообман и подсознание (возможна ли интеллектуальная честность?), психопатологии (естественны ли депрессии, неврозы, паранойя? если да, то как смягчить их проявления?), отношения между братьями и сестрами (почему к любви нередко примешивается ненависть?), влияние родителей на психическое здоровье детей (почему они причиняют вред? чьи интересы при этом преследуют?) и так далее.

Тихая революция

Новому поколению социологов-дарвинистов пришлось бороться с доктриной, которая господствовала в общественных науках почти весь XX век и утверждала, будто биология не имеет особого значения – наше поведение определяется лишь нашим же пластичным разумом и сформированной им культурной средой, а не эволюционными особенностями; не врожденная человеческая природа управляет нашими поступками, а скорее наоборот, этой природой можно и нужно управлять. Как писал на рубеже веков отец современной социологии Эмиль Дюркгейм, человеческая природа «представляет собой несформировавшуюся материю, которую преобразует социальный фактор». По его мнению, история показывает, что даже такие глубоко переживаемые эмоции, как «половая ревность, детская или родительская любовь, вовсе не неизменно присущи человеческой природе»^[3]. При таком подходе человеческому сознанию отводится пассивная роль: оно представляется некоей емкостью, куда по мере взросления индивида вливается местная культура; и если оно и накладывает на нее какие-либо ограничения, то ими легко можно пренебречь из-за чрезмерной широты.

Американский антрополог Роберт Лоуи в 1917 году писал, что «принципы психологии неспособны объяснить феномен культуры, так же как и гравитация не может объяснить архитектурные стили»^[4].

Даже психологи (которым полагалось бы защищать человеческое сознание) часто пренебрежительно отзывались о нем, как о «*tabula rasa*». Господствовавший в XX веке бихевиоризм провозглашал, будто бы изначально аморфное сознание формируется под воздействием окружающей среды: люди склонны воспроизводить поведение, которое имело благоприятные последствия, и избегать негативного опыта. В рамках этого подхода в 1948 году американский психолог Беррес Скиннер опубликовал роман-утопию «Уолден Два», где описывал общество, в котором зависть, ревность и прочие общественно опасные побуждения гасились жесткой системой положительных и отрицательных подкреплений.

Такой взгляд на человеческую природу (как на что-то крайне несущественное и малозначимое) получил среди современных социологов-дарвинистов название «стандартная модель социальных наук»^[5]. Многие изучали ее в университетах, а некоторые даже на протяжении ряда лет искренне ей следовали, прежде чем усомниться. А затем и взбунтоваться.

Происходящее сегодня во многом подпадает под определение «смены парадигмы», данное Томасом Куном в книге «Структура научных революций» (1962): группа молодых ученых бросает вызов устоявшимся авторитетам, встречает ожесточенное сопротивление, упорно продолжает борьбу и одерживает победу – в общем, классический конфликт поколений, если бы не одно «но».

Революция эта отчего-то протекает довольно неприметно. Бунтари упрямо отказываются объединиться под каким-нибудь простым и звучным наименованием. Они было подняли на знамена меткий термин, введенный Уилсоном, – «социобиология», но одноименная книга вызвала на себя такой огонь критики, столько насмешек и обвинений в пагубных политических намерениях, что пришлось отказаться от новообретенной самоидентификации, дабы не компрометировать себя. Теперь последователи Уилсона скрываются под разными именами, хотя их и объединяет приверженность одним теориям. Поведенческие экологи, антропологи-дарвинисты, эволюционные психологи и эволюционные психиатры – это все они. Вы спросите: а что же случилось с социобиологией? Ответ прост: она ушла в подполье, где и продолжает подтачивать основы академической науки.

Ирония состоит еще и в том, что многие особенности нового подхода, которые больше всего раздражают старую гвардию, по сути, таковыми и не являются: с самого начала противники социобиологии критиковали не столько книгу Уилсона, сколько предшествующую ей литературу дарвинистского толка. Вообще говоря, эволюционный подход в применении к человеку здорово себя скомпрометировал. Взятый на вооружение политической философией на рубеже XIX–XX веков, он превратился в «социальный дарвинизм», который в крайних своих проявлениях послужил основанием для расизма, фашизма и классового угнетения. Примерно в то же время от него отпочковались примитивные идеи о «наследовании моделей поведения», отлично вписавшиеся в эти политически ангажированные теории. Отголоски тех представлений до сих пор дают о себе знать: многие обыватели и даже ученые продолжают считать дарвинизм чем-то крайне жестоким и антигуманным (видимо, полагая, что это синоним «социального дарвинизма»). Отсюда и многочисленные заблуждения о новой парадигме.

Незримое тождество

Одно из наиболее вредных заблуждений о неodarвинизме – то, что он якобы оправдывает социальное неравенство. На рубеже веков антропологи спокойно рассуждали о низших расах – «дикарях», неспособных к нравственному развитию. Неискушенным обывателям казалось, что подобные установки (со временем переросшие в шовинистическую идеологию, взятую на вооружение Гитлером) легко вписываются в теорию эволюции. Однако это совсем не так, и современные антропологи-дарвинисты, изучая народы мира, уделяют внимание не столько внешним культурным различиям, сколько базовым, общечеловеческим тождествам. За пестрым многообразием ритуалов и обычаев они ищут повторяющиеся модели поведения в любовных, семейных, дружественных, общественных, нравственных отношениях. Они полагают, что эволюционное развитие человека объясняет, почему представителей всех культур волнует социальный статус (и часто даже больше, чем они отдают себе в этом отчет), почему люди сплетничают (причем на одни и те же темы), почему во

всех культурах мужчины и женщины отличаются друг от друга по ряду базовых признаков, почему людям всюду присуще чувство стыда (которое обычно возникает в одних и тех же обстоятельствах), почему людям свойственно глубокое чувство справедливости (принципы, выраженные в пословицах «долг платежом красен» и «око за око, зуб за зуб»), действуют по всему свету).

Открытие собственной природы дается человеку нелегко, что, в общем-то, и неудивительно: мы привыкли принимать как данность такие базовые чувства, как благодарность, стыд, раскаяние, гордость, уважение, месть, сострадание, любовь – точно так же, как мы считаем само собой разумеющимся воздух, которым дышим, силу притяжения, заставляющую предметы падать на землю, и другие явления, типичные для жизни на нашей планете^[6]. Но ведь все бы могло быть совсем иначе: эти чувства, например, могли бы отсутствовать вовсе или быть присущи лишь некоторым этносам, а не всему человеческому виду.

Чем пристальнее антропологи-дарвинисты изучают народы мира, тем больше их поражает сложная и запутанная природа человека, которая связывает всех нас как огромная паутина. И постепенно, шаг за шагом, они начинают понимать, как именно эта сеть сплетена.

Даже когда неodarвинисты исследуют различия между группами или внутри их, они не сводят все к генетике и рассматривают непохожие мировые культуры как проявления общей человеческой сущности, адаптирующейся к разным внешним условиям. Эволюционная теория не возводит стены, она строит мосты и обнаруживает доселе невидимые связи между условиями жизни и культурой (например, объясняет, почему у одних народов за невестой принято давать приданое, а у других – нет). И эволюционные психологи, кстати, вопреки ожиданиям, придерживаются общепринятой концепции о том, что социальная среда на ранних этапах развития индивида оказывает огромное влияние на формирование его сознания. Уже есть исследователи (правда, их не так уж и много), которые твердо намерены раскрыть базовые законы психологического развития, придерживаясь дарвинистского подхода. Они уверены, что если мы хотим узнать, например, как ранний опыт влияет на уровень амбициозности или скромности, то сначала

придется выяснить, почему в ходе естественного отбора данные качества не закрепились, а формируются индивидуально.

Впрочем, это не означает, что человеческая психика бесконечно податлива. У влияния окружающей среды есть свои пределы. Утопическая бихевиористская идея Берреса Скиннера о том, что человек может стать любым, если создать надлежащие условия, уже не кажется столь очевидной в наши дни – так же, как и идея о том, что самые темные уголки человеческого подсознания абсолютно незыблемы и определяются «инстинктами» и «безусловными рефлексами», или о том, что психологические различия людей обусловлены генетическими различиями (принципы психического развития, естественно, закодированы в генах, но они универсальны). Гораздо вероятнее идея о том, что большинство ключевых различий определяются средой.

По сути, эволюционные психологи занимаются поиском «второго дна», более глубокого тождества нашего вида. Сначала антрополог выявляет повторяющиеся, универсальные мотивы в разных культурах, эдакие «регуляторы» человеческого поведения (жажда социального одобрения, способность испытывать вину и так далее), затем психолог смотрит, как они настроены у разных людей: у одного, например, «регулятор» жажды одобрения находится в комфортном положении «уверенный в себе», а у другого вывернут до мучительной отметки «абсолютно не уверен»; у одного регулятор чувства вины установлен на минимум, у другого – на максимум. И тогда психолог задает себе вопрос: «А от чего это зависит?» Генетические различия, несомненно, играют определенную роль, но гораздо важнее не они, а генетическая общность, которая закладывает общевидовую программу развития, основанную на способности человеческого разума впитывать информацию из социальной среды и формироваться под ее воздействием. Как ни странно это прозвучит, но именно изучение генов позволит нам осознать роль среды.

Человеческая природа являет себя в двух ипостасях, обе из которых по естественным причинам выпадают из нашего поля зрения: одна настолько всеобъемлюща и очевидна, что воспринимается как само собой разумеющееся (например, чувство вины), другая порождает различия между людьми в процессе взросления (например, калибрует чувство вины) и поэтому не регистрируется нашим сознанием. Таким

образом, мы имеем целую систему «регуляторов» и механизмов их настройки, но даже не подозреваем об этом.

Есть и еще одна причина подобной слепоты – базовая эволюционная логика закрыта от рефлексии. В ходе естественного отбора наша истинная сущность оказалась скрыта от самосознания. Как верно заметил Фрейд, мы игнорируем наши самые глубокие побуждения, причем настолько хронически и тотально, что он даже и не представлял.

Самопомощь по Дарвину

Эта книга затрагивает многие поведенческие науки: антропологию, психиатрию, социологию, политологию, однако в центре ее – эволюционная психология, молодая, не закосневшая еще дисциплина, амбициозно замахнувшаяся на новую концепцию сознания. Она позволяет нам поставить вопрос, который бессмысленно было обсуждать в 1859 году, после публикации «Происхождения видов», и сто лет спустя, в 1959 году: чем теория естественного отбора может быть полезна обычным людям?

Способно ли эволюционное понимание природы человека помочь нам достигать жизненные цели? Ставить их? Отличать достижимые от недостижимых? Выбирать достойные? Станет ли нам проще отсеивать мешающие моральные импульсы, если мы будем знать, как они формировались в процессе эволюции?

Ответ на все эти вопросы, по-моему, очевиден – да. Однако он столь же очевидно вызовет раздражение и даже гнев многих моих коллег (я проверял). Они так долго работали под гнетом политических спекуляций на эволюционной теории, что предпочитают максимально разделять науку и мораль. Они уверены, что базовые нравственные ценности нельзя вывести из природных механизмов, к числу коих относится и естественный отбор, – это будет «натуралистической ошибкой».

Я согласен, что природа – не моральный авторитет, и нам не стоит перенимать все укорененные в ней «ценности» (например, «кто сильнее, тот и прав»), однако я также уверен, что изучение

человеческой природы неизбежно (как вы увидите дальше) повлияет на наше понимание морали.

Эта книга, несмотря на абстрактное название, является прикладной: ее даже можно было бы назвать практическим руководством по психологической самопомощи, если бы не одно «но»... В ней вы не найдете ни дельных советов, ни ласковых подбадриваний. Дарвинистское мировоззрение не сделает в одночасье вашу жизнь легкой и счастливой – напротив, даже усложнит ее, заставив задуматься над привычным, но сомнительным с точки зрения морали поведением. Те немногие воодушевляющие рекомендации, которые я все-таки дам, можете считать счастливым исключением, потому что вообще новая эволюционная парадигма переполнена непростыми вопросами, зубодробительными загадками и мучительными дилеммами, о которых в первую очередь и пойдет речь в этой книге, ведь прежде чем искать практическое применение эволюционной психологии, надо понять ее основные принципы. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько изящно теория естественного отбора объясняет особенности человеческого разума. Моя главная цель – изложить новую науку, а не описать ее влияние на политическую и нравственную философию (хотя и это тоже).

Я постарался максимально разграничить новый эволюционный взгляд на психику человека и собственные взгляды на его практическое применение. Не все читатели, которые примут первые, научные тезисы, согласятся со вторыми, философскими. Однако я уверен, что даже скептики вряд ли станут отрицать их тесную взаимосвязь: признав, что новая парадигма – самая мощная оптика для изучения человеческого вида, будет странно взять и отложить ее, когда речь пойдет о преодолении трудностей, с которыми наш вид сталкивается. Ведь источник всех наших трудностей – в нас самих...

Дарвин, Смайлс и Милль

В 1859 году, практически одновременно с «Происхождением видов», в Англии были опубликованы еще две очень важные и интересные книги: «О свободе» Джона Стюарта Милля и «Саморазвитие» Сэмюэля Смайлса, тут же ставшие бестселлерами и

положившие начало новому жанру практических руководств по психологической самопомощи. Удивительно, но эти труды, как оказалось, поставили вопрос, ответ на который и является сутью книги Дарвина.

Сэмюэль Смайлс не призывал доверять собственным чувствам, освобождаться от «токсичных» отношений, входить в резонанс с космосом и любить себя (чем грешат современные авторы), напротив, как истинный викторианец, он проповедовал честность, трудолюбие, стойкость, учтивость и железное самообладание. Он полагал, что почти всего можно добиться «личной волей и деятельностью», что «самоуважение... это лучшее оружие против всевозможных искушений и недостойных помыслов» и что «человек, проникнутый самоуважением, не станет унижать себя в физическом отношении чувственностью и в нравственном – низкими помыслами»^[7].

Милль же, напротив, резко критиковал викторианские принципы, предписывающие самоограничение и моральный конформизм. Он обвинял христианство в «отвращении к чувственности» и жаловался, что христианский идеал «представляется скорее отрицательным, чем положительным: правилами... предписывается скорее воздержание от зла, нежели энергическое стремление к добру, – «ты не должен» является преобладающим над «ты должен». Особенно вредной Милль считал кальвинистскую церковь с ее верой в то, что «человеческая природа радикально греховна и человеку нет другого средства спастись, как совершенно убить в себе человеческую природу». Сам он придерживался более оптимистичного взгляда на человеческую природу и был уверен, что это вполне согласуется с христианскими принципами, ибо «если религия признает, что человек создан существом добрым, то не соответственнее ли этому было бы поверить, что это доброе существо дало человеку все его способности для того, чтобы он пользовался ими, развивал их, а не для того, чтобы он их замаривал и искоренял, – что оно наполняется радостью всякий раз, когда видит, что его создания увеличивают свои способности к пониманию, к действию, к наслаждению»^[8].

Милль поставил очень важный вопрос: порочна ли изначально человеческая природа? Те, кто дает положительный ответ, склонны, подобно Смайлсу, к нравственному консерватизму, предписывающему самоотречение, воздержание и обуздание животного начала. Те, кто

отвечает отрицательно, подобно Миллю, придерживаются нравственного либерализма с его мягкой оценкой поведения людей. Эволюционная психология за недолгое время своего существования уже успела пролить свет на данный вопрос, и выводы ее одновременно и успокаивают, и тревожат.

Альтруизм, сострадание, милосердие, любовь, совесть, справедливость – все это скрепляет общество и дает нам, как виду, основания для высокой самооценки, и все это, как теперь можно с уверенностью утверждать, заложено на генетическом уровне. Это хорошая новость. Однако как всегда есть и плохая: эти чувства присущи человеку, но они не работают «на благо вида» и поэтому не закрепились. Напротив, нравственные чувства срываются с омерзительной гибкостью, включаются и выключаются в зависимости от личной выгоды, причем зачастую даже без нашего ведома. Благодаря открытиям эволюционной психологии стало ясно, что мы, как вид, к счастью, обладаем великолепным набором нравственных качеств, но, к сожалению, часто используем их не по назначению и даже не отдаем себе в этом отчет. Так что название моей книги не лишено горькой иронии...

Вопреки «биологическим предпосылкам альтруизма», о которых так любят рассуждать популисты от социобиологии, и вопреки нападкам Джона Стюарта Милля, представление об «испорченной человеческой природе» (основанное на идее «первородного греха») имеет право на существование – вместе с моральным консерватизмом. Я действительно полагаю, что некоторые – некоторые! – консервативные взгляды, доминировавшие в Викторианскую эпоху, точнее отражают природу человека, чем господствовавшие на протяжении XX века воззрения большинства социальных наук, и что ренессанс морального консерватизма, наблюдающийся в последнее десятилетие (особенно в области секса), связан с осознанием истинной природы человека, которая долго отрицалась.

Тут может возникнуть закономерный и весьма щекотливый вопрос: распространяются ли консервативные взгляды современных дарвинистов и на политическую сферу? Естественно, все уже давно открестились от социального дарвинизма как от фатального, трагического заблуждения (и правильно сделали), однако мало кто решится отрицать, что вопрос о природной добродетели людей имеет

явный политический подтекст, – связь идеологии и воззрений на природу человека слишком очевидна. За два прошлых столетия смысл политического «либерализма» и «консерватизма» изменился почти до неузнаваемости, но между ними все же сохранилось одно четкое отличие – политические либералы (например, как Милль в свое время) смотрят на природу человека в радужном свете и поэтому ратуют за более свободный моральный климат.

Актуальна ли эта связь между моралью и политикой в современном контексте? Новая эволюционная парадигма (в отличие от теории эволюции в целом) имеет обоснованный, умеренный политический подтекст, причем в равной степени как с левым, так и с правым уклоном. Хотя в отдельных случаях – с радикально левым (Карлу Марксу бы понравилось, но, увы, не все). Новая парадигма, с одной стороны, демонстрирует либералам идеологическую необходимость некоторых принципов нравственного консерватизма, а с другой стороны, показывает, что консерватизм только выиграет от либеральной социальной политики.

Анализируя Дарвина

Доказать состоятельность дарвинистского подхода я решил на примере самого Чарльза Дарвина. Его мысли, эмоции и поведение отлично иллюстрируют принципы эволюционной психологии.

В 1876 году в первом абзаце своей автобиографии он признался: «Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого мира», а затем с характерной мрачной отрешенностью добавил: «И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти закончена»^[9]. Я тешу себя дерзкой надеждой, что, пиши Дарвин свои воспоминания сейчас, вооруженный открытиями нового эволюционизма, у него получилось бы что-то похожее на эту книгу.

Биография Дарвина послужит нам даже не столько иллюстрацией, сколько пробным камнем для современной, улучшенной версии его теории естественного отбора. Дарвин и его последователи (не

исключая меня) считали и считают, что с помощью теории эволюции можно объяснить природу всего живого. Если это так, то в качестве подопытного кролика подойдет любой человек, и почему бы в таком случае нам не взять того, кто и заварил всю эту кашу. Я считаю, что эволюционный подход лучше всего годится для анализа биографии Дарвина и его социального окружения – викторианской Англии. В этом отношении он и его современники подобны всем прочим объектам органической природы (простите мне такую дерзость).

Я признаю, что в контексте естественного отбора мы прежде всего думаем о беспощадной борьбе за существование и выживании сильнейших, а никак не о Дарвине, который, по воспоминаниям современников, всегда был вежливым и мягкосердечным (за исключением случаев, когда задевались его нравственные принципы, например, если он слышал, как оправдывают рабство, или видел извозчика, бьющего лошадь)^[10]. Даже слава ничуть его не изменила. Английский литературный критик Лесли Стивен так отзывался о Дарвине: «Из всех выдающихся людей, с которыми мне довелось встретиться, он без сомнения вызывает у меня наибольшую симпатию. Есть что-то трогательное в его простоте и приветливости»^[11]. Именно таких людей Смайлс называл «истинными джентльменами».

Дарвин прочитал «Саморазвитие» в пятьдесят один год, хотя ему уже нечему было учиться у Смайлса: он и так жил под девизом постоянной борьбы с «нравственным невежеством, себялюбием и пороками». По общему мнению, Дарвин был скромнее до чрезмерности, и если ему и требовалось психологическое руководство, то скорее одно из тех, что издаются сейчас, – о том, как поверить в себя и полюбить себя.

Джон Боулби (1907–1990), английский психиатр и проницательный биограф, полагал, что Дарвин страдал от «мучительного презрения к самому себе» и «сверхактивной совести»: «Его простота и строжайшие моральные принципы привлекали к нему людей: родственников, друзей, коллег – и до сих пор вызывают искреннее восхищение, однако они развились так рано и с такой силой, что доставляли ему немало мук»^[12].

Это, по-моему, делает Дарвина идеальным объектом для изучения. Я попробую доказать, что его характерные качества: скромность,

совестливость, неприятие грубости – для естественного отбора, казалось бы, бесполезные, все же естественным отбором и обусловлены. Именно таких людей, как Дарвин – благородных, добрых, честных, – мы мечтали бы видеть вокруг себя. Однако, по сути, он ничем от нас не отличался. Даже Чарлз Дарвин был животным.

Часть первая
Секс, романтические отношения и
любовь

Глава 1

Юный Дарвин и старая Англия

Что касается английских леди, я почти забыл, что это такое...
Нечто ангельское и прекрасное, я полагаю.

*Письмо с корабля Ее Величества
«Бигль» (1835)^[13].*

Юношам, родившимся в Англии XIX века, обычно рекомендовали не искать сексуальных наслаждений и не делать вещи, которые могут навести на мысли о таких наслаждениях. В своей книге «Функции и расстройства репродуктивных органов» викторианский врач Уильям Эктон предостерегает от опасностей, которые таят в себе «классические» произведения литературы: «В них много написано об удовольствиях, но ничего – о расплате за половые излишества. Мальчик и не подозревает, что, если сексуальные желания возникнут, для их обуздания потребуется сила воли, коей большинство юношей не обладают. Он не знает, что взрослый мужчина вынужден платить высокую цену за ошибки юности; что на одного спасшегося приходится десять, чью жизнь отравляют страдания; что ужасный риск сопутствует ненормальным заменителям половых отношений и что длительное потворство собственным слабостям в конечном итоге может привести к ранней смерти или самоубийству»^[14].

Книга Эктона была издана в 1857 году и отражала нравственные нормы так называемого средневикторианского периода. Впрочем, сексуальный аскетизм давно витал в воздухе – еще до восхождения на трон королевы Виктории в 1837 году. Фактически к нему призывали и до 1830 года – начала Викторианской эры в ее наиболее широкой трактовке. На рубеже веков жесткий моральный кодекс активно подпитывало евангелическое движение^[15]. Как отмечает Дж. М. Янг в своем труде «Портрет эпохи», все мысли и поступки юноши,

рожденного в Англии в 1810 году (на год позже Дарвина), «направляло и вдохновляло немислимое давление евангелистской дисциплины». Это касалось не только сексуальной сдержанности, но и сдержанности вообще – закономерное следствие масштабной войны с распущенностью. Всякому юноше надлежало усвоить, как выразился Янг, что «мир в высшей степени порочен. Неосторожный взгляд, слово, жест, картина или роман могли посеять семя разврата в самом невинном сердце»^[16]. Другой исследователь викторианства охарактеризовал жизнь в те времена как «постоянную борьбу – не только с соблазнами и искушениями, но и с желаниями эго»; путем «строжайшей самодисциплины человек должен был заложить фундамент хороших привычек и тем самым обрести самоконтроль»^[17].

Именно эту идеологию Сэмюэль Смайлс, появившийся на свет через три года после Дарвина, отстаивал в своем «Саморазвитии». Как показывает популярность этой книги, евангелическое мировоззрение распространилось далеко за пределы методистских церквей, которые некогда послужили его источником: оно проникло в дома англиканцев, унитариев и даже агностиков^[18]. Хороший тому пример – семья Дарвина. Хотя родители Чарлза придерживались унитарийских взглядов (отец Дарвина был вольнодумцем, правда тихим и безобидным), сам он впитал пуританский дух того времени. Об этом наглядно свидетельствует его обостренное чувство совести и строгие нормы поведения, которых он придерживался всю жизнь. Спустя много лет после отказа от своей веры Дарвин писал: «Высшая степень нравственного развития, которой мы можем достигнуть, есть та, когда мы сознаем, что мы должны контролировать свои мысли и [как сказал Теннисон] «даже в самых затаенных мыслях не вспоминать грехов, делавших прошедшее столь приятным для нас». Все, что позволяет нашему уму освоиться с каким-нибудь дурным делом, облегчает совершение последнего. Марк Аврелий давно сказал: «Каковы твои постоянные мысли, таков будет и склад твоего ума, потому что душа окрашивается мыслями»^[19].

Хотя юность и зрелость Дарвина в некотором роде весьма необычны, в данном отношении они типичны для того времени: он жил под сильнейшим моральным давлением. В его мире вопросы о том, что хорошо, а что плохо, задавали на каждом шагу. Более того, на

эти вопросы можно было дать ответ – четкий и ясный, хотя подчас и не самый приятный. Одним словом, наш мир очень отличается от мира королевы Виктории, причем во многом благодаря самому Дарвину.

Неожиданный герой

Первоначально Чарлз Дарвин намеревался стать врачом: «Мой отец... говорил, что из меня получился бы весьма удачливый врач, разумея под этим такого врача, у которого будет много пациентов. Он утверждал, что главный залог успеха заключается в умении внушать доверие к себе; я не знаю, однако, какие качества он мог усмотреть во мне, которые привели его к убеждению, что я мог бы возбуждать доверие к себе». Тем не менее в шестнадцать лет Чарлз послушно покинул уютное семейное поместье в Шрусбери и в сопровождении старшего брата Эразма отправился в Эдинбургский университет изучать медицину.

Особого энтузиазма профессия эскулапа у Дарвина не вызывала. В Эдинбурге Чарлз учился неохотно и старательно избегал анатомического театра (наблюдения за хирургическими операциями до изобретения хлороформа явно пришлись ему не по вкусу), зато посвящал много времени разного рода факультативным занятиям. Вместе с рыбаками он ловил устриц, увлекался охотой, брал уроки таксидермии, гулял и беседовал с Робертом Грантом – большим знатоком губок, который горячо верил в эволюцию, но, разумеется, понятия не имел, как она работает.

Через два года отец заподозрил, что хорошего врача из сына все-таки не получится; как позже вспоминал Дарвин-младший, «возможность моего превращения в праздного любителя спорта – а такая моя будущность казалась тогда вероятной – совершенно справедливо приводила его в страшное негодование»^[20]. В конце концов доктор Роберт счел нужным прибегнуть к плану Б и предложил «непутевому» отпрыску сделаться священником.

Такое предложение может показаться странным, особенно если учесть, что исходило оно, во-первых, от человека, который сам не

верил в Бога, а во-вторых, предназначалось юноше, который не только не был вопиюще набожным, но и питал выраженный интерес к зоологии. Но отец Дарвина был человеком практичным. В то время зоология и теология считались двумя сторонами одной монеты. Если все живые существа суть творения Господни, то изучение их искусного строения равноценно постижению духа Божьего. Самым известным сторонником подобных взглядов был Уильям Пейли, автор книги «Естественная теология» (1802), в которой различные природные явления рассматривались как доказательства существования Бога. Подобно тому как часы подразумевают часовщика, утверждал Пейли, так и мир, полный замысловато устроенных организмов, идеально приспособленных для выполнения определенных задач, подразумевает творца^[21]. (Пейли, безусловно, прав. Вопрос в том, кто этот творец – всевидящий Бог или бессознательный процесс.)

Поскольку естественная теология быстро снискала популярность, любой сельский священник отныне мог без зазрения совести тратить уйму времени на изучение и описание природы. Возможно, именно поэтому молодой Дарвин весьма благосклонно отреагировал на идею облачиться в рясу: «Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому... несколько... богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым». И Дарвин записался в Кембриджский университет. Там он прочел Пейли и был «очарован и убежден длинной цепью доказательств»^[22].

Правда, ненадолго. Сразу после окончания Кембриджа Дарвину представилась возможность поступить натуралистом на корабль Ее Величества «Бигль». Остальное, конечно, уже история. Хотя на борту «Бигля» Дарвин не задумывался о естественном отборе, наблюдения за дикой природой в самых разных уголках земного шара не только убедили его, что эволюция действительно существует, но и

подказали некоторые из ее важнейших законов. Спустя два года после возвращения из пятилетнего плавания Дарвин наконец сообразил, как она действует. Планы принять духовный сан не выдержали этого озарения и навсегда остались в прошлом. Кстати, будущие биографы Дарвина найдут особый символизм в томике стихов, который он взял в путешествие. Это был «Потерянный рай» Джона Мильтона^[23].

Когда Дарвин покидал Англию, никто и представить не мог, что спустя полтора века люди станут писать о нем книги. Его юность, как совершенно справедливо отметил один из биографов, «была лишена даже малейших признаков гения»^[24]. Разумеется, к подобным заявлениям следует относиться критично (серая юность великих умов всегда вызывает у читателя особый интерес), а к этому заявлению – критично вдвойне: оно основано на личных суждениях Дарвина, а он был отнюдь не склонен к превознесению собственных талантов. «В течение всей своей жизни я был на редкость неспособен овладеть каким-либо [иностранном] языком... – пишет Дарвин. – Не думаю, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элементарной математики... Кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня». Может, это в самом деле было так, а может, и нет. Вероятно, больший акцент следует сделать на другом его даре – умении заводить дружбу с людьми «намного старше и по возрасту, и по академическому положению»: «Должно быть, было во мне что-то несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи»^[25].

В любом случае отсутствие ослепительного интеллекта далеко не единственное, что заставило некоторых биографов считать Чарлза «маловероятным кандидатом на бессмертие и неувядаемую славу»^[26]. Не исключено, что Дарвин просто не был выдающимся человеком. Чересчур добропорядочный, приятный, лишенный безудержных амбиций. В нем было что-то от деревенского мальчика, замкнутого и простого. «Почему именно Дарвину, менее тщеславному, менее образованному, менее одаренному воображением, чем многие его коллеги, – вопрошал один автор, – было суждено сформулировать концепцию, которую так рьяно искали другие? Как так получилось, что некто, столь ограниченный интеллектуально и невосприимчивый

культурно, сумел разработать теорию, столь грандиозную по структуре и значительности?»^[27]

На этот вопрос есть два ответа: мы можем либо оспорить характеристику Дарвина (чем мы займемся чуть позже), либо, что гораздо легче, оспорить характеристику его теории. Идея естественного отбора грандиозна «по значительности», но далеко не «по структуре». Это маленькая и простая теория, которая вовсе не требует недюжинного интеллекта. Ознакомившись с ней, Томас Генри Гексли, хороший друг Дарвина, верный защитник и активный популяризатор его идей, воскликнул: «Как же глупо было не додуматься до этого самому!»^[28]

Всю теорию естественного отбора можно кратко сформулировать так: если среди представителей некоего вида имеются индивидуальные вариации в наследственных признаках и если одни признаки больше содействуют выживанию и размножению, чем другие, то со временем первые окажутся более распространены в этой популяции, чем вторые. В результате совокупный набор наследуемых признаков вида изменится. Вот и все. Оба положения очевидны.

Конечно, в рамках любого заданного поколения такое изменение может выйдти незначительным. Тем не менее если длинные шеи помогают животным доставать драгоценные листья, то особи с короткими шеями будут умирать до достижения половой зрелости, а значит, средний размер шеи у вида постепенно увеличится. Пока в новых поколениях возникают вариации в длине шеи (посредством половой рекомбинации или генетической мутации, как мы знаем сейчас) и естественному отбору есть из чего «выбирать», средняя длина шеи будет стремиться вверх. В итоге вид, который изначально имел шею, как у лошади, со временем разовьет шею, как у жирафа. Короче говоря, это будет уже совсем другой вид.

Сам Дарвин обобщил теорию естественного отбора в восьми словах: «размножение, варьирование, выживание наиболее сильных и гибель наиболее слабых»^[29]. Здесь под «наиболее сильным» подразумевается не самый мускулистый, а наилучшим образом приспособленный к имеющимся условиям, будь то за счет маскировки, сообразительности или любого другого свойства, которое содействует выживанию и размножению^[30]. Обычно вместо прилагательного «сильнейший» используется словосочетание

«наиболее приспособленный» (неологизм, который придумал не Дарвин, но который он тем не менее охотно принял) – «пригодность» организма к передаче своих генов новому поколению в рамках окружающей его среды. «Приспособленность» – то самое свойство, которое естественный отбор, бесконечно переделывая и перекраивая виды, «стремится» максимизировать. Именно приспособленность сделала нас такими, какие мы есть сегодня.

Если вам кажется, что в этом нет ничего сверхъестественного, то вы, вероятно, не уловили суть. Все ваше тело – гораздо более сложное и гармоничное, чем любое творение рук человеческих, – сформировалось в результате сотен тысяч случайных модификаций; каждый крошечный шаг, который отделяет нас от прародительской бактерии, помогал некоему промежуточному предку передавать свои гены следующему поколению.

Как часто замечают креационисты, вероятность того, что человек мог возникнуть посредством случайных генетических изменений, и вероятность того, что обезьяна когда-нибудь напечатает пьесу Шекспира, примерно одинаковы (разумеется, речь идет не о целом произведении, а о некоторых длинных, узнаваемых отрывках). На самом деле, если следовать логике естественного отбора, такие вещи не так уж немыслимы.

Предположим, у одной обезьяны появилась некая удачная мутация – ген XL, который, скажем, наделяет родителей особой любовью к своему потомству, любовью, выражающейся в более усердном кормлении. В жизни каждой отдельно взятой обезьяны этот ген, скорее всего, не будет играть критически важной роли. Но допустим, вероятность дожить до зрелого возраста у детенышей с геном XL *в среднем* на один процент выше, чем у детенышей без него. Пока это крошечное преимущество сохраняется, доля обезьян с геном XL будет расти, а доля обезьян без него – уменьшаться, поколение за поколением. В итоге мы рано или поздно получим популяцию, в которой все особи будут иметь ген XL. В этот момент мы можем сказать, что ген XL достиг точки «фиксации». Это значит, что отныне виду присуща более высокая степень родительской любви, чем раньше.

Но насколько вероятно, что удача будет сопутствовать этим обезьянам и впредь, иными словами, каковы шансы, что *следующее*

случайное генетическое изменение приведет к *дальнейшему* усилению родительской любви? Насколько вероятно, что за мутацией XL последует мутация XXL? В случае одной конкретной обезьяны – *крайне* маловероятно. Однако в популяции теперь целое множество обезьян с геном XL. Если любой из них или любому из ее потомков удастся заполучить ген XXL, то этот ген, скорее всего, распространится. Тем временем, разумеется, другие обезьяны получают менее благоприятные для выживания гены, причем некоторые из них могут привести к полному исчезновению линии, в которой они появились. Что ж, такова жизнь.

Выходит, естественный отбор делает невозможное? В действительности так только кажется. Зачарованные линии, населяющие мир сегодня, гораздо менее вероятны, чем тупиковые вариации. Во всяком случае, последние возникали куда чаще. Мусорная корзина генетической истории переполнена неудачными экспериментами – длинными цепочками кодов, которые жили и здравствовали вплоть до судьбоносного всплеска речи. Их ликвидация – плата за развитие путем проб и ошибок. Но пока эту цену можно заплатить – пока естественный отбор не испытывает недостатка в поколениях и позволяет себе выбраковывать неудачные линии оптом, – его творения будут воистину впечатляющими. Естественный отбор – неодушевленный процесс, лишенный сознания, и все же это неутомимый улучшатель, искусный мастер^[31].

Каждый орган внутри вас – свидетельство его искусства: ваше сердце, ваши легкие, ваш желудок. Все эти «адаптации» – продукты непреднамеренного замысла, механизмы, которые сохранились до сегодняшнего дня только потому, что в прошлом внесли особый вклад в приспособленность ваших предков. И все они видотипичны. Хотя легкие одного человека могут отличаться от легких другого (в том числе по генетическим причинам), почти все гены, задействованные в их формировании, одинаковы у вас, у вашего соседа, у эскимоса и карлика. Как отмечают эволюционные психологи Джон Туби и Леда Космидес, любая страница «Анатомии» Грэй применима ко всем людям в мире. С какой стати, спрашивают они, анатомия психики должна быть другой? Рабочий тезис эволюционной психологии гласит: различные «ментальные органы», составляющие человеческую психику, – например, «орган», побуждающий родителей любить своих

детей, – видотипичны^[32]. Иными словами, эволюционные психологи исповедуют так называемое «психическое единство человечества».

Климат-контроль

От австралопитека, который ходил прямо, но имел мозг размером с обезьяний, нас отделяют несколько миллионов лет – сто тысяч, может, двести тысяч поколений. На первый взгляд, не так уж и много, верно? С другой стороны, чтобы превратить волка в чихуахуа и сенбернара, понадобилось всего пять тысяч поколений. Конечно, собаки развивались путем искусственного, а не естественного отбора. Но, как подчеркивал Дарвин, в сущности, это одно и то же; в обоих случаях признаки выводятся из популяции на основании критериев, которые сохраняются в течение многих поколений. Если «давление отбора» велико – если гены выводятся достаточно быстро, – эволюция протекает весьма энергично.

«Но разве давление отбора могло быть так уж велико во время недавней эволюции человека?» – спросите вы. В конце концов, главный фактор, который обычно создает давление, – это враждебная среда: засухи, ледниковые периоды, сильные хищники, нехватка добычи, а в ходе эволюции человека значимость таких вещей постепенно уменьшалась. Изобретение орудий труда, огонь, развитие способности к планированию и стратегий совместной охоты – все это привело к растущему контролю над окружающей средой и относительной независимости от капризов природы. Как же тогда мозг обезьяны сумел превратиться в человеческий?

По всей вероятности, ответ заключается в том, что среду, в которой протекала эволюция человека, населяли люди (или пралюди)^[33]. В каменном веке все члены общества соперничали друг с другом за передачу своих генов следующему поколению. При этом успешное распространение генов в основном зависело от взаимодействия с соседями (одним помогали, других игнорировали, третьих эксплуатировали, четвертых любили, пятых ненавидели), а также от способности определить оптимальный стиль взаимодействия с тем или иным человеком в тот или иной момент. Таким образом,

эволюция человеческих существ в основном сводилась к их адаптации друг к другу.

Поскольку каждая новая адаптация трансформирует социальное окружение, она неизбежно влечет за собой новый виток адаптации. Если ген XXL присутствует у всех родителей, ни один из них не получает дополнительных преимуществ в соперничестве за производство наиболее жизнеспособного и плодовитого потомства. Итог – гонка вооружений продолжается. В нашем примере «приз достается» самому любвеобильному. Но в жизни так происходит редко.

В определенных кругах нынче модно умалять значимость адаптации, упорядоченного эволюционного развития. Рассуждая об эволюции, популяризаторы биологического подхода чаще акцентируют не приспособленность, а случай, хаос. Безусловно, в результате изменения климата, которое произошло ни с того ни с сего, некоторые – не самые везучие – виды флоры и фауны действительно могли исчезнуть с лица Земли, трансформировав весь контекст эволюции видов, переживших бедствие. Космический крупье бросает кости, и все меняется. Конечно, такое бывает, и с этой стороны случайность в самом деле оказывает значимое влияние на эволюцию. Но есть и другие стороны. Так, генерация новых признаков, которые отбирает (или не отбирает) естественный отбор, судя по всему, носит случайный характер^[34]. Впрочем, никакая «случайность» в естественном отборе не должна затмевать его главную особенность: ключевым критерием отбора выступает приспособленность. Да, кости бросают заново, и контекст эволюции опять меняется. Признак, который адаптивен сегодня, необязательно останется таковым завтра. Посему естественный отбор часто ограничивается тем, что просто-напросто подновляет устаревшие признаки. В результате такого непрерывного приспособления некоторые виды приобретают качества, весьма далекие от совершенных. (Именно по этой причине у людей часто бывают проблемы со спиной: если бы вы создавали ходячий организм с нуля, а не путем пошаговой адаптации бывших древесных обитателей, вы бы никогда не сотворили такие ужасные спины.) Правда, изменения в природных условиях обычно происходят относительно медленно, и эволюция вполне успевает за ними

угнаться (пусть даже временами, когда давление отбора становится слишком велико и она вынуждена переходить на рысь).

Всю дорогу ее определение удачного строения остается неизменным. Тысячи и тысячи генов, влияющих на человеческое поведение – генов, которые строят мозг и управляют нейротрансмиттерами и другими гормонами, тем самым формируя наши «ментальные органы», – появились не случайно. Причина в том, что они помогали нашим предкам передавать свои гены следующему поколению. Если теория естественного отбора верна, то с его позиций можно описать почти всю человеческую психику. Все, что мы ощущаем, думаем и говорим друг другу, – все наши базовые чувства и мысли находятся при нас исключительно благодаря тому вкладу, который они однажды внесли в нашу генетическую приспособленность.

Сексуальная жизнь Дарвина

Ничто не влияет на передачу генов более явно, чем секс. Посему из всех проявлений человеческой психологии наиболее очевидные кандидаты на эволюционное объяснение – те состояния психики, которые ведут к сексу: грубая похоть, мечтательная влюбленность, сильная любовь и так далее – основополагающие силы, под влиянием которых люди выросли и продолжают взрослеть во всем мире.

Когда Дарвин покидал Англию, ему было двадцать два года. По всей вероятности, его переполняли гормоны, коим по традиции и положено переполнять молодых людей. Он вздыхал по паре местных девушек, особенно по хорошенькой, популярной и очень кокетливой Фанни Оуэн. Однажды он дал ей выстрелить из охотничьего ружья; она так очаровательно притворялась, будто отдача не ударила ей в плечо, что даже спустя десятки лет Дарвин вспоминал об этом инциденте с явным трепетом и нежностью^[35]. Из Кембриджа он вел с ней робкий флирт по почте, впрочем, неясно, осмелился ли он хоть раз ее поцеловать.

Конечно, в Кембридже были проститутки, не говоря уж о девушках низших классов – последних вполне могла устроить менее

формальная плата. Однако местные инспекторы, день и ночь шнырявшие по улицам вокруг территории университета, арестовывали всех женщин, которых можно было заподозрить в «легком поведении». Брат посоветовал Дарвину держаться от девушек подальше. Пожалуй, его самая близкая связь с запретным полом состояла в том, что время от времени он посылал деньги другу, которого выгнали из школы за зачатие незаконного ребенка^[36]. Таким образом, не исключено, что Дарвин покинул берега Англии, будучи девственником^[37]. Что же касается последующих пяти лет, проведенных на небольшом судне в компании шестидесяти мужчин, то они едва ли изобиловали возможностями изменить этот статус, по крайней мере ортодоксальным способом.

Если уж на то пошло, секс не стал более доступным и по возвращении Дарвина на родину – в конце концов, это была викторианская Англия. В Лондоне (где поселился Дарвин) тоже обретались проститутки, но секс с «респектабельной» женщиной, женщиной одного с Дарвином класса, был труднодостижим – а то и вовсе невозможен, если, конечно, не брать в расчет такие крайние меры, как женитьба.

Пропасть между этими двумя видами секса представляет собой один из самых узнаваемых элементов викторианской сексуальной морали – дихотомию «мадонна – блудница». В те времена существовало два типа женщин: те, на которых позже женились, и те, с которыми можно было поразвлечься прямо сейчас; первые заслуживали самой горячей и преданной любви, вторые вызывали только похоть. Другая моральная установка, обычно прослеживаемая применительно к Викторианской эпохе, – двойные сексуальные стандарты. Хотя подобная атрибуция едва ли корректна – викторианские моралисты не приветствовали половую свободу как мужчин, так и женщин, – сексуальная невоздержанность мужчин и правда вызывала меньше порицаний, чем неразборчивость женщин. Также верно и то, что это различие было тесно связано с дихотомией «мадонна – блудница». Величайшее наказание, ожидавшее викторианскую любительницу «приключений», заключалось в ее перманентном отнесении ко второй части дихотомии, что сильно ограничивало выбор потенциальных мужей.

Сейчас принято отвергать и высмеивать эти аспекты викторианской морали. Отвергать их можно, однако смеяться над ними – значит переоценивать наши собственные достижения в области нравственности и морали. В действительности многие мужчины до сих пор открыто говорят о «шлюхах» и их «правильном использовании» – девушки легкого поведения отлично подходят для развлечений, но не для женитьбы. Даже образованные либералы и те не исключение: они не рассуждают в таком духе, зато действуют в таком духе. Женщины часто сетуют на якобы просвещенных мужчин, которые одаривают их уважительным вниманием, но затем, после секса на первом или втором свидании, таинственно исчезают, точно их возлюбленная вдруг превратилась в парию. Хотя двойной стандарт и померк в XX веке, он еще достаточно силен, чтобы вызывать жалобы представительниц слабого пола. Понимание викторианского сексуального климата может приблизить нас к пониманию сексуального климата, который сложился в современном мире.

Интеллектуальное обоснование викторианской сексуальной морали носило эксплицитный характер: мужчины и женщины по природе своей отличаются друг от друга, особенно в части либидо. Даже те викторианцы, которые выступали против мужских походов, подчеркивали это различие. Доктор Эктон писал: «Должен сказать, что большинство женщин (к счастью для них) не сильно обеспокоены сексуальными чувствами любого рода. То, что для мужчин привычно, для женщин исключительно. Также я должен признать, что есть женщины, чьи сексуальные аппетиты превосходят таковые у мужчин». Подобная «нимфомания» считалась «формой сумасшествия». И все же «нет сомнений в том, что сексуальное чувство у женщины в большинстве случаев неактивно... Даже в пробужденном состоянии (а во многих случаях оно не может пробудиться никогда), оно весьма скромно по сравнению с таковым у мужчины». Одна из проблем, пишет доктор Эктон, состоит в том, что многих молодых людей вводит в заблуждение вид «распущенной или, по крайней мере, низкой и вульгарной женщины». В результате они вступают в брак с неадекватными представлениями о его сексуальном наполнении. Они не понимают, что «лучшие матери, жены и домохозяйки почти ничего не знают о сексуальных утехах. Любовь к дому, детям и домашним

обязанностям – вот единственные страсти, которые они испытывают»^[38].

Впрочем, есть женщины, считающие себя превосходными женами и матерями, которые придерживаются иного мнения (и, кстати, они имеют веские на то основания). Тем не менее идея о том, что между типичными мужскими и типично женскими сексуальными аппетитами имеются определенные различия и что мужской аппетит менее разборчив, нежели женский, находит существенную поддержку в новой дарвинистской парадигме. Более того, она находит поддержку и во многом другом. Некогда популярный постулат, что мужчины и женщины в основном идентичны по природе, похоже, имеет все меньше и меньше сторонников и уже не является ключевой доктриной феминизма. Многие феминистки – особенно ярые сторонницы «феминизма различия», или «эссенциализма», – признают, что мужчины и женщины в корне отличны друг от друга. Что именно подразумевается под «корнем», неясно; тем не менее большинство, скорее всего, не станет использовать слово «гены» в данном контексте. Пока они этого не сделают, их удел – дезориентация: хотя они прекрасно осознают, что ранняя феминистская доктрина врожденной сексуальной симметрии ошибочна (и даже могла некоторым образом повредить женщинам), им страшно посмотреть в лицо альтернативе.

Если бы новый дарвинистский взгляд на сексуальность лишь подтверждал общепринятое мнение, что мужчины – весьма сладострастная половина человечества, он бы не представлял особой ценности. Но он не только проливает свет на животные импульсы, такие как похоть, но и намечает более тонкие контуры сознания. Для эволюциониста «сексуальная психология» включает самые разнообразные вещи – от скачков самооценки в подростковом возрасте до эстетических и моральных суждений, которые мужчины и женщины выносят о представителях как своего, так и противоположного пола. Хороший пример – дихотомия «мадонна – блудница» и двойные сексуальные стандарты. Сегодня очевидно, что и то и другое уходит своими корнями в человеческую природу – в психические механизмы, посредством которых люди оценивают друг друга. Впрочем, здесь есть пара важных оговорок. Во-первых, когда мы говорим, что нечто является продуктом естественного отбора, это

вовсе не значит, что оно заведомо не подлежит модификации; почти любое проявление человеческой природы можно изменить при условии соответствующего изменения среды. Во-вторых, когда мы говорим, что нечто «естественно», мы необязательно имеем в виду, что это хорошо. Мы вовсе не обязаны перенимать «ценности» естественного отбора и следовать им безоговорочно. Однако, если мы желаем исповедовать ценности, которые противоречат ценностям естественного отбора, мы должны знать, против чего мы выступаем. Если мы хотим изменить некоторые особенно неподатливые части нашего морального кодекса, прежде всего следует выяснить, откуда они взялись. *По сути*, они взялись из человеческой природы, хотя разглядеть эту природу, преломленную многочисленными слоями средовых условий и культурного наследия, не всегда просто. Нет, «гена двойных стандартов» не существует. Но чтобы понять двойные стандарты, мы должны понимать наши гены и их влияние на наши мысли. Мы должны понимать процесс, который выбрал эти гены, и мудреные критерии, которыми он при этом пользовался.

Следующие несколько глав мы посвятим изучению этого процесса и его роли в формировании сексуальной психологии. Затем (уже во всеоружии) мы вернемся к викторианской морали, психике самого Дарвина и психике женщины, на которой он женился. Это позволит увидеть нашу собственную половую жизнь – ухаживание и брак в конце XX века – с особой ясностью.

Глава 2

Самцы и самки

У различных больших классов животного царства – млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб, насекомых и даже ракообразных – различия между полами следуют почти совершенно тем же правилам. Самцы почти всегда ухаживают за самками...

«Происхождение человека» (1871)
[\[39\]](#).

Насчет секса Дарвин ошибался.

Разумеется, он был прав, говоря, что самцы – «ухажеры». Его толкование базовых характеров обоих полов актуально и сегодня: «... Самка, за редчайшими исключениями, менее пылка, чем самец. Она... робка, и часто можно видеть, что она в течение долгого времени старается ускользнуть от самца. Всякий наблюдавший нравы животных припомнит, конечно, примеры такого рода... Проявление известной разборчивости со стороны самки, по-видимому, почти такой же общий закон, как пылкость самца»[\[40\]](#).

Не ошибался Дарвин и насчет *последствий* такой асимметрии интересов. Поскольку сдержанность самок вынуждает самцов соперничать за ограниченные репродуктивные возможности, утверждал он, самцы часто обладают «встроенным» оружием: взять хотя бы рога у оленей, роговидные челюсти у жуков-рогачей или мощные клыки у шимпанзе[\[41\]](#). Самцы, от природы лишённые должной экипировки для сражений с другими самцами, исключались из размножения, и их признаки выводились из популяции в ходе естественного отбора.

Кроме того, отмечал Дарвин, предпочтения самок оказывали существенное влияние на внешний вид их избранников. Если самки

выбирают для спаривания самцов определенного типа, самцы этого типа будут преобладать. Отсюда разнообразные украшения, характерные для самцов многих видов – например, яркий горловой мешок ящериц, огромный и неудобный хвост павлина и, опять-таки, оленьи рога. В частности, последние куда изящнее и великолепнее, чем требуется для поединков в брачный период^[42]. Эти украшения развились не потому, что помогают в повседневной жизни (скорее, они ее здорово усложняют), а потому, что помогают соблазнять самок. Одно это перевешивает все сопряженные с ними неудобства. (Как получилось, что соблазняться такими вещами в генетических интересах самок – отдельный вопрос, вызывающий известные разногласия между биологами^[43].)

Оба варианта естественного отбора – соперничество самцов и придирчивость самок – Дарвин назвал «половым отбором». Он очень гордился этой идеей, и гордился заслуженно. Половой отбор – важное дополнение к его общей теории. Оно объяснило кажущиеся исключения из нее (например, кричащие цвета, как бы говорящие хищникам: «Съешь меня!») и не только выдержало испытание временем, но и с тех пор существенно расширилось.

Что Дарвин упустил из виду, так это эволюционную *причину* робости самок и пылкости самцов. Он знал, что робость самок – основной источник конкуренции между самцами, и описал последствия такой конкуренции; однако он ничего не говорит нам о том, что порождает этот дисбаланс. Его более поздние попытки объяснить данный феномен не увенчались успехом^[44]. Справедливости ради следует отметить, что многие поколения биологов тоже потерпели фиаско.

Сегодня, когда ученые пришли к консенсусу по этому вопросу, длительные поиски ответа на него кажутся, мягко говоря, странными. Ответ очень простой. Разницу в сексуальных аппетитах самцов и самок можно объяснить с точки зрения естественного отбора; хотя это стало очевидным в течение последних лет тридцати, Дарвин вполне мог прийти к аналогичному выводу и сто лет назад, настолько явно он вытекает из его взглядов на жизнь. Впрочем, Дарвина можно простить: логика, лежащая в основе разницы в сексуальном поведении, отнюдь не бросается в глаза. И все же, если бы ему довелось услышать, как современные биологи-эволюционисты

рассуждают о сексе, он бы, несомненно, пришел в ужас от собственной глупости и погрузился в депрессию.

Игры в Бога

Первый шаг к пониманию базового дисбаланса в сексуальной активности самцов и самок – проанализировать гипотетическую роль, которую естественный отбор играет в формировании видов. Возьмем, к примеру, наш вид. Допустим, вы хотите внедрить в психику человека (или прачеловека) правила поведения, которыми он будет руководствоваться всю свою жизнь. Допустим также, что ваша конечная цель – максимизация генетического наследия каждого. Проще говоря, вы должны заставить людей вести себя так, чтобы они оставляли много потомков, которые, в свою очередь, тоже будут оставлять много потомков.

Разумеется, на самом деле естественный отбор работает не так. Он создает организмы не сознательно. Он вообще ничего не делает сознательно. Он слепо сохраняет особенности, содействующие выживанию и размножению^[45]. Тем не менее естественный отбор действует так, *как будто* он сознателен; поэтому представить себя на его месте – допустимый способ выяснить, какие признаки эволюция скорее всего закрепит в людях и других животных. Фактически именно этим биологи-эволюционисты и занимаются большую часть своего рабочего времени: они смотрят на признак – психический или физиологический – и пытаются определить, решением какой инженерной задачи он выступает.

Играя в режиссера эволюции, вы быстро обнаружите, что максимизация генетического наследия предполагает разные стратегии для мужчин и женщин. Мужчины могут вступать в половую связь сотни раз в год – если, конечно, они сумеют склонить к этому достаточное количество женщин, и если в обществе отсутствуют запреты на полигамию (последние, разумеется, не существовали в условиях, в которых протекала основная часть нашей эволюции). Женщины, напротив, не могут рожать детей чаще одного раза в год. Эта асимметрия отчасти обусловлена высокой стоимостью

яйцеклеток; у всех видов они крупнее и малочисленнее, чем крошечные и серийно производимые сперматозоиды. (Таково, кстати, официальное биологическое определение особи женского пола – существа с более крупными половыми клетками.) У млекопитающих данная асимметрия приобретает еще большие масштабы: длительное превращение яйцеклетки в организм происходит внутри самки, в силу чего она физиологически не способна вести несколько проектов одновременно.

Таким образом, хотя существуют различные причины, почему для женщины имеет эволюционный смысл спать с несколькими мужчинами (например, первый мужчина может оказаться бесплодным), наступает момент, когда сексуальные утехи уже «не стоят свеч». Лучше отдохнуть или что-нибудь поесть. Для мужчины, если только он не на грани голодного обморока, этот момент не наступает никогда. Каждая новая партнерша – шанс передать свои гены следующему поколению, а это, согласно дарвинистской теории, гораздо более радужная перспектива, нежели возможность вздремнуть или чем-нибудь подкрепиться. Как лаконично выразились эволюционные психологи Мартин Дали и Марго Уилсон, самцам «всегда есть к чему стремиться»^[46].

В некотором смысле самкам тоже есть куда стремиться – но в смысле качества, а не количества. Рождение ребенка влечет за собой большие временные и энергетические затраты, а потому природа заведомо ограничила количество таких предприятий. С ее (генетической) точки зрения каждый ребенок – исключительно ценная генетическая машина. Его способность выжить и в свою очередь произвести на свет другие генетические машины имеет ключевое значение. Выходит, у женщины есть все основания серьезно подходить к выбору мужчины, который поможет ей в создании нового носителя генетического материала. Ей следует хорошенько оценить потенциального партнера, спросив себя: что ценного он привнесет в проект? Из этого вопроса вытекает целое множество других вопросов, которые (у нашего вида особенно) гораздо сложнее, чем вам может показаться.

Прежде чем заняться этими вопросами, необходимо сделать несколько оговорок. Одна из них состоит в том, что женщине не нужно задавать их буквально. Более того, она может их даже не

осознавать. Существенная часть истории нашего вида протекала до того, как разум наших предков развился достаточно, чтобы их вообще о чем-то можно спрашивать. Даже в относительно недавнем прошлом, уже после развития речи и способности к самоанализу, не все возникающие поведенческие тенденции требовали контроля сознания. На самом деле понимать, что конкретно мы делаем и зачем, в некоторых случаях определено *не* в наших генетических интересах. (Возьмем хотя бы Фрейда – он явно напал на кое-что интересное, хотя некоторые эволюционные психологи скажут, будто он понятия не имел, на что именно.) В случае сексуального влечения повседневный опыт подсказывает нам, что естественный отбор главным образом действовал через эмоциональные краны, которые включают и отключают такие чувства, как робкое влечение, неистовая страсть и безумная влюбленность. Оценивая мужчину, женщина не думает: «Он выйдет достойным вкладчиком в мое генетическое наследие». Она просто составляет о нем некое мнение и чувствует к нему влечение – или не чувствует. Вся «мыслительную работу» уже сделал за нее – незаметно, метафорически – естественный отбор. Гены, вызывающие влечение, которое шло на пользу генетическому наследию ее предков, процветали, а гены, вызывающие менее продуктивное влечение, – нет.

Понимание бессознательной составляющей генетического контроля – первый шаг к пониманию того, что все мы – марионетки, а потому лучшее, что мы можем сделать, дабы обрести хотя бы минимальную свободу, – попытаться дешифровать логику кукловода. Объяснение всех нюансов его логики займет некоторое время, но я не думаю, что испорчу читателю удовольствие, если прямо сейчас скажу, что кукловод, похоже, не испытывает ни малейшего желания сделать кукол счастливыми.

Второй важный момент, который необходимо осознать перед обсуждением сексуальных предпочтений женщин (и мужчин), состоит в следующем: естественный отбор напрочь лишен дара предвидения. Эволюцией управляет среда, в которой она протекает, а среда изменчива. Естественный отбор в принципе не мог предвидеть, например, что когда-нибудь люди изобретут средства контрацепции и будут тратить огромные количества энергии на секс, который гарантированно не приведет к оплодотворению; что однажды

появятся фильмы для взрослых и сладострастные мужчины, вместо того чтобы стремиться к реальным, живым женщинам, которые могут передать их гены следующему поколению, прилипнут к экрану телевизора.

Разумеется, это не означает, что в «непродуктивном» сексе есть что-то неправильное. Хотя мы созданы естественным отбором, мы вовсе не обязаны рабски следовать его программе (если уж на то пошло, у нас может возникнуть большой соблазн сделать прямо противоположное – хотя бы в качестве отместки за тот нелепый багаж, которым он нас нагрузил). Суть в том, что говорить о разуме человека как об устройстве, созданном лишь для максимизации его приспособленности, его генетического наследия, едва ли корректно. Скорее, теория естественного отбора подразумевает, что человеческий разум создан для максимизации приспособленности *к среде, в которой этот разум развился*. Эта среда известна как СЭА – среда эволюционной адаптации^[47], или «анцестральная среда». На протяжении всей книги анцестральная среда останется на заднем плане. Временами, размышляя, можно ли считать некую психическую черту эволюционной адаптацией, я буду задаваться вопросом, отвечает ли она «генетическим интересам» ее носителя (например, отвечает ли неразборчивая похоть генетическим интересам мужчин). Конечно, я прибегаю к подобной формулировке исключительно для краткости. Правильно поставленный вопрос звучит так: отвечает ли признак «генетическим интересам» кого-либо в СЭА, а не в современной Америке, викторианской Англии или где-либо еще. В теории природу современного человека должны составлять только те признаки, которые в социальной среде наших предков активно содействовали передаче ответственных за них генов следующим поколениям^[48].

Какой была анцестральная среда? В XX веке ее ближайшим аналогом, пожалуй, можно считать общества охотников и собирателей: кунг-сан в пустыне Калахари, сообщества эскимосов Арктического региона и аче в Парагвае. К несчастью, охотничье-собирательские общества сильно отличаются друг от друга, что существенно затрудняет те или иные обобщения касательно горнила человеческой эволюции. Это многообразие напоминает нам, что идея единой СЭА на самом деле фикция, некий композит; анцестральная

социальная среда, безусловно, сильно менялась в процессе человеческого развития^[49]. С другой стороны, большинству современных обществ охотников и собирателей присущ целый ряд общих черт; все они свидетельствуют о том, что некоторые особенности, вероятно, оставались относительно неизменными на протяжении большей части эволюции человеческой психики. Так, дети росли бок о бок с близкими родственниками в маленьких деревушках, где все друг друга знали, а чужаки появлялись редко. Взрослые вступали в брак – моногамный или полигамный, причем женщины обычно выходили замуж по достижении детородного возраста.

В любом случае можно не сомневаться: какой бы ни была анцестральная среда, она не похожа на ту, в которой мы живем сейчас. Мы не созданы для того, чтобы толкаться в метро, жить по соседству с людьми, с которыми мы никогда не разговариваем, наниматься на работу, увольняться или смотреть вечерние новости по телевизору. Возможно, именно расхождения между контекстом, для которого мы были предназначены изначально, и контекстом, в котором мы существуем сегодня, и объясняют многие распространенные психопатологии, а также львиную долю страданий менее драматического рода. (Данное наблюдение, равно как и постулат о важности бессознательной мотивации, в основном заслуга Фрейда; такова центральная тема его знаменитого трактата «Цивилизация и ее тяготы».)

Дабы выяснить, что же женщины склонны искать в мужчинах (и наоборот), необходимо тщательно проанализировать нашу анцестральную среду (или среды). Кроме того, анализ анцестральной среды поможет объяснить, почему женщины сексуально менее сдержанны, чем самки многих других видов. Впрочем, с точки зрения формулирования самой важной мысли этой главы – каким бы ни был типичный уровень сдержанности самок нашего вида, он выше уровня сдержанности самцов, – конкретное окружение значит мало. Эта мысль автоматически вытекает из допущения, которое мы уже обсудили выше: за свою жизнь самка может иметь намного меньше потомков, чем самец. И так было практически всегда – еще до того, как наши предки стали людьми, приматами, млекопитающими и так далее. Эволюция человеческого мозга берет начало от рептилий;

самки змей не очень умные, но они достаточно сообразительны, чтобы знать (по крайней мере бессознательно): спариваться с некоторыми самцами – не лучшая идея.

Таким образом, главный просчет Дарвина состоял в следующем: самка – вещь драгоценная, однако не из-за ее сексуальной робости, как полагал он, а в силу самой своей *природы* – в силу той биологической роли, которую она играет в репродукции, и, как следствие, медленного темпа воспроизводства, изначально присущего особям женского пола. Естественный отбор это «понял» и – сделал ставку на робость.

Прозрение

Первый большой шаг к пониманию этой логики человеком был сделан в 1948 году британским генетиком А. Дж. Бейтманом, наблюдавшим брачные игры мух-дрозофил. Бейтман помещал пять самок и пять самцов в камеру, выжидал, когда они последуют «зову сердца», а затем, изучая новое поколение, определял, каким родителям принадлежал тот или иной отпрыск. В ходе своих экспериментов ученый обнаружил четкую закономерность. Если количество потомков большинства самок было практически одинаковым и не зависело от того, со сколькими самцами они спаривались, то наследие самца подчинялось общему правилу: чем больше самок он оплодотворял, тем больше у него оказывалось «детей». Следовательно, заключил Бейтман, естественный отбор поощряет «неразборчивую инициативность у самцов и привередливую пассивность у самок»^[50].

Открытие Бейтмана долго не было оценено по достоинству. Потребовалось почти три десятилетия и несколько биологов-эволюционистов, чтобы придать ему два важнейших качества: научность, с одной стороны, и широкую огласку – с другой.

Первым качеством – научной строгостью – принцип Бейтмана обязан двум биологам, которых с полным правом можно считать живым доказательством того, насколько ошибочны бывают стереотипы о дарвинизме. В 1970-х годах противники социобиологии

часто обвиняли ее сторонников в скрытом реакционизме, расизме, фашизме и т. п. Ни Джордж Уильямс, ни Роберт Триверс таких обвинений определенно не заслуживали, и вместе с тем именно они сделали все, чтобы заложить фундамент новой парадигмы.

Уильямс, почетный профессор Университета Нью-Йорка, приложил титанические усилия, дабы искоренить остатки социального дарвинизма с его ключевым тезисом, будто естественный отбор – это процесс, которому нужно подчиняться. Многие биологи разделяют его взгляды и подчеркивают, что мы вовсе не обязаны выводить наши нравственные ценности из его «ценностей». Но Уильямс идет еще дальше. Естественный отбор, утверждает он, – это «зло», так велики боль и смерть, на которых он паразитирует, и так глубок эгоизм, который он порождает.

Триверс, который на заре формирования новой парадигмы периодически читал лекции в Гарварде, а теперь преподает в Ратгерском университете, менее Уильямса склонен к моральной философии. Однако и он питает выраженную неприязнь к ценностям правого толка, ассоциированным с социальным дарвинизмом. Он с гордостью говорит о своей дружбе с лидером партии «Черные Пантеры» Хьюи Ньютоном (в соавторстве с которым он однажды написал целую статью о человеческой психологии), активно выступает против предвзятости судебной системы и видит происки консерваторов там, где большинство людей их не видят.

В 1966 году Уильямс опубликовал эпохальный труд «Адаптация и естественный отбор». Постепенно его книга снискала заоблачную популярность. Сегодня это библия для всех биологов, которые рассматривают социальное поведение, включая человеческое, в свете нового дарвинизма^[51]. Книга Уильямса не только позволила устранить путаницу, долгое время царившую в науке о социальном поведении, но и заложила прочный фундамент для исследований дружбы и секса. Триверс приложил руку и к первым, и ко вторым.

Уильямс развил и углубил логику, намеченную Бейтманом в статье 1948 года. В частности, он переформулировал вопрос о генетических интересах полов в терминах «жертвы», необходимой для размножения. Для самца млекопитающего эта жертва близка к нулю. Его «ключевая роль обычно ограничивается копуляцией, предполагающей незначительные энергетические и материальные

затраты и лишь на мгновение отвлекающей его от вопросов, касающихся собственной безопасности и благополучия». Поскольку самцы, по большому счету, теряют мало, а приобретают много, «агрессивное и безотлагательное желание совокупляться с максимально возможным количеством самок» может принести им немалую прибыль (в валюте естественного отбора). Для самки, напротив, «копуляция нередко предполагает длительное бремя, как в механическом, так и в физиологическом смысле, а также сопутствующие ей многочисленные сложности и опасности». Таким образом, самка генетически заинтересована «нести издержки размножения» только при благоприятных обстоятельствах. А «одно из самых важных обстоятельств – осеменяющий самец»; поскольку «высокоприспособленные самцы обычно дают высокоприспособленное потомство», то «в интересах самки – уметь выбрать самого приспособленного самца из всех доступных»^[52].

Отсюда ухаживание: «реклама приспособленности самца». Если «в интересах самца казаться приспособленным, вне зависимости от того, так это на самом деле или нет», то в интересах самки – вовремя распознавать фальшивую рекламу. Посему естественный отбор создает «искусное умение подавать себя у самцов и столь же развитые навыки противодействия рекламе у самок»^[53]. Другими словами, самцы (в теории) должны быть фатами и показушниками.

Несколькими годами позже Триверс использовал идеи Бейтмана и Уильямса, чтобы сформулировать полноценную теорию, которая проливает свет на психологию мужчин и женщин. Триверс начал с того, что заменил «жертву» Уильямса термином «вклад». На первый взгляд разница может показаться незначительной, однако нюансы способны породить настоящую интеллектуальную лавину. Так произошло и в этом случае. К термину «вклад», связанному с экономикой, прилагалась готовая аналитическая схема.

В знаменитой статье, опубликованной в 1972 году, Триверс определил «родительский вклад» как «любой вклад родителя в отдельного потомка, который увеличивает шансы на выживание последнего (и, следовательно, на его репродуктивный успех) за счет способности родителей вкладывать в других потомков»^[54]. Родительский вклад включает время и энергию, необходимые для производства яйцеклетки или спермы, оплодотворения,

беременности, вынашивания плода и выращивания детеныша. До рождения вклад самок, безусловно, больше; как правило, эта диспропорция сохраняется и в дальнейшем.

Количественно выразив дисбаланс отцовского и материнского вклада у разных видов, предположил Триверс, мы лучше поймем некоторые вещи – например, пылкость самца и робость самки, интенсивность полового отбора, а также многие неявные аспекты ухаживания и родительства, верности и неверности. Триверс отметил, что у нашего вида дисбаланс родительского вклада не такой выраженный, как у многих других, и приписал это психологической сложности (в следующей главе мы увидим, что он не ошибся).

Благодаря Триверсу и его статье «Родительский вклад и половой отбор» цветок раскрылся; простое дополнение к теории Дарвина – настолько простое, что Дарвин ухватил бы его суть за минуту, – наметилось в 1948 году, было обнародовано в 1966-м и в 1972-м обрело окончательную форму^[55]. Тем не менее концепции родительского вклада не хватало главного – публичности. Именно книги Э. О. Уилсона «Социобиология» (1975) и Ричарда Докинза «Эгоистичный ген» (1976) обеспечили идеям Триверса большую и разнообразную аудиторию, заставив многих психологов и антропологов взглянуть на человеческую сексуальность с позиций современного дарвинизма.

Проверка теории

Теорий – пруд пруди. Даже самые элегантные из них, которые, подобно теории родительского вклада, способны объяснить многое с помощью малого, часто оказываются бесполезными. Есть доля справедливости в упреках (креационистов и прочих), будто некоторые теории об эволюции животных признаков суть «просто сказки» – правдоподобные, но не более того. И все же отделить правдоподобные теории от убедительных возможно. В некоторых науках проверить теорию легко; в таких случаях выражение «теория доказана» – лишь *небольшое* преувеличение (хотя, строго говоря, это преувеличение всегда). В других дисциплинах подтверждение носит косвенный

характер: это длительный процесс, в ходе которого уверенность постепенно достигает (или не достигает) порога консенсуса. Изучение эволюционных корней человеческой природы (и не только человеческой) относится к наукам второго типа. Анализируя теорию, мы задаем вопросы, ответы на которые питают либо веру, либо сомнения.

Один из вопросов относительно теории родительского вклада звучит так: действительно ли поведение человека согласуется с ней хотя бы в основных моментах? Правда ли, что женщины более разборчиво подходят к выбору половых партнеров, нежели мужчины? (Другой вопрос – какой пол более разборчив в выборе *супруга*, но к нему мы вернемся позже.) Конечно, существует множество избитых истин, предполагающих такое же множество вариантов ответа. В частности, хорошо известно, что проституция – секс с кем-то, кого ты не знаешь и не хочешь знать, – услуга, к которой прибегают почти исключительно мужчины, причем как сейчас, так и в викторианской Англии. Аналогичным образом порнографию, которая главным образом основана на визуальной стимуляции – фильмы, фотографии неизвестных людей, бездуховная плоть, – смотрят практически одни мужчины. Кроме того, исследования показали, что мужчины в среднем более, чем женщины, склонны к случайному, анонимному сексу. В одном таком эксперименте три четверти мужчин, к которым подходила незнакомая женщина на территории университета, согласились с ней переспать, в то время как все женщины, к которым подходил незнакомый мужчина, ответили отказом^[56].

Скептики часто возражали, что эти факты, собранные в западном обществе, отражают лишь его извращенные ценности. Сегодня данный аргумент уже неактуален. На самом деле он неактуален с 1979 года, когда Дональд Саймонс впервые опубликовал свою «Эволюцию человеческой сексуальности» – первое всестороннее антропологическое исследование сексуального поведения человека с позиций нового дарвинизма. Опираясь на культуры Востока и Запада (как индустриальные, так и дописьменные), Саймонс продемонстрировал универсальность шаблонов, подразумеваемых теорией родительского вклада: женщины, как правило, более разборчивы в выборе сексуальных партнеров, тогда как мужчины

непривередливы и считают, что секс с разными партнершами – отличная идея.

Одна из культур, которую приводил в пример Саймонс, настолько далека от западного влияния, насколько это возможно: это культура коренного населения островов Тробриан в Меланезии. Доисторическая миграция, заселившая эти острова, откололась от миграций, заселивших Европу, десятки (если не все сто) тысяч лет назад. Таким образом, анцестральная культура островов Тробриан отделилась от анцестральной культуры Европы даже раньше, чем культура американских индейцев^[57]. И действительно, когда в 1915 году эти острова посетил знаменитый антрополог Бронислав Малиновский, они оказались удивительно далеки от течений западной мысли. Местные жители, казалось, до сих пор не осознавали связи между сексом и деторождением. Когда один тробрианец вернулся домой из многолетнего плавания и обнаружил, что у его жены появилось двое детей, Малиновский был достаточно тактичен, чтобы не намекнуть на ее неверность. Но «когда я, обсуждая этот вопрос с другими, намекнул, что хотя бы один из этих детей мог быть не его, мои собеседники не поняли, что я имел в виду»^[58].

Некоторые антропологи усомнились, что тробрианцы и впрямь могли быть столь невежественны. Хотя рассказ Малиновского звучит весьма убедительно, он вполне мог что-то напутать. Но даже если это и так, необходимо понимать: в принципе Малиновский мог быть прав. Эволюция сексуальной психологии человека, судя по всему, произошла до того, как люди открыли, для чего нужен секс. Похоть и другие подобные чувства – это механизм, посредством которого естественный отбор заставляет нас вести себя так, как будто мы хотим много потомков и знаем, как их получить; и не важно, на самом деле это так или нет^[59]. Если бы естественный отбор работал *иначе* – если бы вместо этого он усовершенствовал человеческий интеллект настолько, что наше стремление к приспособленности было *сознательным* и *обдуманым*, жизнь была бы совсем другой. Жены и мужья, например, не искали бы «защищенного секса на стороне»; они бы отказались либо от контрацепции, либо от секса.

Другая незападная особенность островов Тробриан – отсутствие запрета на добрые половые сношения, столь свойственного викторианскому периоду. К раннему подростковому возрасту и

мальчиков, и девочек поощряли к половым связям с партнерами по их выбору. (Аналогичная свобода нравов обнаруживается и в некоторых других доиндустриальных обществах, хотя эксперименты обычно заканчиваются и переходят в брак до того, как девочка достигает фертильности.) Однако Малиновский не оставил сомнений в том, какой пол более придирчивый. «В тробрианских ухаживаниях нет места недомолвкам... О свидании просят прямо и открыто, не скрывая намерений получить сексуальное удовлетворение. Если приглашение принято, удовлетворение желания юноши исключает романтический настрой, стремление к недостижимому и мистическому. Если же он получает отказ, то отнюдь не воспринимает его как личную трагедию: он с детства привык к отказам и знает, что эту беду быстро вылечит другая интрижка...» И: «В течение любого романа мужчина обязан постоянно дарить женщине маленькие подарки. Для аборигенов необходимость платы родственникам очевидна. Согласно этому обычаю, половая связь, даже при наличии взаимной привязанности, есть услуга, которую женщина оказывает мужчине»^[60].

Разумеется, существовали и такие культурные силы, которые подкрепляли сексуальную сдержанность. Хотя активная половая жизнь девушки поощрялась, откровенные и вульгарные заигрывания вызывали порицание в силу «бессмысленности таких приставаний с точки зрения личного блага»^[61]. С другой стороны, есть ли основания полагать, что подобная норма не является опосредованным культурой отражением более глубинной генетической логики? Можно ли найти хоть одну культуру, в которой женщины с необузданными сексуальными аппетитами *не* считаются более аберрантными, чем столь же похотливые мужчины? Если нет, то не слишком ли это странное совпадение, что все народы мира, независимо друг от друга, выработали примерно одинаковые культурные традиции без всякой генетической поддержки? Или же сей универсальный культурный элемент возник полмиллиона (или больше) лет назад, еще до того, как виды разделились? Для ценности, установленной, по сути, произвольно, это слишком долго; хотя бы в одной из культур она должна была исчезнуть.

Отсюда вытекает несколько важных выводов. Первый: универсальность некой психической черты или механизма психического развития, их присутствие во всех культурах (даже тех,

которые абсолютно не похожи друг на друга)^[62] – веская причина подозревать эволюционное происхождение. Второй: невозможность объяснить такую универсальность с сугубо культурной точки зрения – пример того, как дарвинистский подход, пусть и не *доказанный* так, как доказаны математические теоремы, все-таки может оказаться предпочтительным; его цепочка объяснений короче альтернативной и содержит меньше сомнительных звеньев; одним словом, эта теория проще и имеет больший потенциал. Если принять три скромных тезиса, изложенных выше – 1) теория естественного отбора предполагает «приспособленность» разборчивых женщин и неразборчивых мужчин; 2) эта разборчивость и, соответственно, неразборчивость наблюдается во всем мире и 3) эту универсальность нельзя объяснить посредством сугубо культурологической теории, – если принять все эти допущения, то мы просто обязаны согласиться с дарвинистским объяснением: и мужская свобода, и (относительная) женская сдержанность в той или иной степени носят врожденный характер.

Тем не менее неплохо подкрепить идею фактами. Хотя абсолютное «доказательство» возможно в науке не всегда, мы вправе говорить о разных степенях достоверности. Пусть эволюционные объяснения редко достигают тех 99,99 процента достоверности, что можно обнаружить в физике и химии, поднять этот уровень, скажем, с 70 до 97 процентов всегда приятно.

Один из способов придать эволюционному объяснению дополнительную надежность – показать, что его логике подчиняются все. Если женщины разборчивы в сексе потому, что могут иметь меньше детей, чем мужчины, и если самки в царстве животных, как правило, дают меньше потомства, чем самцы, значит, самки в целом должны быть разборчивее самцов. Как и всякая хорошая научная теория, эволюционные теории способны порождать опровергаемые прогнозы – пусть даже биологи-эволюционисты не могут воспроизвести эволюцию в своих лабораториях и, контролируя те или иные переменные, предсказать результат.

Данный конкретный прогноз подтверждается огромным количеством наблюдений. Во многих видах самки робкие, а самцы – нет. На самом деле самцы настолько неразборчивы, что могут питать сексуальный интерес не только к самкам. Среди некоторых видов

лягушек гомосексуальные ухаживания так распространены, что самцы, по ошибке попавшие в объятия другого самца, издают особый звук, сообщающий, что они оба зря теряют время^[63]. Самцы змей, в свою очередь, известны тем, что на определенный срок остаются с мертвыми самками, прежде чем перейти к живому объекту вождения^[64]. Что же касается индюков, то эти товарищи настолько любвеобильны, что будут рьяно обхаживать чучело индюшки. Сойдет копия одной головы, подвешенная в сорока сантиметрах над землей. Самец кружит вокруг головы, а затем (уверенный, что его спектакль произвел впечатление) поднимается в воздух и опускается поблизости от того места, где должна находиться задняя часть, которой в действительности не существует. Самые озабоченные проявят интерес даже к деревянной голове, а некоторые могут вспылать страстью к деревянной голове без глаз и клюва^[65].

Конечно, такие эксперименты только подтверждают то, что Дарвин считал очевидным десятки лет назад: самцы очень пылки. Здесь возникает известная проблема с проверкой эволюционных объяснений. Если бы однажды, сидя в своем кабинете, Дарвин вдруг подумал: «Моя теория предполагает робких, разборчивых самок и безумно похотливых самцов», а затем отправился на двор в поисках примеров, никаких сложностей бы не возникло. Однако все происходило несколько иначе. Сначала Дарвин наблюдал живые организмы и только потом задумался, какими соображениями руководствовался при их творении естественный отбор – вопрос, на который нельзя было ответить вплоть до середины XX века, когда примеров накопилось еще больше. Тенденция эволюционных «предсказаний» появляться после их очевидного осуществления вызывала хроническое недовольство у критиков Дарвина. Люди, которые сомневаются либо в теории естественного отбора в целом, либо в ее применимости к поведению человека, часто сетуют на подгонку свежих прогнозов под уже существующие результаты. Именно это они имеют в виду, когда говорят, что биологи-эволюционисты выдумывают «просто сказки», чтобы объяснить все наблюдаемые ими явления.

В каком-то смысле именно этим биологи-эволюционисты и занимаются. Впрочем, само по себе выдумывание правдоподобных версий – не преступление. Мощь теории, подобной теории

родительского вклада, измеряется тем, как просто и как много она объясняет, вне зависимости от момента появления тех или иных данных. Когда Коперник заявил, что Земля вращается вокруг Солнца, и объяснил с помощью этой теории таинственное движение звезд в небе, было бы глупо утверждать: «Но вы жульничаете! Вы знали об этом раньше». Некоторые «сказки» откровенно лучше других, и они выигрывают. Кроме того, велик ли выбор у биологов-эволюционистов? Разве они виноваты в том, что сведения о жизни животных начали накапливаться за тысячелетия до дарвиновской теории? С этим фактом ничего не поделаешь.

Зато биологи-эволюционисты могут сделать кое-что другое. Дарвиновская теория вдобавок к псевдопрогнозам, объяснить кои она была призвана в первую очередь, часто генерирует дополнительные прогнозы – настоящие, непроверенные прогнозы, которые можно использовать для дальнейшей оценки теории. (Дарвин кратко обрисовал этот метод в 1838 году, в возрасте двадцати девяти лет, – за двадцать один год до издания «Происхождения видов». В его записной книжке имеется следующая запись: «Порядок, которого я придерживаюсь в своей теории, таков: сформулировать логически вероятностный тезис и применить его как гипотезу к другим тезисам»^[66].) Хороший пример – теория родительского вклада. Как заметил Уильямс в 1966 году, существует несколько чудаковатых видов, у которых вклад самцов примерно равен вкладу самок или даже превосходит его. Если теория родительского вклада верна, эти виды должны игнорировать половые стереотипы.

Рассмотрим небольших существ, известных как морские иглы. Самец морской иглы выполняет такую же роль, что и самка кенгуру: он складывает икринки в специальную сумку, которая подключена к его кровотоку. Пока самец играет в няньку, самка может начать следующий репродуктивный цикл. Это необязательно означает, что в итоге у нее будет намного больше потомства, чем у самца, – в конце концов, для производства икры требуется некоторое время. Тем не менее баланс родительского вклада не сильно смещен в обычном направлении. И, как следует ожидать, самки морской иглы играют активную роль в ухаживании: они сами ищут самцов и инициируют брачные игры^[67].

Нетипичное распределение родительского вклада свойственно и некоторым птицам, например плавунчику (включая два вида морских бекасов). Пока самцы высиживают яйца, самки вольны отправиться на поиски «приключений». И здесь наблюдается ожидаемый отход от стереотипов. У плавунчика именно *самки* крупнее и ярче – явный признак того, что в данном случае половой отбор работает наоборот: самки соперничают за самцов. Один биолог наблюдал, как самки «ссорятся и красуются друг перед другом», в то время как самцы терпеливо высиживают яйца^[68].

Честно говоря, Уильямс знал, что эти виды отклоняются от стереотипов, когда писал данное утверждение в 1966 году. Однако последующие исследования не только подтвердили, но и существенно расширили его «прогноз». Обширный родительский вклад самцов, как оказалось, приводил к ожидаемым последствиям у других птиц: панамского древолаза, водяного жука (самцы водяного жука переносят оплодотворенные яйца на своих спинах) и мормонского сверчка. В общем, пока прогноз Уильямса не встретил серьезных возражений^[69].

Человекообразные обезьяны и мы

Как бы там ни было, имеется еще одна важная группа эволюционных свидетельств, подтверждающих различия между мужчиной и женщиной. Это наши ближайшие родственники. Человекообразные обезьяны – шимпанзе, карликовые шимпанзе (бонобо), гориллы и орангутаны, разумеется, не являются предками человека; все они эволюционировали своим путем, отличным от нашего. Наши ветви на эволюционном древе разошлись чуть более 8 миллионов лет назад (с шимпанзе и бонобо) и 16 миллионов лет назад (с орангутанами)^[70]. На самом деле это не очень давно. (Для ориентира: наш предполагаемый предок австралопитек, череп которого имел типично обезьяньи размеры, но который ходил прямо, возник 6–4 миллионов лет назад. *Homo erectus* – вид, чей мозг находился посередине между нашим и обезьяньим и сумел открыть огонь, – сформировался примерно 1,5 миллиона лет назад^[71].)

Близость человека и человекообразных обезьян на эволюционном древе наводит на мысль: если некий признак имеется и у них, и у нас, то причина – общее происхождение. Другими словами, этот признак существовал у нашего общего протообезьяньего предка, жившего 16 миллионов лет назад, и с тех пор присутствует во всех наших родственных линиях. Примерно той же логике вы бы следовали, если бы отыскиали четырех своих дальних родственников, обнаружили, что у всех у них карие глаза, и решили, что карие глаза были либо у их общего прапрадедушки, либо у их общей прапрабабушки. Это отнюдь не бесспорный вывод, однако он вызывает большее доверие, нежели аналогичное заключение, сделанное по глазам только одного из родственников^[72].

Человек и человекообразные обезьяны обладают целым рядом общих признаков. Говоря о многих из них – скажем, о руке с пятью пальцами, – напоминать об этом нет необходимости; никто и так не сомневается в генетике человеческой кисти. Однако в случае психических особенностей, генетический субстрат которых неясен до сих пор – например, разных сексуальных appetитов мужчин и женщин, – сравнение с человекообразными обезьянами может оказаться весьма кстати. Кроме того, стоит потратить несколько минут, чтобы поближе узнать наших ближайших родственников. Кто знает, как много общего есть между их психикой и нашей – хотя бы в силу нашего с ними единого происхождения?

Самцы орангутанов – одиночки и бродяги, тогда как самки предпочитают более оседлый образ жизни, каждая на своей территории. Самец может монополизировать одну, две или даже больше таких территорий, хотя у крупных монополий есть существенный минус – они влекут за собой необходимость постоянно отгонять соперников. Когда миссия завершена и самка рождает детеныша, самец исчезает, но может вернуться через несколько лет, когда беременность будет снова возможна^[73]. До тех пор он даже не пишет письма.

Цель самца гориллы – стать вожаком стаи, объединяющей нескольких взрослых самок, их юное потомство и, может быть, даже несколько молодых самцов. Только доминантный самец имеет доступ к самкам, а потому юные самцы вынуждены соблюдать дистанцию (впрочем, по мере старения вожак может добровольно передать им

часть своих «супружеских» обязанностей)^[74]. С другой стороны, вожак обязан противостоять чужим самцам, каждый из которых стремится отбить одну или несколько его самок и, следовательно, настроен весьма решительно и агрессивно.

Жизнь самца шимпанзе тоже полна драк и поединков. Он пытается забраться на высшую ступень иерархии, которая сложнее и гибче по сравнению с иерархией горилл. И опять же, доминирующий самец, без устали охраняющий свой ранг посредством нападок, запугиваний и хитрости, первым получает право на любую самку – прерогатива, которой он с особым рвением пользуется в период овуляции^[75].

Карликовые шимпанзе, или бонобо (в действительности это другой вид, не шимпанзе), пожалуй, самые эротичные из всех приматов. Их половая жизнь принимает разные формы и часто никак не связана с размножением. Периодическое гомосексуальное поведение (самки, например, часто трутся гениталиями друг о друга), скорее всего, просто способ сказать: «Давай будем друзьями». И все же, если говорить в общем, социополовой контур бонобо отражает таковой у обычных шимпанзе: выраженную иерархию самцов, определяющую доступ к самкам^[76].

Среди огромного многообразия социальных структур у этих видов проглядывает (пусть даже в минимальной форме) главная тема настоящей главы – если самцы отчаянно жаждут заняться сексом и прилагают к этому все усилия, то самки стараются гораздо меньше. Это не значит, что самкам не нравится секс. Они обожают секс и нередко сами его иницируют. Как ни странно, самки видов, наиболее близких к человеку – шимпанзе и бонобо, особенно склонны к вольной половой жизни, в том числе и частой смене партнеров. И все-таки самки человекообразных обезьян не делают того, что делают самцы: не ищут секс повсюду, не рискуют ради него жизнью и конечностями и не стремятся спариться с максимально возможным количеством партнеров в любом месте в любое время.

Выбор самки

Тот факт, что самки человекообразных обезьян более сдержанны, чем самцы, необязательно означает, что они активно выбирают потенциальных партнеров. Партнеров, конечно, выбирают; самцы, доминирующие над другими, спариваются, а самцы, над которыми доминируют, спариваются не всегда. Это соревнование – как раз то, что имел в виду Дарвин, определяя один из двух видов полового отбора; эти виды (так же, как и наш) лишней раз доказывают, что он благоволил эволюции крупных, грубых самцов. Но что насчет другого вида полового отбора? Какое участие принимает самка в выборе наиболее многообещающего вкладчика в ее проект?

Роль самки в выборе самца определить не так-то просто, а его результаты часто носят двусмысленный характер. Самцы больше и сильнее самок только потому, что более крепкие самцы победили своих соперников и добились спаривания? Или самки заведомо предпочитали самцов покрепче, ибо самки с этими генетически заложенными предпочтениями давали более сильных и, следовательно, более плодовитых сыновей, чьи многочисленные дочери затем унаследовали вкусы бабушек?

Несмотря на вышеобозначенные трудности, можно утверждать, что в том или ином смысле самки привередливы у всех видов человекообразных обезьян. Самка гориллы, например, которая в целом ограничена сексом с одним доминантным самцом, рано или поздно эмигрирует. Когда незнакомый самец приближается к стае, провоцируя вожака на взаимные угрозы или даже драку, самка (если, конечно, он произведет на нее достаточно сильное впечатление) может последовать за ним^[77].

В случае с шимпанзе дело обстоит сложнее. Доминирующий самец вправе спариваться с любой самкой, но необязательно потому, что она сама его предпочитает; он просто-напросто исключает альтернативы, пугая других самцов. Он может напугать и самку, и тогда склонность отвергать самцов более низкого ранга будет отражать только страх. (Правда, стоит альфа-самцу отвернуться, как всякое презрение исчезает^[78].) Однако есть у шимпанзе и совершенно другой тип спаривания – длительная связь, которая вполне может быть прототипом человеческих отношений. Самка и самец шимпанзе покидают стаю на несколько дней или даже недель. И хотя самка может быть похищена насильно, иногда она успешно сопротивляется

самцу, а иногда предпочитает мирно согласиться, причем даже в тех случаях, когда другие самцы с радостью помогли бы ей отделаться от навязчивого ухажера^[79].

В целом даже немирный путь допускает определенный выбор. Хороший пример – самки орангутана, которые часто выказывают активное предпочтение одних самцов другим. Правда, временами даже они отказываются спариваться; в таких случаях самцу ничего не остается, кроме как прибегнуть к силе и – насколько это слово может быть применимо к нелюдям – изнасиловать объект своего желания. Данные показывают, что «насильники» (часто подростки) обычно не оплодотворяют самку^[80]. Однако предположим, что им это удастся регулярно. Тогда, с сугубо дарвинистской точки зрения, в интересах самки спариться с хорошим насильником – большим, сильным, сексуально агрессивным самцом; во всяком случае, это какая-никакая гарантия того, что ее потомство мужского пола тоже будет большим, сильным и сексуально агрессивным (при условии, что сексуальная агрессивность частично варьирует из-за генетических различий), а потому плодовитым. Таким образом, естественный отбор должен благоприятствовать сопротивлению самки; фактически это способ избежать рождения детенышей, которые окажутся неприспособленными к насилию (при условии, что такое поведение не причиняет физического вреда самке).

Это не означает, что самка примата, несмотря на все ее протесты, «на самом деле хочет любви», как это обычно толкуют человеческие самцы. Напротив, чем больше самка орангутана «хочет любви», тем меньше она будет сопротивляться. То, чего «хочет» естественный отбор, и то, чего хочет конкретный индивид, необязательно должно совпадать; в данном случае они находятся в конфликте друг с другом. Суть в том, что, даже когда самки не выказывают открытых предпочтений определенных типов самцов, на практике такие предпочтения существуют. И этот выбор де-факто может быть выбором де-юре. Это может быть адаптация, одобренная естественным отбором *именно в силу* такого фильтрующего эффекта.

В широком смысле та же логика вполне применима ко всем видам приматов. Как только самки в целом начинают проявлять признаки сопротивления, самка, которая сопротивляется чуть больше остальных, демонстрирует ценный признак. Какие бы качества ни

требовались самцу для преодоления такого сопротивления, у сыновей «несговорчивых» матерей больше шансов их заполучить, чем у сыновей покладистых. (Опять-таки предполагается, что степень обладания качествами, позволяющими сломить сопротивление самок, отражает базовые генетические различия.) Таким образом, с чисто дарвинистских позиций, робость – сама по себе награда. И это верно вне зависимости от того, каким именно образом самец намерен покорить самку – силой или словами.

Животные и бессознательное

Стандартная реакция на дарвинистский подход к сексу звучит примерно так: о, он отлично объясняет поведение животных, но не человека. Некоторые люди могут посмеиваться над самцом индюка, пытающегося совокупиться с грубой копией головы индюшки, однако они, возможно, не увидят связи с тем, что многие мужчины регулярно возбуждаются, глядя на двумерные изображения голых женщин. В конце концов, мужчина знает, что смотрит всего лишь на фотографию; его поведение может вызывать жалость, но оно не смешно.

Хотя... если он «знает», что это фотография, почему он так реагирует? И почему женщины так редко мастурбируют, глядя на фотографии мужчин?

Нежелание объединять людей и индюков под одним набором дарвиновских правил имеет свои основания. Да, наше поведение находится под более тонким, вероятно, более «сознательным» контролем, чем поведение индюка. Мужчины могут решить не возбуждаться при виде чего-либо – или, по крайней мере, могут решить не смотреть на то, что их точно возбудит. Иногда они даже остаются верны этим решениям. И хотя индюки тоже в состоянии «принимать» нечто похожее на такие решения (индюк, за которым гонится человек с ружьем, скорее всего, решит, что сейчас не время для романтики), совершенно очевидно, что сложность и тонкость альтернатив, доступных людям, не имеют аналогов в животном царстве. То же относится и к нашему обдуманному стремлению к долгосрочным целям.

Вышеизложенное выглядит очень логично, и в каком-то смысле так и есть. Однако это вовсе не значит, что оно не отвечает дарвинистским интересам. Обывателю может показаться естественным то, что эволюция рефлексивного, самосознающего мозга освобождает нас от диктата эволюционного прошлого. Для биолога-эволюциониста же очевидным является прямо противоположное: человеческий мозг эволюционировал не для того, чтобы спасти нас от мандата выживать и размножаться, а для того, чтобы следовать ему более эффективно, более гибко; по мере нашего превращения из вида, самцы которого силой овладевают самками, в вид, самцы которого шепчут самкам приятные глупости, это шептание будет подчиняться той же логике, что и насилие – ведь это способ манипулирования самкой в интересах самца, и его форма отвечает данной функции. Базовые эманации естественного отбора преломляются от более старых, глубинных частей нашего мозга в новую нервную ткань. На самом деле эта новая ткань никогда бы не возникла, если бы она противоречила основным принципам естественного отбора.

Конечно, с тех пор, как пути наших предков разошлись с путями предков человекообразных обезьян, произошло многое. Более того, не нужно особого воображения, чтобы представить те изменения в эволюционном контексте, что вырвали нашу линию из логики, вносящей столь выраженный дисбаланс в романтические интересы самцов и самок у большинства видов. Не забудьте о морских коньках, морских бекасах, панамском древолазе и мормонском сверчке с их реверсированными половыми ролями. Другой пример – менее радикальный, но более близкий к нам – гиббоны, наши родственники-приматы, чьи предки распрощались с человеческими около двадцати миллионов лет назад. В какой-то момент эволюции гиббонов обстоятельства начали поощрять обширный родительский вклад самцов, которые постоянно находятся рядом и помогают заботиться о детенышах. Самцы одного из видов даже носят своих младенцев, что абсолютно не свойственно самцам других человекообразных обезьян. Что же касается брачной гармонии, то пары гиббонов громко поют дуэтом по утрам, намеренно афишируя свою семейную стабильность для сведения потенциальных разлучников^[81].

Что ж, самцы человека, как известно, тоже носят младенцев и остаются со своими семьями. Возможно ли, что за последние

несколько миллионов лет с нами произошло примерно то же самое, что и с гиббонами? Не совпали ли сексуальные аппетиты мужчин и женщин настолько, что моногамный брак стал разумной целью?

Глава 3

Мужчины и женщины

Поэтому, бросив взгляд довольно далеко в область прошлого и судя по общественным нравам человека в его теперешнем состоянии, наиболее вероятный взгляд будет, что первобытный человек жил маленькими обществами, причем каждый мужчина жил с одной женой или, будучи сильным, имел несколько жен и ревниво оберегал их от всех других мужчин. Или же он мог быть не общественным животным и жить с несколькими женами отдельно подобно горилле.

«Происхождение человека» (1871)
[182](#).

Одна из наиболее воодушевляющих идей, вытекающих из эволюционного взгляда на секс, состоит в том, что люди – это парный вид. Некоторые любители крайностей утверждают, что мужчины и женщины созданы для пожизненной моногамной любви. Однако подобное представление не есть результат пристального изучения древних условий.

Гипотезу парных союзов популяризовал Десмонд Моррис в 1967 году в книге «Голая обезьяна». Данный труд, наряду с некоторыми другими трудами 1960-х годов (например, «Территориальным императивом» Роберта Ардри), представляет собой своеобразный поворотный пункт в истории эволюционной мысли. Хотя обширная читательская аудитория свидетельствовала о том, что общество открыто дарвинизму, который, наконец, очистился от политического подтекста, ни одна из этих книг не могла породить дарвинистский

ренессанс в академической среде. Проблема оказалась проста: все они были лишены здравого смысла.

Один такой пример содержится в самой аргументации парных союзов, которую приводит Моррис. В частности, он пытается объяснить, почему женщины обычно верны своим партнерам. Это и правда хороший вопрос (если, конечно, вы верите, что так оно и есть). Дело в том, что в животном мире верность – скорее исключение, нежели правило. Хотя самки многих видов в целом менее развратны, чем самцы, они далеко не скромницы. Особенно это верно в отношении наших ближайших родственников – человекообразных обезьян. Временами самки шимпанзе и бонобо ведут себя как настоящие секс-машины. Рассуждая на тему удивительной добродетельности женщин, Моррис ссылается на половое разделение труда в экономике древних обществ охотников и собирателей. «Прежде всего, – писал он, – самцам следовало быть уверенными, что оставленные ими самки будут им верны, пока они охотятся. Поэтому самкам пришлось выработать в себе стремление к сохранению брачного союза»^[83].

Стоп. *Женская* верность была в репродуктивных интересах *мужчин*? И естественный отбор любезно произвел в женщинах необходимые изменения? К сожалению, Моррис так и не объясняет, как именно он мог совершить столь благородный подвиг.

Возможно, несправедливо сваливать всю вину на одного только Морриса. Он стал жертвой своей эпохи. А главной проблемой этой эпохи была атмосфера гипертелеологического мышления. В книгах Морриса и Ардри естественный отбор фактически уподоблен разумному существу: у читателя складывается впечатление, будто он способен заглянуть в будущее, решить, что нужно сделать для блага вида, и предпринять необходимые меры. Однако естественный отбор так не работает. Он не заглядывает вперед и не пытается никого осчастливить. Каждый отдельный, крошечный, вслепую сделанный шаг либо имеет смысл с точки зрения генетической выгоды, либо нет. Если нет, вы вряд ли будете читать о нем миллион лет спустя. Такова главная мысль книги Джорджа Уильямса, написанной им в 1966 году, – мысль, которая только-только начала пускать корни в сознании общественности, когда на свет появилось сочинение Морриса.

Ключом к хорошему эволюционному анализу, подчеркивал Уильямс, является акцент на судьбе рассматриваемого гена. Если «ген верности» (или «ген неверности») формирует поведение женщины таким образом, чтобы оно максимально содействовало эффективной передаче множества *ego* копий в будущие поколения, тогда этот ген по определению должен процветать. С чьими генами смешается этот ген в процессе размножения – мужа или почтальона, – само по себе не имеет значения. С точки зрения естественного отбора стодится любой носитель. (Конечно, когда мы говорим о «гене» чего-либо – верности, неверности, альтруизма, жестокости, мы намеренно упрощаем дело; сложные признаки есть результат взаимодействия многих генов, каждый из которых некогда внес существенный вклад в приспособленность вида.)

Взяв за основу этот более строгий взгляд на естественный отбор, современные эволюционисты тщательно проанализировали вопрос, который мучил Морриса: действительно ли мужчины и женщины от рождения склонны заключать длительные брачные союзы друг с другом? Едва ли ответом будет безоговорочное «да» – в отношении любого пола. И все же у людей ответ более приближен к «да», чем, скажем, у шимпанзе. Во всех человеческих культурах, известных антропологам, брак – будь то моногамный или полигамный, постоянный или временный – норма, а семья – атом социальной организации. Отцы во всем мире любят своих детей. Ничего такого нельзя сказать про самцов шимпанзе или бонобо, которые, похоже, понятия не имеют, какие детеныши – их собственные. Именно эта любовь побуждает отцов кормить, защищать и учить своих отпрысков разным полезным вещам^[84].

Другими словами, в какой-то момент нашей эволюционной истории мы перешли к обширному *отцовскому вкладу*. Для человеческого вида, как говорят в зоологической литературе, характерен высокий родительский вклад самцов. Он не настолько велик, чтобы затмить вклад матерей, но намного выше, чем средний отцовский вклад, свойственный другим приматам. У нас в самом деле есть нечто общее с гиббонами, и это нечто крайне важно.

Высокий отцовский вклад не только помогает согласовывать повседневные цели мужчин и женщин, тем самым периодически становясь источником великой радости; он также порождает новые

противоречия, причем как в период ухаживаний, так и в период брака. В своей статье 1972 года Роберт Триверс пишет: «В сущности, мужской и женский пол можно рассматривать как разные виды, для которых противоположный пол есть ресурс, необходимый для производства максимально жизнеспособного потомства»^[85]. Хотя данное утверждение следует воспринимать исключительно как аналитическое, а не риторическое, предложенная Триверсом метафора отражает суть ситуации: даже при высоком отцовском вкладе (а в некоторой степени как раз *из-за* него) базовая динамика, лежащая в основе отношений между мужчинами и женщинами, сводится к взаимной эксплуатации. Временами складывается впечатление, будто они созданы специально для того, чтобы делать друг друга несчастными.

Высокий отцовский вклад

Существует много причин, почему мужчины склонны помогать растить свое потомство. В нашем недавнем эволюционном прошлом скрыто несколько факторов, которые делают родительский вклад целесообразным с точки зрения мужских генов^[86]. Иными словами, благодаря этим факторам гены, побуждающие мужчину любить своих детей – беспокоиться о них, защищать, обеспечивать всем необходимым, обучать и воспитывать, – могли процветать за счет генов, которые побуждали к отстраненности.

Первый фактор – уязвимость потомства. Базовая сексуальная стратегия самцов – соблазнять все, что попадает в их поле зрения, а затем исчезать – не принесет большой пользы генам, если потомство тут же съедят. Похоже, это одна из причин, почему многие виды птиц моногамны (по крайней мере, относительно моногамны). Яйца, оставленные без присмотра, пока мать ищет червячков, долго не протянут. Выйдя из лесов в саванну, наши предки попали на радар шустрых и сильных хищников. И вряд ли то была единственная опасность, грозившая их детенышам. По мере того как представители нашего вида становились умнее, женская анатомия столкнулась с любопытным парадоксом. С одной стороны, вертикальное положение

тела при ходьбе подразумевало узкий таз и, следовательно, узкие родовые пути, а с другой – головы младенцев только увеличивались. Вероятно, именно поэтому в сравнении с другими приматами человеческие младенцы рождаются преждевременно. С самого раннего возраста детеныш шимпанзе может самостоятельно цепляться за мать и не мешает ей передвигаться. Человеческие младенцы, напротив, значимо препятствуют поискам еды. В течение многих месяцев они – комочки беспомощной плоти, приманка для тигра.

Тем временем генетическая выгода от мужского вклада росла, а ее стоимость снижалась. Скорее всего, охота играла важную роль в нашей эволюции. Мужчины, которые приносили большие куски белка, легко могли прокормить свое семейство. Как известно, моногамия более распространена среди плотоядных млекопитающих, чем среди вегетарианцев. Совпадение? Едва ли.

Вдобавок по мере увеличения человеческого мозга моногамность, вероятно, оказалась в прямой зависимости от раннего культурного программирования. Дети с двумя родителями явно имели образовательное преимущество перед детьми, которых воспитывала только мать.

Что характерно, естественный отбор, судя по всему, «провел» соответствующие расчеты и, вычислив рентабельность сего предприятия, преобразовал результаты в чувство – а именно в любовь. И не только любовь к *детям*; первый шаг к превращению в устойчивую родительскую единицу – и для мужчины, и для женщины – это сильное взаимное влечение. Генетическая выгода от наличия двух родителей, всецело преданных благополучию ребенка, – вот основная причина, почему мужчины и женщины могут млеть друг от друга, причем в течение весьма длительных периодов.

До недавнего времени это утверждение сочли бы ересью. «Романтическую любовь» считали изобретением западного общества; науке известно несколько культур, в которых выбор партнера не имел никакого отношения к любви, а секс был никак не связан с эмоциями. Однако позднее антропологи, памятуя о дарвинистской логике, лежащей в основе привязанности, вновь проанализировали эти данные и усомнились в первоначальных выводах^[87]. Любовь между мужчиной и женщиной явно имеет врожденную природу. В этом

смысле гипотеза «парных союзов» получила весомую поддержку, хотя и совсем по другим причинам, чем представлял себе Десмонд Моррис.

В то же время термин «парный союз» – и, раз уж на то пошло, термин «любовь» – подразумевает некое постоянство и симметрию, которые, как может убедиться всякий, кто даст себе труд взглянуть на наш вид со стороны, гарантированы не всегда. Чтобы оценить, насколько велика пропасть между идеализированной любовью и реальной версией любви у людей, нам следует поступить так, как поступил Триверс в своей статье 1972 года: сосредоточиться не на самой эмоции, а на абстрактной эволюционной логике, которую она воплощает. Каковы генетические интересы самцов и самок у видов с внутренним оплодотворением, длительным сроком беременности, длительной зависимостью младенца от молока матери и достаточно высоким родительским вкладом самца? Тщательный анализ этих интересов поможет прояснить, как эволюция не только изобрела романтическую любовь, но и с самого начала извратила ее.

Чего хотят женщины?

Как мы уже видели, для видов с низким родительским вкладом самцов базовая динамика ухаживаний проста: если самец попросту жаждет секса, то самка не так уверена в своем желании^[88]. Ей может потребоваться некоторое время, чтобы (бессознательно) оценить качество генов потенциального кандидата; для этого она либо пристально изучает его, либо наблюдает его борьбу с другими самцами. Кроме того, она может медлить, дабы взвесить вероятность наличия у него какой-нибудь болезни или, пользуясь высоким спросом на ее яйцеклетки, попытаться выклянчить перед спариванием подарок. Это «свадебное подношение», которое технически можно считать первым родительским вкладом со стороны самца, наблюдается у самых разных видов, от приматов до комаровок. (Самка комаровки, например, требует от ухажера мертвое насекомое, которое она будет поедать во время спаривания. Если она съест подарок прежде, чем самец закончит, она нередко отправляется на поиски

другой пищи, оставив последнего ни с чем. Если же она окажется не настолько проворной, самец может забрать остатки для последующих свиданий^[89].) Подобные требования самок, как правило, удовлетворяются достаточно быстро; иными словами, у животных нет никаких причин растягивать ухаживания на недели.

Но что, если ввести в уравнение высокий родительский вклад самца – не только во время совокупления, но и после рождения детенышей? В этом случае самку должен интересовать не только генетический вклад самца (или бесплатная еда), но и то, что он сможет дать потомству после того, как оно появится на свет. В 1989 году психолог-эволюционист Дэвид Басс опубликовал исследование брачных предпочтений в тридцати семи культурах по всему миру. Выяснилось, что во всех этих обществах женщины придавали финансовым перспективам партнера гораздо большее значение, чем мужчины^[90].

Это не означает, что женщины в принципе склонны предпочитать *богатых* мужчин. Большинство обществ охотников и собирателей не могут похвастаться ни обширными запасами ресурсов, ни институтом частной собственности. Действительно ли они отражают анцестральную среду, спорно; в течение последних нескольких тысячелетий охотников и собирателей упорно выталкивали с плодородных земель в маргинальные зоны обитания, а потому их едва ли можно рассматривать в качестве современных аналогов наших предков. Но если все мужчины в анцестральной среде были одинаково обеспечены (точнее, малообеспечены), женщины могли быть врожденно настроены не столько на богатство мужчины, сколько на его социальный статус. В обществах охотников и собирателей статус часто преобразуется во власть – а именно главную роль в разделе ресурсов, например туши крупной добычи. В современных обществах богатство, статус и власть часто идут рука об руку и, судя по всему, образуют весьма привлекательный пакет в глазах среднестатистической женщины.

Кроме того, многие женщины находят многообещающими амбициозность и трудолюбие; согласно Бассу, и эти предпочтения носят интернациональный характер^[91]. Конечно, амбиции и трудолюбие суть своеобразные показатели генетического качества, а потому будут желанны даже у видов с низким родительским вкладом самцов. Что же касается *готовности* самца вкладывать в потомство,

то тут дела обстоят не так просто. Самка вида с высоким родительским вкладом самца прежде всего должна искать признаки щедрости, надежности и, главное, верности. Так, всем известно, например, что цветы и другие знаки внимания ценятся женщинами гораздо больше, чем мужчинами.

Почему женщины с таким подозрением относятся к мужчинам? В конце концов, разве самцы вида с высоким отцовским вкладом не созданы для того, чтобы обзавестись хозяйством, купить дом и стричь лужайку каждые выходные? Здесь возникает первая проблема с такими понятиями, как любовь и парный союз. Самцы видов с высоким отцовским вкладом, как это ни парадоксально, способны на большее вероломство, чем самцы видов с низким отцовским вкладом. Как замечает Триверс, «оптимальной линией поведения самца» является «смешанная стратегия»^[92]. Даже если конечная цель – длительные инвестиции, тактика «соблазнить и исчезнуть» может иметь генетический смысл (при условии, что она не требует большого количества времени и ресурсов, которые иначе были бы вложены в «законного» потомка). Внебрачные дети могут процветать и без отцовского участия, к примеру, преспокойно пользоваться ресурсами какого-нибудь бедолаги, искренне верящего, что это его отпрыски. Получается, самцы видов с высоким отцовским вкладом всегда должны быть готовы к сексу на стороне.

Разумеется, точно так же следует поступать и самцам видов с низким отцовским вкладом. Однако в данном случае ни о какой эксплуатации речи не идет: самка заведомо не может получить больше от другого самца. У видов с высоким отцовским вкладом такая возможность у самки есть. Более того, неспособность получить максимум от любого самца может обойтись ей весьма дорого.

Таким образом, противоречивые цели – избегание эксплуатации со стороны самок и стремление к ней со стороны самцов – порождают эволюционную гонку вооружений. Естественный отбор благоволит и самцам, которым хорошо удается обманывать самок насчет своей будущей верности, и самкам, которым хорошо удается распознавать такую ложь. При этом чем убедительнее врет одна сторона, тем пронцательней становится другая. В результате возникает порочная спираль предательства и осторожности, которая у одного – достаточно

сообразительного и хитрого – вида приобретает форму нежных поцелуев, бормотания всяких ласковых слов и наивных сомнений.

По крайней мере, это порочная спираль в *теории*. Выйти за пределы теоретических рассуждений в царство конкретных фактов – и на самом деле увидеть изнанку поцелуев и нежностей – не так-то просто. Психологи-эволюционисты достигли в этом лишь весьма и весьма скромных успехов. Хотя одно исследование показало, что мужчины (по их собственным словам) гораздо чаще женщин притворяются более добрыми, искренними и преданными, чем они есть на самом деле^[93]. Впрочем, такая разновидность обманчивой рекламы – лишь половина истории; добраться до другой половины намного сложнее. Как отметил Триверс в 1976 году, спустя четыре года после публикации своей эпохальной статьи, один из наиболее эффективных способов обмануть кого-то – поверить в ложь самому. В нашем контексте это фактически означает ослепнуть от любви – ощущать глубокую привязанность и влечение к женщине, которая после нескольких месяцев секса может показаться куда менее восхитительной^[94]. Таков надежный аварийный люк для мужчин, предпочитающих искусно соблазнить, а потом бросить. «Тогда я ее любил!» – трогательно вздыхают они в ответ на упреки.

Это не значит, что любовь мужчины хронически иллюзорна, что каждое увлечение – тактический самообман. Иногда мужчины в самом деле держат свое слово и хранят верность. Кроме того, в некотором смысле заведомая стопроцентная ложь невозможна априори. Ни одному влюбленному не дано знать – будь то на сознательном или бессознательном уровне, – что уготовило для него будущее. Может, года через три объявится генетически более перспективный партнер; а может, удача отвернется и супруга – какая бы она ни была – останется для него единственной надеждой на размножение. Тем не менее в условиях неопределенности – когда ни один из партнеров не в силах заранее просчитать, как долго будет верен ему другой, – естественный отбор, скорее всего, предпочтет ошибаться в сторону преувеличения – если, конечно, такая ошибка делает секс более вероятным, но не слишком дорогостоящим предприятием.

А в социальной среде нашей эволюции, судя по всему, секс таки требовал кое-каких издержек. Уехать из города или даже деревни

было непросто, а потому расплата за откровенно ложные обещания настигала вруна достаточно быстро – либо в форме сниженного доверия, либо в форме сокращения продолжительности жизни; антропологические архивы пестрят историями о мужчинах, мстивших за преданную сестру или дочь^[95].

Кроме того, женщин, которых теоретически можно было предать, в Древнем мире насчитывалось существенно меньше, чем в нынешнем. Как отмечает Дональд Саймонс, в типичном обществе охотников и собирателей каждый мужчина, способный заполучить себе жену, делал это, в результате чего почти каждая женщина оказывалась замужем к моменту достижения половой зрелости. Очевидно, в анцестральной среде не существовало одиночек, кроме разве что девочек-подростков, находящихся в бесплодной стадии между первой менструацией и достижением фертильности. Саймонс полагает, что образ жизни современного любвеобильного холостяка, соблазняющего и бросающего доступных ему женщин одну за другой, не есть четкая сексуальная стратегия, развившаяся в ходе эволюции. Просто-напросто именно это случается, когда вы берете психику самца с ее склонностью к частой смене половых партнеров и переносите ее в большой город, где на каждом углу продаются противозачаточные средства.

И все-таки, даже если анцестральная среда отнюдь не изобиловала одинокими «брошенками», бормочущими «все мужики – сволочи», у женщин имелись веские причины остерегаться мужчин, преувеличивающих свою преданность. В большинстве обществ охотников и собирателей разводы допустимы; зачав одного-двух малышей, мужчины иногда собирают вещички и отправляются покорять новые «вершины», а то и вовсе могут перебраться в соседнюю деревню. Один из распространенных вариантов – полигамия. Мужчина может клясться в том, что невеста – смысл его жизни, но спустя какое-то время после свадьбы тратить уйму времени на соблазнение другой жены. Порой ему это даже удается, и дети первой супруги лишаются львиной доли ресурсов. Учитывая такие перспективы, гены женщины только выиграют, если она научится тщательно и заблаговременно оценивать вероятную преданность будущего мужа. В любом случае оценка преданности мужчины представляется неотъемлемой частью женской психологии. Что же

касается мужской психологии, то она склонна вводить женщин в заблуждение по этому вопросу.

То, что мужская преданность – ресурс ограниченный, что каждый мужчина может инвестировать в потомство определенное количество времени и энергии, – одна из причин, почему самки нашего вида ведут себя столь нетипично по сравнению со всем остальным животным миром. Самки видов с *низким* отцовским вкладом практически не конкурируют друг с другом. Даже если выбор большинства из них пал на одного-единственного, генетически оптимального самца, то он с удовольствием уважит каждую; спаривание обычно не отнимает много времени. У видов с высоким родительским вкладом самца, включая человека, идеал самки – *монополизировать* самца ее мечты вместе с его социальными и материальными ресурсами, а потому соперничество с другими представительницами женского пола неизбежно. Другими словами, высокий родительский вклад самца заставляет половой отбор работать сразу в двух направлениях. Не только самцы соперничают за дефицитные яйцеклетки самок, но и самки соперничают за дефицитные инвестиции самцов.

Бесспорно, половой отбор протекает интенсивнее среди мужчин, чем среди женщин, и благоволит разным типам признаков. В конце концов, вещи, которые делают женщины, чтобы заполучить доступ к ресурсам мужчин, отличаются от вещей, которые делают мужчины, чтобы заполучить сексуальный доступ к женщинам. (Самый очевидный пример: в отличие от мужчин, женщины не рассчитаны на физическое противоборство друг с другом). Главное в другом: что бы ни делал каждый пол, дабы получить желаемое от другого пола, он должен делать это с рвением и энтузиазмом. Самки видов с высоким отцовским вкладом вряд ли будут пассивны и наивны. Но они точно будут естественными врагами друг друга.

Чего хотят мужчины?

Едва ли можно сказать, что самцы видов с высоким отцовским вкладом демонстрируют выраженную избирательность в выборе половых партнеров; скорее, они *избирательно* избирательны. С одной

стороны, представься им такая возможность, они будут заниматься сексом со всем, что движется, как и самцы видов с низким отцовским вкладом. С другой стороны, когда дело доходит до поисков самки для долговременного предприятия, рассудительность не мешает. Поскольку в течение жизни самцы могут предпринять только ограниченное количество таких предприятий, на гены партнера – гены выносливости, ума и прочего – стоит обратить внимание.

Данная особенность нашла свое отражение в одном из исследований 1990-х годов. В рамках исследования мужчин и женщин спрашивали о минимальном уровне интеллекта, которым должен обладать человек для «свиданий». Самый распространенный ответ и мужчин, и женщин звучал так: средний интеллект. Затем респондентам задавали вопрос, насколько умным должен быть человек, с которым они бы согласились иметь половые отношения. Женщины говорили: о, в этом случае заметно *выше* среднего. Мужчины говорили: о, в этом случае заметно *ниже* среднего^[96].

Во всех других отношениях ответы мужчин и женщин более или менее совпадали. Партнер для «постоянных встреч» должен был быть гораздо умнее среднего, а потенциальный супруг еще умнее. Это открытие, опубликованное в 1990 году, подтвердило гипотезу, сформулированную Триверсом в статье 1972 года. У видов с высоким родительским вкладом самца, писал он, «самец должен различать самок, которых он только оплодотворит, и самок, с которыми он будет растить потомство. При выборе первых он должен испытывать более сильное сексуальное влечение и быть менее привередлив, чем самка; при выборе вторых – так же привередлив, как самка»^[97].

Триверс понимал, что если не интенсивность, то сама природа такого различия у самцов и самок должна быть разной. Хотя оба пола стремятся к генетическому качеству, в других плоскостях их вкусы могут не совпадать. Если у женщин есть веские причины обращать внимание на способность мужчины обеспечивать ее всем необходимым, то у мужчин есть веские причины обращать внимание на способность женщины рожать детей. Следовательно, важное значение имеет возраст: фертильность плавно снижается по мере приближения к менопаузе, после которой резко падает. Психологи-эволюционисты сильно удивятся, если женщина после менопаузы вдруг окажется сексуально привлекательна для типичного мужчины.

(Согласно Брониславу Малиновскому, жители островов Тробриан находят секс со старой женщиной «неприличным, нелепым и неэстетичным»^[98].) Возраст важен даже до наступления менопаузы – особенно для длительных отношений; чем моложе женщина, тем больше детей она может выносить. Во всех 37 культурах, исследованных Бассом, мужчины предпочитали женщин помоложе (а женщины – мужчин постарше).

Важность молодости у женщины помогает объяснить мужскую заинтересованность в физической привлекательности супруги (которую Басс также обнаружил во всех 37 культурах). У типичной «красивой женщины» (в рамках одного из исследований ученые объединили предпочтения разных мужчин) большие глаза и маленький нос. Поскольку по мере старения глаза женщины будут казаться меньше, а нос – больше, эти составляющие «красоты» можно считать своеобразными маркерами молодости и, следовательно, фертильности^[99]. Женщины менее придирчивы к внешности; пожилой мужчина, в отличие от пожилой женщины, скорее всего фертилен.

Другая причина относительной гибкости женщин в вопросах мужской симпатичности может заключаться в том, что у женщин есть другие поводы для беспокойства. Например: будет ли данный конкретный мужчина обеспечивать детей всем необходимым? Увидев красивую женщину рядом с уродливой женщиной, мы часто полагаем, что он либо обладает толстым кошельком, либо высоким статусом. На самом деле исследователи не только доказали экспериментальным путем, что люди действительно склонны к такому выводу, но и что этот вывод нередко соответствует истине^[100].

Что касается оценки характера – точнее, степени *доверия*, которую заслуживает тот или иной человек, то и здесь мужские предпочтения отличаются от женских, ибо предательство, угрожающее его генам, отличается от предательства, угрожающего ее генам. Если естественный страх женщины – это прекращение инвестиций, то естественный страх мужчины – инвестировать не туда. Век генов мужчины, который тратит время на воспитание чужих детей, недолог. В 1972 году Триверс отметил, что у самцов вида с высоким отцовским вкладом и внутренним оплодотворением «должна развиться

адаптация, помогающая гарантировать, что потомство самки – его собственное»^[101].

Все это может показаться крайне умозрительным – так оно и есть. Однако данную теорию, в отличие от теории о мужской любви как искусном самообмане, легко проверить. Через много лет после того, как Триверс предположил, что мужчины могут от природы обладать встроенной «антирогносной» технологией, Мартин Дали и Марго Уилсон нашли ей подтверждение. Если величайшая дарвинистская опасность для мужчины – адюльтер, а для женщин – «дезертирство», заключили они, то мужская и женская ревность должны отличаться^[102]. Так, главным источником мужской ревности должна быть *сексуальная* неверность; женщина же, хотя она вряд ли будет приветствовать внесемейные похождения супруга, ибо те потребляют время и ресурсы, которые иначе предназначались бы ей, должна больше беспокоиться об *эмоциональной* неверности – разновидности магнетического влечения к другой женщине, которое может еще больше сократить приток ресурсов.

Оба прогноза подтверждаются как народной мудростью, так и накопленными за последние несколько десятилетий научными данными. Что больше всего сводит мужчин с ума, так это мысль о том, что их супруга спит с другим мужчиной; однако, в отличие от женщин, они не закливаются на эмоциональной стороне вопроса. Жены со своей стороны тоже находят сексуальную неверность травмирующей и резко реагируют на нее; впрочем, конечным результатом часто становится кампания по самоусовершенствованию: они сбрасывают лишний вес, делают макияж, «отвоевывают мужа назад». Мужья склонны реагировать на неверность яростью; но даже после того, как она проходит, они часто сохраняют неприязнь, омрачающую отношения с изменщицей^[103].

Оглядываясь назад, Дали и Уилсон заметили, что данный базовый паттерн психологи обнаружили еще до того, как появилась теория родительского вклада. Сегодня психологи-эволюционисты подтвердили его в мельчайших подробностях. Так, Дэвид Басс прикреплял электроды к мужчинам и женщинам и просил их представить своих партнеров, делающих разные неприятные вещи. Когда мужчины представляли себе сексуальную неверность, частота их сердцебиения повышалась, словно после трех чашек кофе, выпитых

подряд. Они потели, морщили брови. У женщин все было наоборот: *эмоциональная* неверность – любовь к другой, а не сам секс, – вызывала более выраженный физиологический дистресс^[104].

В наше время логика, лежащая в основе мужской ревности, претерпела существенные изменения. Сегодня неверные женщины пользуются контрацептивами и, следовательно, не заставляют мужей тратить двадцать лет на заботу о генах другого мужчины. Но ослабление логики явно не привело к ослаблению ревности. Для среднестатистического мужа тот факт, что его жена вставила вагинальный колпачок перед совокуплением со своим тренером по теннису, – слабое утешение.

Классический пример адаптации, пережившей свою логику, – пристрастие к сладкому. Наша любовь к сладкому развилась для среды, в которой существовали фрукты, но не конфеты. Теперь, когда всем известно, что сладкое может привести к ожирению, люди стараются побороть эту страсть, и иногда им даже удается. К несчастью, методы, которыми мы при этом пользуемся, преимущественно носят косвенный характер и требуют немалых усилий; такова наша биология – приятные ощущения, которые вызывает сладкое, почти не поддаются изменению (за исключением, скажем, многократного их сочетания с болезненным ударом током). Аналогичным образом базовый импульс ревности трудно погасить. И все же в той или иной степени люди могут его контролировать; более того, при достаточно веских на то основаниях они могут контролировать даже некоторые проявления ревности, например рукоприкладство. Какие это основания? Скажем, перспектива угодить в тюрьму.

Чего еще хотят женщины?

Прежде чем более подробно исследовать отпечаток, который оставила женская неверность на мужской психике, неплохо бы выяснить, почему эта неверность вообще существует. Почему женщина обманывает мужчину, рискуя вызвать гнев и лишиться инвестиций, хотя это никак не увеличивает численность ее

потомства? Какая награда могла бы оправдать столь опасное предприятие? Как ни странно, на этот вопрос есть больше ответов, чем вы можете себе представить.

Во-первых, следует учесть так называемую теорию «извлечения ресурсов». Если бы женщины в обмен на секс получали подарки, как это делают самки комаровки, то чем больше половых партнеров у них было бы, тем больше подарков они бы получили. Такой логике следуют многие наши ближайшие родственники приматы. Самка бонобо часто предоставляет сексуальные услуги в обмен на кусок мяса. У шимпанзе обмен секса на продовольствие менее эксплицитен, но очевиден; самец шимпанзе охотнее угостит мясом самку с красной набухшей вагиной, сигнализирующей об овуляции^[105].

Женщины, конечно, *не* рекламируют свою овуляцию. Так называемая теория «тайной овуляции» рассматривает ее как адаптацию, продлевающую период, во время которого женщины могут извлекать ресурсы из мужчин. Мужчины дарят женщинам подарки до или после овуляции и получают взамен секс, блаженно не осознавая бесплодность своих стараний. Ниса, женщина из деревни племени кун-сан, откровенно поведала антропологам о пользе множественных половых партнеров. «Один мужчина может дать очень мало. Один мужчина дает только один вид еды. Но когда их несколько, то один приносит одно, а другой – другое. Один приходит ночью с мясом, другой с деньгами, третий с бусинками. Муж тоже добывает вещи и отдает их вам»^[106].

Другая причина, побуждающая женщину спать с несколькими мужчинами (и второе преимущество тайной овуляции), – возможность оставить всех их под впечатлением, что данный конкретный ребенок *может* быть их. У разных видов приматов наблюдается некоторая корреляция между добрым отношением самца к молодняку и шансами на то, что именно он является их биологическим отцом. Доминирующий самец гориллы более или менее уверен, что детеныши в стае – его творение; он заботится о них и защищает (хотя и не так явно, как отцы у людей). На противоположном конце спектра находятся лангуры; в качестве прелюдии к спариванию самец лангура убивает детенышей, зачатых другими^[107]. А что? Резкое прекращение лактации весьма действенно.

Разве есть более эффективный способ заставить самку вернуться к овуляции и сосредоточить все силы на будущем потомстве?

Всякому, у кого возникнет соблазн решительно осудить моральные устои лангуров, следует вспомнить, что детоубийство на почве неверности было допустимо и в различных человеческих обществах. На сегодняшний день известны две культуры, в которых мужчины, беря в жены женщину с прошлым, требовали, чтобы их малыши были убиты^[108]. В обществе охотников и собирателей аче (Парагвай) мужчины иногда совместно решают убить новорожденного, у которого нет отца. Даже если оставить убийство в стороне, жизнь ребенка без любящего папочки едва ли будет легкой и счастливой. Так, у детей племени аче, растущих с отчимами после смерти их биологических отцов, в два раза меньше шансов дожить до пятнадцати лет, чем у детей, оба родителя которых здравствуют и живут вместе^[109]. Следовательно, для женщины в анцестральной среде польза от многочисленных половых партнеров была очевидна: они не только не убивали ее детей, но и всячески их защищали и поддерживали.

Данная логика не зависит от сознательных размышлений половых партнеров. Как показал Малиновский, жители островов Тробриан, подобно самцам гориллы и лангура, не осознают биологического отцовства. И все же поведение самцов во всех трех случаях свидетельствует об имплицитном распознавании. Гены, обеспечивающие подсознательную чувствительность мужчин к признакам того, что данный конкретный ребенок несет его гены, процветали. Ген, который говорит или, по крайней мере, шепчет: «Будь добр к детям, если до их рождения ты часто занимался сексом с их матерью», добьется большего, чем ген, который советует: «Кради еду у детей, даже если до их рождения ты часто занимался сексом с их матерью».

Эту теорию «зерен сомнения», объясняющую женский промискуитет, отстаивала антрополог Сара Блаффер Хрди. Хрди называла себя социобиологом-феминисткой и, вероятно, руководствовалась не только строго научными соображениями, утверждая, будто самки приматов склонны к «соперничеству... и сексуальной напористости»^[110]. Выходит, мужчины-дарвинисты могут с полным правом выдвинуть гипотезу, что самцы созданы для

пожизненных сексуальных марафонов. Научные теории возникают из разных источников. Весь вопрос в том, работают ли они.

Оба этих объяснения женского промискуитета – и теория «извлечения ресурсов», и теория «зерен сомнения» – в принципе применимы как к одинокой женщине, так и к замужней. На самом деле оба имеют смысл даже для видов с низким или нулевым родительским вкладом самца и могут объяснить крайнюю разнузданность самок бонобо или шимпанзе. Но есть и третья теория, которая вытекает из динамики отцовского вклада и, таким образом, особенно справедлива в отношении жен. Это теория «двух зайцев».

У видов с высоким отцовским вкладом самка стремится к двум вещам – хорошим генам и щедрым инвестициям. К сожалению, найти их в одной упаковке удастся не всегда. Одно из решений – обманом заставить преданного, но не слишком мускулистого и мозговитого партнера растить потомство другого мужчины. И тайная овуляция придется здесь как нельзя кстати. Мужчина без труда может оградить свою супругу от оплодотворения конкурентами, если короткая стадия фертильности явно видима; но если она кажется способной к зачатию весь месяц, блюсти ее верность становится не так-то просто. Именно к такого рода неразберихе и должна стремиться женщина, если ее цель – получить ресурсы от одного мужчины, а гены – от другого^[111]. Конечно, женщина может не сознательно стремиться к этой «цели». И даже не сознательно отслеживать момент овуляции. Но так или иначе – сознательно или подсознательно – она это делает.

Теории с упором на подсознательные мотивы могут показаться слишком заумными, особенно людям, не подкованным в циничной логике естественного отбора. Однако некоторые ученые отмечают, что вблизи момента овуляции женщины и правда становятся более активными в сексуальном плане^[112]. Два исследования показали, что женщины, посещающие бары для одиноких, во время или незадолго до овуляции не только надевают больше украшений, но и предпочитают более яркий макияж^[113]. Фактически нечто подобное делает самка шимпанзе, показывая самцам набухшую область вокруг влагалища. Украшения и косметика – реклама, служащая единственной цели: привлечь побольше мужчин, из которых потом можно будет выбрать лучшего. Кроме того, установлено, что такие

женщины действительно склонны иметь более тесный физический контакт с мужчинами в продолжение вечера.

Другое исследование, проведенное британскими биологами Р. Робинсом Бейкером и Марком Беллисом, показало, что женщины, которые обманывают своих партнеров, чаще делают это вблизи момента овуляции. Это наводит на мысль, что на самом деле они охотятся на гены своего тайного возлюбленного, а не только на его ресурсы^[114].

Каковы бы ни были истинные причины, побуждающие женщин обманывать своих партнеров (или, как нейтрально выражаются биологи, «внебрачной копуляции»), нельзя отрицать, что они это делают, и делают не так уж редко. Анализы крови показывают, что в некоторых городских районах более 25 процентов детей, возможно, были зачаты вовсе не тем мужчиной, который указан в графе «Отец». И даже в деревне кун-сан, где, как и в анцестральной среде, практически невозможно скрыть тайную связь, внебрачным оказался каждый пятидесятый ребенок^[115]. Да уж, женская неверность явно имеет длинную историю.

В самом деле, если бы женская неверность не была частью нашей жизни с древнейших времен, то откуда взяться такой маниакальной мужской ревности? С другой стороны, тот факт, что мужчины активно вкладывают в детей своих жен, наводит на мысль, что адюльтер был распространен не так уж и сильно; будь оно иначе, гены, поощряющие такие инвестиции, давно бы зашли в тупик^[116]. Мужская психика – эволюционное свидетельство былого поведения женщин. И наоборот.

На случай, если «психологические» доказательства покажутся кому-то слишком туманными, обратимся к физиологии, а именно к мужским яичкам, точнее, к отношению их среднего веса к весу тела. Шимпанзе и другим видам с высокой относительной массой яичек свойственны «мультисамцовые системы размножения», предполагающие высокую промискуитетность самок^[117]. Виды с низким относительным весом яичек или моногамны (гиббоны, например), или полигиничны (гориллы). (При полигинии один самец монополизирует несколько семейств. Полигамия – более общий термин, предполагающий несколько половых партнеров как у самца, так и у самки.) Объясняется это просто. Когда самки спариваются с разными самцами, мужские гены только выиграют, если их носитель

будет производить большее количество спермы для их транспортировки. Какой самец внедрит свою ДНК в данную конкретную яйцеклетку, может зависеть исключительно от объема, когда конкурирующие орды сперматозоидов вступают в невидимое сражение. Яички самцов такого вида, следовательно, отражают многовековую склонность самок к сексуальным приключениям. У нашего вида относительный вес мужских семенников находится посередине между шимпанзе и гориллой. Это свидетельствует о том, что наши женщины не столь разнузданны, как самки шимпанзе, но от природы склонны к авантюрам.

Конечно, склонность к авантюрам необязательно значит неверность. Возможно, в анцестральной среде у женщин чередовались периоды активной половой жизни (во время которых довольно увесистые мужские яички были оправданы) и периоды преданной моногамности. А может, и нет. Рассмотрим более убедительное свидетельство женского вероломства – непостоянную концентрацию сперматозоидов. Многие полагают, что количество сперматозоидов в эякуляте мужчины зависит только от того, сколько времени прошло после последнего полового контакта. Неправильно. Согласно исследованиям Бейкера и Беллиса, количество сперматозоидов сильно зависит от того, как долго мужчина не видел свою жену^[118]. Чем выше вероятность того, что женщина приняла сперму других мужчин, тем больше собственных «войск» продуцирует супруг. Сам факт, что естественный отбор придумал такое умное оружие, подразумевает, что оно существует не просто так. Любое оружие должно с чем-то бороться, иначе в нем нет никакого смысла.

Помимо прочего, различная концентрация сперматозоидов – доказательство того, что естественный отбор сумел придумать не менее умное *психологическое* оружие, будь то яростная ревность или на первый взгляд парадоксальная склонность некоторых мужчин сексуально возбуждаться при мысли о том, что их супруга лежит в постели с любовником. Одним словом, мужчины склонны рассматривать женщин как имущество. В статье 1992 года Уилсон и Дали писали: «Мужчины предъявляют права на женщин подобно тому, как певчие птицы претендуют на территорию, львы – на убитую добычу, а люди обоих полов – на драгоценности... Собственническое отношение мужчин к женщинам более чем метафора: в супружеской

и коммерческой сферах явно задействованы одинаковые психические алгоритмы»^[119].

Теоретический итог всего этого – очередная эволюционная гонка вооружений. Чем чувствительнее мужчины становятся к признакам измены, тем убедительнее женщины врут, что их обожание граничит с благоговением, а верность не подлежит сомнению. Частично они и сами могут в это поверить – до определенной степени. В самом деле, учитывая последствия раскрытой измены (уход оскорбленного мужа, а то и возможное насилие), женский самообман не должен давать сбоев. С адаптивной точки зрения замужней женщине *сознательно* лучше не заикливаться на сексе, даже если ее подсознание упорно продолжает отслеживать перспективных кандидатов.

Дихотомия «мадонны – блудницы»

«Антирогоносная» технология может пригодиться не только тогда, когда мужчина женат, но и до того – при выборе жены. Если женщины отличаются по своей склонности к промискуитету и если из более промискуитетных обычно получают менее преданные жены, то естественный отбор мог научить мужчин их различать. Неразборчивые женщины предпочтительнее в качестве краткосрочных половых партнерш – чтобы уложить их в постель, требуется не так много усилий. Тем не менее они – плохие жены, сомнительный канал для мужских родительских инвестиций.

Какие эмоциональные механизмы – какой комплекс симпатий и антипатий – естественный отбор мог бы использовать, чтобы заставить мужчин автоматически следовать этой логике? Как отметил Дональд Саймонс, один из кандидатов – пресловутая дихотомия «мадонны – блудницы», склонность мужчин делить женщин на два типа: женщин, которых они уважают, и женщин, с которыми они только спят^[120].

В частности, процесс ухаживания можно представить как процесс отнесения женщины к первой или второй категории. В общих чертах тест сводится к следующему. Встретив женщину, которая кажется генетически достойной ваших инвестиций, начните проводить с ней

максимум свободного времени. Если она увлечена вами, но остается сексуально холодной, не бросайте ее. Если она жаждет секса, уважьте ее любой ценой. Однако, если добиться секса так легко, у вас может возникнуть соблазн переключиться из режима инвестиций в режим эксплуатации. Такое сексуальное рвение может означать, что ее всегда будет легко соблазнить, а это, согласитесь, не самое желательное качество в жене.

Конечно, сексуальный энтузиазм не *обязательно* означает, что женщина будет спать со всеми подряд; возможно, она просто не смогла устоять перед данным конкретным мужчиной. Однако если существует общая корреляция между быстротой, с которой женщина уступает мужчине, и вероятностью, что позднее она его обманет, то эта быстрота – статистически значимый сигнал, имеющий важное генетическое значение. Столкнувшись со сложностью и непредсказуемостью человеческого поведения, естественный отбор делает ставку на более вероятный исход.

Добавим в эту стратегию каплю коварства: мужчина может *склонять* женщину к раннему сексу, за который он в конечном итоге ее же и накажет. Лучшего способа проверить сдержанность, которая так драгоценна в женщине, в чьих детей вы собираетесь вкладывать, не существует.

В своей крайней, патологической форме дихотомизация женщин превращается в *комплекс* «мадонны – блудницы». Его главный симптом – неспособность мужчины заниматься сексом с собственной женой, такой святой она ему кажется. Разумеется, столь нездоровое поклонение естественный отбор едва ли бы одобрил. Впрочем, более распространенная, более умеренная версия дихотомии «мадонны – блудницы» обладает всеми признаками эффективной адаптации. Она побуждает мужчин испытывать восторженную привязанность к сексуально сдержанным женщинам, в которых они хотели бы инвестировать, – ту самую привязанность, без которой эти женщины на секс не согласятся. И она же позволяет мужчинам без зазрения совести эксплуатировать женщин, которых они относят к категории, заслуживающей презрения. Эта общая категория – категория низкого, иногда почти «недочеловеческого» морального статуса, – есть, как мы увидим далее, любимый инструмент естественного отбора; особенно эффективно он используется во время войн.

В интеллигентной компании мужчина часто отрицает, что его мнение об уступившей ему женщине кардинально изменилось. И правильно делает. Такое признание выглядело бы морально реакционным. Даже признание самому себе, и то едва ли пойдет ему на пользу: такому мужчине весьма непросто искренне убеждать женщину, что утром он будет уважать ее по-прежнему (иногда это неотъемлемая часть сексуальной прелюдии).

Многие современные жены могут подтвердить, что секс с мужчиной на ранней стадии ухаживаний отнюдь не исключает перспективу длительной преданности. Мужчина (в основном бессознательно) оценивает вероятность преданности женщины по многим параметрам – ее репутации, того, как она смотрит на других мужчин, насколько честной она кажется вообще. В любом случае, даже в теории, мужская психика не должна превращать девственность в необходимое условие инвестирования. Шансы найти девственную жену варьируют не только от мужчины к мужчине, но и от культуры к культуре – и, если судить по некоторым обществам охотников и собирателей, в анцестральной среде были весьма невелики. Предположительно мужчины рассчитаны на то, чтобы выбирать лучшее из доступного. Хотя в пуританской Англии времен королевы Виктории некоторые мужчины женились исключительно на девственницах, термин «дихотомия мадонны – блудницы» на самом деле просто не очень удачное обозначение весьма гибкой психической тенденции^[121].

И все же подобная гибкость ограничена. При определенном уровне женской промискуитетности мужской родительский вклад становится генетически бессмысленным. Если женщина имеет обыкновение спать каждую неделю с новым мужчиной, тот факт, что так поступают все женщины в данной культуре, не делает из нее хорошую супругу. Разумно предположить, что в таком обществе мужчины должны полностью отказаться от родительских инвестиций и сосредоточиться на попытках переспать с максимально возможным количеством женщин. Иными словами, они должны вести себя как шимпанзе.

Викторианская мораль и самоанцы

От дихотомии «мадонны – блудницы» долго отмахивались как от отклонения, одного из патологических продуктов западной культуры. Питали эту патологию именно викторианцы с их акцентом на девственность и громким презрением к внебрачному сексу. Не исключено, что они сами ее и изобрели. Если бы только мужчины во времена Дарвина могли вести более свободную половую жизнь, подобно мужчинам в незападных, сексуально либеральных обществах, современный мир был бы совсем иным.

Проблема в том, что те идиллические, незападные общества, кажется, существовали только в умах нескольких заблуждающихся, хотя и влиятельных, академиков. Классический пример – Маргарет Мид, которая уже в начале XX века, наряду с другими выдающимися антропологами, подчеркивала гибкость человеческого вида и утверждала, что такой вещи, как человеческая природа, практически не существует. Самая известная книга Мид, «Взросление на Самоа», изданная в 1928 году, произвела настоящую сенсацию. Казалось, антропологи наконец-то отыскали культуру, почти лишенную многих западных пороков: иерархии статусов, рьяного соперничества и ненужной шумихи вокруг секса. Здесь, на островах Самоа, писала Мид, девушки тянут с вступлением в брак столько лет, сколько это возможно. Романтическая любовь «в том ее виде, в каком она встречается в нашей цивилизации, неразрывно связана с идеалами моногамии, однолюбия, ревности, нерушимой верности. Такая любовь незнакома самоанцам»^[122]. Что за замечательное место!

Трудно переоценить влияние Мид на научную мысль XX века. Утверждения о природе человека всегда сомнительны и могут рассыпаться в прах, случись антропологам открыть хотя бы одну культуру, где кое-каких ее фундаментальных элементов не хватает. Большую часть XX века такие утверждения встречали единственным вопросом: «А как насчет Самоа?»

В 1983 году антрополог Дерек Фриман издал книгу под названием «Маргарет Мид и Самоа: рождение и крах антропологического мифа». Фриман провел почти шесть лет на островах Самоа (Мид провела девять месяцев и вначале не говорила на местном языке) и был хорошо знаком с их ранней историей. Его книга нанесла существенный урон антропологической репутации Мид. В книге Фримана Маргарет Мид предстает наивной двадцатитрехлетней

идеалисткой, погрязшей в модном культурном детерминизме; она предпочла не жить среди аборигенов и, опираясь на данные, собранные во время заранее распланированных интервью, искренне верила самоанским девочкам, которые дурачили ее изо всех сил. Фриман атаковал наблюдения Мид по всем фронтам – включая предполагаемое отсутствие борьбы за статус, простые радости подросткового возраста и прочее и прочее. Учитывая цели настоящей книги, нас прежде всего интересует секс: предположительная незначительность ревности, отсутствие у мужчин чувства собственности, кажущееся безразличие мужчин к дихотомии «мадонны – блудницы».

На самом деле при близком рассмотрении пошаговые выводы Мид оказываются менее радикальными, чем ее прилизанные, отполированные обобщения. Она утверждала, что самоанские мужчины испытывают определенную гордость при завоевании девственницы. Она также отметила, что в каждом племени есть церемониальная девственница – девочка благородного происхождения, часто дочь вождя, которую тщательно оберегают, а затем перед браком вручную лишают девственности; кровь при разрыве девственной плевы – доказательство ее целомудрия. Но эта девочка, настаивала Мид, являлась аберрацией; ей не позволялись «свободные и легкие любовные эксперименты», которые считались нормой. Родители низкого социального ранга были «благодушно безразличны к похождениям своих дочерей»^[123]. Как будто между прочим Мид добавляет: «Хотя эта церемония проверки на девственность, теоретически говоря, должна всегда соблюдаться на свадьбах людей всех рангов, ее просто обходят».

Проанализировав весь массив данных, собранных Мид, Фриман подчеркнул определенные вещи, на которые она вообще не обратила внимания. Ценность девственниц была настолько велика в глазах бракоспособных мужчин, писал он, что за девочкой-подростком любого социального ранга следили братья; застукав сестру «с юношей, предположительно имеющим виды на ее девственность», они «бранили ее, а иногда даже били». Что же касается юноши, то обычно он подвергался «свирепому нападению». Молодой человек, которому не везло с женщинами, иногда подкрадывался к девушке ночью, насильственно лишал ее девственности, а затем угрожал

раскрыть ее испорченность, если она не согласится выйти за него замуж (возможно, в форме тайного бегства – верного способа избежать теста на девственность). Женщину, в день свадьбы оказавшуюся не девственницей, называли словом, которое приблизительно можно перевести как «шлюха». В самоанских преданиях лишенная девственности «распутная» женщина уподоблена «пустой раковине, брошенной на берегу после отлива». Песня, исполняемая при церемонии лишения девственности, звучит примерно так: «Все другие не сумели достичь входа, все другие не сумели достичь входа... Он самый первый, он впереди...»^[124] Разумеется, все это – отнюдь не признаки сексуально либеральной культуры.

Сегодня очевидно, что некоторые из предполагаемых западных aberrаций, которые Мид не нашла на островах Самоа, на самом деле были *подавлены* западным влиянием. По настоянию миссионеров, отмечал Фриман, проверка на девственность стала менее публичной – ее проводили в помещении, за ширмой. В «прежние времена», как писала сама Мид, если церемониальная девственница в момент свадьбы оказывалась не девственницей, то «собственные родственники напали бы на нее, побили камнями, изуродовали, а может быть, и смертельно ранили ее за то, что она опозорила их дом»^[125].

То же самое произошло и с ревностью, которую, как подчеркивала Мид, заметно приглушили западные стандарты. Мид писала, что муж, уличивший жену в измене, мог удовлетвориться безвредным ритуалом, который неизменно заканчивался примирением. Обидчик мужа и все мужчины его семьи отправлялись к дому оскорбленного супруга с подарками и сидели у дверей, пока хозяин дома не соизволял простить их и зарыть топор войны за ужином. Конечно, «в старые времена», заметила Мид, оскорбленный мужчина и его родственники «имели право взять дубины и убить сидящих у порога»^[126].

То, что насилие стало менее распространенным под христианским влиянием, есть, разумеется, свидетельство человеческой гибкости. Однако, если мы хотим измерить сложные параметры этой гибкости, прежде всего необходимо уяснить себе ее основу и модифицирующие факторы. Не единожды Мид, наряду с целой когортой культурных

детерминистов середины XX века, толковала наблюдаемые явления с точностью до наоборот.

Исправить ошибки и расставить все по своим местам поможет дарвинизм. Антропологи-дарвинисты нового поколения тщательно прочесывают старые этнографии, проводят полевые исследования и обнаруживают вещи, которые раньше не акцентировали или не замечали. На сегодняшний день вырисовывается несколько кандидатов на «человеческую природу». Один из наиболее жизнеспособных – дихотомия «мадонны – блудницы». В экзотических культурах от островов Самоа до Мангаиа и аче в Южной Америке мужчины ни за что не возьмут в жены женщину, известную своей доступностью^[127]. Кроме того, как показывает анализ фольклора, полярность «хорошая девочка / плохая девочка» – вечно повторяющийся образ и на Дальнем Востоке, и в исламских странах, в Европе, и даже в доколумбовой Америке^[128].

Работая в психологической лаборатории, Дэвид Басс установил, что мужчины качественно различают партнерш для краткосрочных и долгосрочных отношений. Признаки, указывающие на промискуитетность (короткое платье, агрессивный язык тела), делают женщин более привлекательными для краткосрочных отношений и менее привлекательными для долгосрочных. Признаки, свидетельствующие об отсутствии сексуального опыта, работают наоборот^[129].

Сегодня гипотеза о том, что дихотомия «мадонны – блудницы» имеет под собой некую врожденную основу, базируется на теоретических допущениях и многочисленных, хотя и не исчерпывающих, антропологических и психологических наблюдениях. Не нужно сбрасывать со счетов и опыт матерей, которые из века в век твердили дочерям о пользе целомудрия: стоит мужчине заподозрить, что она «такая», как всякое уважение мгновенно улетучивается.

Быстрые и медленные женщины

Деление женщин на мадонн и шлюх – дихотомия, наложенная на континуум. В реальной жизни не существует «быстрых» и «медленных» женщин. Все они промискуитетны в той или иной степени, которая варьирует от «совсем нет» до «весьма и весьма». Таким образом, вопрос, почему одни женщины принадлежат к первому типу, а другие ко второму, не имеет смысла. Иное дело – вопрос, почему одни женщины находятся ближе к одному краю спектра, чем к другому. То есть почему женщины различаются в общей сексуальной сдержанности? И, если уж на то пошло, как насчет мужчин? Почему некоторые мужчины кажутся способными на непоколебимую моногамию, а другим свойственно отклоняться от этого идеала? Это различие – между мадоннами и блудницами, между отцами и подлецами – в генах? Определенно да. Но единственная причина, почему ответ несомненен, кроется в том, что словосочетание «в генах» столь неоднозначно, что по существу бессмысленно.

Начнем с популярной концепции «в генах». Действительно ли одним женщинам, с того самого момента, когда сперматозоид их папы встретился с яйцеклеткой их мамы, суждено быть мадоннами, а другим, соответственно, блудницами? А мужчины? Они уже рождаются либо заботливыми отцами, либо подлецами?

Ответ и для мужчин, и для женщин таков: едва ли, хотя и не исключено. Как правило, естественный отбор не сохраняет одновременно два противоположных качества. Одно из них обычно оказывается чуточку эффективнее с точки зрения распространения генов их носителя. Каким бы малым ни было такое различие, со временем этот признак неизбежно вытеснит другой^[130]. Именно поэтому почти все ваши гены присутствуют во всех других типичных обитателях Земли. Но есть такая штука, как «частотно-зависимый отбор». В рамках частотно-зависимого отбора ценность признака снижается по мере его распространения; естественному отбору ничего не остается, как установить определенный потолок его господству, тем самым оставляя место для альтернативы.

Рассмотрим синежаберных солнечников^[131]. Среднестатистический самец синежаберного солнечника взрослеет, строит связку гнезд, ждет, когда самка отложит икру, оплодотворяет ее и охраняет. Это – добропорядочный член сообщества. Но у него может быть до ста

пятидесяти гнезд, что делает его беззащитным перед самцами второго, менее ответственного типа – самцами-пройдохами. Пройдохи плавают поблизости, тайком оплодотворяет икринки, а затем уносятся прочь, оставляя их на попечении одураченного опекуна. На определенных стадиях жизни пройдохи даже имитируют окраску и поведение самок, дабы замаскировать свои коварные намерения.

Как же поддерживается равновесие между пройдохами и их жертвами? Пройдохи должны преуспевать с точки зрения распространения своих генов, иначе их бы вообще не было. Однако по мере того, как численность пройдох увеличивается, численность добропорядочных самцов уменьшается, а вместе с ней и шансы на успешное размножение. Это как раз тот случай, когда успех оказывается себе во вред. Чем больше появляется пройдох, тем меньше потомства приходится на каждого.

В теории доля пройдох должна расти, пока среднестатистический пройдох не сможет оставлять столько же потомства, сколько и добропорядочный солнечник. В этот момент любые изменения в соотношении двух типов самцов вызовут соответствующие изменения в ценности их стратегий, что приведет к восстановлению нарушенного равновесия. Это равновесие известно как «эволюционно-стабильное» состояние – термин, предложенный британским биологом Джоном Мейнардом Смитом, который в 1970-х годах разработал концепцию частотно-зависимого отбора^[132]. Судя по всему, пройдохи солнечников давно достигли своей максимальной эволюционно-стабильной численности – она составляет примерно одну пятую часть от общей популяции.

Динамика сексуального предательства у людей отличается от таковой у солнечников, отчасти из-за характерного для млекопитающих внутреннего оплодотворения. Впрочем, Ричард Докинз показал, что логика Мейнарда Смита в принципе применима и к нам. Другими словами, мы можем вообразить ситуацию, в которой ни скромницы, ни распутницы, ни отцы, ни подлецы – никто не сможет похвастаться монополией на идеальную стратегию. Скорее, успех каждой стратегии варьирует в зависимости от распространенности остальных трех, и популяция стремится к равновесию. Так, приняв определенный набор допущений, Докинз

обнаружил, что $5/6$ женщин будут скромницами, а $5/8$ мужчин – верными^[133].

А теперь забудьте все, о чем мы говорили выше. Забудьте не только приведенные цифры, которые, очевидно, вытекают из довольно произвольных предположений в рамках искусственной модели. Выкиньте из головы всю идею о том, что каждый человек строго придерживается той или иной стратегии.

Как отмечали Мейнард Смит и Докинз, стабильное равновесие возможно даже в том случае, если предположить, что магические дроби содержатся *внутри* индивидов – иными словами, если каждая женщина проявляет сдержанность в $5/6$ ситуаций, а мужчина – в $5/8$. Это верно даже тогда, когда решение принимается *случайным* образом – скажем, если в каждой ситуации с сексуальным подтекстом и мужчина и женщина будут бросать монетку. Вообразите, насколько эффективнее для человека обдумать каждую ситуацию (сознательно или бессознательно) и сделать обоснованное заключение об оптимальной стратегии в текущих обстоятельствах!

Или представьте иной вид гибкости: особую программу, которая в детстве анализирует локальную среду, а затем, уже во взрослом состоянии, побуждает человека выбирать наиболее выгодную стратегию в данных конкретных условиях. Возвращаясь к примеру с солнечниками, вообразите самца, который в юности исследует окружающий мир, прикидывает численность добропорядочных, пригодных для эксплуатации папаш, а *затем* решает – точнее, «решает», стать ему пройдохой или нет. В конечном итоге подобная пластичность должна возобладать в популяции, заставив две другие, более жесткие стратегии кануть в небытие.

Мораль сей басни такова: при благоприятных обстоятельствах гибкость обычно берет верх над ригидностью. В реальном мире гибкость одержала частичную победу даже у солнечников, а они вряд ли могут похвастаться высокоразвитой корой головного мозга. Хотя некоторые гены побуждают одних самцов к одной стратегии, а других – к другой, врожденная склонность – еще не все; самец анализирует текущую информацию перед тем, как «решить», какую стратегию выбрать^[134]. Очевидно, что степень гибкости возрастает по мере перехода от рыб к человеку. Мы обладаем огромным мозгом, единственная причина существования коего – искусное

приспособление к переменным условиям окружающей среды. Учитывая особенности социального окружения человека, которые могут оказывать значительное влияние на выгодность стратегий «мадонны», «шлюхи», «отца» и «подлеца» (включая реакцию других людей), естественный отбор проявил бы нехарактерную для него тупость, если бы не благоприятствовал генам, обеспечивающим чувствительность нашего мозга к таким вещам.

Аналогичным образом обстоят дела и во многих других сферах. В ходе эволюции целесообразность принадлежности к определенному «типу» – скажем, кооператора или скряги – зависела от разных факторов, варьировавших от эпохи к эпохе, от места к месту, от человека к человеку. Гены, которые наделяли наших предков определенным типом личности, не подлежащим изменению, в теории должны были проиграть генам, которые допускали постепенное и более гибкое его формирование.

Конечно, ни о каком консенсусе здесь речи не идет. В научной литературе имеется несколько статей с названиями типа «Эволюция проходимца»^[135]. Но вернемся в царство мадонн и шлюх. Существует теория, что некоторые женщины от природы склонны выбирать стратегию «сексуального сына», заключающуюся в беспорядочных половых связях с сексуально привлекательными мужчинами (красивыми, умными, мускулистыми и так далее). Хотя эта стратегия ставит под угрозу щедрые отцовские инвестиции, которые такие женщины могли бы получить, веди они себя более целомудренно, она существенно увеличивает вероятность того, что их сыновья будут, подобно отцам, привлекательными и, следовательно, плодовитыми. Такие теории интересны, но все они сталкиваются с одной и той же проблемой: максимальной эффективности и стратегия проходимца, и стратегия развратницы достигают при условии их гибкости – иными словами, когда их можно с легкостью отбросить при первых признаках вероятного провала^[136]. А человеческий мозг – штука гибкая.

Подчеркивание этой гибкости вовсе не означает, что все люди рождаются психологически идентичными, что все различия в личности есть результат влияния среды. В основе таких черт характера, как нервозность или экстраверсия, безусловно, лежат важные генетические отличия. «Наследуемость» этих черт составляет

около 0,4; иными словами, около 40 процентов индивидуальных различий в этих признаках (в рамках конкретных популяций, которые изучали генетики) можно объяснить генами. (Для сравнения: наследуемость роста составляет около 0,9; следовательно, около 10 процентов разницы в росте у людей определяется различиями в питании и других средовых факторах.) Вопрос в том, *почему* эти несомненно важные генетические вариации в личности вообще существуют. Что отражает неодинаковая степень генетической предрасположенности к экстраверсии: разные «типы» личности, продукты частотно-зависимого отбора? (Хотя частотную зависимость обычно рассматривают сквозь призму двух или трех стратегий, она может дать более сложно структурированное множество.) Или разные генетические предрасположенности – просто «шум», некий случайный побочный продукт эволюции, которому естественный отбор никогда особо не благоприятствовал? Никто точно не знает; психологи-эволюционисты не придерживаются одного и того же мнения^[137]. Сходятся они лишь в том, что бóльшая часть истории личностных различий есть эволюция гибкости, «пластичность развития».

Акцент на психологическом развитии не отбрасывает нас на двадцать пять лет назад, когда социологи приписывали все увиденное невнятным «средовым силам». Основная – точнее, *главная* – задача эволюционной психологии – помочь выявить конкретные силы, генерировать правдоподобные теории развития личности. Другими словами, эволюционная психология может помочь нам не только увидеть «регуляторы» человеческой природы, но и то, как эти регуляторы настроены. Она не только показывает нам, что мужчины во всех культурах предпочитают разнообразие в сексуальной жизни, но и может подсказать, какие обстоятельства делают одних мужчин более склонными к этому, чем других. Она не только показывает нам, что женщины во всех культурах сексуально более сдержанны, но и обещает разобраться, почему некоторые из них отклоняются от этого стереотипа.

Хороший пример приводит Роберт Триверс в статье 1972 года, посвященной родительскому вкладу. Триверс выделяет две закономерности, которые давно известны социологам: 1) чем привлекательнее девочка-подросток, тем выше ее шансы выйти замуж

за мужчину более высокого социально-экономического статуса; и 2) чем выше сексуальная активность девочки-подростка, тем эти шансы ниже.

Прежде всего, обе закономерности имеют дарвинистский смысл. Вокруг богатого, статусного мужчины обычно увивается много жаждущих его женщин, из которых он может выбирать. Он склонен отдавать предпочтение красивой, но одновременно относительно сдержанной женщине. Триверс спрашивает: возможно ли, что «женщины в подростковом возрасте приспособливают свои репродуктивные стратегии под имеющиеся у них активы^[138]»? Другими словами, не исключено, что девочки-подростки, получающие обратную связь относительно их красоты, извлекают из нее максимум, становясь сексуально сдержанными и тем самым поощряя длительные инвестиции статусных мужчин, ищущих симпатичных мадонн. Менее привлекательные женщины, у которых меньше шансов сорвать джекпот благодаря сдержанности, делают ставку на промискуитет, извлекая небольшие порции ресурсов из многих мужчин. Хотя промискуитетность несколько снижает их ценность как жен, в анцестральной среде она не сводила их шансы найти мужа к нулю. В типичном обществе охотников и собирателей почти любая фертильная женщина может найти мужа, пусть и далекого от идеала (на крайний случай всегда остается возможность разделить его с другой женщиной).

Дарвинизм и общественный порядок

Сценарий Триверса не подразумевает, что привлекательные женщины *сознательно* решают беречь свои сокровища (хотя это тоже может играть некую роль; более того, родители могут быть генетически склонны поощрять сексуальную сдержанность дочери, если она красива). Точно так же мы не обязательно говорим о непривлекательных женщинах, которые «осознают», что им нельзя быть чересчур привередливыми. Действующий механизм может работать на подсознательном уровне и представлять собой

постепенное формирование сексуальной стратегии (читай: «моральных ценностей») на основе подросткового опыта.

Подобные теории крайне важны. В последнее время много говорят о проблеме материнства среди подростков, особенно бедных подростков. К сожалению, никто на самом деле не знает, как формируются сексуальные привычки и насколько они устойчивы. Мы много говорим о повышении «самооценки», но никто толком не понимает, что такое самооценка, для чего она и что делает.

Эволюционная психология пока не может предоставить недостающий базис для этих дискуссий. Впрочем, проблема не в отсутствии правдоподобных теорий, а в отсутствии исследований, проверяющих эти теории. Двадцать лет о теории Триверса никто не вспоминал. Только в 1992 году один физиолог подтвердил одно из ее предсказаний – корреляцию между самовосприятием женщины и ее сексуальными привычками: чем менее привлекательной она себя полагает, тем больше у нее половых партнеров. Другой ученый не нашел такой корреляции; более того, *ни одно* из этих исследований не ставило своей целью проверить именно теорию Триверса, о которой оба ученых не знали^[139]. Таково нынешнее состояние эволюционной психологии – так много плодородных почв и так мало фермеров.

Со временем если не сама теория Триверса, то ее главная идея, скорее всего, будет доказана: женские сексуальные стратегии, судя по всему, зависят от вероятной (генетической) выгоды каждой, учитывая текущие обстоятельства. Однако эти обстоятельства выходят за рамки того, что подчеркивал Триверс, а именно внешней привлекательности женщины. Другой фактор – общая доступность мужских родительских инвестиций. В анцестральной среде данный фактор, безусловно, не был статичен. Например, в деревне, которая только что завоевала другую деревню, могло повыситься отношение численности женщин к численности мужчин; и не только из-за гибели мужчин в ходе сражения, но и потому, что победители обычно убивают или порабащают вражеских мужчин, а их женщин оставляют себе^[140]. В одну ночь перспективы молодой женщины заполучить инвестора могли резко упасть. Голод или внезапное изобилие тоже корректировали инвестиционные паттерны. Учитывая подобные изменения, любые гены, которые помогали женщинам ориентироваться в них, в теории должны процветать.

Судя по предварительным данным, так оно и было. Согласно исследованию антрополога Элизабет Кэшден, женщины, полагающие, что мужчины в целом стремятся к сексу без обязательств, носят вызывающую одежду и вступают в половую связь чаще, чем женщины, которые верят, что мужчины в принципе не против инвестировать в потомство^[141]. Хотя некоторые женщины способны осознавать связь между текущими условиями и их образом жизни, это необязательно. Женщины, окруженные мужчинами, которые не желают или неспособны быть преданными отцами, просто могут чувствовать более сильное влечение к сексу «на одну ночь» – другими словами, чувствовать ослабление «моральных» ограничений. И если вдруг конъюнктура брачного рынка внезапно улучшится – например, возрастет соотношение мужчин и женщин или мужчины по какой-то другой причине начнут склоняться к стратегии высоких инвестиций, – соответственно, изменятся и женские сексуальные аттракции.

На ранней стадии развития эволюционной психологии подобные умозрительные заключения неизбежны. Тем не менее некоторые проблески света мы можем видеть уже сегодня. Так, «самооценка» почти наверняка различается, либо по существу, либо в своих эффектах, у мальчиков и девочек. У девочек-подростков обратная связь касательно их красоты, как предположил Триверс, может порождать очень высокую самооценку, которая, в свою очередь, поощряет сексуальную сдержанность. У мальчиков высокая самооценка, скорее всего, приведет к обратному – к стремлению к краткосрочным сексуальным завоеваниям. В старших классах красивого, атлетически сложенного юношу иногда – и лишь полушутя – называют «жеребцом». Специально для тех, кто настаивает на научной проверке очевидного: красивые мужчины в самом деле имеют больше половых партнеров, чем среднестатистические^[142]. (Как показывают опросы, женщины обращают больше внимания на внешность мужчины, когда не надеются на длительные отношения; иными словами, они бессознательно обменивают отцовские инвестиции на хорошие гены^[143].)

Даже если мужчина с высокой самооценкой женится, он едва ли сможет похвастаться вечной преданностью. Его различные достоинства никуда не делись, а потому донжуанство – такой же

разумный образ жизни, как и прежде. (И вы никогда не узнаете, когда сторонняя интрижка приведет к разводу.) Из мужчин с умеренной самооценкой могут получиться более преданные, хотя и в других отношениях менее желанные мужья. Поскольку у них меньше возможностей для внебрачных развлечений и, вероятно, больше сомнений относительно верности их собственных жен, велика вероятность, что всю свою энергию и внимание они направят на законную семью. Мужчины с *крайне* низкой самооценкой, терпя постоянные неудачи с женщинами, в итоге могут прибегнуть к изнасилованию. Эволюционные психологи продолжают спорить по поводу того, является ли изнасилование адаптацией, сознательной стратегией, к которой может прийти любой юноша, получающий не самую приятную обратную связь от социального окружения. Конечно, изнасилование наблюдается в самых разнообразных культурах и обычно при ожидаемых обстоятельствах – когда мужчины не могут найти привлекательных женщин законными способами. Одно исследование (проведенное не дарвинистами) показало, что типичному насильнику свойственны «глубоко укоренившиеся сомнения в собственной адекватности и компетентности как личности. Он не уверен в своей состоятельности как мужчины не только в сексуальной, но и в несексуальной сфере»^[144].

Другой луч света, испускаемый новой дарвинистской парадигмой, может прояснить связь между бедностью и сексуальной моралью. Женщины, живущие в условиях, где лишь немногие мужчины способны и/или желают поддерживать свое семейство, естественным образом станут более расположены к сексу без обязательств. (В истории, включая викторианскую Англию, женщин «низших классов» часто обвиняли в «распущенных нравах» и «легком поведении»^[145].) Было бы скоропалительно утверждать, что нравы городских трущоб радикально изменятся, как только изменится уровень доходов их обитателей. Стоит отметить, однако, что эволюционная психология, с ее акцентом на роль окружающей среды, в конечном итоге могла бы подчеркнуть социальную цену нищеты и тем самым поддержать предписания либеральной политики, опровергнув старые представления о дарвинизме как о теории исключительно правого толка.

Разумеется, читатель вправе возразить, что определенные практические выводы можно сделать из любой теории. А в рамках дарвинизма еще и выдумать совершенно разные теории о том, как формируются сексуальные стратегии^[146]. Единственное, что сделать *нельзя*, – это утверждать, что эволюционная психология вообще не имеет к ним никакого отношения. Идея о том, что естественный отбор, крайне внимательный к мельчайшим деталям строения самых примитивных животных, создал огромный, исключительно гибкий мозг и не сделал его чувствительным к средовым сигналам относительно секса, статуса и прочих вещей, явно занимающих не последнее место в репродуктивных перспективах, – эта идея в буквальном смысле невероятна. Если мы хотим знать, когда и как характер человека начинает принимать отчетливую форму, если мы хотим знать, насколько он будет устойчив к изменениям в дальнейшем, мы должны обратиться к Дарвину. Мы пока не знаем все ответы, но знаем, где их искать, и эти знания помогают нам четче формулировать вопросы.

Вместе или врозь

Особое внимание «краткосрочным» сексуальным стратегиям женщин – будь то одиноких, не возражающих против секса «на одну ночь», или замужних, обманывающих своего супруга, – стали уделять только недавно. В социобиологических дискуссиях 70-х годов (по крайней мере, в их популярной форме) мужчины обычно предстают дикими, похотливыми существами, которые спят и видят, как обмануть и поэксплуатировать женщину; а женщины – наивными дурочками, которыми пользуются все, кому не лень. Смещение фокуса главным образом вызвано одним немаловажным обстоятельством: в последнее время среди социологов-дарвинистов появилось много женщин, которые терпеливо объяснили своим коллегам мужского пола, как выглядит женская психика изнутри.

Впрочем, в одном смысле мужчин и женщин по-прежнему можно рассматривать как эксплуататоров и эксплуатируемых. С течением времени соблазн покинуть семью – в *среднем* – должен смещаться к

мужчине. Причина не в том, как полагают некоторые, что с дарвинистской точки зрения разрыв брака обходится женам дороже, чем мужьям. Конечно, если в семье есть маленький ребенок, развод может пагубно сказаться на его дальнейшей судьбе – хотя бы потому, что женщине не всегда удастся найти мужчину, готового стать заботливым отцом для чужого малыша. Впрочем, цена, которую платит муж, отнюдь не меньше – пострадавший ребенок, в конце концов, и его ребенок тоже.

Различие между мужчинами и женщинами в бракоразводных делах скорее кроется в тех *выгодах*, которые может принести развод каждому из них. Иными словами, что дает расторжение брака каждому из партнеров в плане репродуктивных перспектив? В принципе, муж может найти восемнадцатилетнюю девушку, у которой впереди двадцать пять лет фертильности. Жене – даже если сбросить со счетов проблемы с поиском нового мужа (особенно если у нее есть ребенок) – ничего подобного не светит априори. Пока супруги молоды, это различие во внешних возможностях незначительно, однако по мере того, как они становятся старше, оно резко возрастает.

Те или иные обстоятельства могут как нивелировать его, так и заметно усилить. Если возможностей уйти из семьи у бедного, низкостатусного мужа не так уж и много, то у его жены их может быть миллион (особенно в тех случаях, если у нее нет детей, а значит, ей легче найти другого партнера). Повышение статуса и финансовой состоятельности, напротив, даст мужу дополнительные стимулы уйти из семьи, а жене – остаться. Тем не менее, при прочих равных, с годами беспокойство мужа (но не жены) будет только расти.

Все эти разговоры о «дезертирстве» могут ввести в заблуждение. Во многих культурах охотников и собирателей допускается не только развод, но и полигиния: в анцестральной среде, беря вторую жену, необязательно было расставаться с первой. И пока так было, не было никаких дарвинистских причин покидать первую семью. Забота о потомстве имела больше генетического смысла. Таким образом, не исключено, что мужчины генетически менее приспособлены к уходу из семьи, чем к полигинии. Однако в современных условиях – в обществе с институализированной моногамией – полигинный импульс найдет другие лазейки, например развод.

По мере того как дети становятся самостоятельными, необходимость в мужских родительских инвестициях падает. Многие женщины среднего возраста, особенно если они материально независимы, покидают своих мужей. Разумеется, не существует никакой дарвинистской силы, *заставляющей* их это делать; расставание с супругом никак не отражается на их генетических интересах. Единственный фактор, который чаще всего приводит к разводам после менопаузы, – это злокачественное недовольство мужа супружеской жизнью. Многие женщины подаются на развод, но это не означает, что проблема в *их* генах.

Среди всех исследований, посвященных современному браку, особого внимания заслуживают два. Первое исследование было проведено в 1992 году и показало, что неудовлетворенность мужа браком – самый надежный предиктор развода^[147]. В рамках второго исследования было обнаружено, что мужчины гораздо чаще вступают в повторный брак, чем женщины^[148]. По всей вероятности, второй факт – и биологические силы в его основе – частично обуславливает первый.

Возражения на подобные выводы предсказуемы: «Люди расторгают браки по *эмоциональным* причинам. Они не подсчитывают количество детей и не достают калькуляторы. Мужчины уходят из-за вечно ворчливых жен, что пилят их с утра до вечера, или из-за кризиса среднего возраста, который влечет за собой переоценку ценностей. Женщины уходят потому, что их мужья грубы и бесчувственны, или потому, что встретили другого – чуткого и заботливого – мужчину».

Все это так. Однако эмоции лишь исполнители эволюции. Под всеми мыслями, чувствами, различиями темпераментов, на анализ которых так много времени тратят семейные психотерапевты, скрываются стратагемы генов – холодные, жесткие уравнения, составленные из простых переменных: социального статуса, возраста супруга, количества детей, внешних возможностей и так далее. *Действительно* ли жена стала ворчливей, чем двадцать лет назад? Не исключено. Но также не исключено, что терпимость мужа к ворчанию за это время снизилась – в конце концов, ей уже сорок пять и никакого репродуктивного будущего у нее нет. Даже продвижение по службе, которое он только что получил и которое уже вызвало восхищенные взгляды одной молодой женщины на работе, не помогает.

Аналогичный вопрос можно задать и молодой бездетной жене, которая находит своего мужа невыносимо бесчувственным. Почему эта бесчувственность не была столь тягостной год назад, до того как он потерял работу, а она встретила любезного, состоятельного холостяка, явно с ней флиртующего? Разумеется, может, ее муж действительно плохо с ней обращается; в этом случае его поведение сигнализирует о его неудовлетворенности и, вероятно, намерениях уйти, а потому вполне заслуживает такой профилактической забастовки.

Как только вы начинаете рассматривать повседневные чувства и мысли как генетическое оружие, супружеские разногласия приобретают новый смысл. Даже те из них, которые сами по себе слишком незначительны, чтобы привести к разводу, представляют собой планомерные попытки изменить условия контракта. Муж, в медовый месяц уверявший, что ему не нужна «кухарка», теперь саркастически замечает, что жена не развалится, если хотя бы изредка будет готовить ужин. Угроза имплицитна, но очевидна: я хочу и могу расторгнуть наш договор, если ты откажешься пересмотреть кое-какие его пункты.

И снова о парных союзах

Учитывая все вышесказанное, теория парных союзов, предложенная Десмондом Моррисом, выглядит не столь непререкаемой, как казалось вначале. Мы не слишком похожи на наших моногамных обезьяньих родственников – гibbonов, с которыми нас столь оптимистично сравнил Моррис. И в этом нет ничего удивительного. Гиббоны не очень социальные животные. Каждое семейство занимает огромную территорию – иногда больше сорока гектаров; и эти гектары служат неплохой защитой от внебрачных интрижек. В довершение ко всему гиббоны яростно прогоняют всех чужаков, которые могли бы украсть или позаимствовать партнера^[149]. Мы, напротив, эволюционировали в больших группах, изобиловавших генетически выгодными альтернативами супружеской верности.

Разумеется, у нашего вида есть все признаки высокого отцовского вклада. В течение сотен тысяч лет, если не больше, естественный отбор приучал мужской пол любить своих детей, в конце концов наделив их чувством, которым женский пол наслаждался сотни миллионов лет эволюции млекопитающих. Кроме того, естественный отбор заставил мужчин и женщин любить друг друга (или, по крайней мере, «любить» друг друга, ибо смысл слова «любовь» сильно варьирует и редко приближается к той преданности, которая обычна между родителем и ребенком). Однако любовь это или не любовь, но мы – не гиббоны.

Так кто же мы? Насколько далек наш вид от естественной моногамии? Биологи часто дают на этот вопрос анатомический ответ. Мы уже рассмотрели несколько анатомических свидетельств – массу яичек и непостоянство концентрации сперматозоидов, – которые подсказывают нам, что женщины не совсем моногамны по природе. Другие анатомические данные помогают ответить на вопрос, как далеко отстоят от моногамности наши мужчины. Как заметил Дарвин, у полигиничных видов разница в размерах тела самцов и самок – так называемый половой диморфизм – очень велика. Некоторые самцы монополизируют несколько самок, тогда как другие вообще исключаются из генетической лотереи. Посему с эволюционной точки зрения самцу выгодно быть крупным, сильным и способным запугивать других самцов. Самцы гориллы, которые спариваются со множеством самок, если выигрывают множество поединков, и не спариваются вообще, если не выигрывают ни один, настоящие исполины – в два раза тяжелее самок. У моногамных гиббонов маленькие самцы спариваются почти столько же, сколько крупные; половой диморфизм у них почти незаметен. Выходит, половой диморфизм является надежным показателем интенсивности полового отбора среди самцов, которая, в свою очередь, отражает степень полигиничности вида. На шкале полового диморфизма люди занимают «умеренно полигиничное» положение^[150]. Половой диморфизм у нас выражен гораздо меньше, чем у гориллы, немного меньше, чем у шимпанзе, и заметно больше, чем у гиббонов.

Одна из проблем с данной логикой заключается в том, что соперничество среди человеческих (и даже прачеловеческих) самцов в основном велось в психической плоскости. У мужчин нет длинных

клыков, которые самцы шимпанзе используют в борьбе за альфа-ранг и право на спаривание. Вместо клыков мужчины прибегают к различным стратагемам, дабы поднять свой социальный статус и, следовательно, привлекательность. Таким образом, некоторая (возможно, даже бóльшая) часть полигинии в нашем эволюционном прошлом должна отражаться не в физиологии, а в мужских умственных способностях. Если уж на то пошло, умеренное различие в размерах тела между мужчинами и женщинами рисует чересчур лестную картину мужских моногамных наклонностей^[151].

Как же общества справлялись с базовой сексуальной асимметрией в человеческой природе? Асимметрично. Подавляющее большинство – 980 из 1154 ранее или ныне существующих обществ, по которым собрано достаточное количество антропологических данных, – допускали многоженство^[152]. И в это число входит большинство культур охотников и собирателей мира – обществ, которые представляют собой ближайший современный аналог контекста человеческой эволюции.

Наиболее рьяные сторонники теории парных союзов, как известно, минимизировали сей факт. Десмонд Моррис, одержимый идеей доказать природную моногамность нашего вида, настаивал в «Голой обезьяне», что единственные заслуживающие внимания культуры – это современные индустриальные общества, которые, по странному стечению обстоятельств, входят в пятнадцать процентов откровенно моногамных обществ. «Всякое общество, которое не сумело продвинуться, в известном смысле оказалось обществом неудачников, «пошло не туда», – писал он. – Произошло нечто такое, что задержало его развитие и препятствует естественным тенденциям вида, направленным на исследование окружающего мира». Посему «малочисленными, отсталыми, неблагополучными обществами мы, как правило, будем пренебрегать». В целом, утверждал Моррис (писавший тогда, когда разводов в западном мире было вдвое меньше, чем сейчас), «можно сказать, что независимо от того, что предпочитают отсталые, необразованные племенные сообщества, подавляющая масса представителей нашего вида выразила свою приверженность к образованию брачных пар в самой радикальной форме, а именно – создав долгосрочные моногамные союзы»^[153].

Что ж, неплохой способ избавиться от неприглядных, неудобных данных – объявить их абберрантными, даже притом, что они значительно превосходят количеством данные относительно «подавляющей массы представителей нашего вида».

На самом деле полигиничный брак в некотором смысле действительно не был исторической нормой. В 420 из 980 полигиничных культур полигиния классифицируется как «эпизодическая». Даже там, где она «принята», многоженство разрешено лишь относительно немногим мужчинам – тем, кому она положена по рангу, и тем, кто в состоянии обеспечить несколько жен одновременно. Сотни, тысячи лет большинство брачных союзов были моногамными, хотя большинство обществ – нет.

И все же, как показывают антропологические данные, полигиния естественна в том смысле, что мужчины, представься им возможность иметь несколько жен, склонны такой возможностью пользоваться. Кроме того, полигиния – действенный способ устранить базовый дисбаланс между тем, что хотят мужчины, и тем, что хотят женщины. В нашей культуре, когда мужчина, которому жена родила несколько детей, вдруг теряет покой и «влюбляется» в женщину помоложе, мы говорим: «Хорошо, ты можешь жениться на ней, но для этого ты должен оставить свою первую жену. Правда, учти, что развод плохо скажется на репутации твоих детей. Плюс, если ты не будешь зарабатывать достаточно денег, твои дети и твоя бывшая жена будут страдать». В других культурах могут сказать иначе: «Хорошо, ты можешь жениться на ней, но только если ты действительно в силах содержать вторую семью; бросить первую семью ты не вправе; твой второй брак никак не отразится на репутации детей».

Допустим, некоторым из современных условно моногамных обществ – тех, в которых половина всех браков фактически распадаются, – не стоит останавливаться на достигнутом. Допустим, мужчины, уходящие из семей, должны по-прежнему нести за них юридическую ответственность и обеспечивать своих бывших жен и детей в должной мере. Короче говоря, почему бы нам просто не разрешить полигинию? Многие разведенные женщины (и их дети) от этого только выиграют.

Единственный способ разумно подойти к этому вопросу – задать другой вопрос (ответ на который, как выясняется, противоречит

здравому смыслу): откуда вообще взялся культурный упор на моногамию, который явно идет вразрез с человеческой природой и о котором несколько тысячелетий назад и слыхом не слыхивали?

Глава 4

Брачный рынок

Невозможно читать сочинение м-ра М'Леннана и не убедиться, что почти все цивилизованные народы сохраняют еще некоторые следы столь грубых нравов, как, например, насильственное похищение жен. Можно ли назвать хоть один древний народ, спрашивает тот же автор, у которого одноженство существовало бы с самого начала?

«Происхождение человека» (1871)
[154].

Есть в нашем мире одна вещь, которая кажется абсолютно нелогичной. С одной стороны, миром правят главным образом мужчины. С другой – почти всюду полигамия запрещена. Если мужчины в самом деле животные, описанные в двух предыдущих главах, как они это допустили?

Иногда данный парадокс объясняют компромиссом между женской и мужской природой. В старомодном викторианском браке мужчины меняют свою тягу к странствиям на раболепие и ежедневный уход. Жены готовят, убирают, выполняют указания и мирятся со всеми неприятными аспектами постоянного мужского присутствия. За это мужья великодушно соглашаются остаться дома.

Эта теория, какой бы привлекательной она ни была, по большому счету, не имеет никакого отношения к реальной жизни. Бесспорно, в любом моногамном браке существует компромисс. И в любой двухместной тюремной камере он существует. Правда, это вовсе не значит, что тюрьмы возникли как следствие компромисса между преступниками. Компромисс между мужчиной и женщиной может объяснить, почему моногамия сохраняется (там, где это

действительно так), однако он ничего не говорит нам о том, откуда она взялась.

Чтобы ответить на вопрос «Почему моногамия?», прежде всего необходимо понять, что некоторым моногамным обществам, описанным антропологами (включая многочисленные культуры охотников и собирателей), ничего другого и не остается. Представители этих обществ балансируют на грани выживания. В деревне, где на черный день припасено не так уж много, распределение ресурсов мужчины на две семьи может закончиться тем, что из его детей выживут единицы, а то и вообще никто. Даже захоти он сделать ставку на вторую семью, у него возникнут серьезные проблемы с поисками новой жены. С какой стати ей довольствоваться половиной ресурсов одного бедняка, если она может получить все у другого? Из любви? Но как часто любовь дает такой вопиющий сбой? Помните, главная цель любви – привлечь женщину к тому мужчине, который будет полезен для ее потомства. Скажем больше, какая семья – а в доиндустриальных обществах именно семьи зачастую определяли «выбор» невесты – согласится терпеть такое безрассудство?

Примерно та же логика действует в обществе, где мужчины не борются за выживание, но обладают более или менее одинаковыми ресурсами. Женщина, которая выбирает половину мужа вместо одного целого, по-прежнему соглашается на меньшее (во всяком случае, в плане материального благосостояния).

Главный принцип заключается в следующем: экономическое равенство среди мужчин – особенно на грани выживания – мешает полигамии. Данная тенденция сама по себе рассеивает львиную долю загадочного ореола, сопровождающего моногамию. Как известно, более половины всех моногамных обществ классифицированы антропологами как «нестратифицированные»^[155]. Что на самом деле требует объяснения, так это моногамия шести дюжин обществ в мировой истории, в том числе современных промышленно развитых стран, которые одновременно и моногамны, и экономически стратифицированы. Вот уж воистину чудо природы.

Парадокс моногамии среди обществ с неравно распределенным достатком особенно подчеркивал Ричард Александер – один из первых биологов, применивших новую парадигму к поведению

человека. Моногамию в культурах, балансирующих на грани выживания, Александер называет «экологически навязанной», а моногамию в более богатых, более стратифицированных обществах – «социально навязанной»^[156]. Вопрос в том, *почему* социум ее навязал.

Некоторые люди жалуются, что термин «социально навязанный» оскорбляет их романтические чувства. На первый взгляд он подразумевает, что в отсутствие законов, запрещающих многоженство, женщины начнут стаями слетаться к деньгам, радостно соглашаясь на место второй или третьей жены до тех пор, пока этих денег будет хватать на всех. Слова «стая» и «слетаться» употреблены здесь не без умысла. У многих птиц различия между территориями, которые контролируют самцы, носят как количественный, так и качественный характер; таким видам, как правило, свойственна полигиния. Самки охотно делятся самцом, владеющим гораздо большей недвижимостью, чем любой другой самец, которого они могли бы «прибрать к рукам»^[157]. Женщины же, напротив, чаще предпочитают верить, что ими движет более возвышенная любовь и что у них больше гордости, чем у какого-то длинноклювого болотного крапивника.

Так и есть. Даже в полигиничных культурах женщины обычно не горят желанием делиться мужчиной. Однако многие скорее согласятся стать второй женой богатея, чем единственной супругой нищего бездельника. Образованным дамам из высших слоев общества легко отрицать, что любая уважающая себя женщина охотно согласится на полигинию и что жены придают большое значение доходам мужа. Ничего другого от них ждать не приходится. Женщины из высшего общества редко *сталкиваются* с бедными мужчинами, не говоря уж о перспективах выйти за них замуж. Их окружение настолько экономически гомогенно, что им можно не утруждаться поисками более или менее сносного кормильца; вместо этого они могут сосредоточиться на других качествах жениха, например его музыкальных или литературных пристрастиях. (Кстати, подобные пристрастия сами по себе являются надежными показателями socioeconomic status мужчины. Это напоминает нам, что дарвинистская оценка супруга необязательно должна быть *сознательно* дарвинистской.)

Александр утверждал, что в сильно стратифицированных моногамных обществах есть что-то искусственное. В пользу данного наблюдения говорит тот факт, что в большинстве таких обществ полигиния есть, стоит лишь копнуть чуточку глубже. Хотя быть любовницей даже сегодня считается постыдным, многие женщины предпочитают эту роль двум другим альтернативам: либо быть верной мужчине с меньшими средствами, либо остаться одинокой.

После того как Александр выделил два вида моногамных обществ, его идеи получили поддержку из другого, менее явного источника. Антропологи Стивен Голен и Джеймс Бостер показали, что феномен приданого – перевод имущества из семьи невесты в семью жениха – обнаруживается почти исключительно в обществах с социально навязанной моногамией. Так, традиция давать за невестой приданое практикуется в 37 процентах стратифицированных неполигиничных обществ и только в 2 процентах всех нестратифицированных неполигиничных обществ. (Для полигиничных обществ эта цифра составляет около 1 процента^[158].) Другими словами, хотя всего 7 процентов известных науке обществ характеризуются социально навязанной моногамией, они составляют 77 процентов обществ с традицией приданого. Из этого следует, что приданое – продукт рыночного дисбаланса; ограничивая мужчину одной женой, моногамия искусственно делает богатых мужчин драгоценным товаром. Приданое – цена за этот товар. Не исключено, что в обществе с узаконенной полигинией самые состоятельные мужчины (и, возможно, самые обаятельные и мускулистые – одним словом, обладающие чем-то, что может частично перевесить материальную составляющую) вместо огромного приданого скорее выберут много жен.

Победители и проигравшие

Допустим, мы согласились с таким подходом к браку. Мы отказались от западной этноцентрической перспективы и гипотетически приняли дарвинистский тезис, согласно которому мужчины (сознательно или незоснательно) стремятся к обладанию

как можно большим количеством машин для секса и рождения детей, а женщины (сознательно или незосознательно) преследуют цель максимизировать ресурсы, доступные потомству. В этом случае у нас в руках оказывается ключ к объяснению того, почему моногамия до сих пор с нами: хотя полигиничное общество часто представляется весьма желанным для мужчин и ненавистным для женщин, на самом деле ни тот, ни другой пол не может похвастаться естественным консенсусом по данному вопросу. Очевидно, что институт моногамии не слишком отвечает интересам женщин, которые вышли замуж за бедного мужчину и не против обменять его на половину богатого. Равно очевидно и то, что институт полигинии не принесет счастья тем бедным мужчинам, которых бросили меркантильные супруги.

Эти на первый взгляд ироничные соображения относятся не только к людям, находящимся у самого подножия материальной пирамиды. Если рассуждать сугубо с дарвинистской точки зрения, в моногамной системе *большинство* мужчин, вероятно, окажутся в лучшем положении, а *большинство* женщин – в худшем. Это важный момент, заслуживающий краткого иллюстративного отступления.

Рассмотрим грубую и неромантичную, но аналитически удобную модель брачного рынка. Возьмем тысячу мужчин и тысячу женщин, ранжированных согласно их привлекательности как супругов. Хорошо, хорошо, в реальной жизни нет единого мнения в таких вопросах. Но четкие закономерности есть. Немногие женщины предпочтут безработного и беспутного мужчину амбициозному и успешному (при прочих равных), и немногие мужчины выберут тучную, несимпатичную и глупую женщину вместо фигуристой, красивой и умной. Во имя интеллектуального прогресса объединим эти и другие аспекты привлекательности в одну категорию.

Предположим, эти две тысячи человек живут в моногамном обществе. Каждая женщина должна выйти замуж за мужчину одного с ней положения. Конечно, она хотела бы выйти замуж за мужчину рейтингом повыше, но всех их уже разобрали вышестоящие конкурентки. Мужчины тоже были бы не прочь жениться на женщине более высокого статуса, но не могут этого сделать по той же причине. Перед тем как все эти помолвленные пары поженятся, давайте узаконим полигинию и волшебным образом избавимся от ее позорного клейма. И предположим, что как минимум одна женщина –

скажем, вполне привлекательная, но не слишком умная особа с рейтингом 400 – бросает своего жениха (мужчину № 400, продавца обуви) и соглашается стать второй женой преуспевающего юриста (мужчины № 40). Это не так уж и неправдоподобно – в сущности, она отказывается от семейного дохода примерно в 40 000 долларов в год, часть которого ей придется зарабатывать самой (например, в *Pizza Hut*), в пользу ежегодного дохода в 100 000 долларов и возможности вообще не работать (не говоря уж о том, что мужчина № 40 танцует лучше, чем мужчина № 400)^[159].

Даже если таким полигинным социально-экономическим «лифтом» воспользуется всего одна женщина, положение большинства других женщин улучшится, а положение большинства мужчин ухудшится. Все 600 женщин, чей рейтинг ниже рейтинга нашей перебежчицы, поднимутся на ступень вверх, чтобы заполнить образовавшийся вакуум; и у них по-прежнему будет собственный муж, причем улучшенный его вариант. С другой стороны, 599 мужчин получат жену, немного уступающую их бывшим невестам, а один вообще останется холостяком. Конечно, в реальной жизни женщины не поднимаются по социально-экономической лестнице скопом. Очень скоро вам непременно попадется женщина, которая, поразмыслив, останется со своим мужчиной. Но в реальной жизни вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что воспользоваться полигинным лифтом пожелает отнюдь не единственная миловидная особа. Таким образом, главный тезис остается в силе: общество, в котором женщины вольны делиться мужьями, предполагает расширение возможностей, доступных многим, многим из них – *даже тем, кто предпочтет не делиться*^[160]. И наоборот, многим, многим мужчинам полигиния не принесет ничего хорошего.

Получается, официально оформленная моногамия, которая часто рассматривается как победа в борьбе за эгалитаризм и права женщин, в действительности не оказывает никакого уравнивающего действия. Полигиния намного равномернее распределила бы мужской капитал. Красивые, веселые жены обаятельных и подтянутых корпоративных «титанов» отвергают полигинию как нарушение базовых прав женщин. Вполне разумно с их стороны. А вот для замужней женщины, живущей в нищете, или одинокой женщины, мечтающей о муже и ребенке, совершенно естественно спросить: какие такие права

женщин защищает моногамия? Единственные непривилегированные граждане, которые должны одобрять моногамию, – это мужчины. Именно она дает им доступ к женщинам, которые в противном случае предпочли бы подняться по социальной лестнице на несколько ступенек выше.

Таким образом, за воображаемым столом переговоров, в результате которых появилась традиция моногамии, собрались не мужчины и не женщины. Моногамия не минус для первых и не плюс для вторых; внутри обоих полов интересы естественным образом пересекаются. Скорее, великий исторический компромисс был заключен между более удачливыми и менее удачливыми мужчинами. Для них институт моногамии действительно представляет подлинный компромисс: самые удачливые по-прежнему получают самых привлекательных женщин, но только по одной на каждого. Такое объяснение моногамии – как дележки сексуальной собственности среди мужчин – согласуется с фактом, который мы упомянули в начале этой главы: именно в руках мужчин обычно сосредоточена политическая власть, и именно мужчины на всем протяжении человеческой истории заключали большинство политических сделок.

Разумеется, это вовсе не означает, что мужчины однажды собрались и, обсудив все «за» и «против», пришли к выводу, что каждому полагается только одна жена. Скорее, идея в том, что полигиния несовместима с ключевыми ценностями эгалитаризма – ценностями, пропагандирующими не равенство между полами, а равенство между мужчинами. Кстати, не исключено, что «ценности эгалитаризма» – слишком мягкое выражение. Когда политическая власть распространилась более равномерно, коллекционирование женщин мужчинами высшего класса просто стало неприемлемым. Мало что вызывает у правящей элиты больше поводов для беспокойства, нежели масса сексуально голодных и бездетных мужчин, обладающих хотя бы малой толикой политической власти.

Этот тезис остается только тезисом^[161]. Впрочем, действительность (по крайней мере, в общих чертах) с ним согласуется. Лора Бетциг показала, что в доиндустриальных обществах крайняя полигиния часто идет рука об руку с крайней политической иерархичностью, достигая апогея при наиболее деспотических режимах. (Король зулусов, например, который имел право на сто жен, а то и больше,

карал смертью всякого, кто позволял себя кашлянуть, плюнуть или чихнуть за его столом.) Сверх того, в большинстве таких обществ распределение сексуальных ресурсов сообразно политическому статусу четко определено. У инков представители четырех политических должностей, от местного управляющего до правителя, имели право на семь, восемь, пятнадцать и тридцать женщин соответственно^[162]. Само собой разумеется, что по мере распределения политической власти менялось и распределение жен. Результат: принцип «один человек – один голос» и принцип «один мужчина – одна жена». И тот и другой характерны для большинства современных промышленно развитых стран.

Правильно или нет, но эта теория происхождения современной институционализированной моногамии – наглядный пример того, что дарвинизм может предложить историкам. Дарвинизм, конечно же, не объясняет историю *как* эволюцию; естественный отбор работает не настолько быстро, чтобы порождать текущие изменения на уровне культуры и политики. Зато естественный отбор создал разум, который на это способен. И понимание того, как именно он создал этот разум, может пролить новый свет на движущие силы истории. В 1985 году выдающийся историк Лоренс Стоун опубликовал эссе, где подчеркивал эпическое значение раннехристианского упора на верность мужей и незыблемость брака. Рассмотрев пару теорий о распространении данного культурного новшества, он заключил, что ответ «остается неясным»^[163]. Вероятно, дарвинистское объяснение – моногамия есть непосредственное выражение политического равенства среди мужчин – заслуживало хотя бы упоминания. Едва ли является совпадением то, что христианство, призывавшее к моногамии как политически, так и интеллектуально, часто апеллировало именно к бедным, бесправным слоям населения^[164].

Что не так с полигинией?

Дарвинистский анализ брака существенно усложняет выбор между моногамией и полигинией. Он показывает, что выбирать приходится не между равенством и неравенством. Выбирать приходится между

равенством среди мужчин и равенством среди женщин. А это непросто.

Существует несколько убедительных причин голосовать за равенство мужчин – то есть моногамию. Во-первых, моногамия позволяет избежать гнева феминисток, которые и слышать не желают, что полигиния освободит угнетенных, прозябающих в нищете женщин. Во-вторых, моногамия – единственная система, способная, по крайней мере теоретически, обеспечить супругом почти каждого. Но главное, оставлять большое количество мужчин без жен и детей не только несправедливо – это опасно.

Основной источник опасности – половой отбор среди мужчин. Мужчины давно соперничали за доступ к дефицитному половому ресурсу: женщинам. И цена проигрыша в этом соперничестве настолько высока (генетическое забвение), что естественный отбор побудил их соревноваться с особым неистовством. Во всех культурах мужчины больше женщин склонны к насилию, включая убийство. (На самом деле это справедливо в отношении всего животного мира: самцы почти всегда воинственнее самок, за *исключением* тех видов – например, плавунчиков, – где родительский вклад самца настолько велик, что самки могут размножаться чаще, чем самцы.) Даже когда насилие направлено не на полового конкурента, оно часто сводится к сексуальному соперничеству. Тривиальная ссора может закончиться тем, что один мужчина убьет другого, дабы «сохранить репутацию» – иными словами, заработать тот вид примитивного уважения, который в анцестральной среде мог поднять статус и принести награды сексуального характера^[165].

К счастью, мужская жестокость смягчается определенными обстоятельствами. И одно из них – супруга. Разумно ожидать, что одинокие мужчины будут соперничать с особой свирепостью. Так оно и есть. Неженатые мужчины в возрасте от 24 до 35 лет убивают других мужчин примерно втрое чаще, чем женатые мужчины того же возраста. Отчасти это различие, без сомнений, служит отражением двух мужских типажей – мужчин, которые женятся, и мужчин, которые не женятся. Тем не менее Мартин Дали и Марго Уилсон утверждают: ключевую роль играет «умиротворяющий эффект брака»^[166].

Убийство – не единственная вещь, к которой особенно склонны «неумиротворенные» мужчины. Последние намного чаще идут на риск и другие преступления (к примеру, грабеж) и с большей вероятностью прибегнут к изнасилованию. Более того, рискованный, преступный образ жизни часто влечет за собой злоупотребление наркотиками и алкоголем, что, в свою очередь, еще больше уменьшает шансы заработать достаточно денег, чтобы привлечь женщин законными способами^[167].

Вот, пожалуй, лучший аргумент в пользу моногамного брака с его уравнивающим влиянием на мужчин: неравенство мужчин социально деструктивнее, причем *и* для мужчин, *и* для женщин, нежели неравенство женщин. Полигиничная нация, где многие мужчины с низким доходом остаются без пары, – не та страна, где большинство из нас хотело бы жить.

К сожалению, мы уже живем в такой стране. Соединенные Штаты – больше не нация институционализированной моногамии. Это нация последовательной моногамии. А последовательная моногамия в некоторых отношениях ничем не отличается от полигинии^[168]. За свою карьеру Джонни Карсон^[169] (как, впрочем, и многие другие богатые и статусные мужчины) монополизировал лучшие репродуктивные годы сразу нескольких молодых женщин. Где-то там был мужчина, который мечтал о семье и красивой жене; если бы не Джонни Карсон, он бы женился на одной из них. Даже если этому мужчине и удалось найти женщину, то он, бесспорно, «умыкнул» ее из-под носа другого мужчины. Таков эффект домино: дефицит фертильных женщин спускается вниз по социальной пирамиде.

Как бы абстрактно-теоретически это ни звучало, именно так все и происходит. Фертильный период у женщины длится около двадцати пяти лет. Когда один мужчина контролирует более двадцати пяти лет женской фертильности, то другой вынужден довольствоваться меньшим. А если, в дополнение ко всем последовательным мужьям, вы добавите молодых мужчин, которые живут с женщиной по пять лет перед тем, как принять решение не жениться на ней, а затем делают это снова (и, наконец, лет в тридцать пять женятся на двадцативосьмилетней), суммарный эффект может оказаться весьма и весьма существенным. Если в 1960 году число мужчин и женщин сорока лет и старше, никогда не состоявших в браке, было примерно

одинаковым, то к 1990 году одиноких мужчин стало гораздо больше, чем женщин^[170].

Не такая уж и сумасшедшая мысль – думать, будто часть бездомных алкоголиков и насильников, случись им родиться до 1960-х годов и расти в социальном климате, когда женские ресурсы были распределены более равномерно, вовремя нашли бы себе жену и выбрали бы менее рискованный и деструктивный образ жизни. В любом случае факт остается фактом: если полигиния действительно может оказать пагубное влияние на наименее удачливых мужчин и косвенно на всех нас, выступать против легализованной полигинии недостаточно. (Кстати, легализация полигинии не была актуальной политической угрозой в последний раз, когда я проверял.). Нас должна беспокоить полигиния де-факто, которая уже существует. Главный вопрос не в том, можно ли спасти моногамию, а в том, можно ли ее восстановить. В поисках ответа к нам с энтузиазмом присоединятся не только недовольные холостяки, но и многие бывшие жены – особенно те, кому не посчастливилось выйти замуж за кошелек вроде Джонни Карсона.

Дарвинизм и нравственные идеалы

Эти взгляды на брак – классический пример той роли, которую дарвинизм может сыграть в рассуждениях о морали. Что он не может делать, так это снабдить нас базовыми моральными ценностями. Например, хотим мы жить в эгалитарном обществе или нет – выбор за нами; безразличие естественного отбора к страданиям слабых – не та вещь, которую стоит имитировать. Нас не должно волновать, действительно ли убийства, грабежи и насилие в некотором смысле «естественны». Нам решать, насколько отвратительными мы находим такие явления и насколько жестко готовы с ними бороться.

Как только мы приняли такие решения, как только выработали нравственные идеалы, дарвинизм поможет нам понять, какие социальные институты будут отвечать им лучше всего. В данном случае он подсказывает нам, что превалирующий брачный институт – последовательная моногамия – во многом эквивалентен полигинии.

Как таковой, этот институт порождает неравенство среди мужчин и еще больше усугубляет положение обездоленных. Цена такого неравенства – жестокость, воровство, насилие и т. п.

В этом свете старые дебаты о морали приобретают новый оттенок. В частности, тенденция политических консерваторов монополизировать аргумент о «семейных ценностях» начинает выплывать, мягко говоря, странной. Либералы, озабоченные «глубинными причинами» преступности и бедности, могли бы логически выработать некоторую любовь к «семейным ценностям». Так, снижение количества разводов за счет большей доступности молодых женщин для мужчин с низкими доходами может удержать заметное число мужчин от преступности, наркомании, а иногда и бродяжничества.

Учитывая материальные возможности, которые полигиния (даже полигиния де-факто) открывает перед бедными женщинами, либералы, разумеется, должны выступать *против* моногамии. На самом деле против моногамии могут выступить даже *феминистки*. Так или иначе, очевидно, что дарвинистский феминизм – феминизм более сложный и неоднозначный. С точки зрения дарвинизма «женщины» не есть монолитная группа, объединенная общими интересами, одинаковыми от природы; единого «женского братства» не существует^[171].

Есть еще одно негативное следствие принятых брачных норм, высвеченное новой парадигмой, – цена, которую платят за них наши дети. Мартин Дали и Марго Уилсон пишут: «Наиболее очевидный прогноз, вытекающий из дарвинистского подхода к родительской мотивации, по всей вероятности, состоит в следующем: неродные родители в целом склонны меньше заботиться о детях, чем родители биологические». Таким образом, «дети, воспитываемые людьми, не являющимися их естественными родителями, больше подвержены эксплуатации и иным рискам. Родительский вклад – драгоценный ресурс; посему отбор должен благоприятствовать такому устройству психики родителей, которое не позволит транжирить его на неродственников»^[172].

По мнению отдельных дарвинистов, данный вывод настолько очевиден, что его проверка – пустая трата времени. Тем не менее Дали и Уилсон все-таки взяли на себя этот труд. И то, что они

обнаружили, удивило даже их. В 1976 году американские дети, живущие с одним или обоими неродными родителями, приблизительно в сто раз чаще подвергались жестокому обращению, влекущему за собой летальный исход, чем дети, проживающие с биологическими родителями. В одном канадском городе в 1980-х годах ребенок младше двух лет, проживающий с одним неродным родителем, имел в семьдесят раз больше шансов быть убитым, чем ребенок, проживающий с двумя родными родителями. Конечно, детоубийство совершает лишь крошечная доля неродных родителей; развод и повторный брак матери – отнюдь не смертный приговор ребенку. Но задумайтесь о более распространенной проблеме нефатального насилия. Как показывают исследования, у детей младше десяти лет, проживающих с одним родным и одним неродным родителем, в 3–40 раз больше шансов подвергнуться жестокому обращению, чем у детей, проживающих с двумя родными родителями^[173].

Разумно предположить, что этому грубому паттерну следуют многие другие, менее страшные формы родительского безразличия. В конце концов, естественный отбор *изобрел* отеческую любовь по одной-единственной причине: чтобы гарантировать выгоду потомству. Хотя биологи называют подобные выгоды «вкладом», это не означает, что они ограничиваются ежемесячными банковскими чеками. Дети получают от отцов все виды опеки и поддержки (часто больше, чем отец или ребенок это осознают) и защиту от всех видов угроз. Одной матери не под силу справиться с такой задачей. Отчим почти наверняка не будет вкладывать много, если будет вообще. В дарвинистских терминах юный пасынок – препятствие к приспособленности, истощение ресурсов.

Конечно, есть способы одурачить природу, заставить родителей любить неродных детей. В конце концов, люди не телепаты и не могут почувствовать, несет ребенок их гены или нет. Вместо этого они полагаются на косвенные признаки, которыми пользовались наши далекие предки. Если женщина кормит и нянчит младенца день за днем, она рано или поздно может полюбить его; равно как и мужчина, который спал с ней много лет. Именно этот вид привязанности делает усыновленных детей достойными любви, а нянечек – способными любить. Но и теория, и практические наблюдения показывают: чем в

более старшем возрасте приемный родитель впервые увидит ребенка, тем менее вероятно глубокая привязанность к нему. В то же время подавляющее большинство детей знакомится с отчимами отнюдь не в младенческом возрасте.

Нетрудно вообразить, какие дискуссии развернутся между рассудительными и гуманными людьми относительно того, действительно ли моногамное общество лучше полигиничного. Впрочем, одно несомненно: когда брачным институтам (в любом обществе) позволяют распасться, в результате чего количество разводов, матерей-одиночек и детей, не живущих с обоими биологическими родителями, возрастает, теряется наиболее драгоценный эволюционный ресурс – любовь. Каковы бы ни были относительные достоинства моногамии и полигинии, то, что мы имеем сейчас – последовательную моногамию (де-факто полигинию), – в некотором отношении худший из вариантов.

Стремление к нравственным идеалам

Очевидно, дарвинизм не всегда будет упрощать нравственные и политические дискуссии. В данном случае, подчеркивая нестыковки между равенством мужчин и равенством женщин, он фактически усложняет вопрос о том, какие брачные институты лучше всего отвечают нашим идеалам. Вместе с тем данные нестыковки существовали всегда; просто сейчас их больше не замалчивают. Как только мы определим, какие институты наилучшим образом служат нашим нравственным целям, дарвинизм может сделать свой второй вклад в дискуссию о морали: он подскажет нам, какие силы – какие моральные нормы, какая социальная политика – помогают питать эти институты.

Здесь возникает другой парадокс в дебатах о «семейных ценностях»: консерваторы могут сильно удивиться, услышав, что один из лучших способов укрепления моногамного брака – более равномерное распределение доходов^[174]. Так, у молодой одинокой женщины будет меньше оснований отбивать мужа А у жены А, если у холостяка Б денег столько же. А муж А, убедившись, что молодые

женщины не бросают на него кокетливые взгляды, будет больше ценить жену А и меньше замечать ее морщины. Данная динамика помогает объяснить, почему моногамный брак часто пускал корни именно в обществах с невысокой экономической стратификацией.

Один из стандартных аргументов против активной борьбы с бедностью – ее цена: налоги, которые вынуждены платить богатые, подавляют их стремление работать и тем самым снижают общие экономические показатели. Но если одна из целей такой политики – поддержка моногамии, то выравнивание доходов, при котором богатые становятся менее богатыми, – приятный побочный эффект. Моногамии угрожает не только бедность как таковая, но и относительное богатство самых состоятельных членов общества. Разумеется, тот факт, что уменьшение этого богатства снижает общие экономические показатели, по-прежнему может вызывать сожаление; но как только к пользе перераспределения доходов добавится более устойчивый брак, сожаление должно утратить часть своей остроты.

На первый взгляд может показаться, что весь этот анализ быстро теряет актуальность. В конце концов, все больше и больше женщин начинают зарабатывать самостоятельно; как следствие, при выборе мужчины многие могут позволить себе не думать о доходах. Но помните: мы имеем дело с женскими романтическими влечениями, а не только с сознательным расчетом, а эти чувства выкованы в иной среде. Если судить по обществам охотников и собирателей, то в течение всей эволюции человека большую часть материальных ресурсов контролировали мужчины. Даже в самых бедных обществах, где различия в состоятельности мужчин трудноуловимы, социальный статус отца (но не матери) играет важную роль в благополучии потомка^[175]. Хотя современная женщина, безусловно, может, проанализировав собственное финансовое благополучие и статус, принять соответствующее брачное решение, это не означает, что она с легкостью пересилит глубинные эстетические импульсы, имевшие столь важное значение в анцестральной среде. На самом деле современные женщины и не пересиливают их. Эволюционные психологи показали, что женщины не только придают большее значение финансовым перспективам супруга, чем мужчины, но и что эта склонность сохраняется вне зависимости от собственного (фактического или ожидаемого) дохода^[176].

Пока общество остается экономически стратифицированным, задача примирения пожизненной моногамии с человеческой природой будет вызывать существенные затруднения. Могут потребоваться стимулирующие и сдерживающие меры (моральные и/или юридические). Один из способов оценить эффективность различных стимулов – посмотреть на экономически стратифицированное общество, в котором они работали. Скажем, на викторианскую Англию. Выявление особенностей викторианской морали, содействующих успешному (или как минимум крепкому) браку, вовсе не значит, что мы обязаны перенять их оптом. В некоторых моральных принципах скрыта великая мудрость – они подсказаны самой природой человека; беда в том, что пользу от них зачастую перевешивают побочные эффекты. Как бы там ни было, обнаружение крупниц сей мудрости – отличный способ наметить контуры проблемы. В этой связи неплохо взглянуть с дарвинистской точки зрения на викторианский брак – в нашем случае на брак Чарлза и Эммы Дарвин. Уверен, оно того стоит.

Прежде чем вернуться к жизни Дарвина, я должен подчеркнуть: до сих пор мы анализировали человеческую психику с абстрактной точки зрения; мы говорили о «видотипичных» адаптациях, направленных на максимизацию приспособленности. Однако, если переключиться со всего вида на отдельных людей, *не* стоит ожидать, что они будут хронически максимизировать приспособленность и стремиться оптимальным образом передать свои гены потомству. Причина этого выходит за рамки объяснения, акцентированного нами до сих пор: что большинство людей живет не в той среде, на которую изначально рассчитана их психика. Среда – даже такая, на которую *рассчитаны* организмы, – непредсказуема. Именно поэтому и развилась поведенческая гибкость. К сожалению, с непредсказуемостью, по определению, ничего не поделаешь. Как выразились Джон Туби и Леда Космидес, «естественный отбор не может непосредственно «видеть» отдельный организм в определенной ситуации и соответственным образом оптимизировать его поведение»^[177].

Лучшее, что может сделать естественный отбор, – наделить нас способностью к адаптации: дать нам «ментальные органы», или «психические модули», которые минимизируют риск. Он может

снабдить мужчин модулем «любви к детям» и сделать этот модуль чувствительным к вероятности того, что данный конкретный ребенок действительно его. Тем не менее ни один такой модуль не застрахован от ошибок. Естественный отбор может наделить женщин модулем, «неравнодушным к мускулатуре» или «неравнодушным к статусу»; более того, он способен поставить силу притяжения в зависимость от всевозможных факторов; но даже исключительно гибкий модуль не будет гарантировать, что это притяжение однажды трансформируется в жизнеспособное и плодовитое потомство.

Как говорят Туби и Космидес, люди отнюдь не универсальные «максимизаторы приспособленности». Они – «исполнители адаптации»^[178]. В каждом отдельно взятом случае адаптация не всегда дает хорошие результаты; успех переменчив во всех средах, за исключением разве что маленьких деревень охотников и собирателей. Посему, когда мы смотрим на Чарлза Дарвина, вопрос не в том, что он предпринял, чтобы иметь жизнеспособное и плодовитое потомство. Вопрос в том, можно ли рассматривать его поведение как продукт психики, состоящей из определенного набора адаптаций.

Глава 5

Женитьба Дарвина

Я, как ребенок, сгораю от нетерпения скорее назвать тебя своею... Моя дорогая Эмма, я целую твои руки со всей скромностью и благодарностью, которые наполняют мою жизнь счастьем... Но, дорогая Эмма, помни, что жизнь коротка, и два месяца – это шестая часть года.

*Из письма Ч. Дарвина своей
невесте с уговорами поторопиться
свадьбу, ноябрь 1838 г.*

Сексуальное желание вызывает
слюнотечение... любопытная
ассоциация^[179].

*Из записных книжек Ч. Дарвина за
тот же период*

В 30-х годах XIX века, когда Чарлз Дарвин решился-таки обзавестись женой, в Великобритании в среднем регистрировалось по четыре развода в год. По сравнению с тем, что мы имеем сейчас, статистика очень радужная, но, увы, неточная. Во-первых, мужчины в те времена зачастую просто не доживали до кризиса среднего возраста (хотя, к слову, его наступление больше зависит от возраста женщины). И, во-вторых, развод был делом очень хлопотным – требовалось получить особое постановление парламента. Поэтому нередко браки расторгались неофициально, что, естественно,

статистикой не учитывалось. Но, вообще, в викторианском обществе, особенно среди верхушки среднего класса, к которой принадлежал Дарвин, брачные узы чтили и заключали на всю жизнь.

Так продолжалось до 1857 года, когда парламент принял закон, существенно упростивший процедуру развода^[180]. Однако викторианская мораль за институт брака держалась крепко. Можно только догадываться, сколько несчастья это причиняло людям, но, сдается мне, не больше, чем нынешнее легкомысленное отношение к семье и браку^[181]. Во всяком случае, мы знаем немало удачных семейных союзов из того времени – среди них и пример Чарлза и Эммы.

Их привязанность была искренней и взаимной и с годами только росла. Они воспитали семерых детей, и ни один из них не оставил мемуаров с жалобами на родителей-тиранов. Дочь Генриетта называла их брак «идеальным союзом»^[182], а сын Фрэнсис писал про отца: «Его мягкий, отзывчивый характер наиболее ярко проявлялся в отношениях с нашей матерью. В ней он нашел свое счастье: жизнь его, которая иначе бы была омрачена горьким унынием, наполнилась тихой радостью»^[183]. Сегодня брак Чарлза и Эммы, такой сердечный, спокойный и прочный, кажется почти идиллическим.

Кандидатки

На брачном рынке викторианской Англии Чарлз Дарвин был весьма завидным женихом: имел незлобивый характер, достойное образование, крепкую семью, хорошие карьерные перспективы и верные шансы на наследство. Красотой он не блистал – ну и что? – в викторианском обществе господствовало четкое разделение брачных ролей (полностью согласующееся с эволюционной психологией): мужчине для успеха у противоположного пола достаточно было иметь хорошие финансовые перспективы, женщине – приятную внешность.

В обширной переписке с сестрами, которую Чарлз вел во время учебы в университете и пока плавал на «Бигле», немало внимания уделялось романтической сфере: сестры передавали ему последние светские сплетни и перебирали возможных кандидаток в жены – и

почти всегда мужчин они оценивали по их способности обеспечить материальное благополучие будущей супруге, а женщин – по их способности услаждать зрение и слух будущего мужа. Счастливиц, получивших предложение, и перспективных кандидаток в жены для Чарлза они обычно характеризовали как «хорошеньких», «очаровательных» или, в крайнем случае, «милых». «Я уверена, она бы тебе понравилась, – писала его младшая сестра Кэтрин об одной из кандидаток, – веселая, милая и, по-моему, прехорошенькая». Мужчин, вступающих в брак, они оценивали совсем иначе. Сьюзан Дарвин писала брату во время его плавания: «Ваша очаровательная кузина Люси Гальтон помолвлена с мистером Муалье, старшим сыном толстой госпожи Муалье... Молодой джентльмен весьма состоятелен, так что это удачная партия»^[184].

Плавание на «Бигле» затянулось: пять лет двадцатилетний Чарлз провел вдали от родной Англии и от женского общества. Но возраст, как и заурядная внешность, шансы мужчины на брачном рынке не уменьшали: это женщинам надо было успеть найти мужа до тридцати, пока они в расцвете; мужчины же обычно, как и Чарлз в этом возрасте, целеустремленно строили карьеру (и зарабатывали состояние), чтобы потом заполучить невесту помоложе. Так что Дарвин никуда не спешил. В викторианской Англии возрастной мезальянс никого не удивлял, – но только если он был в пользу мужчины, обратная ситуация грозила если не скандалом, то уж точно общим недоумением. Пока Дарвин был в плавании, сестра Кэтрин сообщила ему, что их кузен Роберт Веджвуд, ровесник Дарвина, «страстно и безрассудно влюбился в пятидесятилетнюю мисс Кру, которая слепа на один глаз». Другая сестра, Сьюзан, саркастически заметила на это: «Подумаешь – 20 лет разницы!» Третья – Кэролайн – возмутилась: «Она ему в матери годится!» Кэтрин выдвинула теорию: «В уме ей не откажешь – думаю, она завлекла его хитростью, да и остатки былой красоты нельзя списывать со счетов»^[185]. Иными словами, мужской эволюционный инстинкт молодого джентльмена сработал верно – он выбрал красивую партнершу (в природе красота является признаком юности), и не его вина, что он наткнулся на редкое исключение.

Круг вероятных кандидаток в жены у Чарлза был невелик и фактически ограничивался наследницами двух зажиточных семейств,

живших в Шрусбери, недалеко от его родителей: Фанни Оуэн, «прехорошенькая, пухленькая, очаровательная», как описывал ее Чарлз в письме сестрам из университета, пользовалась большой популярностью у мужского пола^[186]; еще были три дочери Джозайи Веджвуда II, дяди Чарлза по материнской линии: Шарлотта, Фанни и Эмма^[187].

Поначалу на Эмму никто не ставил, хотя Кэролайн в одном из писем не преминула заметить, что младшая Веджвуд «очень хорошенькая и умеет поддержать приятную беседу»^[188] (а что еще мужчине надо?), однако так распорядилась судьба, что три другие кандидатки сошли с дистанции, не дожидаясь возвращения «Бигля». Первой упорхнула Шарлотта. В январе 1832 года она написала Чарлзу о своей помолвке с мужчиной, который, по ее словам, имел «пока весьма скромный доход», но должен был унаследовать большое состояние после смерти бабки и, к тому же, мог похвастаться «благородством и добротой характера, что вселяет спокойствие»^[189]. Иными словами (в переводе на язык эволюционной психологии), ресурсы у жениха скоро будут, и он готов вложить их в потомство. Насколько можно судить, новость сия не сильно расстроила Чарлза, хотя Шарлотте он явно симпатизировал, как и его старший брат Эразм – между собой они называли ее «несравненная». Однако она была на десять лет старше Чарлза и все-таки больше нравилась не ему, а брату (тот впоследствии так и не женился).

Гораздо сильнее Дарвина огорчила новость, полученная почти в то же время, про соблазнительную Фанни Оуэн. Ее отец написал, что жених дочери «не богат и вряд ли будет»^[190], зато имеет хорошее положение в обществе и даже какое-то время заседал в парламенте.

В письме Кэролайн Чарлз не сдерживает досады: «Все это вызывает восторг только у непосредственных участников, на меня же нагоняет смертельную скуку – я больше предпочитаю незамужних женщин»^[191].

Сестры мечтали, что после университета Чарлз удовольствуется карьерой приходского священника и осядет где-нибудь неподалеку с женой и детишками, но стремительно сужающийся круг кандидаток неуклонно сокращал шансы на это мирное будущее. Кэтрин провела рекогносцировку, оценила оставшихся Эмму и Фанни Веджвуд и

выбрала последнюю – отправила брату письмо, в котором выразила надежду на то, что к его возвращению Фанни еще будет свободна и станет ему «доброй, любезной женой»^[192]. Однако, увы, ее надеждам не суждено было сбыться: Фанни заболела и через месяц умерла в возрасте двадцати шести лет.

Три из четырех кандидаток отправились замуж или на тот свет, и Эмма осталась без соперниц. Если у Чарлза и имелись на нее давние планы, то он их тщательно скрывал. Как вспоминала Кэтрин, он был уверен, что по возвращении обнаружит Эразма «по уши влюбленным в Эмму Веджвуд и у ее ног». В 1832 году она написала брату, что его предсказание ее «очень позабавило и, будем надеяться, все произойдет с точностью до наоборот»^[193]. Эразм симпатизировал Эмме, однако решительных шагов не предпринимал, и когда «Бигль» возвратился в Англию в 1836 году, она все еще была свободна – даже, если можно так выразиться, решительно свободна. Когда Чарлз отправлялся в экспедицию, Эмма была юной, беззаботной двадцатитрехлетней девушкой; пока он плавал, ей несколько раз делали предложение, но она отказывала; теперь, когда «Бигль» причалил к родным берегам, она стояла на пороге тридцатилетия, у нее на руках была тяжелобольная мать и в свет она почти не выезжала^[194]. Незадолго до возвращения Чарлза Эмма написала своей невестке, что читает книгу про Южную Америку в надежде «хоть немного набраться знаний»^[195] перед встречей с ним.

Конечно, надежда эта была весьма наивная: недостатка в интересных собеседниках в Англии Чарлз не имел. Он вернулся из экспедиции человеком весьма известным и уважаемым (что всегда и во всех культурах привлекает женщин). До отъезда он занимал высокое социальное положение по праву рождения, после возвращения – завоевал собственное признание. С борта «Бигля» он посылал коллегам древние окаменелости, органические образцы и дельные заметки по геологии, пользовавшиеся в научных кругах большим успехом. Он свел близкое знакомство с крупнейшими современниками-натуралистами, к весне 1837 года обосновался в Лондоне в холостяцкой квартирке неподалеку от своего брата Эразма и был нарасхват в обществе.

Человек более тщеславный и менее целеустремленный мог бы погрязнуть в светской суеде с головой, тем более что компанейский

брат этому способствовал. Чарлз прекрасно понимал свое место в обществе (после посещения Кембриджа он заметил: «Я был там настоящим львом»), но в силу сдержанности и серьезности не поддавался тщеславию и по возможности старался избегать больших сборищ. Он говорил своему наставнику, профессору Джону Хенслоу: «Я предпочитаю тихо посетить вас, чем встретить весь свет на большом обеде». Выдающемуся математику Чарлзу Бэббиджу, разработавшему «аналитическую машину», Дарвин писал так: «Мой дорогой м-р Бэббидж! Я искренне благодарю Вас за приглашения, но не решаюсь их принять, так как боюсь встретить у Вас некоторых людей, с которыми всеми святыми поклялся не встречаться...»^[196]

Сэкономленные таким образом время и силы Дарвин использовал с огромной пользой. В течение двух лет после возвращения из экспедиции он:

1. отредактировал и подготовил к публикации судовой журнал (который сразу стал бестселлером и издается до сих пор под сокращенным названием «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”»);

2. заполучил от министра финансов субсидию в одну тысячу фунтов на публикацию «Зоологических результатов путешествия на “Бигле”» и нашел спонсоров;

3. заработал себе имя в научных кругах, издав полдюжины статей, начиная от очерка про новый вид американского страуса (который по решению Лондонского зоологического общества получил название *Rhea darwinit*) до статьи с изложением новой теории формирования почвенного слоя («Каждая частица почвы, формирующая пласт, на котором растет дерн на старых пастбищах, прошла через кишечник червей»^[197]);

4. предпринял геологическую экспедицию в Шотландию;

5. завел массу полезных знакомств в закрытом мужском клубе «Атенеум»;

6. был избран секретарем Лондонского геологического общества (однако принял пост неохотно, опасаясь, что это отнимет слишком много времени);

7. вел научные записки на разные темы: от «вопросов видообразования» до религии и морали – причем делал это настолько

основательно, что многие из них легли в основу его крупнейших трудов, написанных в последующие сорок лет;

8. обдумывал теорию естественного отбора.

Дарвин принимает решение о женитьбе

К концу этого плодотворного периода, за несколько месяцев до открытия принципа естественного отбора, Чарлз решил жениться, но не на ком-то конкретном, а вообще. Сохранился очень примечательный документ, составленный им, вероятно, около июля 1838 года. Он представляет собой список, состоящий из двух колонок «Жениться» и «Не жениться», озаглавленный «Вот в чем вопрос». В первой колонке, с аргументами в пользу брака, значилось: «Дети (если Бог пошлет)», «спутник жизни (друг в старости)», «объект любви и партнер по играм» (этот пункт зачеркнут и исправлен на «во всяком случае, лучше, чем собака»), «собственный дом и тот, кто будет о нем заботиться», «музыка и милая женская болтовня», «польза для здоровья», «но жуткая потеря времени». Последний пункт, видимо, неожиданно пришедший в голову Дарвину, настолько поразил его, что он даже занес его не в ту колонку и подчеркнул. В колонке с аргументами против брака он, кстати, тоже присутствует наряду с такими пунктами, как «свобода ездить, куда заблагорассудится», «свобода (ограниченная) в выборе общества», «общение с умными людьми в клубах», «не надо ездить по родственникам и уступать по любому пустяку», «бесконечные хлопоты и расходы на детей», «возможны ссоры», «нельзя читать по вечерам», «тучность и праздность», «хлопоты и обязанности», «меньше денег на книги», «если будет много детей, придется зарабатывать на кусок хлеба».

Несмотря на весомость доводов «против», эмоции взяли верх над разумом, и в первой колонке Дарвин написал: «Боже, невыносимо думать о том, чтобы прожить всю жизнь как рабочая пчела, не зная ничего, кроме труда. Нет, нет, не хочу. Представь только одинокий, тоскливый день в дымном грязном лондонском доме. Представь милую, нежную жену на кушетке, ярко пылающий камин, книги, музыку». В красках представив все это, Дарвин заключил: «Жениться. Жениться. Жениться. Что и требовалось доказать».

Впрочем, разум не собирался сдаваться – об этом свидетельствует еще одна запись в конце: «Жениться необходимо – это факт. Но когда? Рано или поздно». Такая неопределенность в обрисовке даты, видимо, отражает панический страх Дарвина (знакомый многим женихам) перейти от теоретических выкладок к практическим действиям. Невесты, естественно, тоже нервничают перед решительным шагом, но их сомнения скорее связаны с кандидатурой будущего мужа. Иными словами, они не сомневаются в том, надо ли выходить замуж, их волнует лишь, правильно ли они выбрали партнера. У мужчин, как видно из записки Дарвина, все совсем наоборот – их пугает сама перспектива пожизненного союза с одной женщиной, поскольку в моногамном обществе это серьезно ограничивает доступ к другим самкам и мешает распространению генов. Причем мужчина может даже не отдавать себе отчет в том, что его страшит сужение круга потенциальных сексуальных партнерш – подсознание действует гораздо тоньше, – у него вдруг появляется безотчетный страх оказаться в ловушке, распрощаться с вольной жизнью. «О-хо-хо! – написал Дарвин, мысленно трепеща перед лицом пожизненных обязательств. – Я никогда не выучу французский. Не увижу континент. Не съезжу в Америку, не поднимусь на воздушном шаре, не прокачусь в одиночестве по Уэльсу. Бедный раб, ты будешь хуже негра». Правда, затем он собрался с духом и принял-таки судьбоносное решение: «Не беда, мой мальчик, не унывай! Нельзя жить дряхлым, одиноким бобылем, без детей и друзей, с вечным унынием на морщинистом лице. Будь что будет, положишься на удачу и смотри в оба. Вокруг не так уж мало счастливых рабов»^[198].

Дарвин выбирает в жены Эмму

Еще раньше, предположительно в апреле, Дарвин набросал свои планы на будущее: стоит ли ему преподавать в Кембридже, и если да, то геологию или зоологию, или лучше продолжить «изучать распространение видов». Там же он впервые нерешительно упомянул и возможность брака^[199]. Неизвестно, что заставило его через несколько месяцев снова поднять этот вопрос и уже решить его

окончательно. Однако очень любопытно, что из шести записей, сделанных в личном дневнике за тот период, между апрелем и июлем, в двух есть упоминания о «плохом самочувствии», которое со временем станет проявляться все чаще (и Дарвин, вероятно, это предчувствовал). Как ни парадоксально, но мысли о смерти могут как завлечь мужчину в брак, так и (уже в более позднем возрасте) отвести от него, заставляя искать на стороне подтверждение своей неугасающей мужской силы. Однако, если разобраться, никакого противоречия нет – все логично: готовность хранить верность и стремление изменять одинаково заложены в мужчинах, поскольку равно способствовали у наших предков появлению потомства. Конечно, от смерти это индивида не спасало (в отличие от его генов), а в случае беспорядочных измен еще и ускоряло процесс.

Так или иначе, Дарвин ощутил (причем вполне реально, а не умозрительно), что будет вскоре нуждаться в преданном помощнике и сиделке. Вероятно, он понимал, что работа над книгой по эволюции займет долгие годы и потребует упорного, кропотливого труда в вынужденном уединении. Здоровье Дарвина ухудшалось, зато его понимание предмета с каждым днем росло. Первый блокнот с заметками о «распространении видов» он начал вести в июне – июле 1837 года, второй – в начале 1838 года^[200]. Теория естественного отбора явно давалась Дарвину легче, чем решение о женитьбе. Он предположил, что в основе эволюции лежат небольшие наследственные различия: когда один вид разделяется на две популяции, например, водной преградой, то сначала это просто два варианта одного вида, однако со временем они отдаляются друг от друга, пока не становятся самостоятельными, различимыми видами^[201]. Дарвину оставалось лишь выявить причину подобной дивергенции. В июле 1838 года он закончил вторую записную книжку и принялся за третью – ту, в которой найдет наконец ответ. Возможно, задумываясь о браке, он уже предвкушал грядущий успех.

Решение пришло в конце сентября, когда Дарвин «случайно, ради развлечения» прочел знаменитую книгу Томаса Мальтуса, в которой отмечалось, что темпы естественного роста населения будут опережать производство продовольствия, пока не наступит кризис. Как он сам отметил в автобиографии: «...благодаря продолжительным наблюдениям над образом жизни животных и растений я был хорошо

подготовлен к тому, чтобы оценить значение повсеместно происходящей борьбы за существование, меня сразу поразила мысль, что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные – уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов. Теперь, наконец, я обладаю теорией, при помощи которой можно было работать»^[202]. 28 сентября Дарвин сделал пометку о книге Мальтуса и сформулировал следствия естественного отбора: «Есть сила, которая заполняет пробелы в структуре природы или, скорее даже, образует их, выталкивая наиболее слабых, в результате чего структура укрепляется и легко адаптируется к изменениям»^[203].

В общем, с направлением профессиональной деятельности Дарвин определился, оставалось устроить личную жизнь. Через шесть недель, в воскресенье 11 ноября (в «поворотный день», как Дарвин назвал его в своем дневнике) он сделал предложение Эмме Веджвуд.

С точки зрения эволюционной теории его выбор может показаться весьма странным. На тот момент он был уважаемым, обеспеченным мужчиной в самом соку и вполне мог рассчитывать на молодую красивую жену. Эмма же была на год его старше, и красавицей вовсе не считалась, хотя и дурнушкой тоже (судя по ее портрету). Что же заставило Дарвина поступить столь эволюционно неэффективно?

Во-первых, не следует забывать о дополнительных факторах, повышающих привлекательность потенциального партнера, таких как интеллект, надежность, психологическая и физическая совместимость^[204]. Выбор супруги – не только выбор сексуальной партнерши, но и матери для своих будущих детей. Стойкость и выдержка, проявленные Эммой, говорили в ее пользу. Вот как вспоминала о ней одна из дочерей: «Она была удивительно доброй, чуткой и бескорыстной. Рядом с ней нам всегда было спокойно, мы знали, что к ней можно обратиться с любой бедой, большой или малой, и это не будет ей в тягость»^[205].

Во-вторых, надо учитывать не столько «объективную значимость» Дарвина на брачном рынке, сколько его «субъективно воспринимаемую значимость». Самооценка индивида и связанный с ней уровень притязаний формируются в подростковом возрасте, или даже еще раньше, на основе реакции социума. Дарвин отнюдь не ощущал себя альфа-самцом. Он имел крупное телосложение, но

кроткий нрав, и по натуре борцом не был. Одна из его дочерей вспоминала, что он считал свое лицо «отталкивающе заурядным»^[206].

Конечно, достижения Дарвина в зрелом возрасте компенсировали все эти недостатки: высокое положение в обществе легко заставляет женщин смириться с неказистой внешностью или недостаточной брутальностью мужчины. И все же неуверенность в себе сохранилась. Но почему? Возможно, это является рудиментом эволюции: во многих обществах охотников-собирателей самцовая иерархия прочно закладывается в молодости. Низкоранговые мужчины ведут себя тихо, не получают образования, не строят карьеру и не удивляют барышень своими достижениями. В далеком прошлом уровень самооценки, сформировавшийся в молодости, являлся надежным ориентиром для выбора партнерши, однако в современном обществе это уже не так.

Хотя как посмотреть... От измены ведь ни один муж не застрахован, особенно когда вокруг его жены полно более крепких и привлекательных мужчин. Так что, возможно, скромность и невысокая оценка своего животного магнетизма уберегли Дарвина от брака с красоткой, которую бы тянуло на приключения с бабниками, более сексуально привлекательными, чем почтенный ученый.

Эмма говорит «да»

Эмма с радостью приняла предложение Чарлза, что наполнило его «сердечной признательностью». Ей польстило, что он не был уверен в ее согласии^[207], и это вполне естественно: то, что легко достается, обычно не ценится, но и перегибать палку не следовало, поэтому Эмма без всякого жеманства и кокетства сразу сказала «да». Ее восхищали ум Чарлза, его искренность, привязанность к семье и мягкий характер^[208] (в переводе на язык эволюционной психологии это значит, что у него неплохие гены и он, по всей видимости, будет щедрым и заботливым отцом). К тому же Дарвин принадлежал к богатой семье, имел хорошее положение в обществе и пользовался профессиональным признанием (значит, материальных и социальных ресурсов у него вполне достаточно).

Правда, Эмма и сама не бедствовала. Ее дед Джозайя Веджвуд, знаменитый художник-керамист, добился огромной известности и нажил приличное состояние. Она могла бы выйти замуж и за нищего, не опасаясь, что ее дети будут терпеть лишения. Но тут сыграла свою роль эволюционная тяга женщин к статусным партнерам: тысячелетиями она способствовала выживанию потомства и накрепко утвердилась в сознании.

Эмма Веджвуд могла бы купить себе вход в высшее общество Лондона (например, занимаясь благотворительностью), тем не менее социальное положение Дарвина ее изрядно впечатлило. В период помолвки благодаря Чарлзу она познакомилась с прославленным геологом Адамом Седжвиком. «Какая честь быть приглашенной в дом к великому Седжвику, – восхищалась она. – *Подумать только!* Ощущаю себя важной персоной. А что будет, когда я стану миссис Д... Голова идет кругом»^[209].

Ни для кого не секрет, что мужчины тоже обращают внимание на социальное положение и материальное благосостояние будущей жены, правда, в связи с особенностями эволюционного развития привлекательность состоятельных, уважаемых женщин связана скорее с трезвым рассудочным расчетом, чем с подсознательным сексуальным притяжением. Перебирая в июле 1838 года минусы брака, Дарвин особо отметил «потерю времени» и «ужасную бедность», но тут же сделал оговорку: «а вдруг жена будет ангелом и станет вдохновлять на работу» и «а вдруг жена будет святой и при деньгах».

Мы не знаем, как Дарвин себя в то время чувствовал и какие карьерные надежды питал, но он составил портрет идеальной жены для хронически больного человека, который в одиночку трудится над величайшей научной книгой столетия. Мы также не знаем, имел ли он тогда кого-то конкретного на примете, но он в точности описал Эмму Веджвуд^[210]. С ее приданым, его наследством, его авторскими гонорарами и умением находить спонсоров бедность им точно не грозила^[211]. И хотя Эмма вряд ли служила для Чарлза источником вдохновения, она искренне поощряла его исследования, преданно ухаживала за ним и всячески ограждала от тревог. Дарвин, с присущей ему тактичностью, ясно высказал эти свои пожелания с самого начала. Через три недели после помолвки он написал Эмме о реакции

одной своей знакомой на новость об их скорой женитьбе: «Она сказала: «Все ясно, м-р Дарвин обзаведется женой, осядет где-нибудь в деревне и забросит геологию». Бедняжка даже не догадывается, какая хорошая и строгая у меня будет жена, как она станет подстегивать меня к работе и к развитию...»^[212]

В пылу страсти

Решение о браке Дарвин принимал с холодной головой, но когда все сомнения были наконец отброшены, он отдался чувствам. К моменту свадьбы их накал в письмах достиг такого градуса, что вполне закономерно возникает вопрос: как могла его страсть вспыхнуть так быстро? В начале июля он, судя по дневниковым записям, либо а) еще даже и не думал жениться на Эмме, либо б) серьезно сомневался в целесообразности данного мероприятия. В конце июля он посещает Веджвудов и имеет длинный разговор с Эммой. Затем пропадает на три с половиной месяца и, когда наносит следующий визит, огорошивает девушку предложением. Получив согласие, он впадает в экстаз и строчит своей избраннице цветистые послания с признаниями в том, как с трепетом каждый день проверяет почту в надежде получить от нее письмо, как не может уснуть ночью, мечтая об их совместном будущем, и как предвкушает момент, когда «мы войдем вместе в наш дом, и ты будешь сидеть счастливая у нашего очага»^[213]. Ощущение такое, что его подменили. Давайте попробуем разобраться.

Рискну показаться занудой, но, по-моему, все дело в генах, вернее, в обусловленных ими различиях в «досексуальном» поведении женщин и мужчин. Первые настроены осторожно – прежде чем отдаться страсти, они оценивают перспективность партнера. Вторые, напротив, предпочитают атаковать, чтобы форсировать сближение. Один из самых популярных способов атаки – заверения в искренней любви и вечной верности, а как известно, чтобы убедить кого-то, надо сначала поверить самому.

Важную роль при этом играет наличие половой жизни у мужчины (и ее интенсивность). Как заметили канадские ученые Мартин Дали и

Марго Уилсон, «любое существо, находящееся на пути к полному репродуктивному провалу», должно изо всех сил стараться переломить ситуацию^[214], иными словами, естественный отбор вряд ли был милостив к генам мужчин, которые не начинали активно искать секса при длительном его отсутствии. Насколько известно, Дарвин до женитьбы так и не познал женщину^[215]. А много ли нужно, чтобы возбудить мужчину после столь продолжительного воздержания? Когда «Бигль» пришвартовался в Перу, Дарвин, сойдя на берег, увидел элегантных дам в вуалях, приоткрывающих лишь один глаз, но «этот глаз настолько блестящ и черен, настолько темпераментен и выразителен, производит неизгладимое впечатление»^[216]. Неудивительно, что, когда Эмма Веджвуд ответила согласием (что сулило скорые плотские радости), у Дарвина потекли слюнки, причем в самом буквальном смысле (см. цитату из его дневника, поставленную эпиграфом к данной главе).

Я не берусь определить точное соотношение любви и похоти в сердце Дарвина по мере приближения дня свадьбы; относительная репродуктивная ценность данных чувств у человека слишком часто колебалась от случая к случаю и от тысячелетия к тысячелетию. За несколько недель до свадьбы Чарлз записал в своем дневнике: «Что происходит в голове мужчины, когда он признается в любви... Это слепое чувство, вроде сексуального влечения... Любовь – это эмоция... Важная... Зависит ли она от других эмоций?»^[217] Трактовать данный отрывок сложно, но нам важно лишь, что любовь и сексуальное влечение упоминаются рядом, значит, для Дарвина в тот момент так или иначе оба чувства были связаны. Кстати, в предположении о том, что любовь может иметь корни в других чувствах, угадывается главное направление современного дарвинистского подхода к человеческой психологии.

А что же чувствовала в тот момент счастливая невеста? Исходя из нашего наблюдения, согласно которому перед перспективой секса мужчина наращивает активность, а женщина осторожно притормаживает, можно предположить, что пыл Эммы перед свадьбой был гораздо меньше, чем у Чарлза. Конечно, так бывает не всегда – в игру могут вступать дополнительные факторы, – но обычно женщины все же больше нервничают перед консумацией. Запрет на сексуальные отношения до брака в викторианском обществе наделял женщин

властью... но только до свадьбы. Вот почему английские джентльмены в XIX веке (в отличие от наших современников) так торопились под венец после обручения, а леди (опять же в сравнении с нынешними дамами) всячески оттягивали сей момент. И Эмма вела себя точно так же. Через несколько недель после помолвки она предложила отложить свадьбу до весны – Чарлз настаивал на зиме. Тогда Эмма сослалась на чувства своей сестры Сары Элизабет, которая, будучи на пятнадцать лет ее старше, все еще не состояла в браке и в связи с этим очень переживала. В письме же к сестре Дарвина Кэтрин она искренне признавалась: «К тому же я должна хотеть этого сама» – и молила: «Милая Кэтти, убеди Чарлза сбавить обороты»^[218].

Дарвин привлек на помощь все свое красноречие, чтобы приблизить желанный медовый месяц: «Отсрочки терзают мое сердце – я не могу дождаться счастливой минуты, когда наконец смогу назвать тебя своей женой» (увы, не помогло). И даже после того, как дата свадьбы была окончательно назначена, он все равно беспокоился, что Эмма вдруг снова все отложит или вообще передумает. Ее письма к нему написаны тепло, но без страсти. Он убеждал: «Я искренне молюсь, чтобы ты никогда не пожалела о том великом и, смею сказать, благом шаге, который совершишь во вторник». Эмма не спорила, однако и восторгов его не разделяла: «Мой дорогой Чарлз, не стоит тревожиться, что я буду менее счастлива, чем ты. И событие, которое произойдет 29 января, я считаю радостным, хотя, возможно, и не столь великим и благим, как ты»^[219].

Конечно, существует вероятность, что подобная сдержанность Эммы была связана не с женскими страхами перед консумацией, а с особенностями ее характера (сантиментами она никогда не страдала^[220]) и нюансами их отношений с Чарлзом. Возможно, ее насторожило (вполне обоснованно) состояние его здоровья. Так или иначе, но факт остается фактом: единственная причина, по которой нынешних мужчин так сложно затащить под венец, в том, что путь к алтарю перестал быть единственным путем в спальню.

После медового месяца

Первая брачная ночь меняет расстановку сил. Женщины дольше присматриваются, но, когда выбор наконец сделан, отдаются страсти с головой. Если уж леди сочтет джентльмена достойным кандидатом для продолжения рода, она будет более генетически заинтересована в том, чтобы его удержать. И тут поведение Эммы согласуется с нашими предположениями. Через несколько месяцев после свадьбы она признавалась: «Я не могу высказать, какое счастье он мне дарит, и как нежно я люблю его, и как я признательна за его пылкие чувства, которые с каждым днем больше и больше наполняют меня счастьем»^[221].

У мужчин все совсем иначе – получив желаемое, они склонны терять интерес. Значит, их заверения в любви не больше, чем самообман, и стоит жене забеременеть, как они отправятся на поиски новых приключений? Вероятно. Однако у Дарвина подобного охлаждения мы не наблюдаем. Спустя несколько месяцев после свадьбы (и несколько недель после зачатия первенца) он записал в своем дневнике: «Теплое отношение к жене и детям доставляет мужчине удовольствие безотносительно к его собственным интересам». Рискну предположить, что его чувства к Эмме были все еще глубоки^[222]. Почему?

Судя по всему, сексуальная сдержанность женщины не просто разогревает мужчин (настолько, что они готовы давать любые обещания – «мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас» – и даже верить им), но и позволяет впоследствии надолго удержать их интерес (тут нельзя не вспомнить комплекс «мадонны – блудницы»). Если женщина найдет в себе силы устоять перед ухаживаниями до брака, то мужчина с большей вероятностью не потеряет к ней уважения и привязанности наутро (и на многие годы вперед). Он может совершенно искренне признаваться в любви разным женщинам, но ценить будет лишь тех, которые не сразу пали под его натиском. Сдается мне, в тогдашнем осуждении добрачного секса имелась толика мудрости.

Однако этим дело не ограничивалось: вся викторианская культура была пропитана восхищением «мадоннами» и презрением к «блудницам». Тогда царил культ женщины-спасительницы, воплощения невинности и чистоты. Лишь она могла усмирить звериное естество в мужчине и исцелить его дух после трудов

праведных. Но делать это ей позволялось лишь в законном браке, заключенном после длительных целомудренных ухаживаний. Она представлялась этаким «домашним ангелом»^[223], как говорилось в одном популярном тогда стихотворении.

Считалось, что даже до брака мужчины не должны позволять себе некоторые вольности... хотя, конечно, позволяли – двойные стандарты в отношении промискуитета цвели в викторианской Англии пышным цветом, правда, против них шли стеной ярые моралисты, вроде доктора Уильяма Эктона, которые проповедовали не только внебрачное, но и добрачное воздержание для мужчин. В труде «Викторианский образ мысли, 1830–1870» современный исследователь Уолтер Хоутон пишет: «Чтобы оградить тело и разум от порока, мальчика учили относиться к женщинам с бесконечным уважением и благоговейным трепетом», а к некоторым и того больше: «Добродетельных женщин (сестру, мать, будущую невесту) он должен был рассматривать скорее как ангелов, чем как людей – образ, удивительно рассчитанный не только на то, чтобы отделить любовь от секса, но еще и переплавить любовь в поклонение. Поклонение непорочности»^[224].

Про «расчет» Хоутон не оговорился, в своей книге он приводит цитату викторианского автора от 1850 года о важности мужского добрачного воздержания: «Откуда берется почтение к женскому полу, внимание к нежным чувствам и искренняя сердечная привязанность, которая является самой прекрасной и светлой стороной любви, очищающей нашу душу? Неужели у кого-то вызывает сомнение, что благородное, рыцарское отношение к женщинам возможно лишь при подавлении, освящении и возвышении страстей?.. И что же в наши дни способно уберечь целомудрие и сохранить остатки галантной самоотверженности? Не очевидно ли, что лучшая защита от плотских страстей и грязных интрижек – это ранний пылкий и добродетельный союз?»^[225] По-моему, вполне убедительный пассаж (за исключением термина «подавление», который неверно описывает психодинамику). Целомудренными ухаживаниями автор предлагает поднять женщину до идеала «мадонны», то есть «освятить и возвысить» страсти (раз уж их не удастся легко заглушить).

Однако этим польза добрачного воздержания не исчерпывается. Вспомним, как тогда обстояли дела с контрацепцией: не существовало

ни презервативов, ни колпачков, ни противозачаточных таблеток. И если муж с женой спали вместе в течение года или двух и не обзаводились потомством, то, скорее всего, один из них был бесплоден. Кто именно, определить, естественно, не представлялось возможным; при этом оба супруга выигрывали, если решались разойтись и попытаться счастья на стороне. Развился даже отдельный адаптационный психологический механизм «изгнания партнера», который поощряет взаимное охлаждение при отсутствии «результатов» после многочисленных попыток^[226].

Не стану отрицать: весьма спорная теория, но в ее пользу есть несколько косвенных доказательств. Так, во всех культурах мира бездетные браки распадаются чаще^[227] (правда, бесплодие редко фигурирует в качестве основной причины разрыва, однако это не противоречит теории, ведь, согласно ей, происходит подсознательное охлаждение к партнеру). Многие пары могут подтвердить, что прибавление в семействе укрепило их брак. Супружеская любовь частично переходит к ребенку и, преломляясь, распространяется на всю семью, включая партнера. Если этого не происходит, любовь, согласуясь с высшим замыслом, постепенно исчезает.

Дарвин опасался, что противозачаточные средства «распространятся среди незамужних женщин и уничтожат целомудрие, на котором зиждутся семейные узы, и их ослабление станет величайшей бедой человечества»^[228]. Увы, его предположение оказалось верным, хотя он и не знал тогда обо всех возможных эволюционных причинах этого. Не подозревал он и о глубоко укорененном комплексе «мадонны – блудницы», и о существовании механизма «изгнания партнера». Да что уж там, и по сей день мы еще не до конца разобрались в этих вещах. Обнаруженная корреляция между распространением секса и сожителства до брака и уровнем разводов наводит на размышления, но однозначных выводов делать не дает^[229]. Однако отмахнуться от опасений Дарвина, как от брюзжания стареющего викторианца, уже не получится.

Надо сказать, что контрацепция – не единственная технология, повлиявшая на структуру семейной жизни. Женщины, кормящие грудью, часто отмечают ослабление полового влечения, и у этого есть достоверное эволюционное объяснение – в период лактации они обычно не способны к зачатию. Видимо, по той же причине их мужья

теряют к ним сексуальный интерес. В таком случае можно предположить, что распространение искусственного вскармливания сделало женщин более похотливыми и сексуально привлекательными. Хорошо ли это для брака, трудно сказать (а вдруг жену потянет не к мужу, а «налево»). Как тут снова не вспомнить доктора Эктона с его безапелляционными сентенциями: «Лучшие матери, жены и домашние хозяйки почти ничего и не знают о сексуальных утехах. Любовь к дому, детям и хозяйству – вот их единственная страсть». Спорить не стану: в Викторианскую эпоху, когда большую часть детородного возраста женщины либо вынашивали, либо выкармливали младенцев, их либидо и правда обычно подавлялось^[230].

Наличие детей хоть и скрепляет брак, но не защищает супругов от конфликта интересов. Дети растут, становятся взрослее и самостоятельнее, жена стареет, теряет привлекательность, и эволюционные механизмы, удерживающие мужчину в семье, заметно ослабевают. Урожай собран, поле истощилось – пора искать новое^[231]. И чем выше шансы мужчины на успех, тем сильнее это стремление – его подпитывают заинтересованные женские взгляды.

В открытую говорить об этом было не принято – *только завуалированно*, в художественной литературе, в народном творчестве и в предсвадебных наставлениях жениху и невесте. Профессор Хенслоу, на тот момент уже пятнадцать лет состоящий в законном браке, написал Дарвину незадолго до свадьбы: «Единственный совет, который я хочу дать вам, – помните, что вы клянетесь быть вместе и в горе, и в радости. Чтобы не множить первое и продлить второе, цените достоинства жены и не обращайтесь внимания на недостатки. Если не станете пренебрегать этим простым правилом, как большинство мужчин, то никогда не пожалеете, что променяли благословенное одиночество на брак»^[232]. Иными словами, старший и более опытный товарищ советовал Дарвину не прекращать любить жену вопреки соблазнам.

Эмме же тем временем советовали не прощать чужие недостатки, а прятать свои, особенно те, которые были связаны с возрастом и внешностью. Ее тетьа (возможно, памятуя о равнодушии племянницы к нарядам) писала: «Лучше заплатить чуть дороже, но одеться элегантно и со вкусом; не пренебрегай маленькими хитростями,

позволяющими выглядеть более приятно, пусть даже твой Чарлз, как ты говоришь, не обращает внимания на такие мелочи. Все мужчины обращают... даже мой полуслепой муж»^[233].

С последствиями мужской нетерпимости к недостаткам жен все предельно ясно (охлаждение, измены, разрыв), чего совсем не скажешь о ее причинах, которые обычно остаются скрытыми от обеих сторон. Мужчина, охладевший к супруге, не говорит себе: «Мой репродуктивный потенциал будет реализован лучше, если расторгнуть брак. Мне это выгодно, поэтому так я и сделаю». Кому приятно ощущать себя бессердечным эгоистом? Еще чего доброго придется передумать? Гораздо удобнее медленно «растерять» все те чувства, которые когда-то заставили вступить в брак.

Наглядным примером такого охлаждения может быть случай Чарлза Диккенса, одного из немногих викторианцев высшего сословия, решившегося расторгнуть брак (правда, без официального развода). В 1838 году Дарвина и Диккенса вместе принимали в члены закрытого лондонского клуба «Атенеум», Дарвин тогда еще только мечтал о радостях брака, а Диккенс уже два года был женат на женщине, которую называл своей «лучшей половиной». Через двадцать лет, находясь в зените славы и купаясь во внимании молодых поклонниц, он видел в ней лишь досадную обузу. Теперь ему казалось, что она живет в «тлетворной атмосфере, которая душит всякого, для кого она дорога». В письме Диккенс жаловался другу: «Думаю, нет на свете двух более несовместимых людей, чем я и моя жена – между нами не возможны ни взаимный интерес, ни симпатия, ни доверие, ни понимание, ни нежный союз». Поразительно, что понял он это лишь спустя годы брака, когда у Кэтрин Диккенс было на руках десять детей... По меткому замечанию американской писательницы Филлис Роуз, «он считал жену черствой, злой, завистливой, апатичной – почти лишившейся человеческого облика»^[234].

Эмма Дарвин так же, как и Кэтрин Диккенс, старела и дурнела, а ее муж, как и классик английской литературы, добился всеобщего признания после свадьбы, однако у нас нет никаких свидетельств того, что Чарлз когда-либо считал Эмму «почти лишившейся человеческого облика». Интересно, почему?

Глава 6

Секрет семейного счастья по Дарвину

Она – мое величайшее счастье, и я могу сказать, что за всю мою жизнь я ни разу не слышал от нее ни единого слова, о котором я мог бы сказать, что предпочел бы, чтобы оно вовсе не было произнесено... Она была моим мудрым советником и светлым утешителем всю мою жизнь, которая без нее была бы на протяжении очень большого периода времени жалкой и несчастной из-за болезни. Она снискала любовь и восхищение всех, кто находился вблизи нее.

Чарлз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера^[235].

Дарвину, можно сказать, повезло: у него оказались все предпосылки для долгого счастливого брака. Во-первых, он постоянно болел. На десятом году совместной жизни, вынужденный уехать от своей милой Эммы на несколько дней, чтобы проведать занедужившего отца (сам будучи больным), он писал ей о том, как «тоскует», ведь без нее «любое недомогание ввергает в отчаяние», а в конце признался: «Я хочу быть с тобой, под твоей защитой – *только так* я чувствую себя в безопасности»^[236]. Через 30 лет замужества Эмма не без горечи заметила: «Ничто так не скрепляет брак, как болезни»^[237]. Забота о здоровье мужа стала для нее пожизненным бременем, и оценить всю его тяжесть она смогла, увы, лишь после свадьбы. Мы не знаем, пожалела ли она о том, что пошла под венец с Чарлзом, однако об одном ей не приходилось тревожиться точно – *о том, что муж ее*

бросит. Дарвин, несмотря на неплохое социальное и материальное положение, не пользовался успехом у противоположного пола, так сказать, был неликвидным товаром на брачном рынке, а подобные партнеры обычно совершенно довольны браком и приключений на стороне не ищут.

Во-вторых, Дарвин искренне верил в викторианский идеал женщины – духовной спасительницы. В своем воображении (и в дневниках) он рисовал будущую жену как «ангела», который будет стимулировать его к работе, но не даст в ней полностью раствориться. На его счастье, он нашел себе такого «домашнего ангела», да еще и няньку в придачу. Длительный период целомудренных ухаживаний лишь укрепил образ жены как «мадонны». «Меня изумляет то исключительное счастье, что она, человек, стоящий по всем своим нравственным качествам неизмеримо выше меня, согласилась стать моей женой»^[238], – признавался он в конце жизни.

В-третьих, жили они уединенно, на восемнадцатикровом участке земли, в двух часах езды на карете от Лондона с его соблазнами и пороками. А как известно, мужчины любят глазами: их сексуальные фантазии носят визуальный характер, в отличие от женских, которые по большей части состоят из воображаемых нежных прикосновений, проникновенного шепота и других осязаемых гарантий будущих вложений. Неудивительно, что мужчины так просто возбуждаются просто при виде анонимной плоти^[239]. Так что визуальная изоляция – отличный способ не допустить появления у мужа крамольных мыслей о недостатках супруги и достоинствах других женщин. Увы, в наши дни он труднодостижим, и даже не столько потому, что сейчас привлекательные молодые особы больше не сидят по домам, босые и беременные, сколько потому, что образы красоток окружают нас повсюду. И тот факт, что они двумерные, на суть проблемы ничуть не влияет – изобретение фотографии не было предусмотрено естественным отбором. В прошлом, если мужчина видел вокруг много привлекательных молодых женщин, ему генетически был выгоден отказ от моногамии, что вело к соответствующему перестроению чувств. Один эволюционный психолог обнаружил, что мужчины, которым показывали изображения моделей «Плейбоя», ниже оценивали свои чувства к партнершам, чем другие испытуемые,

которые просматривали абстрактные картины (женщин откровенными снимками красавчиков сломить было труднее)^[240].

В-четвертых, Дарвин, несмотря на проблемы со здоровьем, оказался плодовитым отцом, а постоянная забота о потомстве обычно уменьшает тягу к приключениям, отнимающим немало сил и времени, которые эволюционно гораздо выгоднее вложить в милых, крошечных носителей генов. Относительно невысокий процент разводов в браках с детьми принято связывать с тем, что супруги остаются вместе «ради детей». Без сомнения, такое бывает, однако нельзя исключать возможность того, что эволюционно в нас крепнет любовь к супругу, если союз оказывается плодотворным^[241]. А те, кто заявляет, что будут жить вместе, но детей рожать не станут, нередко со временем меняют свои планы либо по первому, либо по второму пункту^[242]. Статистика показывает, что в среднем в Америке распадается каждый второй брак, однако для бездетных этот показатель существенно выше.

В общем, рецепт семейного счастья по Дарвину предельно прост: целомудренно ухаживайте, женитесь на ангеле, сразу после свадьбы переезжайте в деревню, заводите побольше детей и почаще болейте. Усердно работать не возбраняется, особенно если работа не связана с командировками.

Брачные советы для мужчин

В наше время воспользоваться рецептом Дарвина будет проблематично, но поучиться у него все же кое-чему стоит. Взять хотя бы его методичный подход к браку: (1) сначала он принял взвешенное решение о необходимости женитьбы, (2) затем нашел ту, которая наиболее полно отвечает его потребностям, и (3) женился на ней.

Один из биографов Дарвина, Питер Брент, раскритиковал этот рассудочный подход, упирая на его «эмоциональную пустоту»^[243]. Спорить не стану, скажу лишь, что Дарвин на протяжении почти полувека, пока длился его брак, всегда был любящим мужем и отцом. Возможно, мужчинам, мечтающим о чем-то подобном, стоит поучиться аналогичной эмоциональной отвлеченности («пустоте»,

если угодно) при принятии решения о браке, естественно, адаптировав ее к современным условиям.

Длительная любовь требует определенной силы воли. Пожизненная моногамия не свойственна ни женщинам, ни тем более мужчинам. Поэтому Дарвин, отделяя вопрос о целесообразности брака от вопроса о кандидатуре партнера, оказался абсолютно прав. Твердое и осознанное решение жениться, принятое им, было столь же важно, как и последующий выбор супруги.

Поразительно, но этот методичный подход вовсе не исключает любовного пыла – к моменту свадьбы Дарвин буквально сгорал от страсти. Но страсть, как известно, недолговечна, и что придет ей на смену – гораздо более интересный вопрос. Выстоит брак или нет, будет зависеть от взаимного уважения, бытовой совместимости, искренней привязанности и (в наши дни особенно) волевой решимости. Все это позволяет «любви» не иссякать в течение жизни (да-да, «пока смерть не разлучит...»). Но это будет уже другая любовь, не та, с которой все начиналось. Будет ли она богаче, глубже и духовнее? Судить не возьмусь, но на меня она однозначно производит более сильное впечатление.

Браки заключаются не на небесах. И многие мужчины (как и женщины) оправдывают развод тем, что они просто выбрали «неправильного» человека и в следующий раз непременно постараются и найдут «правильного». Увы, маловероятно. Статистика разводов подтверждает меткое выражение английского поэта Сэмюэля Джонсона о том, что повторный брак – это «триумф надежды над опытом»^[244].

Джон Стюарт Милль, как ни странно, придерживался аналогичного подхода. Он настаивал на терпимости к разномыслию по поводу вопросов морали и подчеркивал стратегическую важность экспериментов, но ни в коей мере не рекомендовал нравственный авантюризм как образ жизни. За внешним свободомыслием у него скрывается твердая вера в необходимость сознательного контроля импульсов. В переписке он заявил, что «у большинства людей весьма скромные способности к счастью. Они ожидают... от брака какого-то особого счастья, сверх того, к чему привыкли, и, не находя его, мечтают о другом партнере, который сделает их счастливее, хотя вся их беда в скудости собственных способностей к счастью», и дал

весьма остроумный совет тем, кто недоволен браком – сидеть тихо, пока ощущение несчастья не пройдет. «Если они остаются вместе, то разочарование со временем уходит и они живут дальше, имея столько же счастья, сколько могли бы найти поодиночке или в любом другом союзе – только без изнурительных, неудачных экспериментов»^[245].

Уверен, многие мужчины и некоторые женщины не отказались бы поэкспериментировать и даже поначалу бы получали от этого удовольствие, но в конце концов поняли, что притягательная заманчивость второй попытки – всего лишь иллюзия, внушаемая нашими генами, которым выгодно, чтобы мы были плодовитыми, а не счастливыми. Откуда же было естественному отбору знать, что в современном обществе полигамия окажется вне закона и стремление к ней будет причинять эмоциональный ущерб всем причастным лицам, особенно внебрачным детям. Перевесит ли мимолетная радость от обладания новым ту боль, которую вызовет уход от старого? Непростой вопрос, решая который не следует руководствоваться одними эмоциями. И гораздо чаще, чем многим (особенно мужчинам) хотелось бы признать, люди отвечают на него отрицательно, ведь на весах не только условные меры удовольствия и боли, но и общий уклад жизни.

Во все времена мужчины признавали, что в долгосрочной перспективе семья, при всех накладываемых ею лишениях и заботах, приносит им радости, более нигде не доступные. Конечно, преувеличивать эти заверения не стоит, ведь на каждого семьянина, утверждающего, что жизнь прожита не зря, найдется хотя бы один холостяк, гордящийся своими многочисленными победами. Однако нельзя не заметить, что «женатикам», как правило, есть с чем сравнивать: многие из них успели вкусить в молодости сексуальную свободу и насладиться ею, тогда как закоренелые холостяки совершенно незнакомы с радостями долгого брака.

Джон Стюарт Милль рассматривал данный вопрос в более широком контексте. Как глашатай утилитаризма, он утверждал, что «удовольствие и свобода от страдания являются в конечном счете единственными вещами, которых желают люди», но трактовал он эти понятия по-своему. Он считал, что следует принимать в расчет не только собственное удовольствие и боль, а также удовольствие и боль всех людей, на которых влияют наши поступки (безусловно, включая

людей, с которыми мы создаем семью). Кроме того, он настаивал, что следует учитывать количество и качество удовольствий, и придавал особое значение «удовольствиям, ценность которых намного выше по сравнению с простыми ощущениями». В «Утилитаризме» он писал: «Немногие представители рода человеческого согласились бы, чтобы их превратили в животных, т. е. опустили до столь низкого уровня, – в обмен на обещание полнейшего удовлетворения потребностей в животных наслаждениях... Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей, недовольным Сократом, чем довольным глупцом. И если у глупца или свиньи иное мнение, то это потому, что они могут смотреть на вопрос только со своей стороны, в отличие от тех, кто может сравнивать обе точки зрения»^[246].

Развод тогда и сейчас

Со времен Дарвина система социальных стимулов брака претерпела серьезные, я бы даже сказал, фатальные изменения. Тогда у мужчин имелись веские причины для женитьбы (секс, любовь, социальное давление) и для сохранения семьи (просто не было другого выбора). Сегодня не состоящий в браке мужчина может регулярно иметь секс (по любви или без), не падая в глазах общества, а если по каким-то причинам он решает вступить в брак, то ни капли не тревожится, ведь, когда чувства уйдут, он сможет легко покинуть семью и возобновить активную сексуальную жизнь без риска вызвать резкое осуждение окружающих. Процедура развода предельно проста. Викторианцы мечтали о браке и были его заложниками, современные люди к браку не стремятся и им не дорожат.

Перелом случился в начале XX века и достиг угрожающих масштабов во второй его половине. В 50–60-х годах в США уровень разводов держался на относительно невысоком, стабильном уровне, но за одно десятилетие (с 1966 по 1978 г.) он удвоился, приблизившись к нынешним значениям. По мере того как развод становился все более простой и банальной процедурой, стремление к браку уменьшалось (прежде всего у мужчин, но и у женщин отчасти тоже). С 1970 по 1988 год средний возраст женщин, впервые

вступающих в брак, повысился, а доля восемнадцатилетних девушек, сообщивших о наличии сексуального опыта, выросла с 39 до 70 процентов. Среди пятнадцатилетних эта доля также увеличилась: раньше в половые отношения в этом возрасте вступала лишь каждая двадцатая, теперь каждая четвертая^[247]. За двадцать лет, с 1970 по 1990 год, количество не состоящих в браке, но живущих вместе пар в США возросло с полумиллиона до почти трех миллионов.

Облегчение процедуры развода привело к росту числа разведенных женщин, а повышение доступности секса – к росту числа женщин, никогда не состоявших в браке. Если в 1970 году среди американок в возрасте от 35 до 39 лет никогда не бывала замужем лишь каждая двадцатая, то в 1990 году – каждая десятая^[248]. Доля разведенных женщин в той же возрастной группе составила треть^[249].

У мужчин все еще хуже: тут каждый седьмой никогда не состоял в браке. Разница в процентном соотношении между холостыми мужчинами и женщинами объясняется последовательной моногамией, при которой женщины более активно вовлекаются в брачные отношения^[250], хотя им это менее выгодно. Дело в том, что они чаще мужчин хотят иметь детей. Сорокалетняя незамужняя бездетная женщина, в отличие от своего сверстника мужского пола, имеет гораздо меньше шансов обзавестись потомством. Та же несправедливость наблюдается и после развода: в среднем в США благосостояние мужчины заметно улучшается, когда он уходит из семьи, а у его бывшей жены (с детьми) падает^[251].

Закон о бракоразводных процессах, принятый в Англии в 1857 году, приветствовали многие феминистки, и среди них жена Джона Стюарта Милля – Гарриет Тейлор Милль, которая не переваривала своего первого мужа и страдала в этом брачном капкане вплоть до его смерти. Миссис Милль секс не любила и считала, что «все мужчины, за исключением редких возвышенных натур, – в большей или меньшей степени сластолюбцы», а «женщины, напротив, свободны от этой тяги». Для таких, как она, викторианский брак походил на серию изнасилований, перемежавшихся со страхом. Она выступала за легализацию развода в одностороннем порядке ради освобождения женщин.

Ее супруг также одобрял разводы в одностороннем порядке (при условии, что у пары нет детей), только совсем по другим причинам. Он считал, что свадебные клятвы больше ограничивают свободу мужей, чем жен, и полагал с завидной проницательностью, что строгие брачные законы того времени были написаны «сластолюбцами для сластолюбцев, чтобы ограничить сластолюбие»^[252]. И надо сказать, он был не одинок. Противники закона о бракоразводных процессах считали, что он поспособствует распространению серийной моногамии. Будущий премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон выступал против упрощения разводов, ибо, по его словам, «это приведет к деградации женщин»^[253]. Как метко выразилась одна ирландка почти сто лет спустя, «женщина, голосующая за развод, подобна индейке, голосующей за Рождество»^[254]. Последствия того закона оказались очень неоднозначными, но в целом Гладстон оказался прав. Женщины чаще проигрывают от развода.

Впрочем, прошлого не воротишь – как и одними запретами институт семьи не укрепишь. Практика показывает, что жизнь с родителями, непрерывно воюющими друг с другом, гораздо больше травмирует детей, чем развод. При этом у мужчины не должно быть финансового стимула для ухода из семьи; развод не должен повышать его уровень жизни, как это сейчас нередко бывает. Напротив, справедливо было бы понизить его, но не в целях наказания, а потому что зачастую это единственный способ удержать материальное благосостояние его жены и детей на прежнем уровне, учитывая неэффективность двух домашних хозяйств по сравнению с одним. При финансовой защищенности женщины прекрасно сами справляются с воспитанием детей и порой чувствуют себя счастливее, чем в браке, и даже счастливее, чем их упорхнувшие мужья, прельстившиеся свободой.

Уважение

Достаточным ли уважением пользуется женщина в современном мире? Мужчины считают, что более чем. Доля американцев,

полагающих, что сегодня женщин уважают больше, чем в прошлом, возросла с 40 процентов в 1970 году до 62 процентов в 1990 году. Женщины, однако, не согласны. Если в 1970 году они в большинстве своем описывали мужчин как «добрых, нежных и внимательных», то в опросе 1990 года, проведенном тем же социологом, они жаловались, что мужчины ценят только свое мнение, стараются подавить женщин, потребительски относятся к сексу и плюют на домашние дела^[255].

Уважение – понятие неоднозначное. Возможно, те, кто считает, что уважения достаточно, имеют в виду профессиональную среду, где женщина воспринимается как равноправный коллега. Там да, подвижки есть, чего не скажешь о межличностных отношениях. Если под уважением понимать викторианский отказ рассматривать женщину как объект сексуального завоевания, тогда, вероятно, с 1970 года (и тем более с 1960-го) уважение упало. Могу предположить, что женщинам не хватает именно его.

Один тип уважения ни в коей мере не исключает другой. Правда, феминистки конца 1960-х и начала 1970-х годов в пылу борьбы вместе с водой выплеснули и ребенка. Они настаивали на врожденной симметрии полов во всех основных сферах жизни, включая секс. Многие молодые женщины восприняли это как разрешение следовать своим сексуальным желаниям в ущерб интуитивной осторожности, то есть спать с любым понравившимся мужчиной, закрывая глаза на то, что его сексуальный интерес может быть не подкреплён чувствами и что ее эмоциональная привязанность после близости будет больше, чем его (для некоторых феминисток случайный секс стал фактически оружием идеологической борьбы). Мужчинам такое положение вещей только на руку: теперь они могут спать с кем угодно, не заботясь об эмоциональных последствиях. Раз женщина ничем не отличается от них, значит, и особого отношения не требует. Очень удобно. Масла в огонь подливают и феминистки, которые не желают, чтобы им оказывали особую гендерную заботу, считая ее проявлением покровительства (отчасти небезосновательно, но все же не в тех масштабах, что в Викторианскую эпоху).

Распространение заблуждения о полной симметрии полов привело к отмене юридической защиты женщин^[256]. В 1970-х годах во многих штатах США разрешили развод «по обоюдному согласию», за которым следовало равное разделение совместно нажитого имущества, даже

если один из супругов, обычно жена, которая в браке обычно занималась домом и детьми, не имел крепкой карьеры и, соответственно, сталкивался с более суровыми перспективами. Пожизненные алименты, на которые раньше могла рассчитывать разведенная женщина, теперь в лучшем случае заменялись краткосрочными социальными выплатами, призванными поддержать ее, пока она будет искать достойную работу, что, однако, при наличии маленьких детей было весьма проблематично. И никого не волновало, что причиной разрыва стало необузданное волокитство ее мужа или его внезапная крайняя нетерпимость – в этом, мол, никто не виноват, жизнь такая. Подобное отношение к разводам сделало их крайне выгодными для мужчин (тем более что контроль над исполнением финансовых обязательств перед бывшими женами осуществлялся весьма небрежно). В наши дни ситуация на законодательном уровне немного улучшилась, но этого недостаточно.

Однако не стоит во всем винить феминисток: их идея о врожденной симметрии полов была не единственной и даже не главной причиной всех бед. Сексуальные и брачные нормы менялись постепенно и закономерно под воздействием целого ряда причин, таких как распространение контрацептивов, развитие коммуникационных технологий, урбанизация и рост индустрии развлечений. Однако все цепляются к феминизму. Почему? Во-первых, слишком очевидна печальная ирония: похвальные попытки остановить эксплуатацию женщин лишь видоизменили, но не изжили ее. А во-вторых, феминистки (хотя и не были единственными виновницами) немало поспособствовали закреплению нового порядка вещей. Вплоть до недавнего времени страх нарваться на их недовольство серьезно сдерживал открытую дискуссию о гендерных различиях. В своих статьях и книгах они активно осуждали «биологический детерминизм», даже не потрудившись как следует разобраться ни в биологии, ни в детерминизме. И нынешние запоздалые разговоры о различиях между полами носят, как правило, отвлеченный и лицемерный характер: феминистки охотно обсуждают эволюционные различия, старательно избегая вопроса о том, являются ли они врожденными ^[257].

Несчастливые жены

Конечно, было бы ошибкой думать, что все женщины мечтают поскорее попасть в брак, а мужчины – половчее из него улизнуть. Жизнь, как всегда, гораздо сложнее и неоднозначнее. Есть дамы, которые вовсе не стремятся замуж, а есть те (и их гораздо больше), которые жалеют, что пошли под венец. И если до сих пор мы обсуждали лишь несовместимость мужской психики с моногамным браком, то это не потому, что я считаю женскую психику неиссякаемым источником преданности и покорности. Просто, на мой взгляд, мужская психика является крупнейшим (и, по сути, единственным) препятствием для пожизненной моногамии – самым серьезным из тех, что вычленила новая эволюционная парадигма.

Антагонизм между женской психикой и современным браком также существует, но не настолько прямолинейный и явленный (и в итоге менее разрушительный): отторжение вызывает не столько сама моногамия, сколько ее современные социально-экономические установки. В типичном обществе охотников и собирателей женщины с легкостью совмещали семью и работу. Пока они искали пищу, дети были либо при них, либо находились под присмотром родственников, и когда возвращались с работы, не оставались один на один с соскучившимися отпрысками. Американский антрополог Марджори Шостак, пожив в африканской деревне охотников-собирателей, заметила: «У бушменов не увидишь измотанную одинокую мать, обремененную надоедливymi малышами»^[258].

Современные женщины, увы, лишены подобной гармонии: они либо работают по сорок-пятьдесят часов в неделю, сдав ребенка в садик, отчего мучаются постоянной тревогой и смутным чувством вины, либо сидят дома с детьми, ведут хозяйство и постепенно сходят с ума от скуки и рутины. Некоторые домохозяйки, правда, умудряются обзавестись крепким социальным кругом даже в динамичных и безликих современных городах, однако те, кто не обладает подобными талантами (а их большинство), оказываются обречены на тоску и одиночество. Вполне закономерно, что феминизм набрал такую популярность в США в 1960-х годах на фоне массового переселения людей в пригороды после Второй мировой войны, когда большие

семьи разделялись и связи между соседями ослаблялись. Эволюционно женщины не были готовы к роли домохозяйек в пригороде.

Зато мужчины не напрягались, продолжая играть традиционную роль «приходящего отца», мало изменившуюся со времен охотников и собирателей: детьми почти не занимались, предпочитая посвящать себя работе, играм и ритуалам^[259]. В Викторианскую эпоху большинство мужчин (но не Дарвин) поступали так же. В общем, несмотря на то что пожизненная моногамия более естественна для женщин, чем для мужчин, данная ее форма, которая до сих пор прекрасно существует, оказывается для них и более тяжелой.

Это, однако, не уменьшает женскую приверженность браку. Неудовлетворенность матери, как правило, реже ведет к разрыву, чем недовольство отца. И причина, видимо, в том, что раньше поиск нового мужа после рождения детей редко оказывался генетически выигрышной тактикой.

Заставить современную моногамию «работать» (то есть не делать несчастным ни одного из супругов ни в браке, ни при разводе) – задача не из легких, требующая реорганизации бытового уклада, жилищных условий и трудовой деятельности, что невозможно без изучения социальной среды, в которой мы, как вид, эволюционировали. Естественно, никто не утверждает, что раньше люди жили в состоянии перманентного счастья. Тогда, как и теперь, тревога была хроническим состоянием, а счастье – желанным, но редко достижимым идеалом, и, тем не менее, наши предки как-то умудрялись не сходить при этом с ума.

Рецепт Эммы

Несмотря на ослабление института брака в современном обществе и на неудовлетворенность семейной жизнью, многие женщины стремятся выйти замуж и завести детей. Как же им быть?

Выше мы обсудили, как вести себя мужьям, чтобы укрепить брак, но давать мужчинам брачные советы – все равно что пытаться впарить викингу буклет «Как перестать грабить и возлюбить ближнего». Раз

уж женщины по природе своей больше склонны к моногамии и сильнее страдают от разводов, логичнее начинать с них.

Как обнаружили Джордж Уильямс и Роберт Триверс, многие особенности нашего полового поведения связаны с относительным дефицитом яйцеклеток по сравнению со спермой. Этот дефицит дает женщинам больше власти как в личных отношениях, так и в формировании моральных устоев, причем они зачастую даже не осознают, насколько больше, – впрочем, не всегда. Женщины, желающие обзавестись мужем и детьми, издавна интуитивно следовали той же стратегии, что и Эмма Веджвуд. В своем крайнем проявлении она выглядит так: если вы хотите, чтобы мужчина клялся вам в вечной любви и верности вплоть до самой свадьбы и спешил повести вас под венец, не спите с ним до медового месяца.

И дело здесь не только в том, что, как говорится, никто не станет покупать корову, когда его бесплатно поят молоком. Просто если дихотомия «мадонны – блудницы» действительно крепко укоренена в мужском сознании, то ранний секс загубит зарождающиеся нежные чувства. И если механизм «изгнания партнера» реально существует, то продолжительные сексуальные отношения без естественного результата приведут к охлаждению в паре.

Многим женщинам претит стратегия Эммы. Одни уверяют, что «заманивать мужчину в капкан» – ниже их достоинства и, мол, не нужно им никакой свадьбы, если все происходит не по доброй воле. Другие считают подход Эммы реакционным и сексистским, таким возрождением архаичного запрета на проявление женщинами своей сексуальности ради общественного порядка (запрета, который исходит из ошибочного предположения, будто женщины легче переносят воздержание).

Надо сказать, эти возражения вполне обоснованны, однако помимо несогласных есть еще и недовольные, которые жалуются, что стратегия Эммы не работает. В наши дни секс стал для мужчин гораздо доступнее: даже если одна женщина вдруг откажет, вокруг всегда найдутся те, которые будут согласны. Недотроги не выдерживают конкуренции. В канун Дня святого Валентина в 1992 году в «Нью-Йорк таймс» опубликовали жалобу одинокой двадцативосьмилетней женщины на «отсутствие романтики и ухаживаний». Она заявила: «Парни не заморачиваются: не даст одна,

даст другая. Они не хотят ждать, чтобы узнать друг друга получше»^[260].

Что ж, тут не поспоришь. Один в поле не воин: если вокруг полно доступных тел, то отказ от секса делает женщину неконкурентоспособной. Однако постепенно дамы все больше начинают осознавать практическую пользу воздержания^[261]. Если мужчина по-человечески не заинтересован в ней настолько, чтобы вытерпеть, скажем, два месяца платонической связи перед переходом к более тесному общению, то он в любом случае вряд ли задержится рядом надолго. Это вполне разумный подход, позволяющий не тратить драгоценное время на неперспективных партнеров.

Чем больше женщин понимают это, тем проще им становится продлевать период «сдерживания страстей». Например, если до первого секса в среднем проходит пара месяцев, то женщина, которая решит потомить возлюбленного десять недель, сильно не проиграет в конкурентной борьбе. И не стоит бояться возрождения викторианской морали. Женщины, в конце концов, тоже любят секс. Однако, смею предполагать, наметившаяся тенденция будет укрепляться – и не только из-за страха перед венерическими заболеваниями. Судя по тому, сколько женщин считают мужчин «козлами», это просто самозащита, подкрепленная усвоенными горькими истинами о природе человека. Все мы преследуем собственные интересы, и эволюционная психология помогает нам лучше их осознать.

Теория осцилляций морали

Укрепление данной тенденции имеет еще одно объяснение. Половая мораль – замкнутая, саморегулирующаяся система: как мы убедились выше, мужчины и женщины приспособливают свои половые стратегии к условиям местного брачного рынка, поэтому их половые нормы тесно взаимосвязаны. Как верно заметил Дэвид Басс с коллегами, если мужчины считают женщину распутной, то они и относятся к ней соответственно – как к переходящему трофею, а не как к долгожданному призу. А женщины, уверенные, что мужчины ищут лишь краткосрочных отношений, сами с большей вероятностью

будут выглядеть и вести себя распутно: носить вызывающую одежду и часто менять сексуальных партнеров, согласно исследованию Элизабет Кэшден^[262]. И в итоге получается то, что викторианцы назвали бы упадком морали. Глубокие декольте и призывные взгляды дают мужчинам понять, что от них не ждут серьезных намерений; мужчины становятся менее почтительными к женщинам и откровеннее проявляют свою сексуальность; декольте ползут вниз и набирают популярность – замкнутый круг (полуголые красотки, соблазнительно улыбающиеся с рекламных плакатов и страниц «Плейбоя», вероятно, еще больше ускоряют процесс)^[263].

Если по какой-то причине маятник вдруг качнется в другую сторону и на первый план выйдут родительские роли, то новая тенденция, скорее всего, закрепится благодаря тому же принципу взаимоусиления. Женщины будут вести себя целомудреннее; мужчины начнут относиться к ним почтительнее и сдержаннее; станет популярен образ «мадонны» и так далее.

Спорить не стану, это умозрительная теория (мягко говоря) и экспериментально проверить ее, как и прочие теории культурных изменений, фактически невозможно. Однако она опирается на теории индивидуальной психологии, которые, в свою очередь, проверке прекрасно поддаются. Исследования Дэвида Басса и Элизабет Кэшден прошли предварительную проверку и являются надежной опорой для нашей теории, способной объяснить стойкость тенденций в половой морали. Викторианская гипертрофированная стыдливость (переходящая в ханжество) стала кульминацией столетней тенденции, за которой наступил перелом – маятник качнулся в другую сторону.

Что послужило причиной? Скорее всего, изменение демографической ситуации^[264] и технологический прорыв (приведший в том числе к появлению доступных контрацептивов). Не исключено также, что перелом связан с накоплением недовольства у значительной части представителей одного или обоих полов, когда люди вдруг осознали, что их глубинные потребности не удовлетворяются, и сознательно решили пересмотреть свой образ жизни. В 1977 году Лоуренс Стоун заметил: «История показывает, что период сексуальной распущенности не может продолжаться долго, не вызывая обратной реакции. Забавно, что сейчас, пока одни умники провозвещают появление идеального брака, в котором и муж и жена

находят полное удовлетворение своих сексуальных, эмоциональных и творческих потребностей, процент разводов стремительно растет»^[265]. И теперь, спустя несколько десятилетий, мы видим, как женщины, во многом определяющие половую мораль, все чаще задаются вопросом о целесообразности случайного секса. Трудно сказать, находимся ли мы сейчас на пороге нового перелома, за которым последует долгий период морального консерватизма. Очевидно лишь одно – статус-кво мало кого устраивает.

Викторианский секрет

Итак, мы выяснили, что викторианская половая мораль носила жесткий репрессивный характер, зато отлично справлялась с задачей сохранения брака. И это вполне согласуется с принципами эволюционной психологии: раз пожизненная моногамия не свойственна человеку, особенно в экономически стратифицированном обществе, значит, принудить его к ней можно только силой.

Причем дело не ограничивалось простыми, универсальными запретами, была выработана целая система действенных сдержек и ограничений.

Основная огневая мощь общественного порицания была направлена на главную угрозу длительного брака – на склонность богатых, высокоранговых стареющих мужчин уходить от почтенных жен к молоденьким красоткам. Хотя Чарлзу Диккенсу и удалось развестись, преодолев судебные тяжбы не без урона для репутации, жить в открытую с новой возлюбленной он не мог и был вынужден ограничиваться тайными свиданиями, чтобы не навлекать на себя осуждение общества.

Однако случай Диккенса являлся скорее исключением, обычно мужа предпочитали не рисковать и пользовались услугами лондонских борделей (или горничных). Жены, как правило, смотрели на такие «шалости» сквозь пальцы, поскольку общение их мужей с девушками с пониженной социальной ответственностью браку не угрожало. Садясь завтракать, викторианские отцы семейств не грезили о том, чтобы уйти от жен к проституткам, с которыми

развлекались накануне ночью – и дело тут, очевидно, в крепко укорененной дихотомии «мадонны – блудницы».

Гораздо опаснее, если мужчина решался на измену с «приличной» дамой. Врач Дарвина, Эдвард Лейн, пошел под суд по обвинению в прелюбодеянии со своей пациенткой. Лондонская «Таймс» ежедневно публиковала сводки по этому делу – настолько оно было скандальным по меркам того времени. Дарвин внимательно следил за ним и не верил в виновность Лейна: «Я ни разу не слышал от него непристойных выражений». И волновался о его будущем: «Боюсь, это сильно повредит ему»^[266]. Вероятно, так бы и случилось, если бы суд не оправдал Лейна.

В соответствии с двойными стандартами неверных жен порицали гораздо яростнее, чем мужчин-изменщиков. Показательна в этом плане запись, которую пациентка Лейна сделала в своем дневнике после их свидания: «Я умоляла его поверить, что раньше, за все годы брака, никогда не позволяла себе такого. Он утешил меня и попросил простить себя»^[267] (тут внимание: прелюбодеями были они оба, но убивалась только она). Адвокат Лейна сумел убедить суд, будто дневник был безумной фантазией женщины. Однако даже если это и так, то перекося в общественной морали очевиден.

Конечно, это несправедливо, но вполне объяснимо: неверность жены гораздо опаснее для брака. В среднем мужчины хуже переносят измены, поскольку они автоматически вызывают у них сомнения в своем отцовстве. И если, по каким-то причинам, они не разрывают брачные узы с неверной женой, их отношение к детям заметно ухудшается.

Не поймите меня неправильно, я ни в коей мере не оправдываю викторианскую мораль – просто констатирую ее биологическую обусловленность. Даже если когда-то двойные стандарты и помогали сохранять брачные узы, давая выход мужской похоти, то теперь времена изменились. В наши дни преуспевающий бизнесмен, к примеру, уже не ограничивает себя проститутками, горничными или секретаршами, культурный уровень которых вряд ли позволит им стать его женой. Учитывая рабочую активность женщин, он может встретить на деловом совещании или в поездке интересную молодую незамужнюю девушку, вполне подходящую на роль супруги, и главное – может без проблем развестись и связать с ней жизнь (хотя бы на

время, пока не встретит следующую). В XIX столетии, а зачастую и в 1950-х годах внебрачные связи мужей носили, как правило, чисто сексуальный характер, никак не влияя на их преданность семье и теплое отношение к женам. Сегодня все изменилось, и это обычно первый шаг к разводу. Двойные стандарты, которые в прошлом укрепляли брак, теперь в большинстве случаев рушат его.

Даже если оставить в стороне вопрос о жизнеспособности викторианской морали в современных условиях, большие сомнения вызывает ее целесообразность. Викторианцы обоих полов нередко чувствовали безысходность в браке (хотя, когда супружество кажется неотвратимым, а развод – невысказанным, возможные недостатки меньше бросаются в глаза). Тогдашняя мораль была беспощадна к женщинам: многие из них не могли спокойно наслаждаться даже легальным, супружеским сексом, не говоря уж о том, что их мужьям и в голову не приходило заботиться об их удовольствии. А если они вдруг решали не довольствоваться декоративной ролью «домашнего ангела», то им приходилось преодолевать громадное сопротивление общества. Сестры Дарвина с тревогой и беспокойством сообщали ему о двусмысленной дружбе их брата Эразма с писательницей и просветительницей Гарриет Мартино, мало соответствовавшей викторианским стандартам женственности. Впоследствии, встретившись с ней, Дарвин так о ней отзывался: «Она оказалась приятной и весьма интересной собеседницей: удивительно, сколько всего мы успели обсудить за недолгое время нашей встречи. Внешность ее не произвела на меня отталкивающего впечатления, но мне показалось, что она переполнена собственными идеями, мыслями и планами. В ее оправдание Эразм заявил, что на нее не стоит смотреть как на женщину»^[268]. В общем, одной этой фразы достаточно, чтобы понять, почему не нужно стремиться к полному возрождению викторианской половой морали.

Тем более что есть и другие, более щадящие способы поддержания моногамного брака (у которых, однако, неизбежно имеются собственные недостатки). Думаю, никто не будет спорить, что надо искать такую мораль, которая позволит равномерно распределить издержки моногамии между мужчинами и женщинами, а также внутри полов – равномерно, но не одинаково, ведь мужчины и женщины все же отличаются друг от друга и, соответственно,

представляют неодинаковую угрозу институту брака. Следовательно, и санкции для них должны быть разными.

Восстановить институт единобрачия без жестких мер не получится. В 1966 году один американский ученый, анализируя чувство стыда, неразрывно связанное с сексуальными желаниями у викторианцев, констатировал «прискорбное отчуждение целого класса мужчин от их сексуальности»^[269]. Наблюдение в целом верное: отчуждение действительно было, но вот прискорбное ли? Противоположностью «отчуждения» является «потакание» – бездумное потворство сексуальным желаниям, якобы являющимся проявлением нашего естества (эдаким голосом «благородного дикаря»), следуя которому можно вернуться в состояние первобытного блаженства – в потерянный рай, коего никогда и не существовало. Четверть века такого потакания, и что мы имеем? Безотцовщина, озлобленные женщины, жалобы на сексуальное насилие и домогательства, мужчины, которые предпочитают порнушку женитьбе. Откровенно говоря, язык не поворачивается назвать викторианскую борьбу с мужской похотью «прискорбной». Можно сколько угодно возмущаться категоричностью Сэмюэля Смайла, требовавшего бороться «против всевозможных искушений и недостойных помыслов», только альтернатива, как оказалось, еще хуже.

Истоки нравственных норм

Спешу внести ясность: мой морализм не лишен иронии. Да, с одной стороны, новая эволюционная парадигма предполагает, что такую «противоестественную» структуру как моногамный брак, невозможно сохранить без насаждения жестких (то есть репрессивных) нравственных норм. Однако, с другой стороны, она же культивирует моральный релятивизм (или даже неприкрытый скептицизм относительно нравственных норм в целом), что несколько компенсирует давление.

В общих чертах эволюционистский подход к происхождению нравственных норм выглядит так: люди склонны придерживаться таких моральных суждений, которые помогают им передавать

генетическую информацию (если не собственную, то хотя бы в рамках рода). Таким образом, нравственные нормы представляют собой неформальный компромисс между конкурирующими носителями генов, использующими все доступные рычаги для формирования морали в личных генетических интересах^[270].

Вспомним викторианские двойные стандарты в сексуальной сфере. С точки зрения эволюции мужчинам выгодно культивировать собственную сексуальную свободу и сдерживать сексуальную свободу женщин, поэтому они презирали распущенных дам («блудниц»), но при этом не сдерживали, а, наоборот, поощряли их распущенность. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что это чисто мужское суждение пользуется поддержкой и других участников процесса: например, родителей, которые побуждают своих молоденьких, симпатичных дочерей «беречь честь» (дабы не потерять привлекательность на брачном рынке); самих этих дочек, которые, надеясь повыгоднее выскочить замуж, презрительно отказывают недостаточно статусным кандидатам; замужних дам, считающих неразборчивость в половых связях страшным пороком и главной угрозой их брака (и, как следствие, благополучию их потомства). Фактически, речь идет о негласном общем сговоре против женской сексуальной свободы – при относительно терпимом отношении к мужским изменам, которое активно лоббируется самими мужьями (особенно богатыми и привлекательными) и поддерживается их женами, предпочитающими терпеть неверность, лишь бы не потерять партнера.

Наивно ожидать, что сформированные подобным образом нравственные нормы будут отвечать интересам всего общества (хотя при наличии гласности и экономического равенства шансы на справедливость повышаются). И, естественно, не может быть никакой речи о том, что существующие нравственные нормы отражают какую-то высшую истину, явленную миру в порыве божественного вдохновения или открытую в результате непредвзятого философского исследования.

Вообще, дарвинизм как метод непредвзятого философского исследования позволяет увидеть пропасть между тем, что мы имеем, и тем, что могли бы иметь. Например, упоминавшиеся уже не раз двойные стандарты, насаждающие более суровое отношение к

женскому промискуитету, можно считать отражением природы человека, однако любой философ-этик с легкостью докажет, что мужская сексуальная свобода гораздо чаще оказывается сомнительной в нравственном отношении. Взять хотя бы первое свидание: мужчина с большей долей вероятности будет сознательно или подсознательно преувеличивать свою эмоциональную привязанность, чтобы ускорить переход к сексу; и если добьется своего, то скорее охладет. Конечно, это не универсальное правило: человеческое поведение очень сложно организовано, бывают разные ситуации и люди, однако в среднем мужчины чаще причиняют боль женщинам своей ветреностью, чем наоборот. Женская же раскрепощенность обычно никому вреда не причиняет (если, конечно, речь не идет о связи с занятым партнером). Таким образом, согласуясь с общим представлением о том, что причинить другим людям боль своей неискренностью – безнравственно, следует больше порицать сексуальную несдержанность мужчин, чем женщин. Мне так кажется.

И мой тезис о пользе умеренного сексуального воздержания для женщин, высказанный в этой главе, ни в коей мере не носит предписывающего характера, это скорее совет по самозащите. Казалось бы, парадокс – эволюционист, который, вслед за апологетами традиционной морали, призывает женщин сдерживать естественный порыв к размножению и в то же время отвергает моральное осуждение женщин, не следующих этому призыву. Что ж... могу дать еще один совет. Привыкайте к парадоксам – эволюционный подход к морали ими изобилует. С одной стороны, эволюционисты, как правило, относятся к господствующей морали с недоверием. С другой – не могут не признать, что традиционная мораль нередко отражает определенную житейскую мудрость. В конце концов, генетические цели зачастую (хотя и не всегда) совпадают с личным стремлением к счастью. Матери, убеждающие дочерей «беречь себя», прежде всего преследуют собственный генетический интерес, но и о долгосрочном счастье дочек заботятся. А те, в свою очередь, следуют материнским советам, веря, что так они удачнее выйдут замуж и нарожают детей (а детей они хотят, потому что такова их генетическая программа, успешное выполнение которой дает им чувство глубокого удовлетворения). Сама по себе реализация генетических интересов не является ни абсолютным благом, ни абсолютным злом. Но если что-то

способствует счастью и никому серьезно не вредит, то зачем с этим бороться?

Эволюционистский подход состоит в том, чтобы при исследовании традиционной морали помнить: она отражает житейскую мудрость, но при этом пронизана корыстными, философски несостоятельными заявлениями об абсолютной «безнравственности» того или иного явления. Матери, советующие своим дочерям быть посдержаннее и осуждающие развязных девиц, в общем, с практической точки зрения совершенно правы. Однако заверения в том, что это осуждение имеет моральную силу, – лишь генетически ангажированная софистика. И задачей философов в ближайшие десятилетия как раз и будет отделение одного от другого. Мы вернемся еще к ней в конце этой книги, после того как разберемся с истоками фундаментальных моральных импульсов.

Подслащенная наука

Часто при обсуждении морали в свете нового дарвинизма возникает вопрос: а не слишком ли мы торопимся братья за столь серьезные темы? Да, эволюционная психология – молодая наука, но она уже породила несколько широко признанных теорий (например, о врожденных различиях между мужской и женской ревностью), несколько благосклонно принятых (о дихотомии «мадонны – блудницы») и очень много чисто умозрительных, но достаточно правдоподобных (о механизме «изгнания партнера»). Достаточно ли этого аппарата для анализа викторианской (или любой другой) морали?

Американский философ Филип Китчер, прославившийся в 1980-х годах как видный критик социобиологии, высказал сомнение в целесообразности создания новой эволюционной науки (не говоря уже про ее этические или политические изводы, которые после разгрома в 70-х годах оказались вообще под негласным запретом). Даже если ученым удастся удержаться на тонкой грани научной беспристрастности, обязательно найдется тот, кто ее перейдет, воспользовавшись их выводами, и теории о природе человека лягут в основу очередной моральной доктрины или социальной политики,

что в случае ошибки может нанести серьезный урон. По мнению Китчера, именно это отличает социальные науки от естественных, вроде физики или химии: «Ошибочная гипотеза о происхождении далекой галактики... никого не сделает несчастным. А если мы неверно оценим основы социального поведения человека, если пренебрежем задачей справедливого распределения выгод и тягот в обществе из-за ошибочных гипотез о нас самих и нашей эволюционной истории, то последствия научной ошибки могут быть фатальными». Соответственно, «когда научные заявления имеют касательство к вопросам социальной политики, стандарты доказательности и самокритичности должны быть особенно высоки»^[271].

На первый взгляд, все логично, кроме одного нюанса. «Самокритичность» вообще-то необязательна в науке, в отличие от критики со стороны коллег (так сказать, коллективной самокритики), которая как раз и поддерживает высокие «стандарты доказательности». Однако коллективная самокритика невозможна, пока не сформулирована гипотеза. Вряд ли Китчер предлагал сократить проверенный временем алгоритм и воздержаться от выдвижения слабых гипотез (в конце концов, сильные гипотезы получаются из слабых при их тщательном, безжалостном исследовании). Значит, он призывал лишь явно обозначать спорные, умозрительные гипотезы, но это ведь и так общепринятая практика. Благодаря людям, подобным Китчеру (тут я говорю без всякого сарказма), эволюционисты научились виртуозно подбирать корректные формулировки.

Удивительно, но Китчер требует особой осторожности не от всех социологов, а лишь от последователей Дарвина. Отчего-то он уверен, что ошибочные дарвинистские теории о поведении несут большую опасность. Но с какой стати? Долго господствовавшая крайне антиэволюционистская догма об отсутствии у мужчин и женщин важных врожденных поведенческих различий в области ухаживаний и секса породила массу страданий в последние десятилетия и, мало того, не соответствовала вообще никаким «стандартам доказательности» – не была подкреплена никакими фактами и откровенно противоречила народной мудрости всех культур на планете. Однако Китчера это не волнует. Видимо, он считает, что,

если в теории нет ни слова про гены, значит, она априори безопасна. На мой взгляд, разумнее считать безопасными те теории, в которых нет ни одной ошибки. А если, как это часто бывает, мы не можем наверняка определить, какая теория правильная, а какая нет, то лучше выбирать наиболее правдоподобную. Эволюционная психология на сегодняшний день предлагает самые убедительные гипотезы, многие из которых надежно подтверждены.

Помимо внешних нападков, честному ученому-эволюционисту приходится бороться еще и с внутренними демонами. В рамках новой парадигмы истину нередко стремятся подсластить, например, приуменьшить различия между мужчинами и женщинами. Констатируя бóльшую склонность мужчин к полигамии, чересчур политкорректные социологи-дарвинисты непременно добавляют: «Помните, что это статистическое обобщение, конкретный человек может сильно отличаться от нормы своего пола» (все верно, однако подобные отклонения крайне редко бывают настолько велики, чтобы приблизиться к норме другого пола, а в половине случаев они вообще не уменьшают, а увеличивают различия). Или так: «Помните, что поведение зависит от окружения и сознательного выбора. Мужчины могут удержаться от измен» (опять же верно и принципиально важно, но многие наши импульсы настолько сильны, что так просто их не подавишь – потребуются приложить недюжинные усилия – по щелчку, как рекламу, их не выключишь).

Подобные «подслащения» не просто недостоверны, они откровенно опасны. Видимо, осознавая это, Джордж Уильямс, отец-основатель новой эволюционной парадигмы, сознательно сгущал краски и называл естественный отбор «злом». На мой взгляд, это другая крайность, ведь все то, что в нас есть хорошего, также формировалось в процессе эволюции. Однако в целом Уильямс был прав: главные препоны на пути к справедливости и благопристойности заключены в наших генах. В этой книге я буду не раз отходить от популистских идей, продвигаемых некоторыми дарвинистами, и намеренно делать упор на темных сторонах человеческой природы, так как полагаю, что недооценить врага гораздо опаснее, чем переоценить.

Часть вторая

Социальные узлы

Глава 7

Семья

Но рабочий муравей весьма сильно отличается от своих родителей и совершенно стерилен; поэтому приобретенные модификации в строении или инстинкте он никогда не мог последовательно передавать своему потомству.

Можно с полным правом спросить, каким образом возможно примирить этот случай с теорией естественного отбора?

«Происхождение видов» (1859)

[Вчера] Додди [сын Дарвина Уильям] проявил щедрость и угостил Энни последним куском своего имбирного пряника, а сегодня... он снова положил свой последний кусок на диван для Энни, а затем, явно довольный собой, воскликнул: «О, добрый Додди! Добрый Додди!»

Наблюдения за детьми Дарвина (1842)^[272]

Все мы в глубине души считаем себя самоотверженными и бескорыстными. И временами так оно и есть. Однако в сравнении с общественными насекомыми мы – свиньи. Спасая улей, пчелы жалят

врага и погибают. Чтобы защитить колонию, одни муравьи взрывают себя; другие всю жизнь работают дверью, отгоняя насекомых без «пропуска»; третьи служат живыми мешками с едой на случай голода^[273]. Разумеется, эта «мебель» не имеет потомства.

Дарвин посвятил более десяти лет вопросу о том, как естественный отбор мог создать целые касты муравьев, не оставляющих потомков. Тем временем сам он оставил достаточно большое их количество. Проблема стерильных насекомых привлекла его внимание в конце 1843 года, когда на свет появился его четвертый ребенок, Генриетта; в 1856 году Дарвин стал отцом последнего, десятого, ребенка, но так и не разгадал эту загадку. Все эти годы он хранил теорию естественного отбора в тайне – возможно, именно из-за проблемы с муравьями, «трудности, которая сначала казалась мне непреодолимой и действительно роковой для всей теории»^[274].

Размышляя над проблемой насекомых, Дарвин, вероятно, и не подозревал, что ее решение могло объяснить не только стерильность муравьев, но и структуру повседневной жизни его семьи: почему его дети то демонстрировали нежную привязанность друг к другу, то дрались, почему он чувствовал потребность учить их доброте, а они иногда сопротивлялись, или почему он и Эмма смерть одного ребенка оплакивали больше, чем другого. Иными словами, понимание механизмов самопожертвования у насекомых могло приоткрыть завесу над динамикой семейной жизни у млекопитающих, включая людей.

Хотя в конце концов Дарвин все-таки сформулировал (по крайней мере в общих чертах) правильное объяснение стерильности у насекомых, он так и не понял, насколько тесно оно связано с поведением человека. Эту связь увидели лишь сто лет спустя.

Одной из причин, возможно, была туманность объяснения, предложенного Дарвином. В «Происхождении видов» он писал, что проблема стерильности «хотя и кажется непреодолимой, уменьшается и, по моему мнению, даже совершенно исчезает, если вспомнить, что отбор может быть применен к семье так же, как и к отдельной особи, и привести к желательной цели. Заводчики крупного рогатого скота желают, чтобы мясо и жир были соединены известным образом, и хотя животное, обладающее этими свойствами, идет на бойню, однако

животновод уверенно продолжает разводить ту же породу, и это ему удается»^[275].

Какой бы странной ни казалась ссылка на животноводов, все встало на свои места после 1963 года, когда молодой британский биолог Уильям Д. Гамильтон наметил общие положения теории родственного отбора^[276]. Фактически теория Гамильтона – это перевод мыслей Дарвина на язык генетики, который в XIX веке еще не существовал.

Сам термин «родственный отбор» предполагает определенную связь с утверждением Дарвина о том, что «отбор может быть применен к семье», а не только к отдельному организму. Хотя это предположение истинно, оно тем не менее способно ввести в заблуждение. Красота теории Гамильтона состоит в том, что она рассматривает отбор не столько на уровне индивида или семьи, сколько на уровне гена. Гамильтон был первым ученым, ясно выразившим эту центральную тему новой дарвинистской парадигмы: анализ выживания с точки зрения генов.

Возьмем молодого бурундука, у которого еще нет детенышей и который, обнаружив опасность, встает на задние лапки и издает громкий сигнал тревоги. Разумеется, этот сигнал может привлечь внимание хищника и привести к моментальной смерти. Если смотреть на естественный отбор так, как на него смотрели почти все биологи вплоть до середины XX века – как на процесс, связанный с выживанием и размножением животных, то такое поведение не имеет смысла. Если у бурундука нет потомства, которое нужно спасти, то предупреждающий сигнал – эволюционное самоубийство. Верно? Гамильтон ответил на этот вопрос отрицательно.

В теории Гамильтона акцент смещен с самого бурундука, подающего сигнал, на соответствующий ген (или несколько генов). В конце концов, бурундуки – как, впрочем, и все другие животные – не живут вечно. Единственная потенциально бессмертная органическая единица – это ген (точнее, паттерн информации, закодированный в гене; физический ген умирает после передачи этого паттерна в процессе репликации). Таким образом, в рамках эволюции, включающей сотни, тысячи, даже миллионы поколений, вопрос не в том, что происходит с отдельными особями. Вопрос в том, что происходит с отдельными *генами*. Некоторые исчезнут, другие будут

процветать. Но какие? Вот что важно. Каково будет гену «самоубийственного сигнала», например?

Неожиданный ответ, лежащий в основе теории Гамильтона, таков: «ему будет неплохо» – при удачном стечении обстоятельств. Причина в том, что несущий данный ген бурундук может спасти своим сигналом несколько близких родственников. Не исключено, что у некоторых из них тоже есть этот ген. В частности, можно полагать, что носителями гена будет половина всех его братьев и сестер (в случае полусиблингов – одна четверть).

Если предупреждающий сигнал спасет жизни четырех полных сиблингов, несущих ответственный за него ген, то ген как таковой преуспеет, даже если сам сторож при этом погибнет. Разумеется, в масштабе веков «самоотверженный» ген сохранится куда лучше, чем «эгоистичный», побуждающий носителя юркнуть в безопасное место, бросив четырех сиблингов (в среднем две копии гена) на верную гибель^[277]. То же верно и тогда, когда ген спасает только одного полного сиблинга; в этом случае вероятность гибели сторожа составляет один к четырем. В долгосрочной перспективе на каждый потерянный ген будут приходиться два спасенных.

Гены братской любви

В этом нет ничего мистического. Гены не могут волшебным образом почувствовать собственные копии в других организмах и не стремятся их спасти. Гены лишены не только дара ясновидения, но и сознания; они вообще ни к чему и никогда не «стремятся». Но если вдруг появляется ген, который побуждает своего носителя к поведению, содействующему выживанию или размножению других потенциальных носителей, он будет процветать даже в том случае, если перспективы его *собственного* носителя отнюдь не радужны. Это и есть родственный отбор.

Данную логику можно применить не только к гену, который побуждает млекопитающее издавать сигнал тревоги при угрозе сородичам, но и к гену, вызывающему стерильность насекомого, дабы оно всю жизнь помогало выживать и размножаться своим плодовитым

товарищам (содержащим этот ген в «невыраженной» форме). Те же рассуждения применимы и к генам, определяющим способность детей распознавать родных братьев и сестер, делиться с ними пищей, защищать и так далее, другими словами, к генам, ведущим к симпатии, эмпатии и состраданию, – генам любви.

До Гамильтона роли внутрисемейной любви придавали второстепенное значение, что значимо препятствовало осознанию принципов родственного отбора. В 1955 году британский биолог Дж. Б. С. Холдейн опубликовал популярную статью, в которой отметил, что ген, побуждающий вас прыгать в реку, чтобы спасти тонущего ребенка (вероятность вашей гибели при этом составляет один к десяти), будет процветать, если этот ребенок – ваше дитя, ваш брат или ваша сестра. Более того, этот ген будет распространяться (хотя и медленнее) даже в том случае, если ребенок – ваш кузен или кузина: в среднем двоюродные братья и сестры несут восьмую часть ваших генов. Однако, пишет Холдейн, в критической ситуации у людей нет времени на математические расчеты; да и наши палеолитические предки едва ли вычисляли степень своего родства друг с другом. Получается, заключает он, гены героизма способны распространяться исключительно «в маленьких популяциях, где большинство детей являются более или менее близкими родственниками человека, рискнувшего ради них жизнью»^[278]. Короче говоря, неразборчивый героизм, отражающий среднюю степень родства с непосредственным окружением, может развиваться только тогда, когда эта степень довольно высока.

При всей пронизательности Холдейна, рассматривающего различные явления с позиций гена, а не индивида, его неспособность следовать данной логике до конца, мягко говоря, вызывает недоумение. Судя по всему, он полагал, что естественный отбор реализует свои вычисления, заставляя организмы сознательно повторять их, а не руководствоваться чувствами – приблизительными аналогами вычислений. Неужели Холдейн не замечал, что наиболее теплые чувства люди питают к тем, кто несет их гены, и что чем больше общих генов, тем теплее чувства? А что люди чаще рискуют жизнью ради тех, к кому питают теплые чувства? Какая разница, умели палеолитические люди считать или нет? Они были животными, и у них были чувства.

С технической точки зрения Холдейн прав. В маленькой, тесно связанной родством популяции неразборчивый альтруизм развиваться мог, причем и в случае, когда определенная его часть тратилась на неродственников. В конце концов, даже если вы альтруистичны исключительно в отношении родных братьев и сестер, часть этого альтруизма неизменно окажется потрачена впустую (с эволюционной точки зрения): поскольку сиблинги разделяют не все ваши гены, не каждый несет ген, ответственный за альтруизм. В обоих случаях важно то, что ген альтруизма склонен улучшать перспективы потенциальных носителей его копий; важно то, что в конечном итоге этот ген скорее содействует, нежели препятствует собственному распространению. Поведение всегда реализуется в условиях неопределенности; посему все, что может сделать естественный отбор, – минимизировать риск. В сценарии Холдейна эффективный способ минимизировать риск – привить умеренный и генерализованный альтруизм, интенсивность которого находится в прямой зависимости от средней степени родства между людьми, живущими рядом. Это вполне разумно.

Но, как отметил Гамильтон в 1964 году, при первой же возможности естественный отбор постарается минимизировать неопределенность. Любые гены, которые содействуют альтруизму исключительно по отношению к родственникам, будут процветать. Ген, побуждающий шимпанзе отдать кусок мяса брату или сестре, в конечном счете одержит верх над геном, который побуждает его отдать одну половину этого куска сиблингу, а одну – посторонней обезьяне. Таким образом, если идентификация родственника не вызывает сложностей, эволюция должна породить сильный и целенаправленный (а не слабый и диффузный) культивар благожелательности. Так и произошло. В какой-то степени это проявилось у бурундуков, которые скорее подадут сигнал тревоги, если рядом находятся близкие родственники^[279]. В какой-то степени – у шимпанзе и других нечеловекообразных приматов, которым свойственны исключительно доброжелательные и заботливые отношения между сиблингами. И это – в значительной степени – произошло с нами.

Возможно, не случись этого, мир был бы лучше. Братская любовь в смысле буквальном существует за счет братской любви в смысле библейском; чем мы щедрее к родственникам, тем меньше остается

другим. (По мнению некоторых, именно это помешало марксисту Холдейну взглянуть правде в глаза.) Но – к счастью или к сожалению – большинству из нас свойственна только одна разновидность такой любви – буквальная.

Многие общественные насекомые распознают свою семью по особым химическим сигналам – феромонам. А вот каким образом вычисляют (сознательно или подсознательно) своих родственников люди и другие млекопитающие, пока неясно. Разумеется, мать, которая день за днем заботится о ребенке, – хорошая подсказка. Наблюдая за социальными связями нашей матери, мы можем вычислить, кто, например, ее сестра и кто дети этой сестры. Кроме того, с развитием речи матери получили возможность прямо сообщать нам, кто есть кто, – сведения, которые в их генетических интересах передать и к которым в наших генетических интересах прислушаться. (Иными словами, гены, побуждающие мать рассказывать детям о членах семьи, и гены, побуждающие детей внимательно слушать, будут процветать). Трудно сказать, какие еще существуют механизмы распознавания близких: эксперименты, которые могли бы ответить на этот вопрос, предполагают такие неэтичные вещи, как, например, изъятие ребенка из семьи^[280].

Ясно одно: эти механизмы существуют. Любому, у кого есть братья или сестры – любому в любой культуре, – знакомо чувство сопереживания, когда сиблинг попадает в беду, чувство удовлетворенности, когда ему удастся помочь, и чувство вины, когда помочь не удастся. Всякий, кто пережил смерть сиблинга, горько оплакивал его уход. Эти люди знают, что такое любовь. Знают благодаря родственному отбору.

Это вдвойне справедливо в отношении мужчин, которые, не будь родственного отбора, никогда бы не познали сильную привязанность. До перехода к высокому родительскому вкладу у мужчин не имелось причин быть альтруистичными по отношению к потомству. Данный вид привязанности был присущ исключительно женщинам – отчасти потому, что, кроме них никто точно не знал, чье именно это потомство. Зато мужчины знали, кто их братья и сестры; так и получилось, что любовь проникла в их души через родственный отбор. Если бы мужчины не приобрели таким образом способность любить сиблингов, высокий родительский вклад и еще более сильная

любовь, которую он порождает, были бы невозможны. Эволюция работает лишь с сырым материалом, случайно оказавшимся у нее под рукой; если бы любовь к некоторым детям – сиблингам – не стала частью мужской психики много миллионов лет назад, путь к способности любить детей – путь к высокому родительскому вкладу – мог оказаться слишком тернист и извилист.

Новая математика

Теория Гамильтона позволяет по-новому взглянуть на упомянутую Дарвином связь между коровой, которая дает мясо и жир, «соединенные известным образом», отправляемая на бойню и съедается, и муравьем, который усердно трудится всю жизнь и умирает бездетным. Ген коровы, отвечающий за мраморное мясо, само собой, не сделал ничего для своего забитого носителя и его прямого генетического наследия; мертвые коровы больше не могут производить потомство. Однако этот ген делает много полезного для косвенного генетического наследия, ибо хорошее мраморное мясо побуждает фермера кормить и разводить близких родственников носителя, часть которых содержит копии этого самого гена. То же относится и к стерильному муравью. Хотя муравей не оставляет прямых наследников, гены, ответственные за сей факт, не жалуются: время и энергия, которые иначе были бы потрачены на размножение, тратятся на обеспечение плодовитости близких родственников, а это главное. Ген стерильности у плодовитых родственников неактивен, но он у них есть и переходит в следующее поколение, где снова порождает бесплодных альтруистов, передающих его дальше. В этом смысле рабочая пчела и вкусная корова подобны: некоторые гены, препятствуя своей передаче через один канал, служат смазкой для передачи через другие. Результат – более эффективная передача.

Дарвин, ничего не зная ни о генах, ни о природе наследственности, увидел эту параллель за столетие до Гамильтона. И все же гамильтоновская версия родственного отбора, несомненно, превосходит дарвиновскую. Можно утверждать (как это делал Дарвин), что иногда (как со стерильностью насекомых) естественный отбор действует на уровне семьи, а иногда – на уровне

индивидуального организма. Но почему бы не упростить формулировки? Почему бы просто не сказать, что в обоих случаях элементарная единица отбора – ген? Почему бы не дать единственное краткое определение, охватывающее все формы естественного отбора? А именно: побеждают гены, способствующие выживанию и воспроизводству *собственных копий*. Они могут делать это напрямую, помогая своему носителю выживать и производить потомство, которое наилучшим образом экипировано для выживания и размножения. Или они могут делать это косвенно – скажем, побуждая бесплодного носителя к неустанному и «бескорыстному» труду, дабы королева могла произвести целое множество содержащих их потомков. Каким бы образом гены ни подходили к решению данной задачи, с *их* точки зрения оно всегда эгоистично, даже если на уровне организма и кажется чистым альтруизмом. Именно поэтому книга Ричарда Докинза и называется «Эгоистичный ген». (Кое-кто возражает, что гены не имеют намерений, а значит, не могут быть «эгоистичными». Верно, хотя в данном случае это слово не следует толковать буквально.)

Разумеется, для людей уровень организма имеет первостепенное значение; люди – это организмы. Однако не для естественного отбора. Если естественный отбор о чем-то и «заботится» – а он заботится, метафорически, – то точно не о нас; он «заботится» об информации в наших половых клетках (яйцеклетках и сперматозоидах). Конечно, естественный отбор «хочет», чтобы мы вели себя определенным образом. Но пока мы ведем себя именно так, ему все равно, счастливы мы или нет. Не исключено, что в процессе мы получим физические увечья или даже умрем. Его это тоже не волнует. Единственная вещь, о благополучии которой в конечном счете «печется» естественный отбор, – информация в наших генах. И эта цель заведомо оправдывает любые наши страдания.

Такова философская суть взглядов Гамильтона, которые он в абстрактной форме изложил в 1963 году в письме редакторам журнала «*American Naturalist*». Рассматривая воображаемый ген Г, порождающий альтруистическое поведение, он пишет: «Вопреки принципу «выживает наиболее приспособленный», ключевой критерий, определяющий распространение Г есть поведение, выгодное не для носителя, но для самого гена Г; средний совокупный

результат такого поведения предполагает добавление к генному пулу горстки генов, содержащих Γ в более высокой концентрации, чем исходный генный пул»^[281].

В следующем году в статье «Генетическая эволюция социального поведения», опубликованной в журнале «*The Journal of Theoretical Biology*», Гамильтон конкретизировал это наблюдение. Поначалу статья не вызвала особого резонанса, однако уже через несколько лет она не только стала одной из наиболее часто цитируемых работ в истории дарвинизма, но и произвела подлинную революцию в математике эволюционной биологии. До появления теории родственного отбора было принято считать, что главным арбитром эволюции является «приспособленность», а ее высшим проявлением – общая сумма прямого биологического наследия организма. Иначе говоря, процветают те гены, которые повышают приспособленность организма – т. е. максимизируют количество потомков. Сегодня главного арбитра эволюции видят в «итоговой приспособленности», включающей косвенное наследие генов, реализуемое через сиблингов, кузенов и так далее. В 1964 году Гамильтон писал: «Мы обнаружили величину, итоговую приспособленность, которая в условиях нашей модели демонстрирует почти такую же тенденцию к максимизации, что и приспособленность в более простой классической модели».

Математика Гамильтона содержит важный символ r , ранее предложенный биологом Сьюаллом Райтом и отражающий степень родства организмов. У полных сиблингов r составляет $1/2$, у полусиблингов, племянниц, племянников, тетей и дядей – $1/4$, у двоюродных братьев и сестер – $1/8$. Новая математика гласит: гены самоотверженного поведения будут процветать, пока цена помощи альтруиста (в смысле воздействия на будущий репродуктивный успех) меньше выгоды реципиента.

Когда Гамильтон сформулировал теорию родственного отбора, он использовал в качестве примера ту же самую группу организмов, которые так озадачивали Дарвина. Как и Дарвина, его поразило необычайное самопожертвование, свойственное многим насекомым отряда перепончатокрылых, особенно высокосоциальных муравьев, пчел и ос. Откуда такая тяга к альтруизму и сопутствующее ему социальное единство, которые так редко наблюдаются в мире насекомых? Хотя этому может быть несколько эволюционных причин,

Гамильтон выделяет главную: благодаря особому типу воспроизводства для таких видов характерен чрезвычайно высокий r . В силу единого происхождения доля общих генов у муравьев-сестер составляет $3/4$, а не $1/2$. Следовательно, необычайный альтруизм оправдан в глазах естественного отбора.

Если r больше $3/4$, эволюционные аргументы в пользу альтруизма и социальной солидарности становятся еще убедительнее. Возьмем клеточных слизевиков, которые так сильно переплетены, что вызвали жаркие споры относительно того, как лучше их рассматривать – как сообщество клеток или как единый организм. Поскольку клетки слизевика размножаются бесполом путем, r равен 1; все они – идентичные близнецы. Таким образом, с точки зрения гена нет *никакой* разницы между его собственной клеткой и судьбой близлежащей клетки. Неудивительно, что многие клетки слизевика не размножаются сами, вместо этого посвящая себя защите плодовитых соседних клеток от воздействия стихий. Благо соседа, в эволюционном плане, идентично их собственному. Вот это – альтруизм.

То же относится и к людям – не к группам людей, но к группам клеток, составляющих людей. Сотни миллионов лет назад возникла многоклеточная жизнь. Интеграция сообщества клеток возрастала, пока они не превратились в «организмы», которые в конечном счете породили нас. Однако, как свидетельствуют слизевики, граница между обществом и организмом довольно размыта. С технической точки зрения даже такой сплоченный организм, как человек, можно считать тесно связанным сообществом одноклеточных организмов. Эти клетки демонстрируют такое сотрудничество и самопожертвование, в сравнении с которым даже машиноподобная эффективность колонии насекомых выпадит блеклой. Почти все клетки в человеческом теле стерильны. Копии себя способны делать только половые клетки. Факт, что миллиарды стерильных клеток ведут себя так, будто совершенно довольны таким положением вещей, несомненно, основан на том, что r между ними и половыми клетками составляет 1; получается, гены в стерильных клетках тоже передаются будущим поколениям – только не ими самими, а через сперматозоиды или яйцеклетку, что, в сущности, одно и то же. Опять-таки: когда r равно 1, альтруизм безусловен.

Границы любви

Соответственно, когда r не равно 1, альтруизм не безусловен. Даже любовь к сиблингам – братская любовь – не есть любовь абсолютная. Дж. Б. С. Холдейн как-то заметил, что никогда не отдал бы жизнь за брата – только за «двух братьев или восьмерых кузенов». По-видимому, он шутил, однако в его шутке есть доля истины. Определить степень преданности любому конкретному родственнику – значит определить степень безразличия и, возможно, антагонизма; образно говоря, стакан общих интересов сиблингов наполовину пуст и одновременно наполовину полон. Хотя с точки зрения генетики помогать братьям и сестрам абсолютно естественно, предел есть всему.

С одной стороны, современный дарвинизм не предполагает, что один ребенок будет объедаться, а брат или сестра – слабеть от голода. Но он также не предполагает, что вопрос, как поделить один бутерброд, будет обязательно разрешен по-дружески. Возможно, научить детей делиться с братьями и сестрами (по крайней мере, в некоторых обстоятельствах) нетрудно, трудно научить их делиться *поровну*, ибо это противоречит их генетическим интересам. Во всяком случае, именно это подразумевает естественный отбор. Пусть опытные родители скажут, правы мы или нет.

Расхождение генетических интересов сиблингов создает раздражающий, но вместе с тем очаровательный парадокс. Они отчаянно соперничают за привязанность и внимание родителей и в процессе демонстрируют ревность настолько мелочную, что за ней трудно усмотреть любовь; но как только один из них оказывается в опасности, эта любовь выходит на поверхность. Дарвин описал подобное изменение в отношениях его пятилетнего сына Уилли к младшей сестре Энни. «Всякий раз, когда она делает себе больно в нашем присутствии, Уилли демонстрирует явное безразличие, а иногда производит большой шум, как будто хочет отвлечь наше внимание», – пишет Дарвин. Но однажды Энни поранилась, когда взрослых не было рядом, так что Уилли не мог быть уверен, что ей ничего не угрожает. В тот раз его реакция «была совсем иной. Сначала он попытался очень мило успокоить ее, затем сказал, что позовет

Бесси, но она не появлялась; тогда сила духа покинула его, и он тоже заплакал»^[282]. Дарвин не объяснял этот и подобные ему случаи братской любви сквозь призму родственного, или, как он говорил, «семейного» отбора; судя по всему, он вообще не видел связи между самопожертвованием насекомых и привязанностью, свойственной млекопитающим^[283].

Первым биологом, подчеркнувшим, что стакан общих генетических интересов наполовину пуст, стал Роберт Триверс. В частности, он отмечал, что генетические интересы ребенка отличаются не только от таковых его брата или сестры, но и родителей. В теории каждый ребенок должен считать себя вдвое ценнее своего сиблинга, в то время как родитель, одинаково связанный с обоими, воспринимает их одинаково. Отсюда вытекает другой дарвинистский прогноз: родители приложат максимум усилий, чтобы научить сиблингов делиться поровну.

В 1974 году Триверс проанализировал конфликт «родитель – потомок» и опубликовал результаты в одноименной статье. В качестве иллюстрации он приводит спорный вопрос о продолжительности грудного вскармливания. Олененок-карибу, замечает Триверс, продолжает сосать материнское вымя даже после того, как молоко перестает быть необходимым для выживания. Это, естественно, мешает матери зачать другого олененка. Причина очевидна: хотя оба олененка будут нести определенное количество общих генов, каждый «олененок есть абсолютный родственник самому себе, но только частичный родственник будущим сиблингам...»^[284]. Придет время, когда пищевая ценность молока станет настолько незначительной, что генетическая выгода от рождения другого олененка превзойдет выгоду от грудного вскармливания. Однако для матери, которая имплицитно ценит двух детенышей одинаково, этот момент наступит быстрее. Таким образом, согласно теории естественного отбора, сформулированной сквозь призму инклюзивной (итоговой) приспособленности, конфликт по поводу отлучения от груди – неотъемлемая часть жизни млекопитающих. Судя по всему, так оно и есть. Конфликт может длиться несколько недель и протекать весьма бурно: младенцы нередко требуют молока, вопят и даже бьют свою мать. Ученые, изучающие поведение бабуинов, давно пользуются безошибочным способом обнаружить стаю – каждое утро они

слушают, не раздадутся ли поблизости характерные звуки противостояния мать – детеныш [\[285\]](#).

Разумно предположить, что в борьбе за ресурсы дети будут использовать любые имеющиеся в их распоряжении средства, включая обман. Обман может быть неприкрытым и направленным на других сиблингов («Иногда Уилли прибегает к небольшим хитростям, дабы помешать Энни съесть его яблоко... «Энни, твое яблоко больше, чем мое») или менее очевидным и адресованным более широкой аудитории, включая родителей. Один из действенных способов обойти родительские призывы к самоотречению – это преувеличить или выборочно подчеркнуть жертвы, которые уже принесены. Чудесный пример содержится в эпиграфе к этой главе: двухлетний Уилли (по прозвищу Додди) дал младшей сестре последний кусок пряника, а затем воскликнул, чтобы все слышали: «О добрый Додди! Добрый Додди!» [\[286\]](#) Многие родители, безусловно, знакомы с такого рода демонстрациями.

Другая уловка, которую дети часто используют для получения ресурсов, – преувеличение потребностей. Эмма Дарвин так описывает поведение трехлетнего сына – Леонарда, когда «он содрал небольшой участок кожи с запястья»: «Он решил, что папа пожалел его недостаточно, и сказал ему: «Кожа слезла и потерялась, и кровь течет». Годом позже Леонард заявил: «Папа, я ужасно кашлял – в несколько раз ужаснее, в пять раз ужаснее, и даже больше, – нельзя ли мне еще немножко этой черной штучки [лакрицы]?» [\[287\]](#)

Кроме того, дети нередко акцентируют жестокое и несправедливое отношение со стороны родителей. На пике интенсивности данное явление известно как вспышка гнева – неизбежный элемент взросления не только у нашего вида, но и у шимпанзе, бабуинов и других приматов. Известно, что многие разгневанные детеныши шимпанзе, как выразился один приматолог полстолетия назад, «часто исподтишка смотрят на мать, дабы убедиться, что их поведение не осталось незамеченным» [\[288\]](#).

К счастью для молодых приматов, мамы и папы не против эксплуатации. Внимание к плачу и жалобам ребенка отвечает генетическим интересам родителя: слезы могут сигнализировать о реальных потребностях носителя их копий. Другими словами, родители любят своих детей и могут быть ослеплены этой любовью.

Тем не менее идея, что вспышки гнева суть попытки манипулирования, не будет революционным откровением для большинства родителей, а значит, они слепы не совсем. Хотя естественный отбор и сделал родителей подверженными манипуляциям со стороны детей, он, в теории, должен был снабдить их средствами противодействия таким манипуляциям, например, способностью отличать истинную потребность от обычного детского хныканья. Но раз эта способность существует, должны быть и способы противодействия ей – скажем, более проникновенное хныканье. Короче говоря, гонка вооружений продолжается бесконечно.

Как подчеркивал Триверс в своей статье 1974 года, с точки зрения генов и сами родители – нечестные манипуляторы. Они, точнее, их гены, хотят извлекать из ребенка максимум альтруизма и жертв по отношению к родственникам. А для этого необходимо привить ребенку такую любовь, которая выходит за рамки его генетических интересов. Данное утверждение справедливо не только в отношении любви к сиблингам, но и любви к дядям, тетям и кузенам – все они несут (в среднем) вдвое больше генов родителя, чем ребенка. Посему большинство матерей и отцов не жалуются, что их чадо *слишком* трепетно относится к тетям, дядям, племянницам и племянникам.

Дети биологически восприимчивы к пропагандистским кампаниям родителей, а родители – к пропагандистским кампаниям ребенка. Причина в том, что слушаться родителей целесообразно – с дарвинистской точки зрения. Хотя генетические интересы родителя отличаются от генетических интересов ребенка, на 50 процентов они совпадают. Результат: у родителей есть все генетические основания заполнять голову ребенка полезными фактами и изречениями, а у ребенка – обращать на них самое пристальное внимание. Сами гены «хотят», чтобы ребенок приобщился к уникальному банку данных, размещенному в его родителях.

И гены добиваются своего. В юности нас переполняет благоговение по отношению к родителям. Одна из дочерей Дарвина вспоминала: «Что бы он ни сказал, все было абсолютной истиной и законом для нас». Конечно, она преувеличивает. (Когда Дарвин обнаружил пятилетнего Леонарда скачущим на диване и напомнил ему, что это против правил, Леонард ответил: «Тогда я советую тебе выйти из комнаты»^[289].) И все же маленькие дети питают сильное, если не

безоговорочное, доверие к родителям, и родители (в теории) должны им пользоваться.

В частности, родители должны делать то, что Триверс называл «формовкой» под личиной «обучения»: «Поскольку обучение (в противоположность формовке) расценивается детьми как нечто, отвечающее их собственным интересам, родители склонны чрезмерно акцентировать свою роль как педагогов с целью минимизировать сопротивление детей»^[290]. Триверс с цинизмом отнесся бы к одному из воспоминаний Дарвина о своей матери: «Помню, как она говорила, что если она просит меня что-то сделать... то это исключительно ради моего же блага»^[291].

Однако у родителей есть и другое, более специфическое преимущество в борьбе с генами своих детей. Родственный отбор позаботился о том, чтобы всякий раз, когда ребенок плохо поступает по отношению к сиблингу, совесть вызывала у него чувство вины. Родители могут сыграть на этом чувстве и, очевидно, умеют играть на нем весьма неплохо. Но если естественный отбор научил родителей манипулировать чувством вины детей, отмечает Триверс, значит, он должен был наделить детей средствами противодействия такой эксплуатации – например, способностью скептически относиться к разглагольствованиям о братском долге. Вот еще одна гонка вооружений.

Результат – откровенная борьба за душу каждого отпрыска. Триверс писал: «Индивидуальность и совесть ребенка формируются на арене конфликта»^[292].

По мнению Триверса, господствующий взгляд на воспитание ребенка – как на процесс «инкультурации», в ходе которого родители прививают детям жизненно необходимые навыки, – безнадежно наивен. «Не следует полагать, что родители, которые пытаются внушить детям такие добродетели, как ответственность, порядочность, честность, надежность, щедрость и самоотверженность, просто снабжают потомство полезной информацией относительно должного поведения в местной культуре. Все эти добродетели, скорее всего, окажут выраженное влияние на соотношение альтруизма и эгоизма в адрес семьи родителя. Тем не менее родители и дети, по всей вероятности, рассматривают такое поведение с разных позиций». По мнению Триверса, сама

распространенность понятия инкультурации есть молчаливый заговор диктаторов. «Превалирующая концепция социализации, – отмечает он, – вот в некоторой степени та идея, которую взрослые склонны поддерживать и распространять»^[293].

Это подсказывает нам, что дарвинизм, долго воспринимавшийся как мировоззрение правого толка, может испускать эманации совсем другого рода. Моральный и идеологический дискурс, рассматриваемый сквозь новую парадигму, предстает непрерывной борьбой за власть, в которой сильные часто доминируют, а слабые – подвергаются эксплуатации. Как писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, «господствующими идеями любого времени были всегда лишь идеи господствующего класса»^[294].

Кто у матери в любимчиках

До сих пор мы рассматривали упрощенные модели родственного отбора и конфликта родитель – потомок, опираясь на удобные, хотя в некоторых случаях и сомнительные, допущения. В частности, мы исходили из того, что на протяжении всей эволюции человека у сиблингов был один и тот же отец и одна и та же мать. В тех случаях, когда это допущение ошибочно, «естественное» соотношение альтруизма между сиблингами составляет не 2 к 1 в пользу себя, а 2–4 к 1. (Данная поправка наверняка успокоит многих родителей, которые находят свое потомство более склонным к взаимному антагонизму, чем полагает «естественным» математика Гамильтона.) Разумеется, не исключено, что на самом деле потомки бессознательно оценивают вероятность того, что у их сиблингов те же мать и отец, и относятся к ним соответственно. Интересно, будут ли сиблинги с двумя родителями-домоседами более щедры друг к другу, чем сиблинги, чьи родители часто бывают врозь?

Другим упрощением была идея о том, что сама по себе r – ваша степень родства с другими людьми – определяет ваше генетически оптимальное отношение к ним. Математический вопрос, поставленный Уильямом Гамильтоном, – действительно ли цена, которую платит альтруист, меньше выгоды, которую получает

реципиент? – включает две переменные: цена альтруизма для вас и выгода для реципиента. Обе сформулированы сквозь призму дарвинистской приспособленности: насколько шансы на производство жизнеспособного, репродуктивно успешного потомства понизятся для альтруиста и повысятся для реципиента. И то и другое, очевидно, зависит от того, каковы были эти шансы изначально – иными словами, от репродуктивного потенциала, которым обладаете вы и другой человек. А репродуктивный потенциал – штука не только индивидуальная, но и возрастозависимая.

Пример: у крупного, сильного, умного, красивого, честолюбивого брата вероятность репродуктивного успеха выше, чем у замкнутого, угрюмого и глупого. Судя по всему, именно так обстояли дела в социальной среде человеческой эволюции, где мужчины с высоким статусом имели право на нескольких жен – или, по крайней мере, на много любовниц. В теории родители должны (сознательно или бессознательно) учитывать такие различия и распределять инвестиции между детьми с проницательностью менеджера с Уолл-стрит. Цель одна – максимизировать общую репродуктивную отдачу по каждому вложению. Следовательно, жалоба, что «мама (или папа) всегда любили тебя больше», вполне может иметь эволюционные корни. В 1960-е годы братья Смозерс^[295] сделали эту фразу знаменитой: «твердолобый», невозмутимый Томми постоянно говорил ее своему более умному, более энергичному брату Дику^[296].

Впрочем, относительный репродуктивный потенциал двух потомков может зависеть не только от них самих, но и от социального положения семьи. В бедной семье с симпатичной девочкой и красивым, но сверх этого ничем не примечательным мальчиком дети дочери с большей вероятностью начнут свою жизнь в материально благоприятных условиях; известно, что в результате брака девочки чаще повышают свой социально-экономический статус, чем мальчики^[297]. В богатых статусных семьях более высокий репродуктивный потенциал характерен для сыновей; мужчина, в отличие от женщины, может использовать богатство и статус для производства многочисленного потомства.

Запрограммированы ли люди на реализацию этой печальной закономерности? Будут ли обеспеченные или статусные родители бессознательно уделять большее внимание сыновьям, чем дочерям,

ибо сыновья могут (или могли в ходе эволюции) более эффективно конвертировать статус и материальные ресурсы в потомство? Будут ли бедные родители поступать наоборот? Звучит жутковато, но это не значит, что в жизни так не происходит.

Данная логика основана на более общем соображении, которое Роберт Триверс обнаружил в 1973 году в статье, написанной в соавторстве с математиком Дэном Уиллардом^[298]. В любом полигинном виде одни самцы спариваются постоянно, а другие не размножаются вообще. Посему матерям, находящимся в плохой физической форме, генетически выгодно рассматривать дочерей как более ценный актив, чем сыновей. Учитывая, что слабое здоровье матери приводит к хилому потомству (скажем, из-за недостатка молока), сыновьям это не предвещает ничего хорошего. Истощенные самцы могут быть исключены из репродуктивного соперничества вообще, в то время как фертильная самка практически в любом состоянии способна привлечь полового партнера.

Некоторые нечеловекоподобные млекопитающие, похоже, этой логике следуют. При недостатке пищи самки флоридской древесной крысы кормят дочерей, а сыновей отталкивают от сосков, нередко обрекая их на голодную смерть. У других видов меняется само соотношение новорожденных самцов и самок: в более благоприятных условиях рождаются преимущественно сыновья, в менее благоприятных – в основном дочери^[299].

Для нашего вида, в определенной степени полигинного на протяжении большей части его эволюции, богатство и статус не менее важны, чем здоровье. И то и другое – оружие, которое мужчины используют в борьбе за женщин вот уже несколько миллионов лет. Следовательно, для родителей, находящихся в социально и материально выгодном положении, инвестирование главным образом в сыновей (а не дочерей) имеет дарвинистский смысл. Некоторые люди считают подобную логику чересчур макиавеллистской, чтобы она могла быть в природе человека. Однако дарвинистов бессердечие, свойственное макиавеллизму, как раз и склоняет к тому, чтобы считать эту версию правдоподобной. (Томас Гексли по поводу неприглядной гипотезы Дарвина о размножении медуз заметил: «Непристойность процесса в некоторой степени говорит в пользу его правдоподобия»^[300].) Как бы там ни было, на сегодняшний день

найден достаточно много свидетельств в пользу дарвинистского подхода и гораздо меньше свидетельств – против него.

В конце 1970-х годов антрополог Милдред Дикманн провела тщательный анализ обычаев средневековой Европы, а также Индии и Китая XIX века. Результаты показали, что женский инфантицид – умерщвление новорожденных дочерей – чаще всего практиковали представители высших классов^[301]. Кроме того, во многих культурах, включая культуру, к которой принадлежал сам Дарвин, богатые семьи, как правило, оставляли большую часть своего имущества сыновьям, а не дочерям. (Изучая право наследования, родственник Дарвина, экономист начала XX века Джозайя Веджвуд, отметил, что «сыновья состоятельных предков в моей выборке обычно получали большую долю, чем дочери. В менее обеспеченных семьях более распространен равный раздел»^[302].) Предпочтение сыновей или дочерей может принимать и более тонкие формы. Антропологи Лора Бетциг и Пол Турке, работая в Микронезии, обнаружили, что родители высокого статуса проводили больше времени с сыновьями, а родители низкого статуса – с дочерьми^[303]. Все эти наблюдения согласуются с принципом Триверса и Уилларда: для семей, занимающих верхние ступени социально-экономической лестницы, сыновья – более выгодная инвестиция, чем дочери^[304].

Наиболее интригующую поддержку гипотеза Триверса – Уилларда находит в исследованиях современного общества. Опрос североамериканских семей показал, что родители разных социальных классов по-разному относятся к мальчикам и девочкам. Так, в семьях с низкими доходами грудное молоко получало более 50 процентов девочек и менее 50 процентов мальчиков; а в группе обеспеченных родителей – 60 и 90 процентов соответственно. Кроме того, женщины с низким доходом в среднем заводили другого ребенка в течение 3,5 лет после рождения сына и в течение 4,3 года после рождения дочери. Другими словами, в споре о сиблингах матери с низким доходом обычно дают победить дочери и оттягивают рождение конкурирующего объекта для инвестиций. Для состоятельных женщин верно обратное: как правило, второй ребенок в таких семьях появлялся в течение 3,2 года после рождения девочки и в течение 3,9 года после рождения сына^[305]. Едва ли многие матери, принявшие

участие в исследовании, знали, как социальный статус может влиять на репродуктивный успех мужчин и женщин (или, строго говоря, как он мог влиять на него в среде нашей эволюции). Это – еще одно напоминание, что естественный отбор имеет обыкновение работать в подполье: он придает форму человеческим чувствам, а не помогает нам понять его логику^[306].

Хотя в центре всех этих исследований находится *родительский* вклад, ту же логику можно применить и к сиблингам. Теоретически бедный человек должен проявлять больше альтруизма к сестре, чем к брату, богатый – наоборот. В обеспеченной семье Дарвина сестры, несомненно, посвящали много времени заботам и обслуживанию братьев. Впрочем, в те времена, когда подобострастие женщин считалось социальным идеалом (очередное напоминание, что культура может толкать нас на поступки, противоречащие дарвинистской логике), данная тенденция, возможно, была явно выражена и среди представителей низших классов.

Кроме того, необычайная услужливость женщин имеет и другие дарвинистские объяснения. Репродуктивный потенциал изменяется в течение жизненного цикла, причем изменяется по-разному для мужчин и для женщин. В своей статье 1964 года Гамильтон пишет: «Можно ожидать, что поведение животного в пострепродуктивный период будет полностью альтруистическим»^[307]. И правда, как только носитель генов утрачивает способность передавать их следующему поколению, разумнее всего направить энергию на тех носителей, которые могут. Поскольку только женщины проводят значительную часть своей жизни в пострепродуктивном режиме, напрашивается вывод: немолодые женщины будут уделять намного больше внимания родственникам, чем немолодые мужчины. Так и есть. Одинокая тетья, посвящающая себя родственникам, – гораздо более распространенное явление, чем одинокий дядя, делающий то же самое. Когда сестра Дарвина Мэриэнн умерла, сестра Сьюзан и брат Эразм оба не состояли в браке, но именно Сьюзан забрала детей Мэриэнн^[308].

О смерти и горе

Даже у мужчин репродуктивный потенциал со временем *несколько* меняется. На самом деле он меняется каждый год у всех – и у мужчин, и у женщин. В 50 лет человеку свойственен в среднем намного меньший репродуктивный потенциал, чем в 30, а в 30 – меньше, чем в 15. С другой стороны, у среднестатистического пятнадцатилетнего подростка репродуктивный потенциал выше, чем у годовалого малыша, ибо последний может умереть до достижения половой зрелости – довольно распространенное явление на протяжении большей части эволюции человека.

В этом заключается еще одно упрощение нашей незамысловатой модели родственного отбора. Поскольку репродуктивный потенциал фигурирует в обеих сторонах уравнения альтруизма (цена и выгода), то возраст и альтруиста, и реципиента – важные факторы, помогающие ответить на ключевой вопрос: будет ли альтруизм способствовать повышению инклюзивной (итоговой) приспособленности и, следовательно, получать поддержку со стороны естественного отбора. Другими словами, теплота и щедрость по отношению к родственнику зависят теоретически как от нашего возраста, так и от его. А значит, ценность жизни ребенка в глазах его родителей должна постоянно меняться [\[309\]](#).

В частности, родительская преданность должна расти примерно до раннего подросткового возраста, когда репродуктивный потенциал достигает максимума, а затем плавно снижаться. Подобно тому как коневод больше скорбит о смерти чистокровного скакуна, если она произошла за день до первых скачек, чем через день после рождения, так и родитель должен больше горевать о смерти подростка, чем о смерти младенца. И подросток, и зрелая скаковая лошадь – активы, которые вот-вот принесут прибыль; в обоих случаях потребуется немало времени и усилий, чтобы, начав с нуля, извлечь аналогичную прибыль из другого актива. (Это вовсе не означает, что родитель в принципе не способен испытывать бóльшую нежность к младенцу, чем к подростку. Если, скажем, в дом ворвалась банда мародеров, естественный импульс матери – схватить младенца и убежать, предоставив подростка самому себе. Однако этот импульс существует потому, что подростки *могут* позаботиться о себе сами, а не потому, что они менее ценны, чем младенцы.)

Как и следовало ожидать, родителей в самом деле больше огорчает смерть подростка, нежели трехмесячного малыша – или, что также согласуется с теорией, сорокалетнего взрослого. Кто-то, вероятно, возразит, что естественный отбор не имеет к этому никакого отношения: *конечно*, мы сожалеем о смерти молодого человека больше, чем о смерти немолодого; трагично умереть, прожив так мало. На это дарвинисты отвечают: да, но сама «очевидность» этой закономерности может быть продуктом генов, которые, как мы предполагаем, ее и породили. Благодаря естественному отбору одни вещи кажутся нам «очевидными», «правильными» и «желательными», другие – «абсурдными», «неправильными» и «отвратительными». Необходимо тщательно проанализировать наши «разумные» реакции на эволюционные теории, прежде чем заключать, что сам здравый смысл не есть когнитивное искажение, созданное эволюцией.

В этом случае мы должны спросить: если именно непрожитая жизнь подростка делает его смерть такой грустной, то почему смерть младенца не кажется еще ужаснее? Один из возможных ответов звучит так: поскольку у нас было больше времени узнать подростка, мы можем представить его непрожитую жизнь гораздо четче. Однако компенсирующие изменения в этих величинах – растущей близости с человеком со временем и уменьшающейся продолжительности его непрожитой жизни – достигают своего «пика печали» именно в подростковом возрасте, когда репродуктивный потенциал наиболее высок. Удивительное совпадение, не правда ли? Почему максимум не наблюдается, скажем, лет в двадцать пять, когда контуры непрожитой жизни приобретают *еще большую четкость*? Или в пять лет, когда впереди вообще *целая жизнь*?

Пока можно сказать одно: скорбь полностью согласуется с дарвинистскими прогнозами. В рамках исследования, проведенного в 1989 году в Канаде, взрослых просили вообразить смерть детей разного возраста и оценить, в каком случае чувство утраты будет наиболее сильным. Результаты показывают, что сила скорби возрастает до подросткового возраста, а затем начинает снижаться. Когда эту кривую сравнили с кривой, отражающей возрастные изменения в репродуктивном потенциале (модель была рассчитана на основании канадских демографических данных), ученые обнаружили довольно сильную корреляцию. Но намного более сильной – почти

абсолютной – оказалась корреляция между кривой скорби современных канадцев и кривой репродуктивного потенциала охотников и собирателей из африканского племени кунг. Другими словами, кривая печали почти в точности совпадала с тем, что может ожидать дарвинист, учитывая демографические реалии в анцестральной среде^[310].

В теории – и в жизни – любовь к родителям со стороны детей тоже не статична. В безжалостных глазах естественного отбора полезность наших родителей для нас постепенно снижается, а после некоторого момента – даже быстрее, чем наша для них. Едва ребенок достигает подросткового возраста, родители начинают сдавать позиции и уже не являются жизненно необходимыми источниками информации, кормильцами и защитниками. Кроме того, чем старше родители, тем меньше вероятность, что они продолжат распространять наши гены. К тому времени, когда они становятся старыми и слабыми, нам от них уже нет никакого генетического проку. Ухаживая за ними (или оплачивая сиделок), мы даже можем почувствовать легкое нетерпение и досаду. В конце жизни наши родители так же зависят от нас, как мы однажды зависели от них; тем не менее мы не заботимся об их потребностях с тем же рвением, с каким они заботились о наших.

Вечно меняющийся, но почти всегда неравный баланс любви и чувства долга, которые испытывают родители и дети, – горький и вместе с тем сладкий жизненный опыт. Он – наглядная иллюстрация того, как неточны бывают гены, открывая и закрывая наши эмоциональные шлюзы. Хотя на первый взгляд не существует веской дарвинистской причины тратить время и энергию на старого, умирающего отца, немногие из нас захотят (или смогут) повернуться к нему спиной. Стойкое ядро семейной любви сохраняется и за пределами ее эволюционной полезности. Большинство из нас, вероятно, рады подобным ошибкам в генетическом контроле – хотя, конечно, никто не знает, что бы мы себе думали, работай эта система без перебоев.

Печали Дарвина

В жизни Дарвина было много поводов для горя и печали, в том числе смерть трех из его десяти детей и смерть отца. И поведение Дарвина в целом согласуется с теорией.

Его третий ребенок, Мэри Элеонора, умер в 1842 году, всего через три недели после рождения. Чарлз и Эмма были, бесспорно, опечалены, и похороны оказались для Чарлза тяжким испытанием, однако признаки невыносимых или длительных мучений отсутствуют. В письме своей невестке Эмма пишет, что «наша боль – ничто в сравнении с болью, которую мы бы испытали, если бы она прожила дольше и страдала больше». В заключении Эмма напоминает, что у них с Чарлзом остались двое других детей, которые, несомненно, отвлекут их от грустных мыслей, а потому «не нужно бояться, что наше горе будет долгим»^[311].

Смерть последнего ребенка Дарвина, Чарлза Уоринга, тоже должна была оказаться не таким уж и сильным ударом. Он был совсем маленький – полтора года – и явно страдал задержкой умственного развития. Один из наиболее очевидных дарвинистских прогнозов гласит: родители будут относительно мало заботиться о детях, которые настолько неполноценны, что их репродуктивная ценность стремится к нулю. (Во многих доиндустриальных обществах младенцев с явными дефектами обычно умерщвляли; даже в промышленно развитых странах дети-инвалиды особенно подвержены жестокому обращению^[312].) В память о своем сыне Дарвин написал небольшую заметку, однако это сочинение не только отдавало клиническим бесстрашием («Он часто делал странные гримасы и дрожал...»), но и оказалось практически лишено каких бы то ни было выражений душевной боли^[313]. Одна из дочерей Дарвина позже сказала об этом малыше: «Мои отец и мать были бесконечно нежны к нему, но, когда он умер летом 1858 года, они, едва утихла первая боль, могли быть только благодарны судьбе»^[314].

Не стала для Дарвина трагедией и смерть отца в 1848 году. К тому времени Чарлз был полностью самодостаточен, а его 82-летний отец уже исчерпал свой репродуктивный потенциал. Разумеется, сразу после его смерти Дарвин проявлял признаки глубокой скорби и, возможно, страдал в течение нескольких месяцев. Тем не менее в своих письмах он ограничился следующим замечанием: «Ни один из тех, кто не знал его, не поверит, что человек старше 83 лет [так в

оригинале] мог сохранить столь чуткий и любвеобильный нрав, равно как и острый ум, безоблачный до последнего». Через три месяца после его смерти Дарвин писал: «Когда я последний раз видел отца, он был очень спокоен; светлое и неунывающее лицо его и сейчас стоит перед моим мысленным взором»^[315].

Совсем иной оказалась смерть Энни – любимой дочери Дарвина, которая ушла в 1851 году после продолжительной болезни, начавшейся годом раньше. Ей было десять; до пика репродуктивного потенциала она не дожила всего несколько лет.

В дни, предшествующие ее смерти, между Чарлзом, который возил ее к доктору, и Эммой происходил обмен душераздирающими и одновременно трогательными письмами. Через несколько дней после ее смерти Дарвин написал об Энни коротенький очерк, тон которого разительно отличался от более позднего очерка в память о Чарлзе Уоринге. «Весь ее облик источал радость и жизнелюбие, и каждое движение ее было пронизано жизнью и энергией. Так упоительно и радостно было смотреть на нее! Ее дорогое лицо и сейчас встает передо мной; помню, как она иногда сбегала вниз по лестнице с украденной понюшкой табаку для меня и вся сияла от удовольствия, что доставит удовольствие мне... В дни последней короткой болезни ее поведение было без преувеличения ангельским. Она ни разу не пожаловалась, никогда не капризничала; была по-прежнему внимательна к другим и преисполнена самой нежной, трогательной благодарности за все сделанное для нее... Когда я подал ей воды, она сказала: «Благодарю», и это были, я полагаю, последние драгоценные слова, которые произнесли ее милые губы в мой адрес». В завершение Дарвин пишет: «Мы утратили радость нашего дома и утешение нашей старости. Она должна была знать, как мы любили ее... О, пусть она знает, как глубоко, как нежно мы всегда будем любить ее дорогое, веселое лицо! Благословляю ее»^[316].

Введем в анализ печали Дарвина немного цинизма. Судя по всему, Энни была любимым ребенком. Она отличалась умом и талантом («второй Моцарт», как однажды сказал Дарвин), а эти достоинства, несомненно, подняли бы ее ценность на брачном рынке и, следовательно, ее репродуктивный потенциал. Кроме того, она являлась образцом великодушия, высокой морали и безукоризненных манер^[317]. Триверс сказал бы, что Эмме и Чарлзу удалось заставить ее

содействовать их инклюзивной приспособленности в ущерб собственной. Возможно, анализ «любимчиков» подтвердил бы, что они чаще обладают ценными свойствами такого рода – ценными с точки зрения генов родителей, но не всегда ценными с точки зрения генов ребенка.

Спустя всего несколько месяцев после смерти отца Дарвин объявил, что его печаль прошла. В одном из писем он ссылается на «моего дорогого отца, думать о котором сейчас – самое сладкое для меня удовольствие»^[318]. В случае Энни такой момент не наступил никогда – ни для Эммы, ни для Чарлза. Другая их дочь, Генриетта, позже напишет: «Можно сказать, что моя мать никогда полностью не оправилась от этого удара. Она очень редко говорила об Энни, и в таких случаях в ее голосе всегда ощущалась неизбывная печаль. Мой отец был не готов беречь эту рану и никогда, насколько мне известно, не говорил о ней». Через двадцать пять лет после смерти Энни он написал в своей автобиографии, что воспоминания о ней по-прежнему вызывают у него слезы. Ее смерть, писал он, была «единственным безмерно тяжелым горем» для семьи^[319].

В 1881 году в письме своему другу Джозефу Гукеру Дарвин затронул различие между «смертью старых и молодых». Это произошло уже после смерти брата Эразма и фактически меньше чем за год до его собственной кончины. Дарвин писал: «Во втором случае, когда впереди яркое будущее, смерть вызывает скорбь, которая полностью не уходит никогда»^[320].

Глава 8

Дарвин и дикари

Дж. С. Милль в своем знаменитом сочинении «Utilitarianism» говорит об общественных чувствах как о «могучем естественном чувстве» и как о «естественном основании чувства утилитарной нравственности»... Но в противовес только что сказанному он замечает: «Хотя нравственные чувства, как я думаю, не врожденны, а приобретены нами, но они ничуть не становятся оттого менее естественными». Не без колебаний решаюсь я противоречить столь глубокому мыслителю, но едва ли можно спорить против того, что у низших животных общественные чувства являются инстинктивными или врожденными; и почему же не быть тому же самому и для человека?

«Происхождение человека» (1871)
[\[321\]](#)

Когда Дарвин впервые столкнулся с примитивным обществом, его реакция, вероятно, мало чем отличалась от реакции, которую можно было ожидать от любого английского джентльмена XIX века. Вскоре после того, как «Бигль» вошел в залив архипелага Огненная Земля, он увидел группу туземцев, которые «держали грубые палки и, подпрыгивая, размахивали ими над головой, испуская самые отвратительные вопли». «Длинные развевающиеся волосы, – писал Дарвин своему наставнику, Джону Генслоу, – делали их похожими на

встревоженных духов из другого мира». Более близкое знакомство с огнеземельцами лишь укрепило впечатление варварства. «Если исходить из наших понятий, – сетует Дарвин, – язык этих людей едва ли заслуживает названия членораздельного»; их дома «подобны шалашам, которые наши дети сооружают летом из веток». Кроме того, в этих домах царила отнюдь не нежная любовь: «им неведома привязанность к дому и еще менее того – привязанность к семье, ибо муж относится к жене, как жестокий хозяин к трудолюбивому рабу»^[322].

В довершение ко всему в отсутствие иной пищи туземцы, кажется, имели обыкновение поедать старух. Как мрачно сообщает Дарвин, на вопрос, почему они не едят в такой ситуации собак, один мальчик ответил: «Собака ловит выдру, женщина бесполезная, мужчина очень голодный». Своей сестре Каролине Дарвин писал: «В Англии подобные зверства неслыханны – летом их эксплуатируют как рабов, а зимой при случае съедают. Я чувствую подлинное отвращение к самому звуку голосов этих жалких дикарей»^[323].

Позже выяснилось, что сведения о поедании женщин недостоверны. Тем не менее Дарвин видел множество других примеров насилия в дописьменных культурах, с которыми ему довелось познакомиться за время плавания. Дикарь, писал он много лет спустя в «Происхождении человека», «наслаждается мучениями своих неприятелей, приносит кровавые жертвы, убивает без всяких угрызений совести своих детей»^[324]. Даже если бы Дарвин знал, что жители Огненной Земли на самом деле не едят стариков, он бы едва ли поменял свое мнение о примитивных народах: «...я не представлял себе, как велика разница между дикарем и цивилизованным человеком – она больше, чем между диким и домашним животным»^[325].

Впрочем, обществу туземцев Огненной Земли не были чужды и элементы, лежащие в основе цивилизованной жизни в викторианской Англии. Самым очевидным из них можно считать дружбу, скрепленную взаимной щедростью и особым ритуалом. Дарвин писал: «После того как мы подарили им ярко-красной материи, они тотчас же повязали ее вокруг шеи и стали нашими приятелями. Это выразилось в том, что старик стал похлопывать нас по груди и производить какие-то кудахчущие звуки, вроде тех, что издают люди

при кормлении цыплят. Я прогулялся со стариком, и он повторил это доказательство своей дружбы несколько раз, а в заключение отпустил мне три сильных шлепка – по груди и по спине одновременно. Затем он обнажил свою грудь, чтобы и я ответил ему такой же любезностью: я исполнил это, и он был, казалось, чрезвычайно доволен»^[326].

Позже Дарвин получил еще одну возможность убедиться в человечности дикарей – на сей раз благодаря эксперименту по кросс-культуризации. Из предыдущего плавания капитан Фицрой привез в Англию четырех огнеземельцев; трое из них теперь возвращались в родные края, просвещенные и цивилизованные (и респектабельно одетые), дабы распространять знания и христианскую этику в Новом Свете. Хотя эксперимент провалился сразу по нескольким направлениям (в частности, один новоявленный огнеземелец украл имущество другого новоявленного огнеземельца и позорно скрылся под покровом темноты^[327]), на свете появились три англоговорящих аборигена. Дарвину, который прежде довольствовался молчаливым созерцанием, представился уникальный шанс вступить с туземцами в непосредственный контакт. Позже он писал: «Коренные обитатели Америки, негры и европейцы, разнятся между собой по уму настолько же, как и любые другие три расы, которые мы назовем. Несмотря на это, во время моего пребывания на корабле «Бигль» вместе с туземцами Огненной Земли меня постоянно поражали многочисленные мелкие черты характера, показывавшие большое сходство между умом этих людей и нашим; то же самое я могу сказать относительно чистокровного негра, с которым мне случилось однажды быть близко знакомым»^[328].

Осознание фундаментального единства людей – человеческой природы – является первым шагом к превращению в эволюционного психолога. Второй шаг – попробовать объяснить составные элементы этой природы сквозь призму естественного отбора. Дарвин предпринял оба шага. В частности, судя по некоторым его письмам с «Бигля», он пытался объяснить такие особенности человеческой души, коими огнеземельцы и другие «дикари» на первый взгляд вообще не обладали: «Нравственное чувство, говорящее нам, что мы должны делать, и совесть, укоряющая нас в случае неповиновения этому чувству...»^[329]

Как и в ситуации с бесплодием насекомых, Дарвин атаковал главное препятствие, стоявшее на пути его теории эволюции. Нравственные чувства едва ли можно отнести к очевидным продуктам естественного отбора.

В определенной степени решение, предложенное Дарвином для проблемы стерильности, годится и для проблемы нравственности. Его концепция «семейного» (родственного) отбора позволяет объяснить альтруизм у млекопитающих и, следовательно, совесть. Однако родственный отбор объясняет веления совести исключительно в рамках семьи, тогда как люди способны испытывать сочувствие и угрызения совести не только в отношении своих близких, но и в отношении незнакомцев. В начале XX века Бронислав Малиновский заметил, что в языке жителей островов Тробриан имеется два слова со значением «друг». Оказалось, их употребление зависит от того, к какому клану этот друг принадлежит: к своему или к чужому. Британский антрополог перевел эти слова как «друг внутри ограды» и «друг за оградой»^[330]. Ведь и огнеземельцы, эти «жалкие дикари», смогли подружиться с молодым белокожим человеком, прибывшим из-за океана. Таким образом, главный вопрос остается: почему у нас есть «друзья за оградой»? Теория родственного отбора не в силах дать на него ответ.

Впрочем, данный вопрос следует формулировать гораздо шире. Человек способен сострадать даже людям «за оградой», которые не относятся к числу его друзей, – людям, которых он даже не знает! Почему? Почему существуют добрые самаритяне? Почему большинство из нас не могут спокойно пройти мимо нищего, не ощутив при этом пусть и легкий, но дискомфорт?

Дарвин нашел ответ (хотя сегодня он и представляется ошибочным). В его основе лежат особая путаница и замешательство, которые периодически возникали в биологии до самого конца XX столетия, когда ученым, наконец, удалось от них избавиться и расчистить путь для современной эволюционной психологии. Более того, дарвиновский анализ нравственности, вплоть до того момента, когда он совершил эту большую ошибку, в некотором смысле можно считать образцовым; местами это подлинный эталон метода эволюционной психологии даже по сегодняшним стандартам.

Гены морали?

Первая проблема, с которой сталкивается всякий, кто стремится к эволюционному пониманию морали, – ее удивительное многообразие, начиная от ханжества и аристократизма викторианской Англии и заканчивая нравственно санкционированной дикостью туземцев. С известным замешательством Дарвин писал о «нелепых правилах поведения», которые, например, «мы видим в ужасе индуса, нарушившего законы своей касты, и в бесчисленных других примерах»^[331].

Если нравственность уходит своими корнями в человеческую биологию, то почему моральные кодексы так сильно отличаются друг от друга? Неужели у арабов, африканцев и англичан разные «гены морали»?

Это не то объяснение, которым могла бы удовлетвориться современная эволюционная психология, и не то, которое подчеркивал Дарвин. Он действительно верил, что расам свойственны врожденные психические различия, часть из которых связана с моралью и нравственностью^[332]. Подобные взгляды были типичны в XIX веке; одни ученые (Дарвин к ним не относился) даже утверждали, что расы – не расы вообще, а разные *виды*. И все же Дарвин полагал, что разнообразие нравственных традиций (по крайней мере, в общем смысле) коренится в единой человеческой природе.

Прежде всего он отмечал высокую чувствительность всех людей к общественному мнению. «Любовь к похвалам и страх позора в отношении наших поступков, – писал Дарвин, – равно как и самое одобрение или осуждение поступков других, обуславливаются первоначально... инстинктом участия». Несоблюдение норм морали может повлечь за собой мучительные страдания; воспоминание о нарушении какого-то пустякового правила приличия даже годы спустя способно вызвать «жгучее чувство стыда»^[333]. Таким образом, приверженность общепринятым нормам носит врожденный характер. Неврожденным является лишь конкретное содержание моральных кодексов.

Но почему это содержание настолько изменчиво? По мнению Дарвина, разные народы исповедуют разные моральные ценности по

одной-единственной причине: в силу особенностей исторического развития нормы, которые отвечают интересам одного народа, могут не отвечать интересам другого.

Как замечает Дарвин, подобные суждения зачастую ошибочны, что приводит к моделям поведения, которые не только лишены смысла, но и нередко идут вразрез с «истинным благосостоянием и счастьем рода человеческого». С дарвиновской точки зрения, наименьшее количество таких ошибок было совершено в Англии или, по крайней мере, в Европе. Дикари, естественно, подобных ошибок понаделали сполна. Казалось, для них характерен явный «недостаток рассуждающей способности», которая позволяет выявлять неочевидные связи между моральными законами и общественным благом; они лишены самодисциплины; «крайний разврат, не говоря о противоестественных преступлениях, распространен у них в удивительной степени»^[334].

И все-таки Дарвин утверждал, что ни одно из этих проявлений дикости не должно отвлекать нас от второго универсального элемента человеческой морали. И огнеземельцы, и англичане наделены «общественными инстинктами», центральное место среди которых занимает сострадание к ближнему. «Тем не менее, кроме семейной привязанности, между ними распространены сострадание и участие к членам своего племени, особенно к больным, и эти чувства распространяются иногда даже за пределы племени...» И далее: «Известно много случаев, когда пленные дикари... не руководимые никакими религиозными побуждениями, сознательно жертвовали жизнью, чтобы не выдать товарищей. Их поведение следует, конечно, назвать нравственным»^[335]. Правда, варвары были склонны полагать всякого, кто не относился к их племени, ничтожеством (причинение вреда чужакам считалось чуть ли не подвигом). Так, «один индийский туг выражал самое искреннее сожаление, что ему не удалось удушить и ограбить столько же путешественников, как его отца»^[336]. Впрочем, вопрос касался не самой способности к состраданию, а скорее ее охвата; если уж все народы мира одарены глубинной склонностью к нравственным чувствам, все они должны стремиться к нравственному совершенствованию. В «Путешествии» Дарвин пишет об острове близ побережья Чили: «Приятно видеть, что коренное население достигло той же ступени цивилизации, – как она ни низка, – что и их белые завоеватели»^[337].

Любому дикарю, польщенному тем, что Дарвин приписал ему полный спектр сострадательных импульсов и глубинных общественных инстинктов, следует помнить, что аналогичную честь он оказал и ряду других животных, далеких от человека. Он видел сочувствие в сообщениях о воронах, которые кормили своих слепых братьев, и в рассказах о бабуинах, героически спасавших детенышей от своры собак. «Кто может сказать, – писал Дарвин, – что думают коровы, когда они окружают умирающую или мертвую подругу, пристально глядя на нее?»^[338] Кроме того, он приводит свидетельства нежности у двух шимпанзе, описанные ему работником зоопарка: «Они сели друг против друга и стали прикасаться друг к другу резко оттопыренными губами, при этом один из них положил руку на плечо другого. Затем они заключили друг друга в объятия. Потом они встали, причем каждый держал руку на плече другого, подняли головы, открыли рты и начали в восторге пронзительно кричать»^[339].

Некоторые из описанных примеров вполне могут быть проявлениями альтруизма между близкими родственниками; в этих случаях самое просто объяснение – родственный отбор. И раз уж на то пошло, сцена со знакомством двух шимпанзе, возможно, была приукрашена склонным к антропоморфизму служителем зоопарка. Впрочем, необходимо отметить, что шимпанзе действительно способны к дружбе; одного этого факта достаточно, чтобы подтвердить мнение Дарвина: каким бы особенным мы ни считали наш вид, мы не уникальны в способности к сочувствию, в том числе и сочувствию к неродственникам.

Конечно, отмечал Дарвин, нравственное поведение человека не имеет аналогов в животном мире. Благодаря сложному языку люди могут точно узнать, какое именно поведение ожидается от них во имя общего блага. Они могут оглянуться в прошлое, вспомнить болезненный результат победы низменных инстинктов над «социальными» и впредь этого не допускать. Руководствуясь подобными соображениями, Дарвин предложил зарезервировать слово «мораль» для нашего вида. Тем не менее корень этой развитой морали он видел в общественном инстинкте, который возник задолго до человечества, хотя эволюция человека и обогатила его.

В попытках понять, каким образом эволюция содействовала развитию нравственных (или любых других) импульсов, ученому в первую очередь надлежит сосредоточиться на формах поведения, которые эти импульсы порождают. В конце концов, естественный отбор оценивает именно поведение, а не мысль или эмоцию; именно действия, а не чувства управляют передачей генов. Дарвин знал об этом принципе. «Многие принимают, что животные сначала сделались общественными и уже потом стали чувствовать неудобство при разлуке со своими и удовлетворение в их обществе, – писал он. – Мне кажется, однако, более вероятным, что последние ощущения развились первоначально и уже они побудили соединяться в общества тех животных, которые могли выиграть от совместной жизни... Между животными, выигрывавшими от жизни в сплоченных сообществах, те особи, которые находили наибольшее удовольствие в обществе своих, всего легче избегали различных опасностей, тогда как те, которые мало заботились о своих товарищах и держались в одиночку, погибали в большем числе»^[340].

Групповой селекционизм

В своем по большей части здравом подходе к эволюционной психологии Дарвин поддался искушению, известному как групповой селекционизм. Рассмотрим его объяснение эволюции нравственного чувства. В «Происхождении человека» Дарвин пишет, что «общее повышение уровня нравственности и увеличение числа даровитых людей, несомненно, дают огромный перевес одному племени над другим. Очевидно, что племя, заключающее в себе большое число членов, которые наделены высокоразвитым чувством патриотизма, верности, послушания, храбрости и участия к другим, – членов, которые всегда готовы помогать друг другу и жертвовать собой для общей пользы, – должно одержать верх над большинством других племен, а это и будет естественный отбор»^[341].

Да, это будет естественный отбор. Беда в том, что хотя теоретически в таком сценарии нет ничего невозможного, чем больше вы думаете о нем, тем менее вероятным он кажется. Дарвин и сам

обозначил главную загвоздку всего несколькими страницами ранее: «Весьма сомнительно, чтобы потомки людей благожелательных и самоотверженных или особенно преданных своим товарищам, были многочисленнее потомков себялюбивых и склонных к предательству членов того же племени». Напротив, «наиболее храбрые люди... добровольно рискующие жизнью для других, должны в среднем гибнуть в большем числе, чем другие». Благородный человек «часто не оставляет потомков, которые могли бы наследовать его благородную природу»^[342].

Точно. Таким образом, даже если племя, сплошь состоящее из альтруистов, и правда может одержать верх над племенем эгоистов, совершенно непонятно, откуда ему взяться изначально. Повседневная доисторическая жизнь с ее обычной долей напастей скорее благоволила тем людям, которые, скажем, копили еду, а не раздавали ее направо и налево, или предоставляли соседям воевать в свое удовольствие, а не лезли в бой сами. Как только межплеменная конкуренция, лежащая в сердце теории группового отбора, накалялась, эти и другие межплеменные преимущества обострялись в разы. Обычно это происходило во время войн или голода (если, конечно, после войны общество не проявляло особой заботы к родичам павших воинов). Выходит, никакого механизма, посредством коего биологически обусловленные импульсы самоотверженности могли бы утвердиться в группе, не существует. Даже если бы вы чудесным образом вмешались и внедрились «сострадавательные» гены в девяносто процентов популяции, в конечном итоге они бы проиграли менее великодушным генам соперничества.

Естественно, результирующий яркий эгоизм может означать, что это племя погибло в соперничестве с другим племенем. Но все племена подчиняются одной и той же внутренней логике, так что победители, скорее всего, и сами не будут эталонами добродетели. Даже та скромная доля альтруизма, которому найдено соответствующее применение, должна уменьшаться, причем даже тогда, когда «альтруисты» торжествуют победу.

Проблема с теорией Дарвина – это общая проблема со всеми теориями группового отбора: трудно представить, чтобы групповой отбор шел наперекор индивидуальному отбору или чтобы естественный отбор разрешал конфликт между благополучием группы

и интересами индивидуума в пользу группы. Конечно, можно измыслить различные сценарии – с определенными коэффициентами миграции между группами и уровнями их вымирания, – где групповой отбор будет поддерживать индивидуальные жертвы; некоторые биологи полагают, что групповой отбор действительно сыграл важную роль в эволюции человека^[343]. И все же сценарии группового отбора по большей части слишком заумны. Джордж Уильямс счел их настолько маловероятными, что в своем труде «Адаптация и естественный отбор» призвал не «постулировать адаптацию более высокого уровня, нежели требуется для объяснения фактов»^[344]. Другими словами, в первую очередь следует задуматься, каким образом гены, определяющие тот или иной признак, могли оказаться в приоритете в повседневном соперничестве один на один. Только после этого можно, да и то с большой осторожностью, обратиться к соперничеству между отдельными популяциями. Во всяком случае, таково неофициальное кредо новой парадигмы.

В той же книге Уильямс блестяще применяет свою доктрину на практике. Не прибегая к групповому отбору, он формулирует то, что теперь считается общепринятым объяснением нравственных чувств человека. Уже в середине шестидесятых, сразу после того как Гамильтон объяснил происхождение альтруизма среди родственников, Уильямс предложил механизм, посредством которого эволюция могла вывести альтруизм за пределы родственных связей.

Глава 9

Друзья

Замечательно, однако, что сочувствие к огорчениям других легче вызывает слезы, чем наше собственное огорчение; факт этот совершенно несомненен. Многие люди, из глаз которых собственные страдания не могли исторгнуть ни слезинки, проливали слезы, сочувствуя страданиям любимого друга.

«Выражение эмоций» (1872)^[345].

Осознавая слабость своей основной теории о нравственных чувствах, Дарвин на всякий случай выдвинул вторую. В ходе человеческой эволюции, писал он в «Происхождении человека», «по мере того как мыслительные способности и предусмотрительность членов племени совершенствовались, каждый из них мог легко убедиться из опыта, что, помогая другим, он обыкновенно получал помощь в свою очередь. Из этого себялюбивого побуждения он мог приобрести привычку помогать своим ближним, а привычка делать добро, без сомнения, должна была усилить чувство симпатии, служащее первым толчком к добрым делам. Кроме того, привычки, существовавшие в течение многих поколений, вероятно, склонны передаваться по наследству»^[346].

Последнее утверждение, конечно, ошибочно. Сегодня мы знаем, что привычки передаются от родителя к ребенку через непосредственное обучение или имитацию, но только не через гены. В самом деле, никакой жизненный опыт (кроме, скажем, радиационного облучения) не влияет на гены, переданные потомкам. Красота дарвиновской теории естественного отбора, в ее строгой форме, заключалась в том, что она не подразумевала наследования приобретенных признаков, как это делали предыдущие эволюционные теории, например, теория

Жана Батиста Ламарка. Дарвин увидел эту красоту и сделал акцент на чистой версии своей теории. Тем не менее позже он охотно привлекал и более сомнительные механизмы для решения особо сложных вопросов, таких как происхождение нравственных чувств.

В 1966 году Джордж Уильямс осмелился подправить дарвиновские размышления об эволюционной ценности взаимопомощи – он предложил убрать из них не только последнее утверждение, но и кусок о «мыслительных способностях» и «предусмотрительности». В своей книге «Адаптация и естественный отбор» Уильямс вспоминает о «себялюбивом побуждении» помогать в надежде на взаимность, на которое ссылался Дарвин, и пишет: «Не вижу никакой необходимости в сознательной мотивации. Если помощь ближнему периодически взаимна, естественный отбор будет ей благоприятствовать. Ни оказывающему помощь, ни получающему ее осознавать это необязательно». И далее: «Проще говоря, человек, который стремится к максимальному количеству друзей и минимальному количеству врагов, получит эволюционное преимущество; отбор должен благоприятствовать тем характерам, которые содействуют оптимизации личных взаимоотношений»^[347].

С основной мыслью Уильямса (которую Дарвин, несомненно, понимал и подчеркивал в других контекстах)^[348] мы уже сталкивались. Животные, и вместе с ними люди, часто исполняют требования эволюционной логики, не прибегая к сознательному расчету, а лишь следуя своим чувствам. В этом случае, полагает Уильямс, чувства должны включать сострадание и благодарность. Благодарность побуждает людей отвечать услугой на услугу, не особо задумываясь над тем, что они, собственно, делают. И если сострадание сильнее по отношению к некоторым категориям людей – например, к тем, кому мы благодарны, – это может побудить нас (опять-таки, без всякого осознания сего факта) отплатить за доброту.

Роберт Триверс развил рассуждения Уильямса в полноценную теорию. В 1971 году, ровно через сто лет после того, как Дарвин упомянул о реципрокном (взаимном) альтруизме в своем эпохальном труде «Происхождение человека», Триверс опубликовал в журнале «The Quarterly Review of Biology» небольшую статью под названием «Эволюция реципрокного альтруизма». В аннотации он написал, что «дружбу, неприязнь, моралистическую агрессию, благодарность,

симпатию, доверие, подозрительность, лояльность, разные аспекты чувства вины, а также некоторые формы нечестности и лицемерия можно рассматривать как важные адаптации, направленные на регулирование системы альтруистических отношений». После этого дерзкого заявления прошло более двадцати лет; сегодня накоплено огромное количество подтверждающих его данных.

Теория игр и реципрокный альтруизм

Если бы Дарвина вызвали в суд за то, что он не создал теорию реципрокного альтруизма, то одним из доводов в его защиту стал бы тот факт, что он происходил из интеллектуально «неблагоприятной» культуры. В викторианской Англии не существовало двух инструментов, образующих уникальную по своей эффективности аналитическую среду: теории игр и компьютера.

Теория игр была сформулирована в 1920–1930 годах для изучения механизма принятия решений^[349]. Она стала популярной в экономике и других социальных науках, однако имеет репутацию слишком, так сказать, заумной. Специалисты по теории игр ловко умудряются сделать изучение человеческого поведения четким и ясным, но платят за это высокую цену с точки зрения реализма. Иногда они утверждают, что все, к чему люди стремятся в жизни, можно свести к единой психологической валюте – к удовольствию, счастью или «полезности», и что эти цели преследуются с непоколебимой рациональностью. Любой эволюционный психолог скажет вам, что данные предположения ложны. Люди не вычислительные машины, они – животные, управляемые отчасти сознательным разумом, а отчасти – другими силами. Длительное состояние счастья, каким бы притягательным оно ни казалось, не та вещь, на максимизацию которой мы рассчитаны изначально.

С другой стороны, люди – творение вычислительной машины, в высшей степени рационального и бесстрастного процесса. И эта машина создала их с одной целью – максимизировать общее распространение генов, совокупную приспособленность^[350].

Конечно, подобная программа срабатывает не всегда. По разным причинам отдельные организмы часто оказываются неспособны передать свои гены дальше. (Некоторым суждено потерпеть фиаско. Именно поэтому эволюция и происходит.) Кроме того, в случае людей «конструкторские» работы велись в социальной среде, которая сильно отличается от современной. Мы живем в больших городах и пригородах, смотрим телевизор и пьем пиво, но все это время нас осаждают чувства, созданные для распространения наших генов в маленькой популяции охотников и собирателей. Неудивительно, что люди зачастую не очень-то успешно продвигаются к некой конкретной цели – будь то счастье, совокупная приспособленность или что-либо еще.

Применяя свои инструменты к человеческой эволюции, специалисты по теории игр стремятся следовать нескольким простым правилам. Прежде всего, целью игры должно быть максимально возможное распространение генов. Во-вторых, контекст игры должен отражать особенности анцестральной среды, грубым эквивалентом которой может служить общество охотников и собирателей. В-третьих, после выбора оптимальной стратегии эксперимент не заканчивается. Последний шаг – определить, какие именно чувства заставят людей следовать данной стратегии. В теории эти чувства должны быть частью человеческой природы, продуктом эволюционной игры, охватывающей многие-многие поколения.

По совету Уильяма Гамильтона Триверс использовал классическую игру под названием «дилемма заключенного». Двух соучастников преступления допрашивают по отдельности и ставят перед трудным выбором. Обвинению не хватает доказательств, чтобы осудить их за тяжкое преступление, которое они совершили, но у него есть достаточно улики, чтобы доказать менее серьезное правонарушение и посадить обоих в тюрьму на меньший срок – скажем, на год. Прокурор, желая более сурового приговора, оказывает давление на каждого по отдельности: он хочет, чтобы тот признался сам и сдал другого. Каждому преступнику прокурор говорит: если ты признаешься, а твой подельник нет, то тебя я отпущу, а его посажу на десять лет. Обратная сторона этого предложения – угроза: если твой подельник признается, а ты *нет*, то в тюрьму сядешь *ты*; если вы признаетесь оба, я посажу вас обоих, но только на три года^[351].

Если бы вы оказались на месте одного из заключенных и взвесили все альтернативы одну за другой, вы бы почти наверняка решили признаться и свидетельствовать против своего подельника. Для начала допустим, что ваш подельник предал вас. Тогда вам лучше предать и его: вы получаете три года тюрьмы, а не десять, которые вам грозят в случае молчания. Теперь предположим, что ваш подельник не стал вас подставлять. Подставив его, вы все равно выигрываете: если вы признаетесь, а он промолчит, вы получите свободу, а если вы тоже промолчите, то получите один год. Таким образом, как ни крути, а предательство – лучший выход.

Однако, если оба преступника последуют этой логике и предадут один другого, они сядут в тюрьму на три года, хотя оба могли отделаться одним годом, если бы держали рот на замке. Если бы им разрешили поговорить и достичь согласия, выиграли бы оба. Но если разговаривать запрещено, откуда взяться сотрудничеству?

Этот вопрос перекликается с другим вопросом: как немые животные, не способные давать обещаний о возврате долга и, раз уж на то пошло, не понимающие самой сути данного понятия, могли эволюционировать до реципрокного альтруизма? Предавая подельника, который хранит молчание, вы уподобляетесь животному, которое получает выгоду от альтруистического акта, но никогда не благодарит в ответ. Подельники, предавшие друг друга, подобны двум животным, ни одно из которых не делает одолжение другому: хотя оба могут извлечь выгоду из реципрокного альтруизма, ни тот ни другой не желает рисковать. Взаимная верность подобна успешному циклу реципрокного альтруизма – за добро воздается добром. Но, опять-таки, зачем делать добро, если нет никакой гарантии получить ответную услугу?

Соответствие этой модели реальности неидеальное^[352]. В случае реципрокного альтруизма имеется временная задержка между актом альтруизма и ответным действием, тогда как игроки в дилемме заключенного принимают решения одновременно. Впрочем, данное различие не имеет большого значения. Поскольку заключенные не могут обсудить свои действия, каждый оказывается в ситуации, с которой регулярно сталкиваются потенциально альтруистичные животные: они не уверены в том, что на их дружеские авансы ответят тем же. Более того, если вы и дальше будете сталкивать одних и тех

же игроков, каждый из них может вспомнить прошлое поведение другого и на этом основании решить, как действовать с ним в дальнейшем. Таким образом, каждый игрок пожинает в будущем то, что посеял в прошлом, – совсем как в случае реципрокного альтруизма. В целом эта модель достаточно точно отражает реальность. Логика, которая должна привести к сотрудничеству в так называемой повторяющейся дилемме заключенного, почти в точности соответствует логике, которая должна привести к реципрокному альтруизму в природе. Суть этой логики (в обоих случаях) – ненулевая сумма.

Ненулевая сумма

Представьте, что вы шимпанзе, который только что убил маленькую обезьянку и дал мясо другому – очень голодному – шимпанзе. Допустим, вы дали ему пять унций и потеряли пять очков. В некотором – очень важном – смысле другой шимпанзе приобрел больше, чем вы потеряли. В конце концов, у него был период острой нужды, поэтому ценность пищи для него – с генетической точки зрения – необычайно высока. В самом деле, если бы он был человеком, имел способность размышлять о своем бедственном положении и был вынужден подписать кабальный контракт, он мог бы согласиться расплатиться за пять унций мяса, скажем, шестью унциями сразу же после получки в следующую пятницу. Таким образом, в этом обмене он приобретает шесть очков, хотя вы потеряли пять.

Данная асимметрия и создает ненулевую сумму игры. Выигрыш одного игрока не уравнивается потерей другого. Важной особенностью ненулевой суммы является то, что благодаря сотрудничеству, или реципрокации, *оба* игрока могут остаться в выигрыше^[353]. Если другой шимпанзе расплатится с вами в тот момент, когда мясо в изобилии у него и в скудном количестве у вас, то он пожертвует пятью очками, а вы получите шесть. Получается, вы оба завершите обмен с чистой выгодой в одно очко. Серия теннисных сетов, иннингов в бейсболе или лунок в гольфе в конечном итоге

подразумевает только одного победителя. Дилемма заключенного, будучи игрой с ненулевой суммой, совсем другая. Оба игрока могут выиграть, если они будут сотрудничать. Если пещерный человек А и пещерный человек Б объединятся в охоте на добычу, которую один человек убить не в состоянии, семьи обоих получают много еды; если сотрудничество отсутствует, обе семьи останутся голодными.

Общеизвестный источник ненулевой суммы – разделение труда. Вы становитесь специалистом по выделке и кройке шкур и даете мне одежду, а я вырезаю по дереву и даю вам копья. Ключевым моментом здесь – как, впрочем, и в примере с шимпанзе, а также в большинстве случаев ненулевой суммы – является то, что излишек, имеющийся у одного животного, может быть редким и ценным благом для другого. Такое случается постоянно. Дарвин, вспоминая обмен товарами с индейцами Огненной Земли, писал: «Обе стороны смеялись, удивлялись, глазели друг на друга; мы жалели их, глядя, как они отдают нашим хорошую рыбу и крабов за тряпки и тому подобное, они же не хотели упускать случая, найдя дураков, которые меняют такие великолепные украшения на какой-то ужин»^[354].

Судя по многим обществам охотников и собирателей, разделение экономического труда не было сильно выражено в анцестральной среде. Самым распространенным предметом обмена почти наверняка была информация. Знание о том, где найти еду или где кто-то видел ядовитую змею, может быть вопросом жизни или смерти. А знание о том, кто с кем спит, кто с кем поссорился, кто кого обманул и т. д., может подсказать оптимальные социальные маневры, необходимые для получения сексуальных и других жизненно важных ресурсов. В самом деле, все виды сплетен, к которым люди во всех культурах испытывают явно врожденную тягу – рассказы о триумфе, трагедиях, невероятной удаче, злключениях, необычайной преданности, подлом предательстве и т. д., – соответствуют тем видам информации, которые благоприятствуют приспособленности^[355]. Торговля сплетнями (точнее выражения не придумаешь) – одно из основных занятий друзей и, вероятно, одна из главных причин, почему дружба вообще существует.

В отличие от еды, копий или шкур информацией делятся не только в безвыходных ситуациях. Именно это обстоятельство и приводит к ненулевой сумме такого обмена^[356]. Конечно, иногда информация

представляет ценность, только если ее скрывают, но чаще это не так. Один биограф Дарвина писал, что после научных дискуссий между Дарвином и его другом Джозефом Гукером «каждый настаивал, что то, что он в итоге приобрел... намного перевешивает все то, что он мог дать взамен»^[357].

Ненулевая сумма сама по себе недостаточна для объяснения эволюции реципрокного альтруизма. Даже в игре с ненулевой суммой сотрудничество *не всегда* имеет смысл. В примере с обменом пищей, хотя вы выигрываете одно очко в результате единичного цикла реципрокного альтруизма, вы можете смошенничать – принять щедроты другого и ничего ему не вернуть – и выиграть сразу шесть очков. Таким образом, ключевой вывод заключается в следующем: если вы можете всю жизнь эксплуатировать людей, делайте это; ценность сотрудничества бледнеет в сравнении с этим. Но даже если вы не можете найти, кого эксплуатировать, лучшая стратегия *необязательно* сотрудничество. Если вы окружены людьми, которые сами стремятся эксплуатировать вас, то взаимная эксплуатация – отличный способ снизить собственные убытки. Действительно ли ненулевая сумма питает эволюцию реципрокного альтруизма, зависит от преобладающего социального окружения. В дилемме заключенного мало толку, если она всего-навсего иллюстрирует ненулевую сумму.

Проверка теорий, без сомнений, является главной проблемой для биологов-эволюционистов. Химики и физики проверяют теории с помощью тщательно контролируемых экспериментов, которые либо работают в соответствии с ожиданиями и тем самым подтверждают теорию, либо нет. Иногда эволюционные биологи тоже могут провести эксперимент. Так, исследователи попытались выяснить, действительно ли голодающие самки древесных крыс будут, в соответствии с прогнозом, кормить детенышей женского пола, но не мужского. Но биологи не могут экспериментировать с людьми так же, как с древесными крысами. И они не могут провести главный эксперимент – отмотать время назад и воспроизвести эволюцию в лаборатории.

Впрочем, сегодня биологи могут воспроизвести нечто, *напоминающее* эволюцию. Когда в 1971 году Триверс выдвинул теорию реципрокного альтруизма, вычислительные машины были экзотикой, которой пользовались только специалисты; что же касается

персональных компьютеров, то они и вовсе не существовали. Хотя Триверс использовал дилемму заключенного в аналитических целях, он и не мечтал о том, чтобы *оживить* ее внутри компьютера – иными словами, создать виртуальный вид, представители которого регулярно сталкивались бы с этой дилеммой, а затем позволить естественному отбору идти своим чередом.

В конце 1970-х годов американский политолог Роберт Аксельрод придумал такой компьютерный мир и приступил к его заселению. Не упоминая о естественном отборе (который вначале его не очень-то интересовал), он предложил специалистам по теории игр разработать программы-стратегии для повторяющейся дилеммы заключенного – иначе говоря, сформулировать правила, на основании которых программа могла решать, сотрудничать ей с другой программой или нет. Затем он щелкнул выключателем и смешал игроков. Контекст этого соревнования превосходно отражал социальный контекст человеческой эволюции. Это было довольно небольшое общество – несколько десятков регулярно взаимодействующих индивидов. Каждая программа могла «запоминать», чем закончилась предыдущая встреча с любой другой программой, и соответствующим образом корректировать поведение.

После того как все программы встретились друг с другом двести раз, Аксельрод суммировал баллы и объявил победителя. Затем, исключив самые неудачные стратегии, он провел второе соревнование: каждая программа была представлена пропорционально ее успеху в первом соревновании; иными словами, выжили сильнейшие. Поколение за поколением игра продолжалась. Если теория реципрокного альтруизма верна, следует ожидать, что он «эволюционирует» внутри компьютера Аксельрода и со временем станет доминировать.

Так и произошло. Программа-победитель, разработанная канадским специалистом по теории игр Анатодем Рапопортом (когда-то написавшим книгу «Дилемма заключенного»), называлась «Око за око»^[358]. «Око за око» управлялась простейшим из правил – в буквальном смысле: программа оказалась самой короткой из представленных и состояла всего из пяти строчек. (Если бы эти стратегии были созданы случайной компьютерной мутацией, а не программистами, она, вероятно, возникла бы одной из первых). «Око

за око» полностью соответствовала своему названию. При первой встрече с любой программой она выбирала сотрудничество, а в дальнейшем поступала так, как поступила другая программа при предыдущей встрече, – одним словом, как аукнется, так и откликнется.

Достоинства этой стратегии так же просты, как и сама стратегия. Если некая программа демонстрирует тенденцию к сотрудничеству, «Око за око» немедленно завязывает дружбу и обе наслаждаются плодами сотрудничества. Если же программа проявляет склонность к обману, «Око за око» воздерживается от сотрудничества до тех пор, пока программа не исправится. Таким образом, «Око за око» никогда не становится жертвой повторно, в отличие от программ, всегда готовых к сотрудничеству. С другой стороны, «Око за око» избегает судьбы программ, которые не сотрудничают никогда. Последние стараются эксплуатировать другие программы и в итоге оказываются связанными дорогостоящими цепями взаимного предательства с программами, которые в противном случае были бы рады сотрудничеству. Разумеется, «Око за око» обычно отказывается от больших одномоментных выгод, которые могут быть получены путем эксплуатации. Однако стратегии, ориентированные на эксплуатацию посредством постоянного или периодического предательства, в итоге проигрывают. Со временем другие программы перестают относиться к ним по-доброму; как следствие, они лишаются и больших выгод эксплуатации, и более скромных выгод взаимного сотрудничества. В перспективе условная «Око за око» оказалась самой успешной – успешнее, чем неизменно подлые, неизменно милые и слишком «умные» программы, чьи мудреные правила трудно просчитать.

«Око за око»

Стратегия программы «Око за око» – поступать с другими так же, как они поступили с вами, – придает ей большое сходство с поведением среднестатистического человека. И все же у нее нет человеческой интуиции. Она *не понимает* ценности реципрокации. В этом смысле она больше похожа на австралопитеков – наших предков с маленьким мозгом.

Какие же чувства должен был внушить неумному австралопитеку естественный отбор, чтобы заставить его применять умную стратегию реципрокного альтруизма? Ответ выходит за рамки простой, неразборчивой «симпатии», которую подчеркивал Дарвин. Поначалу симпатия такого рода, безусловно, окажется как нельзя кстати: пусть окружающие знают, что изначально мы настроены доброжелательно. Но в дальнейшем симпатию следует проявлять выборочно и подкреплять другими чувствами. Одной из гарантий ответной любезности являются чувства благодарности и долга. Тенденция отказываться в щедрости подлым австралопитекам могла реализовываться через злость и неприязнь, а тенденция хорошо относиться к подлым австралопитекам, которые исправились, – исходить из способности к прощению: универсального «ластика» для контрпродуктивной враждебности. Все эти чувства обнаруживаются во всех человеческих культурах.

В реальной жизни сотрудничество – штука не однозначная. Вы *не* встречаетесь с товарищем и либо узнаете от него ценную информацию, либо нет. Гораздо чаще вы просто обмениваетесь разрозненными данными; каждый сообщает что-то потенциально ценное для другого, но эти вклады равнозначны не всегда. В результате человеческие правила реципрокного альтруизма менее бинарны, чем правила «Око за око». Если некто Д был раньше мил и приветлив, вы можете ослабить бдительность и впредь делать ему одолжения без постоянного мониторинга ответного поведения; фактически вы следите только за явными признаками подлости и лишь изредка сверяете общий счет (сознательно или бессознательно). Аналогичным образом, если некто В был подл месяцами, лучше сбросить его со счетов. Ощущения, которые поощряют вас выбирать такой экономный (с точки зрения и времени, и энергии) образ действий, – привязанность и доверие (лежащие в основе понятия «друг») и враждебность и недоверие (составляющие понятие «враг»).

Дружба, привязанность, доверие – вот вещи, которые удерживали людей вместе задолго до того, как они придумали контракты и написали законы. Даже сегодня эти силы – одна из причин, по которым человеческие общества значительно превосходят муравейники размером и сложностью, хотя степень родства между взаимодействующими в их рамках людьми обычно близка к нулю.

Наблюдая, как добрая, но жесткая стратегия «Око за око» распространяется в популяции, вы видите, как из случайных генетических мутаций возникают социальные узы – уникальное связующее средство, присущее человеческому виду.

Примечательно, что эти случайные мутации процветают без «группового отбора». Именно об этом говорил Уильямс в 1966 году: альтруизм по отношению к неродственникам хоть и является ключевой составляющей сплоченности группы, необязательно создан ради «блага племени» и тем более «блага вида». Похоже, он возник из простого, повседневного соперничества среди индивидов. В 1966 году Уильямс писал: «Теоретически нет предела распространению и сложности группового поведения, которое может вызвать этот фактор; непосредственной целью такого поведения всегда будет благополучие некоего другого индивида, часто генетически неродственного. В конечном итоге, однако, это не будет адаптацией, служащей выгоде группы. Подобное поведение будет развиваться за счет дифференцированного выживания индивидов и будет направлено на сохранение генов индивида, оказывающего услуги другому»^[359].

Одним из важнейших условий для возникновения макроскопической гармонии из микроскопической эгоистичности является обратная связь между макро и микро. Чем больше приверженцев стратегии «Око за око» – т. е. чем выше социальная гармония, – тем выше благосостояние каждого из них. В конце концов, идеальным соседом для приверженца «Око за око» является другой приверженец «Око за око». Эти двое быстро и безболезненно устанавливают длительные и плодотворные взаимоотношения. Ни тот ни другой не боится «погореть», и ни у одного не возникает потребности «разориться» на взаимно дорогостоящее наказание. Таким образом, чем выше социальная гармония, тем лучше живется «Око за око», а значит, социальная гармония будет только расти. Посредством естественного отбора простое сотрудничество может окупаться само по себе.

Человеком, положившим начало современным исследованиям данного типа социальной когерентности, а также применения теории игр к эволюции, стал Джон Мейнард Смит. С помощью идеи «частотно-зависимого» отбора он показал, как два типа представителей синежаберного солнечника – пройдохи и

добропорядочные члены популяции – могут существовать в равновесии: если число пройдох растет, они становятся генетически менее плодовитыми и их численность возвращается к норме. Сторонники стратегии «Око за око» тоже подвержены частотно-зависимому отбору, однако здесь динамика работает в другом направлении, с положительной, а не отрицательной обратной связью. Чем больше индивидов применяют стратегию «Око за око», тем успешнее становится каждый из них. Если отрицательная обратная связь иногда порождает «эволюционно стабильное состояние» – равновесие между различными стратегиями, положительная обратная связь может породить «эволюционно стабильную *стратегию*»: стратегию, которая, однажды распространившись в популяции, становится невосприимчивой к мелкомасштабному вторжению. Проанализировав успех стратегии «Око за око», Аксельрод пришел к выводу, что она эволюционно стабильна^[360].

Сотрудничество может окупиться уже в начале игры. Даже если малая доля популяции применяет стратегию «Око за око», а все другие существа упорно не желают сотрудничать, расходящийся круг сотрудничества со временем охватит всю популяцию. Обратное невозможно. Даже несколько рьяных противников сотрудничества не в состоянии уничтожить популяцию «Око за око». Простое, условное сотрудничество гораздо заразительнее, чем неприкрытая подлость. В одной из глав книги «Эволюция сотрудничества» (1984) Роберт Аксельрод и Уильям Гамильтон пишут: «Возникшее однажды на основе принципа взаимности сотрудничество в состоянии теперь выдержать натиск менее кооперативных стратегий. Тем самым шестерни социальной эволюции обзаводятся храповиком»^[361].

К сожалению, этот храповик не включается с самого начала. В том случае, если в атмосферу чистой подлости попадает только *одно* существо со стратегией «Око за око», оно обречено на вымирание. Очевидно, упорное нежелание сотрудничать само по себе является эволюционно стабильной стратегией; стоит ей закрепиться в популяции, как она даст отпор любому одинокому мутанту, придерживающемуся любой другой стратегии, хотя и не устоит перед маленькой группой сторонников условного сотрудничества.

В этом смысле турнир Аксельрода дал фору стратегии «Око за око». Хотя вначале точные клоны «Око за око» отсутствовали, большинство

ее соседей были запрограммированы на сотрудничество (по крайней мере, при некоторых обстоятельствах), что повышало ценность добродушия как такового. Даже если бы «Око за око» оказалась в компании сорока девяти убежденных подлецов, в итоге было бы сорок девять кандидатов на первое место и только один явный проигравший. Каким бы неизбежным ни выглядел успех стратегии «Око за око» на мониторе компьютера, триумф реципрокного альтруизма отнюдь не казался неминуемым миллионы лет назад, когда в нашей эволюционной родословной появилась подлость.

Как же реципрокный альтруизм набрал силу? Если любой новый ген, предлагающий сотрудничество, втапывается в грязь, как вообще могла появиться маленькая популяция взаимных альтруистов, необходимая для развития кооперации?

Наиболее заманчивый ответ предложен Гамильтоном и Аксельродом: импульс взаимному альтруизму придал родственный отбор. Как мы уже убедились, родственный отбор может благоприятствовать любому гену, содействующему альтруизму среди родственников. Так, ген, рекомендуемый человекообразным обезьянам любить других обезьян, сосавших грудь их матерей – то есть младших сиблингов, – должен процветать. Но что делать младшим сиблингам? Они никогда не видели, как эту грудь сосали старшие сиблинги, так какими подсказками им руководствоваться?

Одна из таких подсказок – сам альтруизм. Если младшим сиблингам выгодны гены, направляющие альтруизм на сосунков, то старшим – гены, направляющие альтруизм на альтруистов. Как только закрепятся первые, начнут процветать и вторые. В итоге эти гены – гены реципрокного альтруизма – будут распространяться. Основным двигателем такого распространения поначалу будет, конечно, родственный отбор.

Любой дисбаланс в информации между двумя родственниками относительно их родства – плодородная почва для гена реципрокного альтруизма. И такие дисбалансы, скорее всего, существовали в нашем прошлом. До развития речи тети, дяди и отцы пользовались разного рода подсказками и обычно знали своих младших родственников в лицо, но не наоборот; следовательно, альтруизм в основном сводился к альтруизму старших родственников по отношению к младшим. Этот дисбаланс сам по себе мог быть надежным сигналом, побуждающим

молодежь направлять альтруизм на родственников – по крайней мере, он был более надежен, чем другие подсказки, а это главное. Ген, который платил добротой за доброту, мог, таким образом, распространиться в одной семье и через браки проникнуть в другие^[362]. Разумно предположить, что в какой-то момент стратегия «Око за око» распространится достаточно широко, чтобы дальше процветать уже без помощи родственного отбора. Храповик социальной эволюции был выкован и заработал.

По всей вероятности, родственный отбор содействовал распространению генов реципрокного альтруизма и иным образом: предоставив в их распоряжение эффективных психологических агентов. Задолго до того, как наши предки стали реципрокными альтруистами, они были способны на семейную привязанность, щедрость, доверие (к родне) и чувство вины (напоминание о том, что с родней не стоит обращаться плохо). Эти и другие элементы альтруизма были частью сознания человекообразной обезьяны; оставалось только соединить их по-новому. Это почти наверняка облегчило задачу естественному отбору, который обычно экономно расходует подручные материалы.

Учитывая вероятные связи между родственным отбором и реципрокным альтруизмом, мы можем рассматривать две фазы эволюции практически как единый акт творения, в ходе которого естественный отбор сплел из безжалостного генетического своекорыстия постоянно расширяющуюся сеть любви, доверия и чувства долга.

Но наука ли это?

Теория игр и компьютерное моделирование – вещи увлекательные, но что они дают на практике? Является ли теория реципрокного альтруизма истинной наукой? Может ли она объяснить то, что она должна объяснять?

На этот вопрос можно ответить другим вопросом: по сравнению с чем? Нельзя сказать, что у нас просто море конкурирующих теорий. В биологии единственной альтернативой являются теории группового

отбора, имеющие те же недостатки, что и их дарвиновская версия. В социальных науках альтернатив нет вообще.

Разумеется, социологи (по крайней мере, начиная с антрополога Эдварда Вестермарка, жившего на рубеже веков) признавали, что реципрокный альтруизм является основополагающим во всех культурах. Теории «социального обмена» посвящено множество статей и исследований, в которых авторы тщательно оценивают ежедневный обмен ресурсами (как осязаемыми, так и неосязаемыми – например, информацией, социальной поддержкой и т. п.)^[363]. Однако, поскольку многие социологи отвергают саму идею врожденной человеческой природы, реципрокность часто рассматривалась как культурная «норма», которая случайно оказалась универсальной (вероятно потому, что все народы независимо друг от друга пришли к выводу, что это – штука полезная). Мало кто заметил, что повседневная жизнь каждого человеческого общества базируется не только на реципрокности, но и на общем фундаменте чувств – симпатии, благодарности, любви, чувстве вины, неприязни и так далее. Еще меньше ученых предложили объяснение этой общности. Но ведь должно же быть хоть *какое-то* объяснение! Есть ли у кого-то альтернатива теории реципрокного альтруизма?

Выходит, пока теория реципрокного альтруизма выигрывает по умолчанию. Но дело не *только* в этом. С тех пор как Триверс опубликовал свою статью в 1971 году, теория была проверена и пока дает хорошие результаты^[364].

Одной из таких проверок стал турнир Аксельрода. Если бы стратегии несотрудничества взяли верх над стратегиями сотрудничества или если бы стратегии сотрудничества оказывались успешными только тогда, когда составляли большую часть популяции, от такой теории было бы мало толку. Однако доказано, что условная любезность выигрывает над подлостью и, едва получив даже малейшую точку опоры, становится практически непреодолимой эволюционной силой.

Теория получила поддержку и в мире природы: известно, что реципрокный альтруизм может эволюционировать без абстрактного понимания его логики человеком – при условии, что животные, о которых идет речь, способны узнавать своих соседей и запоминать их поступки (сознательно или бессознательно). В 1966 году Уильямс

отметил существование взаимно поддерживающих и длительных коалиций макак-резусов. Позже он предположил, что взаимная «заботливость» у морских свиней может быть основана на реципрокных отношениях, – и не ошибся^[365].

Реципрокный альтруизм, как оказалось, свойственен и летучим мышам-вампирам, не упомянутым ни Триверсом, ни Уильямсом. Как известно, летучие мыши питаются кровью коров, лошадей и других животных. Однако не все их ночные вылазки заканчиваются пиром. Поскольку кровь – продукт скоропортящийся, а у летучих мышей нет холодильников, каждая отдельно взятая летучая мышь периодически сталкивается с дефицитом еды. А периодический дефицит, как мы уже видели, порождает логику ненулевой суммы. И действительно, летучие мыши, вернувшись домой ни с чем, получают порцию крови от других мышей и в будущем обычно возвращают долг. Такой обмен происходит не только между родственниками, но и между партнерами – двумя или более неродственными особями, которые узнают друг друга по характерным «призывам» и часто чистят друг другу шерсть^[366].

Самое главное зоологическое доказательство эволюции реципрокного альтруизма у людей исходит от наших близких родственников – шимпанзе. Когда Уильямс и Триверс впервые заговорили о реципрокности, ученые только приступили к изучению социальной жизни шимпанзе и почти ничего не ведали о том, как глубоко проник в нее реципрокный альтруизм. Сегодня мы знаем, что шимпанзе делятся пищей и образуют более или менее длительные альянсы. Друзья занимаются обоюдным грумингом и помогают друг другу противостоять врагам. Они успокаивающе поглаживают друг друга и крепко обнимаются. Когда один друг предает другого, это вызывает искреннее негодование^[367].

Теория реципрокного альтруизма успешно проходит и базовый, по сути, эстетический научный тест: тест на элегантность, или экономность. Чем проще теория, чем разнообразнее и многочисленнее объясняемые ею явления, тем она «экономичнее». Трудно представить, чтобы кто-то сумел выделить единую и достаточно простую эволюционную силу, которая, подобно силе, выделенной Уильямсом и Триверсом, могла бы правдоподобно объяснить такие разные вещи, как сочувствие, неприязнь, дружбу, враждебность,

благодарность, мучительное чувство долга, острую чувствительность к предательству и так далее^[368].

По-видимому, реципрокный альтруизм определил структуру не только человеческих эмоций, но и человеческого познания. Как показывают исследования Леды Космидес, люди отлично справляются с мудреными логическими головоломками, представленными в форме социального обмена. В большинстве случаев цель такой игры – определить, кто играет нечестно. В результате Космидес пришла к выводу, что ментальные органы, управляющие реципрокным альтруизмом, включают особый модуль – «детектор обманщиков»^[369]. Другие, без сомнения, еще предстоит обнаружить.

Значение реципрокного альтруизма

Одна из распространенных реакций на теорию реципрокного альтруизма – дискомфорт. Некоторым людям неприятна сама мысль о том, что их самые благородные порывы – результат хитрой игры генов. Едва ли это единственно возможная реакция, но для тех, кто выбирает ее, полное погружение, по-видимому, гарантировано. Если генетически эгоистичные корни сочувствия и доброжелательности в самом деле суть источник отчаяния, тогда крайняя степень отчаяния вполне оправданна: чем больше вы размышляете над нюансами реципрокного альтруизма, тем более корыстными кажутся гены.

Вернемся к вопросу о сочувствии, в частности, к его тенденции расти пропорционально серьезности положения, в которое попал другой человек. Почему мы ощущаем больше жалости к человеку, умирающему от голода, чем к человеку, который просто хочет есть? Потому ли, что человеческий дух всегда стремится к облегчению страданий? Неправильный ответ.

Обсуждая этот вопрос, Триверс спрашивает, почему степень благодарности зависит от бедственности положения. Почему вы, проведя три дня в дикой природе, пылко благодарите за спасительный бутерброд и весьма сдержанно – за бесплатный ужин вечером того же дня? Его ответ прост, правдоподобен и не так уж удивителен: благодарность, отражая ценность полученной выгоды, определяет

размер ответного платежа. По сути, благодарность – это долговая расписка.

Для благодетеля «мораль сей басни» очевидна: чем безнадежнее положение облагодетельствованного, тем больше долг. Исключительно развитая способность к сочувствию – отличный инвестиционный совет. Наше глубочайшее сострадание не более чем погоня за самым выгодным предложением. Большинство из нас с презрением отнесутся к врачу, который потребует в пять раз большую плату за пациентов, находящихся на грани смерти. Мы назовем его бессердечным эксплуататором. Мы спросим его: «Неужели в вас нет ни капли сострадания?» Если он читал Триверса, он ответит: «Напротив, у меня его полно. Просто я не скрываю, что таится в его основе». Это должно умерить наше нравственное негодование.

Кстати о нравственном негодовании: оно, как и сочувствие, приобретает новый оттенок в свете реципрокного альтруизма. Способность избежать эксплуатации, отмечает Триверс, очень важна. Даже в простом мире аксельродовского компьютера с его дискретными бинарными взаимодействиями стратегии «Око за око» приходилось наказывать тех, кто обошелся с ней плохо. В реальном мире, где под личиной дружбы люди могут влезть в огромные долги, а затем отказаться от их уплаты – а то и пойти на откровенное воровство, – эксплуатацию следует пресекать еще жестче. Отсюда – сила нашего нравственного негодования, внутренняя уверенность, что с нами обошлись *несправедливо*, что виновный заслуживает *наказания*. Интуитивно очевидная идея возмездия – сама суть человеческого чувства справедливости – есть, с этой точки зрения, побочный продукт эволюции, простая генетическая страгатаема.

Что озадачивает, так это интенсивность, которой зачастую достигает праведное негодование. Оно способно породить длительную вражду, быстро затмевающую мнимое оскорбление, и даже может привести к гибели негодующего. Почему же гены заставляют нас рисковать жизнью ради чего-то столь эфемерного, как «честь»? Триверс замечает, что «маленькие несправедливости, накапливающиеся в течение жизни, могут иметь серьезные последствия», а потому оправдывают «проявление агрессии при обнаружении склонности к обману»^[370].

Другие ученые обратили внимание, что негодование особенно ценно, когда проявляется на публике. Если о вашем чувстве чести поползут слухи и один-единственный кулачный бой отобьет желание обманывать вас у множества ваших соседей, значит, рискнув собственным здоровьем, вы поступили правильно: оно того стоило. В обществе охотников и собирателей, где почти все поведение публично, а сплетни распространяются быстро, лучшие зрители кулачного боя – все окружающие. Примечательно, что даже в современных индустриальных обществах мужчины убивают других мужчин обычно в присутствии зрителей^[371]. Это кажется странным – зачем совершать убийство при свидетелях? – но только не с точки зрения эволюционной психологии.

Триверс показал, насколько сложной может стать дилемма заключенного в реальной жизни, когда чувства, развившиеся для одной цели, адаптируются под другие. Так, мошенники (сознательно или бессознательно) могли прибегать к негодованию, чтобы избежать подозрения («Да как ты смеешь сомневаться в моей честности?»). А чувство вины, которое поначалу служило простым напоминанием оплатить просроченные долги, со временем стало выполнять вторую функцию: побуждать к признанию в обмане, который вот-вот будет раскрыт. (Вы когда-нибудь замечали, что чувство вины определенно коррелирует с вероятностью быть пойманным?)

Одним из отличительных признаков элегантной теории является изящное объяснение данных, долгое время ставивших ученых в тупик. В исследовании, проведенном в 1966 году, испытуемые, искренне верившие, что сломали дорогое оборудование, чаще изъявляли желание поучаствовать в болезненном эксперименте, но только в том случае, если поломка была обнаружена^[372]. Если бы чувство вины в самом деле было нравственным маяком (как полагают идеалисты), его интенсивность не зависела бы от того, раскрыто преступление или нет. То же справедливо и в том случае, если бы чувство вины побуждало к репарациям, полезным для группы (как считают сторонники теории группового отбора). Но если чувство вины, как утверждает Триверс, есть всего-навсего способ обеспечить надлежащий уровень реципрокности, его интенсивность должна зависеть не от ваших злодеяний, а от того, знает кто-то о них или нет.

Та же логика помогает объяснить повседневную городскую жизнь. Когда мы проходим мимо бездомного человека, мы можем почувствовать себя неудобно из-за того, что ничем ему не помогли. Но взгляните в глаза этому нищему – вы почувствуете настоящие угрызения совести. Сам факт, что мы кому-то не смогли (или не захотели) подать милостыню, не вызывает у нас особых беспокойств; иное дело, когда это видят другие. (Что касается вопроса, почему нас так волнует мнение людей, которых мы никогда больше не увидим: возможно, в нашей анцестральной среде почти любой человек, с которым мы сталкивались в повседневной жизни, скорее всего, встретился бы нам вновь^[373].)

Крах логики «группового блага» не следует переоценивать или понимать превратно. Реципрокный альтруизм обычно анализируется в ситуациях один на один и почти наверняка в этой форме и возник. Тем не менее эволюция жертвенности со временем могла существенно усложниться и породить чувство группового долга. Представим, что у вас есть «клубный» ген. Этот ген наделяет вас способностью считать двух или трех других людей членами единой команды; в их присутствии вы распределяете свой альтруизм более диффузно, принося жертвы в пользу клуба как единого целого. Вы можете, например, пойти на риск во время совместной погони за опасной добычей и рассчитывать (сознательно или бессознательно), что в будущем каждый из ваших товарищей оплатит вам тем же. При этом, скорее всего, вы будете ожидать не повторения вашего подвига, а жертвы на благо «группы», подобной той, какую принесли вы. Другие члены клуба ждут того же; те, кто не соответствует ожиданиям, могут лишиться своего членства.

Генетическая инфраструктура клубности, будучи более сложной, чем инфраструктура альтруизма «один на один», на первый взгляд может показаться маловероятной. Но стоит закрепить разнообразности «один на один», как дополнительные эволюционные шаги уже не кажутся столь невозможными. Аналогичным образом обстоят дела с последующими шагами, которые могут обеспечить лояльность к более крупным группам. Действительно, успех растущего числа маленьких групп внутри деревни охотников и собирателей мог бы стать дарвинистским стимулом примкнуть к более крупным группам и получить преимущество в общем

соперничестве; в этом случае генетические мутации, которые питают такое объединение, должны процветать. В итоге можно представить способность к лояльности и жертвенности по отношению к такой большой группе, как племена, фигурировавшие в дарвиновской теории нравственных чувств. Однако, в отличие от дарвиновского сценария, этот сценарий не предполагает жертв ради того, кто не отвечает взаимностью^[374].

Собственно, реципрокный альтруизм классического типа «один на один» сам по себе может породить видимость коллективистского поведения. У вида, наделенного способностью к речи, есть одна вещь, манипулирование которой служит весьма эффективным и легким способом вознаградить хороших людей и наказать плохих. Я говорю о репутации. Если вы пустите слух, что некто обидел вас или обманул, очень скоро люди начнут воздерживаться от всяких проявлений альтруизма в его сторону. Возможно, именно в этом и кроется объяснение эволюции «жалобы» – не столько ощущения того, что с вами поступили нечестно, сколько потребность выразить это публично. Люди тратят уйму времени, жалуясь сами, выслушивая жалобы других и соответствующим образом корректируя свое отношение к обвиняемым.

Возможно, рассматривая «нравственное негодование» как движущую силу ответной агрессии, Триверс забегал вперед. Как отмечали Мартин Дали и Марго Уилсон, если ваша цель – простая агрессия, чувство *морального* возмущения необязательно, достаточно чистой враждебности. Можно предположить, что причина появления нравственного аспекта и кристаллизации чувства обиды заключается в том, что люди эволюционировали среди сторонних наблюдателей – наблюдателей, чье мнение имело большое значение.

Почему именно мнение посторонних имеет значение – другой вопрос. Окружающие могут, как указывают Дали и Уилсон, накладывать «коллективные санкции» как часть «общественного договора» (или, по крайней мере, «клубного договора»). Кроме того, они могут, как я уже упоминал, бойкотировать нарушителей из личных интересов, создавая социальные санкции де-факто. Фактически, они могут делать и то, и другое. В любом случае, публичное высказывание жалоб может вызвать массовые реакции, которые *действуют* как коллективные санкции и, таким образом,

являются важной частью нравственных систем. Немногие психологи-эволюционисты станут оспаривать главный постулат Дали и Уилсон, что «мораль – это механизм животного исключительной когнитивной сложности, преследующего свои интересы в исключительно сложной социальной вселенной»^[375].

Возможно, самая удручающая вещь, касающаяся реципрокного альтруизма, состоит в том, что этот термин ошибочен. Если при родственном отборе «целью» наших генов является помощь другому организму, то при взаимном альтруизме главное – чтобы у организма сложилось впечатление, что ему помогли (для реципрокации одного впечатления вполне достаточно). В компьютере Аксельрода вторая цель всегда влечет за собой первую; в реальном человеческом обществе это происходит не всегда, но часто. Когда же этого не происходит – например, в случае, когда мы можем только прикидываться хорошими или безнаказанно подличать, – не стоит удивляться, что на поверхность выходит уродливая часть человеческой природы. Отсюда проистекают тайные предательства всех видов, от тривиальных до шекспировских. Отсюда – общее стремление людей холить и лелеять свою нравственную репутацию. Репутация – цель игры этого «нравственного» животного. Отсюда – лицемерие как результат действия двух естественных сил: склонности к жалобам (т. е. преданию огласке чужих грехов) и склонности к сокрытию грехов собственных.

Превращение идей Джорджа Уильямса, которые он высказал в 1966 году касательно взаимопомощи, в убедительную, стройную теорию – одно из величайших достижений науки XX века. Невзирая на то что теория реципрокного альтруизма не *доказана* так, как доказывают теории в физике, она внушает доверие. В последующие несколько десятилетий это доверие должно только расти – вместе с нашими знаниями о связи между генами и человеческим мозгом. Хотя эта теория не настолько туманная и мудреная, как теории относительности или квантовой механики, со временем она может в корне изменить все наше мировоззрение.

Глава 10

Совість

Таким образом, развивается мало-помалу то чрезвычайно сложное чувство, которое имеет первым источником общественные инстинкты, руководится в значительной степени одобрением себе подобных, управляется рассудком, личной выгодой, а в позднейшие времена – глубоким религиозным чувством, подкрепляется образованием и привычкой и в общей сложности составляет наше нравственное чувство или совесть.

«Происхождение человека» (1871)
[\[376\]](#).

Некоторые считают Дарвина человеком чересчур порядочным и добрым. Достаточно вспомнить оценку одного из его биографов, психиатра Джона Боулби. Боулби находил совесть Дарвина «сверхактивной» и «подавляющей». Восхищаясь его «строгими моральными принципами», Боулби тем не менее полагал, что «эти качества были, к сожалению, развиты преждевременно и в чрезмерной степени», что делало Чарлза особенно «склонным к самопорицанию», а также «к периодам хронической тревоги и эпизодам довольно тяжелой депрессии»[\[377\]](#).

Самопорицание действительно было второй натурой Дарвина. В детстве он «думал, что люди восхищались мной, в одном случае за настойчивость, а в другом – за смелость (я залез на невысокое дерево)», и в то же время испытывал «чувство никчемности и презрения к самому себе»[\[378\]](#). Во взрослом возрасте склонность к постоянной самокритике превратилась в своего рода тик, рефлексивное смирение; существенная доля обширной

корреспонденции Дарвина состоит из извинений. «Как безобразно неаккуратно это письмо», – написал он в подростковом возрасте. «Мне кажется, что я пишу отборную чушь», – заметил он на третьем десятке. «Я составил неоправданно длинное и унылое письмо, так что прощайте», – заключил он, приближаясь к сорока годам^[379]. И так далее.

Ночью сомнения охватывали Дарвина с новой силой. В это время, утверждал Фрэнсис Дарвин, «отца преследовали мысли о том, что озадачивало или беспокоило его днем». Он мог подолгу лежать без сна, обдумывая беседу с соседом, и волноваться, что чем-то нечаянно обидел его. Он мог подолгу лежать без сна, думая о письмах, на которые до сих пор не ответил. «Обычно он говорил, что если он не ответит на них, то впоследствии это будет на его совести», – вспоминал Фрэнсис^[380].

Нравственные чувства Дарвина выходили далеко за рамки социальных обязательств. Хотя после плавания «Бигля» прошло много лет, его по-прежнему мучили воспоминания о рабах в Бразилии. (На борту «Бигля» он умудрился настроить против себя даже капитана, высмеяв его аргументы в защиту рабства.) Даже страдания животных Дарвин находил невыносимыми. Согласно Фрэнсису, однажды отец вернулся с прогулки «бледный и обессиленный: он увидел, как хозяин издевается над лошадьёю, и не преминул выразить бурные протесты по этому поводу»^[381]. Все это подтверждает мнение Боулби: совесть Дарвина была очень болезненной штукой.

Конечно, естественный отбор никогда не обещал нам райских куш. Он «не хочет», чтобы мы были счастливы. Он «хочет», чтобы мы были генетически плодовиты. И Дарвин реализовал это «желание» весьма неплохо. У него родилось десять детей, из них семеро выжили и стали взрослыми. Таким образом, если наша задача – выявить особенности, которые естественный отбор заложил в совесть, нет никаких причин не использовать совесть Дарвина в качестве экспоната А: примера устойчивой, адекватной адаптации. Если совесть побуждала Дарвина делать вещи, приумножающие его генетическое наследие, то она, вероятно, работала именно так, как было задумано, хотя временами и причиняла внутреннюю боль^[382].

Счастье – это здорово. У человека есть все основания стремиться к нему. У психиатра есть все основания вселять его в своих пациентов и

нет никаких оснований формировать людей, которых «жаждет» естественный отбор. Однако чтобы делать людей счастливыми, врачам прежде всего необходимо понять, что именно естественный отбор «хочет» и как он «пытается» этого добиться. Какие психические устройства управляют нашей жизнью? Как их можно отключить и можно ли вообще? И какой ценой – для нас самих и окружающих?

Понимание того, что есть патология с точки зрения естественного отбора, поможет нам лучше понять вещи, которые патологичны с точки зрения человека. Один из способов приблизиться к этому пониманию – попытаться выяснить, когда совесть Дарвина работала правильно, а когда – нет.

Бесстыдный ход

Одна поразительная особенность поощрений и наказаний, раздаваемых совестью, заключается в том, что они лишены чувственной составляющей. Голод вызывает мучения, а секс – блаженство. Совесть не делает ни того, ни другого. Она заставляет нас чувствовать, что мы сделали что-то плохое или, наоборот, хорошее. Мы либо виноваты, либо не виноваты. Просто удивительно, как такой аморальный и абсолютно прагматичный процесс, как естественный отбор, мог создать психический орган, который вызывает у нас ощущение прикосновения к высшим истинам. Воистину, бесстыдный ход!

Но эффективный. Эффективный повсюду. Родственный отбор постарался, чтобы люди во всем мире испытывали чувство вины, если, скажем, причинили вред брату или сестре, дочери или сыну, даже племяннице или племяннику. Реципрокный альтруизм, в свою очередь, вывел чувство долга за пределы круга родственников. Существует ли на Земле хоть одна культура, в которой равнодушие к другу не вызывает чувства вины? Заяви какой-нибудь антрополог, что он нашел такую, все мы скептически отнесемся к его сообщению.

Взаимный альтруизм мог оставить более диффузный отпечаток и на совести. Несколько десятилетий назад психолог Лоуренс Кольберг предложил модель нравственного развития человека, начиная от детской концепции «плохого» (за что ребенка наказывают родители) и

заканчивая беспристрастной оценкой абстрактных законов. Верхние ступени лестницы Кольберга, занятые этическими философами (и предположительно самим Кольбергом), далеки от видотипичных. Однако первые три стадии представляются стандартными в самых разных культурах^[383]. Третья стадия включает желание прослыть «милым» и «добрым» – иными словами, надежным реципрокным альтруистом, человеком, с которым выгодно иметь дело. Этот импульс помогает придать сопутствующим моральным кодексам их огромную силу; все мы не только жаждем поступать хорошо – мы жаждем, чтобы наши хорошие поступки видели окружающие.

За пределами этих разновидностей базовых и явно универсальных измерений нравственного чувства содержание совести варьирует. Конкретные нормы, подкрепленные коллективной похвалой или осуждением, отличаются от культуры к культуре (еще одно напоминание о вариабельности, которую допускает природа человека). В рамках одной культуры строгость повиновения этим нормам носит индивидуальный характер. Некоторые люди, включая Дарвина, обладают излишне чуткой совестью и лежат по ночам с открытыми глазами, размышляя над своими преступлениями. Другим это несвойственно.

Но вернемся к Дарвину. Некоторые аспекты его необычайно строгих моральных принципов предположительно связаны с отдельными генами. Поведенческие генетики говорят, что наследуемость кластера признаков, которые они называют «совестливостью», составляет приблизительно 0,30–0,40^[384]. Это означает, что примерно треть различий между людьми (по крайней мере, в типичной для конца XX века социальной среде) можно объяснить различиями в генах. Остаются две трети, которые обычно приписывают окружающей среде. В значительной степени совесть представляется примером генетически заданных регуляторов человеческой природы с широким диапазоном средовых настроек. Все люди на свете способны испытывать чувство вины. Но не все испытывают его так же остро и по таким же мелочам, как Дарвин. Иногда мы сочувствуем чужим страданиям, а иногда полагаем, что страдание оправданно, что возмездие заслуженно. Сам факт, что в Бразилии рабов наказывали крайне жестоко, означает, что не каждый разделяет мнение Дарвина о том, когда уместна эмпатия, а когда – возмездие.

Ключевые вопросы таковы: почему естественный отбор дал нам достаточно гибкую совесть, а не стал фиксировать ее содержание врожденно? Каким образом он организовал ее формирование? Почему и каким образом регуляторы морали поддаются настройке?

Рассмотрим вопрос «каким образом». Дарвин полагал, что его нравственные принципы начали формироваться очень рано, под воздействием родственников. «В похвалу себе могу сказать, что я был гуманным мальчиком, – пишет он в своей «Автобиографии», – но этим я целиком обязан наставлению и примеру моих сестер, ибо я сомневаюсь в том, является ли гуманность природным, врожденным качеством». Его планы собрать коллекцию насекомых рухнули, когда он, «посоветовавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать насекомых только для того, чтобы составить коллекцию их»^[385].

Кэролайн – главный моралист в семье – была старше своего знаменитого брата на девять лет и после смерти матери в 1817 году взяла ее роль на себя; в то время Чарлзу сравнялось восемь. «Кэролайн была в высшей степени добра, способна и усердна, – вспоминает Дарвин, – но она проявляла слишком большое усердие в стремлении исправить меня, ибо, несмотря на то что прошло так много лет, я и сейчас отчетливо помню, как, входя в комнату, где она находилась, я говорил себе: “А за что она сейчас начнет порицать меня?”»^[386].

Отец Дарвина – крупный, импозантный мужчина – тоже был силой, с которой приходилось считаться. Его строгость породила множество теорий о психодинамике между отцом и сыном, причем большинство из них оказались весьма нелестными для первого. Один биограф Дарвина приводит следующую обобщенную характеристику Роберта Дарвина: «Домашний тиран, источник вечного невроза и чувства бессилия у своего сына»^[387].

Роль семьи в нравственном развитии человека, которую подчеркивал Дарвин, подтверждает наука о поведении. Родители и другие авторитетные фигуры, включая старших родственников, служат ролевыми моделями и наставниками, придавая совести нужную форму похвалой и порицанием. По сути, именно так Фрейд описывал формирование супер-эго, которое включает и совесть. Похоже, он не ошибся. Что же касается сверстников ребенка, то и они

обеспечивают положительную и отрицательную обратную связь, поощряя конформность нормам игровой площадки.

То, что моральное развитие главным образом направляют именно родственники, совершенно логично. В силу множества общих генов у родственников есть веские основания давать полезные советы. По той же самой причине у ребенка есть веские основания им следовать. Как отмечает Роберт Триверс, определенная доля скепсиса со стороны ребенка абсолютно нормальна – многие дети, например, недоверчиво относятся к родительским увещаниям делиться с братьями и сестрами поровну. Тем не менее в других сферах – сфере взаимоотношений с друзьями и незнакомцами – основания для родительского манипулирования уменьшаются, а основания для детского повиновения увеличиваются. В любом случае ясно одно: голос близких родственников будет особенно звучен. Устав от педантичных ворчаній сестры Кэролайн, Дарвин «упрямо решил отнестись с полным безразличием ко всему, что бы она ни сказала»^[388]. Преуспел ли он в этом – другой вопрос. В письмах, которые Дарвин регулярно отправлял Кэролайн из колледжа, он просит прощения за стиль изложения, изо всех сил старается убедить ее в своем религиозном пиетете и вообще проявляет постоянное беспокойство о том, что она могла бы подумать или сказать.

Не меньшее влияние на Дарвина оказал и его отец. Юный Чарлз боготворил Роберта Дарвина и на всю жизнь запомнил его мудрый совет и самый жестокий упрек: «Ты ни о чем не думаешь, кроме охоты, собак и ловли крыс; ты опозоришь себя и всю нашу семью!»^[389]. Чарлз искренне жаждал одобрения отца и делал все, чтобы его заслужить. «Полагаю, когда я был молод, отец был несколько несправедлив ко мне, – писал он. – Позже, однако, мне было приятно думать, что я стал его главным фаворитом»^[390]. Когда Дарвин поделился своими мыслями с одной из дочерей, она обратила внимание на «выражение счастливой мечтательности, сопровождавшее эти слова», а также «глубокое чувство покоя и благодарности, вызванное одним этим воспоминанием»^[391]. Огромное количество людей, которым знакомо это чувство покоя, и огромное количество людей, которые страдают от родительского неодобрения – свидетельствует о мощи нашего эмоционального инвентаря.

Остается вопрос «почему». Почему естественный отбор сделал совесть гибкой? Семья Дарвина служила натуральным источником полезных моральных наставлений, но что именно в них было полезного? Что с точки зрения генов такого ценного в развитом чувстве вины, которое они вселили в молодого Дарвина? И раз уж на то пошло, если чуткая совесть настолько ценна, почему гены просто не запрограммируют ее в самом мозге?

Начнем с того, что реальность сложнее компьютера Роберта Аксельрода. В турнире Аксельрода группа электронных организмов, применяющих стратегию «Око за око», одержала победу, после чего жила долго и счастливо во взаимовыгодном сотрудничестве. Этот опыт не только показывает нам один из потенциальных сценариев развития реципрокного альтруизма, но и помогает объяснить, почему мы все испытываем эмоции, которые к нему побуждают. Однако наше поведение лишено простой стабильности, характерной для «Око за око». Мы иногда лжем, обманываем, крадем; более того, в отличие от «Око за око» мы можем поступать так даже по отношению к тем, кто сам был к нам добр. И иногда мы даже процветаем. Тот факт, что мы наделены способностью к эксплуатации и что эта способность иногда очень выгодна, свидетельствует о том, что в ходе эволюции были периоды, когда проявлять доброту к добрым людям не являлось генетически оптимальной стратегией. У всех нас могут быть механизмы «око за око», но есть у нас и механизмы куда менее достойные восхищения. И мы постоянно сталкиваемся с вопросом, какой из них использовать. Отсюда – адаптивная ценность гибкой совести.

Таково, по крайней мере, мнение Триверса, высказанное им в 1971 году в статье о реципрокном альтруизме. Он отметил, что окупаемость помощи – и, следовательно, окупаемость обмана – зависит от социальной среды. А среда со временем меняется. Так, «можно ожидать, что отбор будет благоприятствовать эволюционной пластичности тех черт, которые регулируют склонности к альтруизму и обману, а также реакции на эти склонности других людей». Таким образом, «чувство вины растущего организма» может быть «сформировано частично семьей с тем, чтобы допускать те формы обмана, которые представляются адаптивными в текущих условиях, и препятствовать тем, которые приводят к более опасным

последствиям». Короче говоря, «нравственное воспитание» — эвфемизм. Родители учат детей только такому «нравственному» поведению, которое отвечает личным интересам.

Трудно определить точные обстоятельства, в ходе эволюции придавшие ценность различным нравственным стратегиям. Возможно, не последнюю роль сыграли периодические изменения размеров деревьев, а также численность крупной добычи и хищников-людоедов^[392]. Любой из этих факторов мог оказывать выраженное влияние на количество и ценность совместных усилий, доступных в данном конкретном месте. Кроме того, каждый человек рождается в семье, которая занимает определенную нишу в социальной экологии; каждый человек обладает определенными социальными активами и пассивами. Одни могут процветать, не прибегая к обману, другим это не дано.

Какова бы ни была причина, по которой естественный отбор наделил наш вид гибкими взаимно альтруистическими стратегиями, развитие гибкости еще больше повысило их ценность. Господствующие ветры сотрудничества иногда меняют направление — от поколения к поколению, от одной деревни к другой, от одной семьи к следующей, и с такими изменениями приходится считаться. Без гибкой стратегии это невозможно. Как показал Аксельрод, ценность конкретной стратегии сильно зависит от норм окружения.

Если Триверс прав, если формирование совести молодого человека частично восходит к наставлениям касательно того, когда обманывать выгодно, а когда нет, разумно ожидать, что маленькие дети должны с легкостью постигать искусство лжи. И это еще мягко сказано. В 1932 году Жан Пиаже писал: «Склонность говорить неправду — естественная тенденция... спонтанная и универсальная»^[393]. Последующие исследования это подтвердили^[394].

«Прирожденным» лжецом кажется и Дарвин: «Могу здесь признаться также, что в детстве я нередко сочинял заведомый вздор и притом всегда только для того, чтобы вызвать удивление окружающих. Однажды, например, я сорвал с деревьев, принадлежавших моему отцу, много превосходных фруктов, спрятал их в кустах, а затем сломя голову побежал распространять новость о том, что я обнаружил склад краденых фруктов». (В некотором смысле так оно и было.) Вернувшись с прогулки, Чарлз неизменно сообщал, что по дороге

видел «фазана или какую-то другую странную птицу», вне зависимости от того, правда это или нет. В другой раз он похвастался товарищу, будто может вырастить «разноцветные нарциссы и первоцветы, поливая их определенными цветными жидкостями, что, конечно, было чудовищной ложью – я никогда не пробовал ничего подобного»^[395].

Суть в том, что детская ложь – не только стадия безвредной делинквентности, которую нужно перерасти, это первое испытание на корыстную непорядочность. Посредством положительного подкрепления (для нераскрытой и результативной лжи) и отрицательного подкрепления (для разоблаченной лжи) мы узнаем, что нам сойдет с рук, а что – нет.

Хотя родители редко читают детям лекции о пользе лжи, это вовсе не означает, что они не учат их лгать. Судя по всему, ребенок не будет лгать только в том случае, если вранье жестко пресекается. Мальчики и девочки, чьи родители лгут чаще, имеют больше шансов стать хроническими лгунами. То же относится и к детям, растущим без должного родительского внимания^[396]. Если родители не осуждают те виды лжи, которые оказались выгодны для них, дети быстро овладеют искусством обмана и овладеют им в совершенстве.

Один психолог писал: «Без сомнения, лгать – это интересно; чаще всего детей побуждает лгать сам процесс манипуляции, а не выгода, проистекающая из него»^[397]. Данная дихотомия обманчива. По всей вероятности, естественный отбор сделал детскую ложь столь увлекательной как раз потому, что умелое вранье способно принести выгоду. Повторим еще раз: естественный отбор «думает», мы – исполняем.

Дарвин вспоминал, что «сочинял заведомый вздор и притом всегда только для того, чтобы вызвать удивление окружающих». С одной стороны, «нераскрытая ложь возбуждала мое внимание и, производя глубокое впечатление на мой разум, приносила удовольствие, подобно трагедии»^[398], а с другой – рождала чувство стыда. Дарвин не уточняет почему, но возможны две причины: либо его разоблачали бдительные сверстники, либо наказывали за вранье старшие родственники.

Так или иначе, маленький Чарлз получал обратную связь о допустимости лжи в его социальном окружении. И, так или иначе, эта

обратная связь возымела эффект. По всем разумным стандартам взрослый Дарвин был честен.

Передача нравственных установок от старых к молодым подобна передаче генетических директив и по своим эффектам иногда неотличима от нее. В своем «Саморазвитии» Сэмюэль Смайлс пишет: «Характерные особенности родителей в большинстве случаев сообщаются детям. Симпатия, дисциплина, прилежание и самообладание, внушенные личным примером, навеки оставляют след, тогда как наставления, которые нам читали в детстве, весьма скоро забываются, не оставляя никакого следа... быть может, множество дурных поступков не совершалось только потому, что в момент искушения в уме человека бессознательно возникал образ, исполненный нежности или укоризны»^[399].

Эта надежность передачи нравственных ценностей очевидна у Дарвина. Расхваливая великодушие и чуткость отца в своей автобиографии, он с равным успехом мог говорить о себе. Сам Дарвин изо всех сил старался снабдить собственных детей навыками реципрокного альтруизма – от нравственной неподкупности до социальной щепетильности. Он писал сыну: «Ты должен непременно написать мистеру Уортону: лучше начать с «Уважаемый сэръ»... а закончить так: “Благодарю вас и миссис Уортон за ваше неизменно доброе отношение ко мне. Премного обязанный...”»^[400]

Викторианская совесть

Естественный отбор не мог предвидеть, какой будет социальная среда Дарвина. Генетическая программа, определяющая нюансы нашей совести, не включает такую опцию, как «зажиточный человек в викторианской Англии». По этой причине (в числе прочих) не следует думать, что ранний опыт Дарвина мог придать его совести исключительно адаптивный характер. Тем не менее определенные вещи, которые естественный отбор все-таки «предвосхитил» – например, что уровень сотрудничества должен отличаться от среды к среде, – релевантны в любом месте и в любое время. Ниже мы

попробуем разобраться, способствовало ли нравственное развитие Дарвина его процветанию в зрелом возрасте.

Вопрос о том, какие выгоды приносила Дарвину его совесть, в сущности, есть вопрос о том, какие выгоды вообще приносила совесть в викторианский период. В конце концов, моральный компас Дарвина – просто улучшенная версия базовой викторианской модели. Викторианцы известны своим акцентом на «характер», и многие из них, если их перенести в наше время, покажутся до странности честными и совестливыми.

Сущность викторианского характера, согласно Сэмюэлю Смайлсу, заключалась в «правдивости, честности и доброте». «Честность в словах и поступках – краеугольный камень истинно высокого характера», – писал он в «Саморазвитии»^[401]. Обратите внимание на контраст с «личностью»: сплавом обаяния, шика и других социальных побрякушек, который в XX веке в значительной степени заменил собой характер в качестве мерила человека. Данный сдвиг нередко пытаются объяснить тем, что текущее столетие – эпоха моральной деградации и необузданного эгоизма^[402]. «Личность», в конце концов, придает слишком малое значение честности или чести и представляется всего-навсего средством подняться на более высокую ступень в обществе.

Культура личности в самом деле кажется малосодержательной, а потому легко впасть в ностальгию по дням, когда энергичность и предприимчивость позволяли человеку добиться гораздо меньшего. Впрочем, это не означает, что эра характера была эрой чистой искренности, не запятнанной эгоизмом. Если Триверс прав относительно причин столь удивительной пластичности нашей совести, тогда «характер», возможно, тоже служил шкурным интересам.

Сами викторианцы называли вещи своими именами и открыто говорили о пользе характера. Сэмюэль Смайлс с одобрением цитирует человека «непоколебимой честности и правдивого до мелочности», который заметил, что повиновение «голосу совести» – путь к «благоденствию и богатству». Сам Смайлс полагал, что «характер является более значительной силой, чем знания». В доказательство он приводит следующие слова известного государственного деятеля Джорджа Каннинга: «Мой жизненный путь

определяется исключительно характером; я не желаю идти иным путем; я убежден, что такой путь не всегда приятнейший, но зато самый верный»^[403].

Если характер настолько способствовал продвижению в те дни, то почему сейчас это не так? Здесь не место для дарвинистского трактата по моральной истории, но одна причина очевидна: большинство людей в викторианской Англии жили в грубом эквиваленте маленького городка. Безусловно, шла активная урбанизация, и эра анонимности приближалась. Однако в сравнении с современностью население деревень и даже городов отличалось стабильностью. Люди были склонны к оседлости и год за годом встречались с одними и теми же соседями. Особенно это справедливо в отношении симпатичного городка Шрусбери, в котором родился Дарвин. Если Триверс прав – если молодая совесть (при активном содействии родственников) отливаётся в особую форму, дабы наилучшим образом соответствовать требованиям местной социальной среды, тогда Шрусбери – то место, где дарвиновские угрызения совести должны окупиться.

Существует как минимум две причины, по которым правдивость и честность имеют особый смысл в маленькой и устойчивой социальной обстановке. Одна состоит в том, что (и это знает каждый, кто жил в небольшом городе) убежать от собственного прошлого невозможно. В своем «Саморазвитии» Смайлс пишет: «Человек всегда должен быть тем, кем он есть на самом деле или, по крайней мере, кем он намерен быть... Весьма важно также, чтобы у человека дело никогда не расходилось со словом, иначе он никогда не внушит к себе уважения; его словам никто не будет придавать никакого значения даже в том случае, когда он говорит правду». Чуть выше Смайлс пересказывает следующую забавную историю: «Полковник Чартрис сказал однажды человеку безукоризненной честности: «Я дал бы 1000 фунтов за ваше доброе имя». – «Почему?» – «Потому что я нажил бы на нем 10 000 фунтов», – ответил плут»^[404]. Дарвин, каким его описывала юная Эмма Веджвуд, – «самый открытый, прозрачный человек, которого я знала, ибо каждое слово, произнесенное им, выражало его истинные мысли», – это человек, отлично экипированный для процветания в Шрусбери^[405].

Компьютерный мир Аксельрода во многом аналогичен Шрусбери: одна и та же ограниченная группа справедливых игроков, каждый из которых помнит, как вели себя остальные во время последней встречи. Это главная причина, почему реципрокный альтруизм окупается внутри компьютера. Если еще больше уподобить виртуальный мир маленькому городку, а именно позволить его обитателям сплетничать о порядочности (или непорядочности) X и СЭМЮЭЛЯ, то кооперативные стратегии станут процветать еще быстрее. Секрет прост: в этом случае обманщики успеют надуть гораздо меньше народу прежде, чем их начнут сторониться^[406]. (Компьютер Аксельрода используется по-разному. Поскольку люди обладают гибкой моральной оснасткой, сотрудничество может распространяться и идти на спад без каких-либо изменений в генном пуле. Ведя хронику таких колебаний, компьютер способен моделировать не только генетические изменения, как в предыдущей главе, но и культурные, как здесь.)

Вторая причина, почему в местах, подобных Шрусбери, быть добрым выгодно, состоит в том, что люди, по отношению к которым вы добры, остаются вашими соседями. Даже незапланированные затраты социальной энергии – например, диффузный обмен любезностями – могут быть разумной инвестицией. Смайлс пишет: «Благожелательность является самым главным элементом человеческих отношений. «Вежливость, – говорила леди Монтегю, – ничего не стоит, но ею можно все купить»... «Завоевывайте сердца людей, – внушал Борлейф королеве Елизавете, – и все кошельки их – ваши»^[407].

На самом деле вежливость чего-то да стоит: времени и психической энергии. И в наши дни на нее можно купить не так уж много. Значительное количество (если не большинство) людей, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, не знают, кто мы, и никогда этого не узнают. Даже наши знакомства и те бывают мимолетны. Люди часто переезжают, часто меняют место работы. Посему ныне репутация правдивого человека значит гораздо меньше, а жертвы – даже ради коллег или соседей – окупаются реже. В наше время сын, которого отец своим примером учит быть хитрым и искренним только с виду, активно прибегать к несущественной лжи: обещать, но не всегда выполнять обещания, скорее всего, добьется больших успехов.

То же самое можно увидеть в компьютере Аксельрода. Если изменить правила и позволить игрокам мигрировать из одной группы в другую, тем самым снизив шансы пожалеть то, что посеяно, мощь стратегии «Око за око» начнет убывать, а успех более подлых тактик – возрастать. (Здесь мы снова используем компьютер, чтобы смоделировать культурную, а не генетическую эволюцию; охват среднестатистической совести меняется, но не из-за базовых изменений в геномном пуле.)

В компьютере, как и в жизни, эти тенденции не требуют никакой поддержки извне и, следовательно, полностью самодостаточны. Когда процветают менее кооперативные стратегии, количество локально доступных коопераций снижается, что еще больше обесценивает сотрудничество. Результат: менее кооперативные стратегии процветают еще быстрее. Эта закономерность работает и в обратную сторону: чем совестливее становились викторианцы, тем выгоднее было быть совестливым. Но когда – по любой причине – маятник наконец достигает своей наивысшей точки и начинает обратный путь, то он, естественно, набирает скорость.

В определенной степени данный анализ просто-напросто подчеркивает азбучные истины о последствиях урбанистической анонимности: жители Нью-Йорка грубы и невежливы, и Нью-Йорк кишит ворами-карманниками^[408]. Однако это не все. Суть здесь не только в том, что люди смотрят по сторонам, видят возможность для обмана и сознательно решают ею воспользоваться. Оптимальные контуры совести формируются в ходе процесса, который человек ощущает довольно смутно и который начинается, едва он произносит первое слово. Обычно это происходит под влиянием родственников (которые и сами не всегда понимают, что творится), а также других источников средовой обратной связи. Культурное влияние может быть столь же бессознательным, как и генетическое. Это и неудивительно, учитывая, как тесно они переплетены друг с другом.

То же верно и в отношении сектора, чей этос до сих пор является предметом многочисленных дискуссий – американских гетто, погрязших в нищете и криминале. Начинающим преступникам не нужно оценивать ситуацию и рационально выбирать преступную жизнь. Будь оно так, стандартное решение проблемы криминала – «изменить структуру стимулов», сделать так, чтобы преступление не

окупалось – работало бы куда лучше. Дарвинизм предлагает более тревожное объяснение: с раннего возраста совесть многих бедных детей, сама способность к состраданию и чувству вины, ограничена средой, под давлением которой она формируется.

По всей видимости, источник данной ограниченности выходит далеко за рамки урбанистической анонимности. Многие люди, живущие в бедных районах, видят мало возможностей для «законного» сотрудничества с внешним миром. Мужчины, склонные к риску прежде всего в силу самой своей принадлежности к мужскому полу, едва ли питают надежды на долгую счастливую жизнь, которые большинство людей находят само собой разумеющимся. Как отмечают Мартин Дали и Марго Уилсон, «короткие временные горизонты», которыми столь знамениты преступники, могут быть «адаптивной реакцией на прогнозную информацию о шансах на долголетие и общий успех»^[409].

«Богатство и знатность вовсе не составляют необходимых аксессуаров джентльменства, – писал Сэмюэль Смайлс. – И бедный человек может быть истым джентльменом – по образу мыслей и по своей жизни. Если он честен, правдив, добросовестен, воздержан, вежлив, энергичен, трудолюбив и уважает свое человеческое достоинство, то он джентльмен». Ибо «природа в большей или меньшей степени наделила всех, знатных и простых, богатых и бедных, одним из величайших душевных даров – благородством»^[410]. Это хорошая мысль, которая вполне может оказаться истинной, если говорить о первых нескольких месяцах жизни. Беда в том, что в дальнейшем – по крайней мере, в современных условиях – она, вероятней всего, окажется ложной.

Некоторым людям может показаться странным слышать от дарвинистов, что преступники скорее «жертвы общества», чем жертвы дефектных генов. Но в этом как раз и кроется одно из различий между дарвинизмом начала этого века и дарвинизмом начала предыдущего. Если считать, что гены программируют поведенческое *развитие*, а не только поведение, что они формируют юную психику согласно текущему контексту, тогда все мы предстаем жертвами (или бенефициариями) нашей среды, равно как и наших генов^[411]. Следовательно, различие между двумя группами (скажем, социально-

экономическими или даже этническими) можно объяснить эволюцией, не ссылаясь при этом на генетические различия.

Конечно, никакой категории «городская беднота» в программе, формирующей совесть, нет, как нет и категории «викторианец». (В действительности Шрусбери больше напоминает среду, которую «предвосхитил» естественный отбор, чем современные крупные города.) И все же «проворство», с которым люди хватаются за урбанистические возможности обмана, предполагает, что анцестральная среда не исключала возможности для выгодного преступления.

Одним вероятным источником таких возможностей могли быть регулярные контакты с соседними деревнями. Адаптацию, которая помогала бы эффективно использовать эти возможности, мы находим в человеческой психике: бинарный моральный ландшафт, включающий «своих», кто заслуживает уважения, и «чужих», кто заслуживает эксплуатации^[412]. И члены городских банд кому-то доверяют; и даже безупречно вежливые викторианские мужчины шли на войну, убежденные в том, что смерть, которую они сеяли на поле битвы, заслужена и законна. Получается, моральное развитие часто сводится к вопросу не только о том, насколько развита совесть вообще, но и о том, каков ее радиус действия.

Восхитительное общество не самых восхитительных людей

Насколько «нравственны» викторианцы были на самом деле – предмет известных споров. Обычно их обвиняют в большом лицемерии. Что ж, как мы видели, определенное лицемерие для нашего вида совершенно естественно^[413]. И, как ни странно, сплошное лицемерие может служить признаком высокой нравственности. В «высоконравственном» обществе, где повседневная жизнь предполагает многочисленные акты альтруизма, а подлость и непорядочность наказываются социальными санкциями, хорошая моральная репутация жизненно необходима, а плохая, соответственно, чересчур затратна. Этот добавочный вес репутации –

дополнительный стимул делать то, что люди и так делают естественным образом: они преувеличивают свои достоинства. Уолтер Хоутон пишет: «Хотя каждый время от времени притворяется, что он лучше, чем есть на самом деле, даже для себя самого, викторианцы были более склонны к этому типу обмана, чем мы. Они жили в эпоху гораздо более высоких стандартов поведения...»^[414].

Даже если мы согласимся с тем, что викторианское лицемерие является косвенным подтверждением викторианской нравственности, остается вопрос: действительно ли слово «нравственность» – правильное слово. В конце концов, для большинства викторианцев преобладающий этос не предполагал подлинных жертв. Участие и внимание к другим демонстрировали столько людей, что каждый получал свою долю. Но это не минус викторианской нравственности, в этом – сама суть устойчивой морали: поощрять *неформальные* обмены ненулевыми суммами, тем самым повышая общее благосостояние; точнее, поощрять обмены с ненулевыми суммами за пределами экономической жизни и требований закона. Один автор, оплакивая «подъем эгоизма» и смерть «викторианской Америки», заметил, что при викторианском этосе «основная масса американцев жила в социальной системе, которая была предсказуема, устойчива и в основном добропорядочна. Так было потому, что – несмотря на лицемерие – большинство людей чувствовали, что у них есть определенные обязательства перед другими людьми, и эти обязательства были важнее, чем их собственные удовольствия»^[415]. Хотя мы можем усомниться в буквальной истинности последнего утверждения, его общий смысл бесспорен. Чувство долга каждого человека, по большому счету, поддерживало не самоотречение, а имплицитное согласие с социальным договором, в соответствии с которым исполнение долга по отношению к другим людям влечет за собой исполнение долга по отношению к нему самому.

Вкратце можно сказать, что викторианская Англия была восхитительным *обществом*, которое, впрочем, не состояло из одних только восхитительных *людей*. Они делали в точности то же самое, что делаем мы, – поступали добросовестно, вежливо и внимательно по отношению к другим в той мере, в какой им было это выгодно. Да, в те времена это сулило больше выгод, чем сейчас. Кроме того, их моральное поведение, каким бы похвальным (или не похвальным) оно

ни было, скорее являлось своего рода наследием, нежели сознательным выбором; совесть викторианцев формировалась под влиянием факторов, которые викторианцы не понимали и на которые в каком-то смысле были бессильны повлиять.

Учитывая все то, что мы теперь знаем о генах, мы можем вынести Чарлзу Дарвину следующий вердикт: Чарлз Дарвин – продукт окружающей его среды. Если он был добрым и великодушным, то он был таковым как пассивное отражение великодушия его общества. В любом случае львиная доля его «великодушия» окупалась.

И все же иногда Дарвин явно выходит за рамки стандартных требований реципрокного альтруизма. Будучи в Южной Америке, он сажал сады для огнеземельцев. Годы спустя, живя в Дауне, он основал местное «Общество взаимопомощи», в котором рабочим предлагали особую программу сбережений и вдалбливали нормы морали посредством скиннеровского обусловливания (ругательства, драки и пьянство облагались штрафами)^[416].

Ряд дарвинистов сводит даже такой вид бескорыстных деяний к корыстным интересам. Не найдя способ, которым огнеземельцы могли вернуть долг (а мы не знаем, что они его не вернули), они списывают все на «эффекты репутации»: не исключено, что Дарвин сажал деревья в расчете получить награду в Англии (в том, что люди с «Бигля» повсюду разнесут весть о его великодушии, можно было не сомневаться). Однако моральные чувства Дарвина были достаточно сильны, а потому подобный цинизм маловероятен. Когда Дарвин услышал, что у местного фермера несколько овец умерли от голода, он лично собрал доказательства и предъявил их городскому магистрату^[417]. Мертвой овце было очень трудно отблагодарить Дарвина, а фермер, разумеется, и подавно не стал бы этого делать; что же касается «эффектов репутации», то такое фанатичное поведение едва ли говорило в пользу великого натуралиста. Другой пример: какая могла быть выгода от бессонницы, вызванной воспоминаниями о страданиях рабов в Южной Америке?

Проще всего объяснить данный вид «слишком» нравственного поведения, вспомнив, что люди не столько «максимизаторы приспособленности», сколько «исполнители адаптации». В нашем случае адаптация – совесть – была задумана с целью максимизации приспособленности, эксплуатации местной среды во имя

генетических интересов, однако успех данного предприятия весьма далек от гарантированного, особенно в социальных условиях, чуждых естественному отбору.

Таким образом, совесть может заставлять людей делать вещи, которые не отвечают их личным интересам, зато успокаивают саму совесть. Сочувствие, чувство долга и чувство вины, если их целенаправленно не истребляли в юном возрасте, способны вызывать поведение, которое их «создатель», естественный отбор, никогда бы не «одобрил».

В начале этой главы мы выдвинули рабочую гипотезу о том, что совесть Дарвина – бесперебойно функционирующая адаптация. Во многом так оно и есть. Более того, некоторые из ее проявлений весьма обнадеживают: они показывают, что определенные «ментальные органы» рассчитаны не только на преследование личных интересов, но и на гармоничную работу с «ментальными органами» других людей, способную порождать общественное благополучие. Тем не менее в некоторых отношениях совесть Дарвина функционировала неадаптивно. И это тоже повод для радости.

Часть третья
Социальное противостояние

Глава 11

Двадцать лет ожидания

С тех пор как я поселился в деревне, мое здоровье значительно улучшилось, и со стороны я, возможно, выпляжу весьма крепким; однако я нахожу, что не способен даже на малейшие усилия – меня утомляют самые пустяковые вещи... С горечью и печалью я был вынужден примириться с выводом, что «выживает сильнейший» и что в будущем мне, вероятно, осталось сделать не так уж и много. Отныне, я полагаю, мне следует довольствоваться весьма скромным уделом – восхищаться успехами, которых добиваются в науке другие. Что ж, значит, так тому и быть...

Письмо Чарлзу Лайеллу (1841)^[418]

Дарвин открыл естественный отбор в 1838 году, но молчал о нем целых двадцать лет. В 1855 году он решил изложить свою теорию в книге, но она так и осталась незаконченной. Лишь три года спустя, узнав, что другой натуралист пришел к аналогичным выводам, он составил «конспект» – эпохальный труд под названием «Происхождение видов», который был издан в 1859 году.

Однако в 1840-х годах Дарвин не бездельничал. Это был довольно плодотворный период в жизни великого ученого, хотя его и омрачили плохое самочувствие и частые болезни – сильные приступы дрожи и рвоты, боли в желудке, метеоризм, слабость, учащенное сердцебиение^[419]. За первые восемь лет брака Дарвин опубликовал множество научных статей, закончил редактирование пяти томов «Зоологических результатов путешествия на корабле Ее Величества

“Бигль”», а также написал три других книги по материалам, собранным во время плавания: «Строение и распределение коралловых рифов» (1842), «Геологические наблюдения над вулканическими островами» (1844) и «Геологические исследования в Южной Америке» (1846).

1 октября 1846 года Дарвин сделал в своем дневнике следующую запись: «Закончил вычитку «Геол. наблюд. в Ю. Америке». Этот том, включая статью в Геол. журнале о Фолклендских островах, отнял у меня 18 с половиной месяцев. Рукопись, однако, оказалась не столь безупречной, как в случае вулканических островов. Итого моя «Геология» отняла у меня 4 с половиной года: прошло уже 10 лет с момента моего возвращения в Англию. Сколько времени потеряно из-за болезни!»^[420]

Именно таков зрелый Дарвин. В одной этой записи находят отражение три характерные черты, присущие ему в описываемый период. Во-первых, угрюмая отстраненность, с которой Дарвин, по мере течения болезни, занимался научной работой; хотя в тот день была закончена грандиозная трилогия (по крайней мере, один ее том до сих пор считается классическим), он явно не настроен открыть по данному поводу бутылку шампанского. Во-вторых, бесконечная самокритика: казалось, он ни дня не мог наслаждаться результатами своего труда, не вспомнив обо всех его несовершенствах. В-третьих, острое осознание уходящего времени и навязчивая идея использовать его по максимуму.

На первый взгляд это был идеальный момент, чтобы наконец оставить все прочие дела и в срочном порядке выдвинуться на встречу с судьбой. Несомненно, один из наиболее эффективных стимулов к активному труду – ощущение надвигающейся смерти – теперь обострился до предела. В 1844 году Дарвин передал Эмме наброски теории естественного отбора. К двумстам тридцати страницам рукописи прилагалась письменная инструкция издать ее в случае его смерти и «взять на себя хлопоты по распространению изложенных в ней соображений». Сам факт, что Дарвины переехали из Лондона в сельскую местность, свидетельствовал о его физическом упадке. Именно здесь, в деревне Даун, вдали от проблем и треволнений городской жизни, в окружении растущего семейства Чарлз Дарвин будет чередовать работу с отдыхом и извлекать из своего измученного

организма несколько плодотворных часов в день – семь дней в неделю – до самой своей смерти в 1882 году. В письме капитану Фицрою, написанному в тот же самый день (1 октября 1846 года), Дарвин сообщает: «Моя жизнь идет как часовой механизм; я осел на том месте, где она закончится»^[421].

Учитывая все это – спокойное и уютное рабочее место, едва слышимый звук шагов старухи с косою и, наконец, выполнение всех академических обязательств, вытекавших из экспедиции на «Бигле», – учитывая все это, что могло заставить Дарвина и дальше откладывать написание книги о естественном отборе?

Ответ – усоногие. Увлечение Дарвина усоногими раками началось весьма невинно: с видов, найденных на побережье Чили. Но один вид вел к другому, и вскоре его дом превратился в настоящий музей этих ракообразных, причем многие экземпляры были выпрошены у коллекционеров по почте. Изучение усоногих так давно и основательно вошло в жизнь Дарвина, что один из его младших сыновей, будучи как-то в гостях у соседа, с удивлением спросил: «А где он препарирует своих рачков?»^[422] К концу 1854 года – спустя восемь лет после того, как Дарвин предположил, что исследование усоногих займет несколько месяцев, максимум год, – он издал две книги по ныне существующим видам усоногих и две по вымершим и заслужил репутацию большого знатока в этой области. Биологи, изучающие подкласс *Cirripedia (subphylum Crustacea)*, то есть усоногих, и сегодня нередко консультируются с его трудами.

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы быть ведущим экспертом по усоногим ракообразным. Но некоторые способны на большее. Почему Дарвину понадобилось столько времени, чтобы осознать свое величие, – вопрос, занимавший многих. Наиболее популярная гипотеза одновременно и самая очевидная: написание книги, которая оскорбляет религиозные чувства буквально каждого в христианской части мира, в том числе многих коллег и собственной жены, – задача, требующая особой осмотрительности.

К ней уже подступалось несколько ученых, но в результате заслужили отнюдь не восторженную похвалу. В 1794 году в книге «Зоономия» дед Дарвина, Эразм, видный натуралист и поэт, выдвинул собственную теорию эволюции. Поначалу он хотел, чтобы его труд был издан посмертно, но лет через двадцать передумал и заявил, что

«теперь слишком стар и закален, чтобы бояться порицаний»^[423]. Ничего, кроме порицаний, он так и не дождался. В 1809 году, в год рождения Чарлза, похожую эволюционную схему предложил Жан Батист Ламарк. Ее объявили безнравственной. В 1844 году вышла книга под названием «Следы естественной истории творения», которая вызвала большой переполох. Ее автор, шотландский издатель Роберт Чемберс, предпочел сохранить свое имя в тайне (и, вероятно, поступил мудро). Книгу сочли, помимо прочего, «гнусной и мерзкой», а ее дух «тлетворным»^[424].

Ни одна из этих еретических теорий не была столь безбожна, как теория Дарвина. У Чемберса ход эволюции определял «Божественный управитель». Эразм Дарвин, будучи деистом, настаивал, что Бог завел великие часы эволюции, но затем предоставил им тикать самим по себе. Даже несмотря на то, что Чемберс обвинял Ламарка в «неуважительном отношении к Провидению»^[425], ламаркистская эволюция, по сравнению с дарвиновской, была откровенно духовной; в ее основе лежал постулат о неумолимой тенденции к большей органической сложности и более сознательной жизни. Только представьте: если уж эти люди подверглись столь безжалостной критике, что ждало Дарвина, чья теория не предполагала никаких Божественных управителей, никаких часовщиков (хотя Дарвин предусмотрительно не стал исключать возможность существования такового) и никакой врожденной тенденции к прогрессу – ничего, кроме медленного накопления случайных изменений?^[426]

Без сомнений, Дарвина беспокоила общественная реакция. Еще до того как его вера в эволюцию кристаллизовалась в теорию естественного отбора, он тщательно обдумал риторическую тактику, которая позволила бы смягчить критику. Весной 1838 года он написал в своей записной книжке: «Упомянуть про гонения на первых астрономов»^[427]. Позднее страх осуждения прослеживается и в его корреспонденции. Письмо, в котором Дарвин признается в ереси своему другу Джозефу Гукеру, по праву считается одним из самых красноречивых текстов, когда-либо написанных им в свою защиту. В 1844 году Дарвин писал: «Я почти убежден (вопреки мнению, с которого я начал), что виды (это сродни признанию в убийстве) не неизменны... Небеса оградили меня от вздора Ламарка касательно

«тенденции к прогрессу», но выводы, к которым я прихожу, не сильно расходятся с его – хотя способы возникновения изменений в корне отличны. Кажется, я обнаружил простой механизм, благодаря которому виды могут прекрасно адаптироваться к различным условиям. Сейчас вы тяжело вздохнете и подумаете про себя: и на переписку с таким человеком я тратил свое время! Пять лет назад я и сам подумал бы так же»[\[428\]](#).

Больной и усталый

Гипотезы о том, что Дарвину мешал враждебный социальный климат, принимают самые разные формы – от причудливых до элементарных. Одни характеризуют его промедление как патологическое, другие – как свидетельство мудрости.

В наиболее затейливых версиях болезнь Дарвина – которая, между прочим, так и не получила четкого диагностического ярлыка и до сих пор остается загадкой – фигурирует в качестве психосоматической прокрастинации. Впервые Дарвин начал страдать приступами сердцебиения в сентябре 1837 года, всего через пару месяцев после того, как он завел первую записную книжку по эволюции. Чем ближе он подходил к теории естественного отбора, тем чаще становились записи о недомогании[\[429\]](#).

Не исключено, что Эмма, которая весьма дорожила своей религией и болезненно воспринимала эволюционизм мужа, только усугубляла конфликт между его наукой и социальным окружением; некоторые искренне полагают, что своим преданным и заботливым уходом она превратила болезнь в нечто гораздо более терпимое, чем следовало. В письме, отправленном Дарвину незадолго до свадьбы, имеется отрывок следующего содержания: «Ничто не может сделать меня более счастливой, нежели уверенность в том, что я могу быть полезной моему дорогому Чарлзу, когда ему нехорошо. Если бы вы знали, как я мечтаю быть с вами, когда вам плохо!.. Так что не болейте больше, мой дорогой Чарли, пока я не буду рядом и не смогу ухаживать за вами»[\[430\]](#).

Впрочем, не все теории, связывающие болезнь Дарвина с его идеями, предполагают подсознательное стремление их скрыть. Не исключено, что его недуг был вызван эмоциональными причинами. Боязнь социального неприятия, в конечном счете влечет за собой физиологические последствия, и Дарвин был первым, кто на это указал^[431].

Некоторые признают, что у Дарвина была *bona fide*, болезнь, которой он, по всей вероятности, заразился в Южной Америке (возможно, болезнь Шагаса или синдром хронической усталости), но настаивают, что с помощью усонюгих он подсознательно стремился оттянуть Судный день. Конечно, когда Дарвин вступил в «период ракообразных», обещая, что он будет краток, у него явно имелись некоторые опасения относительно ближайшего будущего. В 1846 году Дарвин писал Гукеру: «Я собираюсь начать несколько статей про низших морских животных, которые займут у меня несколько месяцев, возможно год, а затем вернусь к накопленным за десять лет заметкам про виды, из-за которых, смею сказать, я бесконечно низко упаду в глазах всех видных натуралистов. Такова моя перспектива на будущее»^[432]. С таким настроением неудивительно, что исследование усонюгих растянулось на восемь лет.

Другие эксперты, включая некоторых современников Дарвина, утверждали, что усонюгие сослужили ему добрую службу^[433]. Благодаря им он погрузился в детали таксономии (хороший опыт для всякого, кто замыслил создать теорию, объясняющую появление всех существующих ныне таксонов) и заполучил в свое распоряжение целый подкласс животных, который можно было изучать в свете естественного отбора.

Кроме того, существовали и другие вещи, помимо таксономии, которыми Чарлз еще не овладел. Отсюда вытекает самое простое объяснение его промедления. Дело в том, что в 1846 году – и в 1856-м, и в 1859-м, когда было издано «Происхождение», – Дарвин еще не до конца сформулировал теорию естественного отбора. Совершенно логично, что перед обнародованием теории, которая наверняка опозорит ваше доброе имя и вызовет ненависть, вы постараетесь привести ее в идеальную форму.

Одной из загадок естественного отбора, с которой столкнулся Дарвин, была загадка исключительного альтруизма и стерильности

среди насекомых. Он разгадал ее только в 1857 году, предложив гипотезу, впоследствии легшую в основу родственного отбора^[434].

Другая тайна, которую Дарвин так и не сумел разгадать^[435], – проблема самой наследственности. Важное преимущество теории Дарвина состоит в том, что она не базируется, подобно теории Ламарка, на наследовании приобретенных черт; для естественного отбора вовсе не обязательно, чтобы усилия жирафа по доставанию листьев влияли на длину шеи у его потомства. Дарвиновская эволюция зависит от своего рода изменений в диапазоне унаследованных черт; естественный отбор нуждается в постоянно изменяющемся меню, иначе ему просто не из чего будет «отбирать». Сегодня любой старшеклассник, интересующийся биологией, скажет вам, каким именно образом происходит изменение этого меню – посредством половой рекомбинации и генетической мутации. Но ни один из этих механизмов не был очевиден, пока люди не узнали о генах. Допустим, на вопрос о том, как меняется фонд признаков, Дарвин стал бы рассуждать о «случайных мутациях». С равным успехом он мог бы сказать: «Он просто меняется – поверьте мне...»^[436]

Промедление Дарвина можно проанализировать и с точки зрения эволюционной психологии. Хотя данный подход не порождает абсолютно новой гипотезы о причинах задержки, он помогает устранить немалую долю окружающей ее таинственности.

Впрочем, лучше всего обсудить эту гипотезу уже после того, как станут ясны эволюционные корни страхов и амбиций Дарвина. Пока же давайте остановимся в 1854 году, когда была издана последняя книга об усконогих и настало время подвести итоги. Дарвин писал Гукеру: «Какое ужасное уныние охватит меня, если моя теория лопнет, как пустой гриб-дождевик, когда я сведу все свои заметки по видам воедино»^[437].

Глава 12

Социальный статус

Осознавая древность этих проявлений, перестаешь удивляться тому, насколько трудно их скрывать. Человек оскорбленный может простить обидчика и не лезть на него с кулаками, но выглядеть при этом спокойным у него вряд ли получится. Он может не высказывать в лицо неприятному собеседнику свое презрение, но вздернутая верхняя губа все равно его выдаст. Он может из осторожности скрывать самодовольство, но прямая спина и важная, как у индюка, походка скажут все за него.

Из записных книжек

Ч. Дарвина^[438].

Прибыв на Огненную Землю с экспедицией «Бигля», Чарлз Дарвин был немало поражен нравами и обычаями аборигенов, но больше всего его озадачило полное отсутствие у них социального неравенства. «В настоящее время, – писал он в 1839 году в своем «Путешествии натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”», – даже кусок ткани, полученный кем-нибудь, разрывается на части и делится так, что ни один человек не становится богаче другого». Дарвин справедливо опасался, что такое «полное равенство... должно надолго задержать их культурное развитие», и приводил в пример жителей Отахеите, «которые во времена открытия этого острова управлялись наследственными королями, достигли гораздо более высокой ступени развития, нежели другая ветвь того же народа, новозеландцы, которые, – хотя и многое приобрели вследствие того, что им пришлось

занияться земледелием, – были республиканцами, в полном смысле этого слова». Исходя из этого, Дарвин делает вывод, что «пока на Огненной Земле не выдвинется какой-нибудь вождь, достаточно сильный, чтобы закрепить за собой то или иное приобретенное преимущество, например домашних животных, до тех пор, по-видимому, едва ли можно ожидать улучшений в политическом состоянии страны». Но тут же оговаривается: «С другой стороны, трудно понять, каким образом может появиться вождь, пока не существует собственности какого-либо рода, посредством которой он мог бы проявить свое превосходство и усилить свою власть»^[439].

Если бы Дарвин пристальнее наблюдал за людьми, а не за птичками, он наверняка усомнился бы в наличии у индейцев «полного равенства». Неудивительно, что ему, состоятельному европейцу, привыкшему к слугам, общество аборигенов, находящееся на грани голода, показалось абсолютно эгалитарным – там не было ни кричащей роскоши, демонстрирующей высокий статус, ни резких контрастов, однако социальная иерархия наверняка присутствовала. Она есть в любом обществе, отличается лишь форма ее проявления.

Эта простая истина стала очевидна не сразу. В XX веке многие антропологи, выросшие, подобно Дарвину, в сильно стратифицированном обществе, были поражены, а иногда и очарованы кажущейся бесклассовостью племен охотников-собирателей. К тому же их ослепляла оптимистичная вера в беспредельную пластичность человеческой психики, которую активно продвигал один из основателей современной антропологии Франц Боас вместе со своими знаменитыми ученицами Рут Бенедикт и Маргарет Мид. Их гуманистические представления, несомненно, делали им честь, поскольку являлись протестом против грубых политизированных изводов теории эволюции, трактующих нищету и прочие социальные проблемы как «естественные», однако благие намерения не имеют ничего общего с научной достоверностью. Боас, Бенедикт и Мид упустили из вида многие важные особенности человеческой природы^[440], и в том числе повышенное внимание к социальным ролям и повсеместное наличие иерархии.

Недавние исследования антропологов-дарвинистов доказали наличие социальной иерархии даже в самых невероятных местах, вроде субтропиков Южной Америки, где обитает племя охотников-

собирателей аче. Поначалу считалось, что у них царит идиллическое равенство: все добытое мясо охотники отдают в общину, тем самым помогая менее удачливым соплеменникам. Однако в ходе более пристальных исследований, проведенных в 1980-х годах, было обнаружено, что лучшие охотники хотя и великодушно делятся добычей, но отдают ее не целиком, а создают собственные запасы. Они чаще вступают во внебрачные связи и имеют больше незаконнорожденных детей, к их потомству члены племени относятся более внимательно, что повышает их шансы на выживание^[441]. Таким образом получается, что репутация хорошего охотника – своего рода неформальный титул, признаваемый и мужчинами, и женщинами.

У пигмеев ака в Центральной Африке тоже на первый взгляд отсутствует иерархия. У них нет вождя или иного явного политического лидера, зато есть человек, которого они называют «комбети» (обычно самый удачливый охотник). Он исподволь, но вполне ощутимо влияет на все важные решения, принимаемые группой. Так вот именно у него обычно больше всего жен, потомков и пищевых запасов^[442].

И так везде. Судя по последним исследованиям антропологов-дарвинистов, истинно эгалитарных обществ не существует. Где-то может отсутствовать понятие социального статуса (за неимением социологов), но сами статусы есть: есть очевидное для всех членов общества внутреннее разделение на тех, кто выше по положению, и на тех, кто ниже. В 1945 году американский антрополог Джордж Питер Мердок, идя вразрез с господствующими воззрениями Боаса, опубликовал эссе под названием «Общий знаменатель культур», где выдвинул предположение, что «дифференциация статуса (наряду с дарением подарков, правом собственности, браком и т. д.) является универсальным элементом человеческой культуры»^[443]. Новые исследования подтверждают эту гипотезу.

Повсеместное наличие иерархии – в некотором смысле загадка для дарвинизма. Почему аутсайдеры не выходят из игры? Какие генетические резоны побуждают «низы» с почтением обращаться к «верхам»? Зачем они поддерживают систему, которая их ущемляет?

Попробую предположить, что иерархия сплачивает и укрепляет группу, благодаря чему выигрывают все ее члены, пусть и не в равных пропорциях (возможно, именно такого развития событий Дарвин и

желал для индейцев Огненной Земли). Иными словами, иерархия служит «благу группы» и поэтому закрепляется «групповым отбором». Эту теорию активно продвигал популярный американский сценарист и драматург Роберт Ардри, видный представитель поколения ученых, считавших, что самое важное в эволюции – благополучие вида (или группы); новая парадигма, пришедшая им на смену, ставит во главу угла благополучие индивида (или гена). Ардри считал, что если бы способность к подчинению изначально не была заложена в человеке, то «организованное общество было бы невозможно, вместо этого царила бы анархия»^[444].

Хорошо, допустим. Однако, судя по наличию в природе огромного количества асоциальных видов, общественный строй, похоже, не является обязательным условием успеха. Для выживания организму вполне достаточно собственной совокупной приспособленности, пусть даже и в условиях анархии. Стоит повнимательнее присмотреться к теории группового отбора, как сразу становятся очевидны явные нестыковки. Безусловно, если два племени сойдутся в бою или начнут конкурировать за ресурсы, скорее всего, победит более сплоченное и обладающее четкой иерархией. Однако возникает вопрос: как оно таким стало? Как у его представителей закрепились гены, предписывающие подчинение и, следовательно, понижающие приспособленность организма в обстановке постоянного соперничества генов внутри общества? Почему они не были исключены из генофонда до того, как пригодились группе? На все эти вопросы теория группового отбора (и в том числе дарвиновская теория нравственных чувств) ответа не дает.

Новая парадигма предложила простое, логичное и полностью согласующееся с реальностью объяснение повсеместного наличия иерархии. Вооружившись ею и откинув всякие моральные и политические резоны, мы можем пристально взглянуть на природу человека и лишь затем снова попытаться найти ответы на вопросы политики и морали. Насколько социальное неравенство присуще природе человека? Является ли оно, как предположил Дарвин, обязательной предпосылкой экономического и политического прогресса? Правда ли, что одни «рождены, чтобы подчиняться», а другие – «чтобы вести за собой»?

Современная теория статусной иерархии

Поселите несколько куриц в один курятник, и через некоторое время, после сумятицы и драк, установится порядок. Любые споры (например, из-за еды) будут краткими и исчерпывающими – одной курице достаточно клюнуть другую, чтобы получить желаемое. Так формируется простая линейная иерархия, где каждый член знает свое место. Курица А безнаказанно клюет курицу В, курица В клюет курицу С и так далее. Норвежский биолог Торлейф Шельдеруп-Эббе описал эту систему в 1920-х годах и назвал ее «порядком клевания», а затем, не подумав, огульно экстраполировал ее на политику: «Деспотизм – базовая идея мира, неразрывно связанная со всей жизнью и существованием... Нет ничего, над чем бы не стоял деспот»^[445]. Неудивительно, что антропологи долго уклонялись от эволюционной оценки социальной иерархии.

Порядок клевания не произволен. Курица В обычно побеждала курицу С в предшествующих схватках и терпела поражения от курицы А. Таким образом, социальная иерархия представляется не чем иным, как суммой личных интересов. Курицы склонны уступать тем, кто сильнее, чтобы не тратить силы на драку.

Однако если вы хоть раз в жизни наблюдали за курами, то наверняка вполне справедливо усомнитесь в их способности к таким сложным размышлениям, как «курица А все равно побьет меня. Стоит ли ввязываться в драку?». Благодаря порядку клевания организму не приходится думать и принимать решения, нужный вывод уже закреплен естественным отбором. Курице достаточно различать свое окружение и испытывать здоровый страх перед теми, кто уже однажды навалил ей (анализировать страх не требуется). Это экономит силы и повышает шанс выжить, поэтому гены, отвечающие за избирательный страх, сохранились и передались дальше. А как только они появляются в популяции, иерархия становится частью социальной структуры.

Признаю: можно легко поддаться соблазну и решить, будто общество придумал тот, кто ценит порядок выше свободы. Однако не стоит принимать кажущееся за действительное. Как заметил Джордж Уильямс в «Адаптации и естественном отборе», «отношения

доминирования-подчинения, наблюдающиеся у волков, а также у других позвоночных и членистоногих, не являются функциональной организацией. Это статистическое следствие компромисса, в который вступает каждая особь при конкуренции за корм, полового партнера или другие ресурсы. Каждый компромисс адаптивен, но это не значит, что адаптивна их статистическая суммация»^[446].

Существуют и другие резонные объяснения возникновения иерархии, обходящие ловушку группового отбора. Например, предложенная Джоном Мейнардом Смитом концепция эволюционно стабильной стратегии, которая делит все организмы на «ястребов» и «голубей». Представьте доминирование и подчинение как две генетически заданные стратегии, успех каждой из которых зависит от их относительной частоты. Особи выгодно доминировать (например, отбирать половину добычи), только пока вокруг достаточно тех, кто готов подчиняться. Если популярность стратегии доминирования растет, ее эффективность падает: эксплуатировать становится некого, зато приходится постоянно участвовать в стычках с конкурентами. Вот почему стратегия подчинения получила столь широкое распространение: отдать часть добытой еды проще и безопаснее, чем отстаивать в драках свое превосходство. Теоретически в популяции должен установиться баланс тех, кто хочет доминировать, и тех, кто готов подчиняться. Это равновесное соотношение, как и всякое эволюционно стабильное состояние, обеспечивает носителям обеих стратегий одинаковый репродуктивный успех (вспомним синежаберных солнечников, которых мы рассматривали в третьей главе)^[447].

Эта концепция определенно работает – но только для некоторых видов. Например, среди воробьев Харриса темные особи обычно агрессивные и доминирующие, а светлые – более пассивные и покорные. Мейнард Смит нашел косвенное доказательство того, что обе эти стратегии одинаково благоприятны для приспособления – признак эволюционно стабильного состояния^[448]. Однако, когда речь заходит о других видах (и о человеке в первую очередь), все оказывается гораздо сложнее. Исследования доказывают, что во многих обществах (взять те же племена аче и ака) низкий статус обрекает особь на низкий репродуктивный успех – и тут ни о какой

эволюционной стабильности речи не идет^[449], низкоранговые особи просто выживают, как могут.

На протяжении нескольких десятилетий, пока антропологи открещивались от изучения социальной иерархии, ее динамику активно исследовали психологи и социологи, наблюдая за тем, на основании чего происходит разделение. Соберите группу детей, и в ней моментально возникнет социальная дифференциация. Тех, которые окажутся наверху иерархии, будут больше любить, им будут чаще подражать и их будут с большей готовностью слушаться^[450]. Зачатки подобного поведения наблюдаются уже в годовалом возрасте^[451]. Поначалу значение имеет лишь упорство характера – на вершину пробивается тот, кто не отступает (у мужчин эта тенденция сохраняется до самой юности). Однако уже к детсадовскому возрасту больше начинают цениться навыки сотрудничества^[452]. Уровень интеллекта и художественная одаренность также приобретают вес и с возрастом выходят на первый план.

Многие ученые исследовали эти паттерны без всякой привязки к теории эволюции, что довольно странно, учитывая их универсальную воспроизводимость – и не только среди людей. У наших ближайших родственников – шимпанзе и бонобо – аналогичные паттерны встречаются повсеместно и отличаются сложностью. В упрощенной форме они обнаруживаются также у горилл и многих других приматов^[453]. Вывод напрашивается сам собой: если у трех родственных нам видов наблюдается врожденная иерархичность, то, вероятно, и у нас она должна быть. А коль скоро все изученные общества имеют иерархическую структуру, которую воспроизводят даже дети, еще не умеющие говорить, вероятно, она у нас есть.

Нужны доказательства? Пожалуйста. Во всех культурах люди демонстрируют свой статус примерно одинаково. Из многочисленных бесед с миссионерами и путешественниками Дарвин заключил, «что презрение, пренебрежение и отвращение выражаются разнообразными способами, движениями черт лица и различными жестами и что все эти знаки одинаковы на всем свете». Он также отметил, что «гордый человек проявляет свое чувство превосходства над другими тем, что держит голову и туловище прямо»^[454].

Через сто лет ученые подтвердили эти наблюдения, доказав, что у человека осанка выпрямляется сразу после социального триумфа, например после получения студентом высокой оценки^[455]. Австрийско-немецкий этолог Иренеус Эйбл-Эйбесфельдт также обнаружил, что в разных культурах дети, проигравшие в драке, опускают голову^[456]. Данные проявления в той или иной мере свойственны людям во всех культурах – они универсальны: всем свойственно испытывать гордость после социального успеха, смущение и даже позор – после неудачи и беспокойство – в ожидании этих результатов^[457].

Некоторые человекообразные обезьяны посылают аналогичные сигналы для обозначения статуса. Например, доминирующий самец шимпанзе вышагивает гордо и самоуверенно, проигравший в схватке – униженно склоняется и впоследствии, завидев победителя, повторяет поклон, демонстрируя подчинение.

Статус, самооценка и биохимия

Параллели в поведении человека и человекообразных обезьян объясняются схожей биохимией. Например, у доминирующих самцов верветок регистрируется более высокий уровень серотонина в крови, чем у подчиненных особей. Аналогичные результаты были получены в ходе исследования, проведенного в студенческих общинах: у лидеров серотонина было больше, чем у рядовых членов коллектива^[458].

Надеюсь, это окончательно развеет некогда популярное заблуждение, которое хотя и подрастеряло свои позиции, но еще не почilo в бозе. Нет, не всякое гормонально обусловленное или, шире, биологически обусловленное поведение генетически предопределено. Да, между серотонином (который является гормоном, как и все нейромедиаторы) и социальным статусом есть корреляция. Однако это не значит, что социальный статус «закладывается в генах» и предопределяется при рождении. Если замерить уровень серотонина президента студенческой общины (или альфа-самца верветки) до социального триумфа, то он будет вполне обычным^[459].

Гормональный уровень – физиологический фактор, но он в значительной мере зависит от социальной среды. Лидерами не рождаются, ими становятся, если природа наделила нужными качествами и если подвернулся подходящий момент^[460]. Доведись вам стать президентом, и у вас подскочит серотонин.

Конечно, генетические различия имеют значение. От родителей можно унаследовать амбициозность, ум, физическую выносливость, художественную одаренность и массу других полезных качеств, однако разовьются ли они, зависит от среды, а принесут ли высокий статус – от удачи. Никто из нас не рождается, чтобы доминировать или подчиняться. Несомненно, есть те, которым везет больше, но часто это связано не столько с генетическими, сколько с культурными преимуществами. Эволюция не зря предусмотрела, чтобы все рождались со способностью вырабатывать много серотонина (то есть могли бы при благоприятных обстоятельствах занять высокий статус). Поведенческая гибкость, свойственная человеку, не зря развилась и закрепилась в ходе естественного отбора – она дает возможность любому подняться по иерархической лестнице, если представится шанс.

На что влияет серотонин? Эффект действия нейромедиаторов настолько тонок и зависим от химического окружения, что делать простые обобщения тут опасно. Однако, если не вдаваться в тонкости, серотонин расслабляет, повышает общительность и социальную активность, как стакан хорошего вина. Собственно говоря, алкоголь, помимо всего прочего, как раз и стимулирует выработку этого гормона. В общем, серотонин поднимает самооценку и заставляет вас вести себя так, как подобает уважаемому примату. Существенное падение его уровня грозит не только низкой самооценкой, но и серьезной депрессией, вплоть до суицида. Действие многих антидепрессантов, например прозака, направлено на повышение его уровня^[461].

До сих пор в этой книге я мало упоминал биохимию, но не потому, что она неважна, просто связь между генами, мозгом и поведением мало изучена. К тому же изящная логика эволюционного анализа в большинстве случаев позволяет определить роль генов, не разбирая весь механизм их действия «по болтику». Хотя всякий раз, когда мы

говорим о влиянии генов (или среды) на поведение, мысли или эмоции, мы фактически обращаемся к биохимическим механизмам.

Их понимание дает возможность систематизировать разрозненные данные и встроить их в эволюционную парадигму. Несколько десятилетий назад физиологи обнаружили, что искусственное снижение самооценки (путем подтасовки результатов личностных тестов) повышает предрасположенность людей к обману при последующей игре в карты. Недавнее исследование также показало, что люди с пониженным уровнем серотонина более склонны к импульсивным правонарушениям^[462]. В переводе на язык эволюционной психологии это значит, что «обман» является адаптивной реакцией, которая проявляется, когда человек попадает на социальное «дно», где, как ему кажется, получить ресурсы законным путем будет трудно. Как тут не вспомнить избитый, нарочито упрощенный мотив о том, что высокий уровень преступности в гетто связан с «низкой самооценкой»? Однако в нем, по всей вероятности, есть доля правды: телевидение и кино постоянно напоминают детям из бедных кварталов, что они неудачники. Удивительно, насколько часто дарвинизм, обычно карикатурно изображаемый как генетический детерминизм правого толка, обвиняют в социальном детерминизме, столь любимом либералами.

Опираясь на знания о биохимических механизмах, также можно легко проверить теории группового отбора: если, согласно им, готовность некоторых особей довольствоваться низким статусом является важным условием успеха группы, то блага, получаемые в результате такого успеха, должны распределяться между всеми членами группы, и значит, низкоранговым особям ни к чему тратить время и силы на низвержение установившегося порядка^[463].

Проверить наличие связи между уровнем серотонина и статусом у человекообразных обезьян, например, у наших ближайших родственников – шимпанзе, довольно хлопотная задача, за которую пока никто так и не решился взяться. Однако готов спорить, что связь есть: генетически мы не сильно отличаемся и социальным статусом одинаково дорожим, так что и биохимические механизмы должны быть похожи, как и сопровождающие их психические и эмоциональные состояния.

Шимпанзе много внимания уделяют социальным ритуалам, в основном связанным с выражением почтения тем, кто находится выше по положению. Они склоняются в поклонах и могут буквально лобызать ноги «господина»^[464] (правда, такое встречается не во всех колониях и является, скорее, культурной особенностью). Заслужить подобное отношение очень непросто, самцам приходится бороться за него не на жизнь, а на смерть. Но зато и ставки высоки: ресурсы распределяются в точном соответствии со статусом – альфа-самец получает львиную долю, в частности он ревниво охраняет привлекательных самок в период течки.

Раз уж эта иерархическая лестница существует и ее верхние ступеньки дают репродуктивные преимущества, значит, гены, которые помогают особи подняться на них без особого ущерба, будут распространяться. Они могут отвечать за наличие мотивации («амбиций», «духа соперничества») или, напротив, за внушение таких чувств, как «стыд» или «позор», при социальных провалах (наряду с сильным нежеланием их испытывать). В общем, как бы эти чувства ни назывались, если они повышают приспособленность особей, они становятся частью психологии вида.

Самцы шимпанзе тратят больше сил на завоевание и сохранение социального статуса. Из-за этой непрекращающейся борьбы их иерархии более нестабильные. Альфа-самцу приходится постоянно контролировать ситуацию в стае, чтобы не дать какому-нибудь молодому нахалу пошатнуть его власть. Самки же практически не конфликтуют за статус (в большинстве случаев он устанавливается сам собой в зависимости от возраста). По этой причине их иерархия проявляется менее ярко, различить ее может только опытный наблюдатель, тогда как определить надменного и величавого альфа-самца в силах будет даже школьник. Социальные коалиции у самок (так называемая «дружба») часто делятся всю жизнь, у самцов – меняются постоянно в зависимости от стратегической выгоды^[465].

Статус у мужчин и женщин

Не правда ли, знакомая картина? Мужчин часто обвиняют в излишнем честолюбии, эгоистичности и оппортунизме. Лингвист Дебора Таннен, автор книги «Ты меня не понимаешь! Почему женщины и мужчины не понимают друг друга», подметила, что для мужчин, в отличие от женщин, беседа – «прежде всего средство отстаивания независимости, а также достижения или поддержания статуса в социальной иерархии»^[466].

Во второй половине XX века широко бытовало мнение, что эти различия обусловлены прежде всего культурой, и Дебора Таннен озвучила его в своей книге. Однако я уверен, что оно противоречит действительности. Эволюционные механизмы, заставляющие самцов шимпанзе идти на любые жертвы ради повышения своего социального статуса, хорошо изучены, и у нас нет оснований полагать, что в человеческом виде они не действуют.

Эти же механизмы объясняют различия между полами в сексуальной сфере: у самцов огромный репродуктивный потенциал, у самок – ограниченный, отсюда диспропорции в репродуктивном успехе среди самцов. Аутсайдеры могут вовсе не иметь потомков, что в ходе естественного отбора формирует стойкое отвращение к низкому статусу. Альфа-самцы, напротив, оплодотворяют многих самок и успешно передают свои гены следующему поколению, что культивирует у самцов безграничную жажду власти. У самок репродуктивные ставки в иерархической борьбе гораздо ниже. Любая самка шимпанзе, независимо от ее статуса, в момент овуляции не испытывает недостатка в партнерах, желающих с ней спариться, поэтому жесткой конкуренции у самок нет.

В отличие от них самки нашего вида конкурируют за партнеров, но не за любых, а лишь за тех, которые могут обеспечить материальное и социальное благополучие потомства. Однако нет никаких оснований полагать, что в ходе эволюции их статус был главным инструментом в этой борьбе. К тому же давление отбора в мужской конкуренции за секс явно сильнее, чем в женской – за инвестиции: в первом случае на кону выживание и воспроизводство, во втором – благосостояние.

За доказательствами давайте обратимся... к «Книге рекордов Гиннеса». Самый плодовитый в мировой истории человек оставил после себя 888 детей (что в десятки раз больше, чем могла бы родить одна женщина, даже если бы сильно постаралась). Имя героя – султан

Марокко Мулай Исмаил ибн Шериф «Кровожадный»^[467]. Не знаю как вам, а мне лично не по себе, что человек с таким прозвищем оставил после себя почти тысячу потомков. Однако таков естественный отбор – наиболее пугающие гены часто побеждают. Конечно, нет никакой уверенности в том, что кровожадность султана определялась наследственностью, а не, скажем, тяжелым детством. Тем не менее факт остается фактом: пока люди, наделенные сильной генетической тягой к власти, будут оставлять обильное жизнеспособное потомство, их гены, отвечающие за эту тягу, будут процветать^[468].

Вскоре после путешествия на «Бигле» Дарвин хвастался своему кузену Фоксу, что его работа «была хорошо принята авторитетными людьми, и это вселило в меня уверенность, но, надеюсь, не наполнило тщеславием, хотя, должен признать, временами я ощущаю себя павлином, любующимся собственным хвостом»^[469]. Удивительно удачное сравнение! Хотя на тот момент, еще до открытия естественного отбора и задолго до формулировки концепции полового отбора, Дарвин вряд ли мог оценить его точность, позже он бы непременно увидел остроумную аналогию, ведь высокая самооценка у мужчины, как и цветастый хвост у павлина, появилась в результате полового соперничества среди самцов. В «Происхождении человека и половом отборе» он написал: «Женщина, по-видимому, отличается от мужчины по своим психическим наклонностям, преимущественно по большей нежности и меньшему эгоизму... Мужчина выступает как соперник других мужчин; он находит удовольствие в соревновании, которое ведет к честолюбию, а последнее, в свою очередь, переходит в эгоизм. Эти свойства оказываются его природным и неблагоприятным наследственным достоянием»^[470].

Под «наследственным достоянием» Дарвин понимал не столько отголоски нашего обезьяньего прошлого, сколько закономерные итоги развития нас как отдельного вида: «Наиболее сильные и энергичные мужчины, те, которые могли лучше всего защищать свою семью и охотиться для ее прокормления, снабженные наилучшим оружием и обладавшие большими богатствами, например большим числом собак или других животных, могли воспитать большее в среднем число потомков, чем более слабые и бедные члены того же племени. Нельзя также сомневаться, что такие мужчины имели обыкновенно возможность выбирать наиболее привлекательных женщин. В

настоящее время предводители почти всех племен на свете имеют возможность добыть себе более одной жены»^[471]. И действительно, изучение племен аче, ака, ацтеков, инков, древних египтян и многих других культур не оставляет сомнений в том, что объем власти в руках у мужчины был прямо пропорционален численности его потомства. Изобретение контрацептивов разорвало эту связь, однако даже теперь статус мужчины существенно влияет на интенсивность и разнообразие его половой жизни^[472].

Естественно, у мужской конкуренции, помимо генетических, есть еще и культурные предпосылки. Природная напористость и самоуверенность мальчиков обычно усугубляется воспитанием. Не исключено, что такое поведение родителей имеет генетическую основу: их стремление сформировать в своих детях оптимальные репродуктивные стратегии (вернее, стратегии, которые способны оказаться наиболее успешными для репродукции в рамках нашей эволюции) может являться врожденным. Маргарет Мид, изучая примитивные племена, сделала интересное наблюдение, справедливое, на мой взгляд, для любых человеческих обществ: «Маленькая девочка узнает, что она женщина, и просто ждет, пока однажды станет матерью. Маленький мальчик узнает, что он мужчина, но, прежде чем действительно им стать и добиться успеха в мужских делах, он вынужден доказывать свою мужественность»^[473]. Относительная справедливость данного утверждения зависит от установок конкретного общества. Например, там, где принята полигамия, мужчины, имеющие высокий статус, могут оставлять огромное потомство, поэтому родители с молодых ногтей возвращают в сыновьях сильный дух соперничества^[474].

Естественно, это не означает, что мужчины обладают исключительной монополией на амбиции. Самки приматов (тут я имею в виду и обезьян, и людей) также стремятся к высокому статусу, поскольку он сулит весомые выгоды, такие, например, как большее количество еды или особое отношение к потомству. Самки шимпанзе обычно доминируют над неполовозрелыми самцами и в случае отсутствия альфы даже могут занимать его место. Такие примеры наблюдались в неволе: если в колонии не было взрослых самцов, самка становилась альфой и затем с большим умением отстаивала свой статус при появлении конкурентов-самцов. У бонобо и других

наших близких «родственников» эта тенденция наблюдается еще ярче. В нескольких небольших колониях, содержащихся в неволе, именно самки являются безоговорочными лидерами. И даже в дикой природе они могут доминировать над низкоранговыми взрослыми самцами^[475].

Далее мы проанализируем борьбу за статус у самцов шимпанзе. Она более ярко выражена, чем у самок, поэтому за ней удобнее наблюдать, однако психические силы, стоящие за ней, в общем, универсальны. И если они действуют так же и среди людей, то женщины подвержены им так же, как и мужчины, разве что в чуть меньшей степени.

Иерархии у шимпанзе и у человека изощреннее, чем у кур, и поэтому нестабильнее. Расстановка сил может измениться в любой момент и не только из-за перегруппировки членов колонии, но и из-за смены контекста («короля делает свита»). Дело тут в том, что шимпанзе и людям присущ реципрокный альтруизм, начисто отсутствующий у кур. Одним из наиболее ярких его проявлений является дружба, которая предполагает поддержку в социальных конфликтах.

Казалось бы, тут все просто. Однако не стоит обманываться: в природе подобное соединение – иерархическая структура с реципрокным альтруизмом – встречается крайне редко. Катализатором для его формирования является восприятие статуса как ресурса^[476]. Поскольку высокий статус расширяет доступ к пище и сексу, он начинает восприниматься как ценность сам по себе (так же, как люди стремятся больше зарабатывать, хотя съесть деньги или иначе использовать их в отрыве от системы невозможно). Таким образом, обмен услугами по взаимному увеличению статуса ничем не отличается от обмена едой: пока он дает результат, естественный отбор будет его поощрять. В общем, если копнуть поглубже, с эволюционной точки зрения помощь в борьбе за статус является главной целью дружбы как у шимпанзе, так и у людей.

Эти силы во многом определяют нашу жизнь: большинство перепадов настроения, судьбоносных привязанностей, перемен в отношении к людям, общественным институтам и даже идеям управляется психическими механизмами, входящими в это соединение. Оно формирует ткань нашей повседневной жизни. И

структуру нашего общества: корпорации, национальные образования, научные школы – все это подчиняется тем же психическим законам. Реципрокный альтруизм и иерархическая структура, возникшие как средства сохранения индивидуальных генов, теперь поддерживают на себе весь мир.

Зачатки этих механизмов обнаруживаются и у шимпанзе. Взгляните пристально на структуру их общества, а затем представьте, что они невероятно поумнели, обзавелись лучшей памятью, большей хитростью, навыками стратегического планирования и языком, и у вас перед глазами непременно встанет знакомая картинка: улицы и здания, наполненные хорошо одетыми шимпанзе. Офисы, государственные учреждения, университеты – все, как у нас, ни хуже ни лучше.

Политика у шимпанзе

У шимпанзе, как и у человека, для достижения высокого статуса недостаточно одних амбиций и грубой силы. Правда, без драк не обходится, особенно если речь идет о смене альфы. Новый вождь непременно хотя бы раз колотит своего предшественника, а затем регулярно устрашает потенциальных конкурентов: пробегает по колонии, стучит по земле, наскокивает на членов стаи, а те должны уворачиваться и выражать свое почтение, при этом он может наподдать одному или двум из них просто так, для порядка. Однако все эти «меры устрашения» скорее просто помогают альфа-самцу снять напряжение от борьбы. Чтобы получить и удержать власть, нужен стратегический подход.

Наиболее любопытный пример восхождения по социальной лестнице благодаря сообразительности был описан известным британским приматологом Джейн Гудолл. Хитроумный шимпанзе Майк, будучи одним из самых мелких и слабых взрослых самцов в стае, вооружился пустыми гремящими канистрами из-под керосина, напугал сородичей и «пробил себе путь к вершине». Гудолл пишет: «Иногда Майк повторял свое выступление по четыре раза кряду, дожидаясь в промежутках, пока его соперники снова начнут обыскивать друг друга. Когда он после своего броска останавливался

(всегда в нужном месте – там, где сидели другие самцы), они иногда возвращались и начинали, демонстрируя жестами подчинение, обыскивать Майка... Когда мы спрятали все канистры, Майк стал предпринимать решительные попытки раздобыть другие предметы, которые могли бы усилить впечатление от его демонстраций: стулья, столы, коробки, треножки – годилось все, что можно было достать. В конце концов нам удалось сделать такие вещи недоступными для шимпанзе, и тогда Майк стал широко пользоваться естественными объектами»^[477].

Правда, описанный случай нельзя назвать типичным. Как правило, для достижения высокого статуса шимпанзе используют не технические новшества, а социальные рычаги: манипулируют дружескими связями в личных интересах. Все по Макиавелли.

Шимпанзе, как и люди, редко восходят на вершину в одиночку. Учитывая, что в стае обычно имеется несколько честолюбивых молодых самцов, удерживать власть без стабильной поддержки крайне трудно. Как правило, ее осуществляет один крепкий подручный, который помогает альфа-самцу держать конкурентов в узде, за что получает определенные преимущества, например доступ к овулирующим самкам. Источником поддержки также может являться доминирующая самка, которая будет отстаивать интересы альфа-самца в обмен на привилегированное отношение к ней и к ее потомству. Система связей может быть очень сложной и размытой.

Лучше всего подвижность власти у шимпанзе и их эмоциональная и когнитивная сложность проиллюстрированы в книге голландского приматолога Франса де Вааля «Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов». В ней он рассказывает о своем опыте наблюдения за насыщенной социальной жизнью этих обезьян на небольшом, меньше гектара, острове в зоопарке голландского города Арнем. Книга эта, вернее даже одно ее название, вызвала бурные споры: де Вааль обвинили в излишнем антропоморфизме. Однако исследование было проведено уникальное – ученый предоставил подробнейший, чуть ли не поминутный отчет о своей жизни среди обезьян. Я попробую кратко пересказать его с сохранением занимательной антропоморфной манеры де Вааля, а затем перейду к интерпретации.

Самец Йерун, главный герой нашей драмы, прекрасно осознавал шаткость власти. Будучи альфой, он полагался прежде всего на

преданность самок, особенно Мамы, влиятельной обезьяны, занимавшей доминирующее положение в самочьей иерархии на протяжении всего периода наблюдения. Именно к самкам обратился Йерун за помощью, когда его статус начал оспаривать более молодой и сильный Лейт: сначала тот спаривался с овулирующими самками у него на глазах, затем стал агрессивно демонстрировать свою силу и, наконец, напал на Йеруна – буквально свалился на него с дерева, ударил и убежал. От неожиданности и обиды Йерун закричал. Затем он перебежал к группе шимпанзе, где в основном были одни самки, обнял каждую, чтобы закрепить стратегическое партнерство, и повел их на Лейта. Совместными усилиями они загнали наглеца в угол, тот от страха потерял самообладание и закатил истерику. Первое сражение Лейт проиграл.

Казалось, Йерун заранее предчувствовал эскападу молодого конкурента. Согласно наблюдениям де Вааля, за несколько недель до первой откровенной акции неповиновения Лейта Йерун стал в два раза больше времени тратить на укрепление дружеских связей со взрослыми самками. Человеческие политики тоже не гнушаются популистских акций перед выборами.

Увы, бедный Йерун недолго наслаждался победой. Лейт начал планомерно разрушать правящую коалицию. В течение нескольких недель он активно приучал всю стаю к тому, что быть сторонником слабеющего альфы невыгодно и даже опасно. Когда он видел самку, вычесывавшую Йеруна, он приближался к ней, угрожал или даже нападал с побоями. Однако позже, когда Йеруна не было поблизости, он не гнушался грумингом той же самой самки и играл с ее детьми. Самки быстро усвоили урок.

Возможно, если бы Йерун лучше защищал своих союзниц, он смог бы сохранить статус альфы, однако это было слишком рискованно: Лейта поддерживал молодой самец по имени Никки. Он сопровождал друга, когда тот преследовал самок, и порой сам поддавал им крепкий шлепок. Такое партнерство было вполне естественным: Никки, только входящий во взрослую жизнь, боролся за доступ к самкам – обряд инициации молодого самца шимпанзе, – и его союз с Лейтом упрощал эту задачу. Позже, после некоторых колебаний, Лейт предоставил Никки дополнительный стимул в виде особых сексуальных привилегий.

Разбив коалицию Йеруна, Лейт начал оспаривать его статус альфы. После череды враждебных столкновений Йерун сдался и смиренно засвидетельствовал свое почтение новому правителю.

Лейт показал себя мудрым и зрелым лидером. Пока он находился у власти, в колонии царили справедливость и порядок. Если два шимпанзе затевали драку, он вставал между ними и спокойно и беспристрастно прекращал столкновение. А если и принимал чью-то сторону, то это почти всегда была сторона проигравшая. Такая тактика в политике называется «популизм». Йерун тоже активно к ней прибегал: она нравилась самкам (будучи менее озабоченными отстаиванием статуса, те выступали за социальную стабильность). Лейт перенял это поведение и заручился поддержкой самок.

Однако, увы, популизма надолго не хватило. Лейта, с одной стороны, продолжал одолевать Йерун, одержимый стойкой любовью к власти (и, возможно, затаенной враждой, хотя после поражения оба соперника демонстративно примирились и активно занимались взаимным грумингом), а с другой стороны – амбициозный Никки. Вероятно, последнего Лейт считал более весомой угрозой, поскольку искал союза с Йеруном, как бы вытесняя Никки из круга лидеров. Опытный Йерун, осознавая свое центральное место в расстановке сил, сначала поддержал Лейта, а затем столкнул лбами двух молодых соперников, переметнулся на сторону Никки и в союзе с ним свалил Лейта. Статус альфа-самца достался Никки, однако хитрый Йерун сумел поставить себя так, что в течение всего следующего года он, а не фактический правитель, лидировал в стае по сексуальной активности. В связи с этим де Вааль определил Никки как «номинального лидера», а Йеруна – как серого кардинала.

К сожалению, у этой захватывающей истории ужасный эпилог. После того как книга де Вааля была издана, шаткий союз Никки и Йеруна распался. Однако, стоило Лейту восстановить свой альфа-статус, они вновь объединились и однажды ночью в ходе жестокого боя они смертельно ранили Лейта, *оторвав его яички* (такой вот эволюционный символизм). Де Вааль почти не сомневался, на ком из двух подозреваемых лежит основная вина в той трагедии. Позднее он заметил: «Никки на десять лет моложе Йеруна, и тот крутит-вертит им, как хочет. Раньше я боролся с этим моральным суждением, но теперь не могу воспринимать Йеруна иначе как убийцу»^[478].

В шкуре шимпанзе

Де Вааль рассказал историю шимпанзе из Арнема так, как если бы они были людьми. Стоит ли осуждать его за антропоморфизм? Как ни странно, даже эволюционные психологи вынесли бы ему обвинительный приговор, по крайней мере по одному пункту.

Де Вааль предположил, что как раз перед эскападой Лейта Йерун начал проводить больше времени с самками, потому что «уже чувствовал изменение в позиции Лейта и знал, что его собственное положение под угрозой»^[479]. Вероятно, Йерун действительно что-то почувствовал и поэтому стал уделять больше времени общению с социально значимыми самками. Однако стоит ли из этого делать вывод, что Йерун «знал» о надвигающемся нападении (то есть сознательно ожидал его) и предусмотрительно принял меры для своей защиты? Разве не могла растущая наглость Лейта просто напугать Йеруна и подтолкнуть его к более близкому контакту с друзьями?

Разумно предположить, что гены, поощряющие конструктивную, пусть и неосознанную, реакцию на угрозу, будут приумножаться в ходе естественного отбора. Когда младенец шимпанзе или человека при виде жуткой твари отступает к матери – это логичная реакция, хотя младенец вряд ли рационально осознает ее логику. Точно так же, когда я предположил, что регулярно рецидивирующее заболевание Дарвина поддерживало его привязанность к Эмме, я не имел в виду, что он сознательно пересматривал свое отношение к жене ввиду своего слабого здоровья (хотя и это возможно). Угрозы и бедствия укрепляют нашу привязанность к людям, которые могут помочь противостоять невзгодам, – к семье и к друзьям.

Приписывая шимпанзе стратегическое мышление, можно легко упустить из виду базовое положение эволюционной психологии о том, что повседневное поведение человека – это зачастую результат действия скрытых сил, которые заставляют нас поступать рационально, но бессознательно. Поэтому, когда де Вааль утверждает, что Йерун и Лейт «способны пересмотреть свой политический курс, принимая рациональные решения и не гнушаясь оппортунизма», и тут же заявляет, будто «в этой политике нет места для симпатий и антипатий»^[480], он неверно трактует факты, ведь даже у человека

политические взгляды могут формироваться под воздействием субъективных эмоциональных предпочтений. Первичный двигатель политики – естественный отбор, именно он калибрует наши чувства в своих интересах.

Пожалуй, это единственный пункт, по которому эволюционные психологи вынесли бы обвинительный приговор де Ваалу; по всем остальным они бы его оправдали, потому что, как правило, он приписывает шимпанзе не человеческую рассудительность, а человеческие чувства. Поначалу, когда Лейт только начинал оспаривать власть Йеруна, между ними периодически случались стычки, которые рано или поздно (как и у многих других приматов, включая человека) заканчивались ритуалами примирения. Де Вааль обратил внимание, с какой неохотой шимпанзе начинали сближение, и списал эти колебания на «чувство чести»^[481]. Из осторожности он поставил фразу в кавычки, хотя, возможно, зря: у шимпанзе, как и у людей, стремление к мирному решению конфликта наводит на мысль о покорности, что отнюдь не помогает в эволюционной борьбе за статус, поскольку снижает шансы на успех. Так что генетическое отвращение к покорности (до определенного предела) имеет эволюционный смысл. Говоря о себе, мы называем такое отвращение «чувством чести» или «гордостью». Тогда почему бы не употребить аналогичный термин в отношении шимпанзе? Как отметил де Вааль, исходя из близкого родства наших двух видов, можно предположить глубокую психическую общность (что вполне соответствует научному принципу «не множить сущности»: если есть единая гипотеза, правдоподобно объясняющая два отдельных явления, то не стоит выдумывать еще).

Как известно, женщины часто жалуются на мужчин за то, что они никогда не признают свою неправоту, не извиняются первыми и не спрашивают дорогу. Так вот, у этих особенностей, оказывается, есть эволюционное объяснение: мужчины просто не желают признавать чужое превосходство даже в мелочах. Видимо, в ходе эволюции самцы, которые с готовностью шли на примирение после борьбы или иначе без особой необходимости выказывали подчинение, заметно опускались в иерархии, что негативно влияло на их выживаемость и способность к размножению. Женщины, правда, тоже не любят извиняться, однако, если верить народной мудрости, все же не

настолько упрямы, как мужчины. И это неудивительно, ведь у наших предков выживаемость самок меньше зависела от степени упорства, чем у самцов.

Еще одно человеческое чувство, которым де Вааль награждает шимпанзе, – это уважение. Когда превосходство Лейта стало очевидным, он игнорировал вялые попытки Йеруна сблизиться, пока тот не издал «уважительное хрюканье», сигнализирующее о безоговорочном подчинении. И если у людей профессиональный боксер, проигравший бой, может говорить, что он «уважает» сильного противника, то почему бы бета-шимпанзе не относиться с пиететом к альфе. По-моему, «благоговейный трепет» – именно то чувство, которое испытывает побежденный самец, когда склоняется в почтительном, смиренном поклоне перед победителем.

Джейн Гудолл, как и де Вааль, говорит об «уважении» среди обезьян, хотя и немного в ином контексте. Вспоминая о том, как шимпанзе Гоблин, будучи подростком, тянулся к альфа-самцу Фигану, она пишет, что «Гоблин с большим уважением относился к своему «герою», всюду следовал за ним, наблюдал, чем тот занимается, и часто обыскивал его»^[482]. Знакомое чувство, не правда ли? Только, думаю, слово «почтение» подходит сюда лучше.

Меня могут обвинить в упрощении и в слишком поспешном переходе от внешних параллелей между человеком и обезьянами к глубинам психологии приматов. Спорить не стану: возможно, так оно и есть. Не исключено, что удивительное сходство между шимпанзе и человеком объясняется не общим эволюционным происхождением или биохимией, а чем-то иным. Однако если мы отказываемся считать амбиции, уважение, почтение, трепет, честь, гордость, презрение, надменность и другие чувства установками, выработанными в процессе естественного отбора в качестве приспособления к жизни в иерархическом обществе, то как же тогда нам их трактовать? Почему они обнаруживаются во всех культурах? Есть ли альтернативная теория? И если да, то объясняет ли она, к примеру, почему гордость и амбиции у мужчин в среднем выше, чем у женщин?

У современной эволюционной теории объяснение есть – естественный отбор в контексте иерархической структуры.

Власть и справедливость

Наблюдения де Вааля (и его антропоморфные аналогии), по сути, подтверждают теорию Роберта Триверса о реципрокном альтруизме, впервые сформулированную в статье 1971 года. Де Вааль считает, что поведение шимпанзе «руководствуется тем же чувством моральной правоты и справедливости, что и у людей». К такому выводу он пришел «после того, как Пейст поддержала Лейта в драке с Никки. Когда Никки позже стал демонстрировать себя перед Пейст, она повернулась к Лейту и протянула ему руку, прося тем самым помощи. Но Лейт ничего не сделал, чтобы защитить ее от атаки Никки. Пейст тут же с яростным лаем набросилась на Лейта, погнала его по всему вольеру и даже ударила»^[483]. Предательство друга вызвало бы у вас не менее яростное негодование, не правда ли?

Согласно Триверсу, глубинный источник «чувства справедливости» – реципрокный альтруизм. Иерархия тут ни при чем. Два основных правила групповой жизни шимпанзе, выделенные де Ваалем: «услуга за услугу» и «око за око, зуб за зуб» – по сути, не что иное, как принцип справедливого возмездия, сформировавшийся без привязки к статусам.

Однако социальная борьба (с непременно образованием союзов и коллективной враждой) придавала этим глубоким философским установкам особый вес. В человеческом обществе противоборствующие коалиции, конкурирующие за статус, часто опираются на некое смутное чувство морального права, которого противник якобы лишен. Из-за эволюции в условиях реципрокного альтруизма и социальной иерархии наш вид приобрел такие «привычки», как личная неприязнь и месть, а также расовое угнетение и мировые войны.

Тот факт, что войны в каком-то смысле являются «естественными», вовсе не делает их приемлемыми или неотвратимыми. Это верно и в отношении социальной иерархии: тот факт, что у нашего вида в ходе естественного отбора развилось социальное неравенство, отнюдь не легализует его и не делает его неизбежным. Конечно, когда группа людей (особенно мужского пола) проводит много времени вместе, то иерархия (пусть неявная и негласная), скорее всего, сформируется.

Сознательно или нет, мы оцениваем окружающих и в соответствии с этим распределяем свое внимание и уважение: решаем, с кем общаться, с кем соглашаться, над чьими шутками смеяться, чьи инициативы поддерживать^[484]. Однако социальное неравенство в более широком смысле (предполагающее резкий разрыв между богатыми и бедными, привилегированными и бесправными) – совсем другое дело. Это продукт некомпетентной государственной политики или ее полного отсутствия.

Естественно, политика должна согласовываться с природой человека. Если люди в основном эгоистичны (а это так), то бесполезно призывать их упорно трудиться без весомого материального подкрепления: человек, который работает больше, чем ленивый сосед, хочет и получать больше. Крах коммунистической системы – тому пример. Однако в то же время аккуратное перераспределение налогов не отбивает у людей желание работать. Вот между этими двумя крайностями и должна лавировать политика. У каждого есть своя цена, но она продукт старого доброго человеческого эгоизма, а не тяги к статусу как таковой. Последняя даже, напротив, упрощает процесс перераспределения материальных благ. Как оказалось, люди склонны сравнивать себя с ближайшими соседями по иерархической лестнице, вернее только с теми, кто находится выше их^[485], что вполне оправданно с точки зрения эволюции, однако суть не в этом. Если правительство соберет с вас и всех ваших соседей из числа среднего класса налогов на тысячу долларов больше, чем обычно, то для вас в плане социальной иерархии ничего не изменится: ваша зависть к более состоятельным Джонсонам никуда не денется, она так и будет подстегивать вас трудиться, а вот если бы стимул для вас имел абсолютное денежное выражение, то желания работать у вас бы заметно поубавилось.

Современный взгляд на социальную иерархию наносит ощутимый удар по одному из топорных философских оправданий неравенства. Еще раз подчеркну: ни к чему заимствовать ценности у естественного отбора – то, что он «счел» целесообразным, не всегда оказывается безусловно хорошим. Однако не все это понимают и продолжают утверждать, будто иерархия – естественный способ сохранения группы сильных особей и якобы неравенство может быть оправдано во

имя общего блага. Только вот современные данные этого не подтверждают, что лишает и без того шаткую теорию всяких опор.

Особое негодование у тех, кто обвиняет де Вааля в антропоморфизме, вызывает название его книги – «Политика у шимпанзе». Однако если верить политологам и считать политику процессом раздела ресурсов, то, наблюдая за шимпанзе, нельзя не заподозрить, что политику изобрели не мы. Де Вааль видит у своих подопечных не просто политический процесс, а «демократическую структуру»^[486]. Зарвавшийся альфа-самец, насколько бы он ни был сильным, обречен на провал. Например, Никки, в отличие от Лейта, был дальше от «народа», поэтому и популярности такой не имел. Самки не спешили выражать ему покорность и, когда тот бывал неоправданно жесток, преследовали его всей толпой и однажды даже загнали на дерево, где он вынужден был укрыться от «народного гнева». Возможно, на современную представительную демократию это и не тянет, но и чистой диктатурой такой режим уже назвать нельзя (неизвестно, сколько бы Никки пришлось просидеть в укрытии, если бы Мама, главный миротворец колонии, не поднялась на дерево, не поцеловала бы его и не свела вниз, после чего он смиренно просил у всех прощения)^[487].

Попробуйте провести такой опыт: найдите политические дебаты по телевизору и отключите звук. Понаблюдайте за жестами. В любой точке мира они будут примерно одинаковыми – призывными или негодующими. Затем включите звук. Послушайте, что политический деятель говорит. Готов спорить, он (или, реже, она) убеждает группу избирателей поддержать его в борьбе за власть и раздает обещания, заманчивые для «народа» (или некой его критической части). Политики-шимпанзе поступают точно так же. В обоих случаях главная цель (осознанная или нет) – статус. И в обоих случаях очевидна готовность пойти на многое ради ее достижения. А отдельные нюансы, вроде конкретных фраз и обещаний, не столь важны – даже самую пафосную речь можно свести к простым призывам. Включая звук, вы просто перепрыгиваете на несколько миллионов лет вперед по эволюционной лестнице.

Тактика индейцев племени зунни

Несмотря на многочисленные параллели, между обезьянами и человеком все же остается непреодолимый разрыв. У людей статус часто не подкрепляется грубой силой. Да, в детстве у мальчиков лидерами нередко становятся наиболее физически крепкие, однако во взрослом возрасте на передний план выходят совсем другие критерии, а явные политические устремления в некоторых культурах даже мешают. Вот как описывал уклад жизни индейцев навахо ученый Дэниэл Фридман: «Тем, кто активно стремится к власти, не доверяют. Лидером становится тот, с кого можно взять пример. Если у кого-то хорошо родится зерно, ему подражают, и он в этой области становится лидером. Другой знает много целебных заклинаний – его уважают за это, и статус его высок. Расхваливать себя, втираться в доверие, заводить полезные знакомства... в традиционном обществе навахо не принято»^[488].

Это отнюдь не означает, что навахо не стремятся к власти. Еще как стремятся, только делают это более тонко. Статус у них, как и везде, дает репродуктивные преимущества. Умелый земледелец и опытный врачеватель имеют больше шансов заполучить привлекательную партнершу, потому что оба не обделены умом, а первый еще и поднаторел в производстве материальных ресурсов. Они добились высокого статуса не посредством физического запугивания или иного манипулирования людьми, а просто нашли свое призвание и добились в нем успеха.

Диапазон средств для достижения высокого статуса в разных культурах и субкультурах просто поражает: здесь и изготовление бус, и музицирование, и чтение проповедей, и родовспоможение, и изобретение лекарств, и сочинение рассказов, и сбор монет, и снятие скальпов. Психические же механизмы, лежащие в основе всех этих действий, в сущности, одинаковы. Мы оцениваем социальную среду и стараемся делать то, что пользуется спросом, и избегать того, что не находит одобрения. Что это будет – не так уж важно, главное – найти свою нишу и преуспеть. Люди повсюду хотят испытывать гордость, а не позор, и получать уважение, а не презрение.

Не сумев разглядеть психическое единство за поведенческим разнообразием, антропологи школы Боаса свели к минимуму роль человеческой природы. Рут Бенедикт писала в 1934 году: «Мы должны принять все особенности нашего наследия: биологически

наследуемое поведение – одна из важнейших его частей, но она крайне мала, тогда как культурный процесс передачи традиции играет колоссальную роль»^[489].

Строго говоря, она права. Если исключить такие стереотипные действия, как ходьба, еда и сосание груди, то «поведение» действительно не передается биологически. А вот органы психической жизни – передаются, и они, вследствие своей гибкости, порождают большое количество различных вариантов поведения в зависимости от обстоятельств.

Внимательно взглянув на исследование Рут Бенедикт, можно понять, почему она выпустила из поля зрения психические механизмы, заставляющие человека стремиться к высокому положению в обществе. Она изучала племя зуни, которое подобно соседям-навахо не поощряет открытое соперничество и политические амбиции: «Идеальный человек у зуни приветлив, преисполнен достоинства и скромнен, он ни над кем не старается доминировать... Любой конфликт, даже если правда на его стороне, наносит урон его репутации... Самая высокая похвала... если говорят: “Он вежливый человек”»^[490].

Обратите внимание на подтекст: у индейцев есть определенный «идеал», и любой, кто стремится к нему, удостоивается «похвалы», а тот, кто ему не соответствует, теряет репутацию. Иными словами, зуни наделяют высоким положением в обществе тех, кто к нему особенно не стремится, а чересчур рьяных и честолюбивых лишают его. Несмотря на кажущуюся непохожесть на привычные нам модели, в обществе зуни действуют те же психические механизмы (реципрокный альтруизм во всех культурах вынуждает людей обзаводиться такими качествами, как дружелюбие, великодушие и честность; индейцы племени зуни, видимо, развили эту природную склонность, укрепив естественную связь между доброжелательностью и положением в обществе).

Объяснить необычный уклад жизни у зуни можно как силой культуры, так и гибкостью психической организации. На мой взгляд, вероятно и то, и другое, но второе особенно интересно. Оказывается, органы психической жизни настолько гибкие, что могут участвовать в формировании социальной системы, которая фактически противоречит глубинной эволюционной логике. Несмотря на то, что

психические механизмы, заставляющие человека стремиться к высокому положению в обществе, испокон веков провоцировали кулачные бои, напористую саморекламу и прочий мачизм, они, как оказалось, также способны и подавлять эти агрессивные проявления. Например, чтобы преуспеть в монастыре, надо обладать такими качествами, как спокойствие и аскетизм. В викторианской Англии в некоторых слоях общества особенно ценились доходящие до абсурдности учтивость и деликатность (почти как у зуни).

То, что мы называем культурными «ценностями», – не что иное, как средства для достижения социального успеха^[491]. Они закрепляются, потому что дают одобрение. Когда мы воспитываем ребенка – формируем его социальное окружение и выказываем уважение или презрение в ответ на его действия, – мы фактически программируем его как робота. Некоторых это возмущает, но, как известно, всем не угодишь. Лейтмотивом нападок на социобиологию в 1970-е годы был страх, что людей не получится запрограммировать так, как обещали Скиннер и другие бихевиористы.

Новая парадигма не отменяет бихевиоризм с его концепцией положительных и отрицательных подкреплений. Безусловно, некоторые мотивы и эмоции, скажем похоть и ревность, невозможно полностью стереть воспитанием. Однако огромное разнообразие моральных норм (то есть допустимых поведенческих реакций) говорит о просторе для маневра. Власть социального одобрения и порицания колоссально велика.

Однако насколько глубоко заложены его модели? Или, иными словами, насколько велик диапазон поведения, которое может быть одобрено обществом?

Здесь наблюдаются устойчивые тенденции. Социальные активы, которые давали преимущества индивидам на протяжении всей эволюции, не сдают свои позиции и сейчас. Крупные, сильные мужчины и красивые женщины, как и раньше, имеют фору в борьбе за статус. Глупость мало кого восхищает, а вот контроль над материальными ресурсами (то есть деньгами), напротив, притягивает многих. Однако противостоять этой привлекательности вполне возможно. Существуют культуры и субкультуры, которые стремятся сместить акцент с материального на духовное. И успех их порой

впечатляет, хотя он и не тотален. К тому же пределов своего биологического потенциала они еще не достигли.

Даже наша культура, несмотря на явный перекося в сторону материального, кажется вполне сносною, если сравнивать ее, к примеру, с культурой племени яномамо из Южной Америки, где, чтобы подняться по социальной лестнице, молодой человек должен убить как можно больше мужчин из соседних деревень^[492], попутно участвуя в похищении и групповом изнасиловании женщин. Если его жена попытается уйти к другому, он сможет без стеснения, скажем, отрезать ей уши. Боязнь делать категоричные заявления заставила нас идти кружным путем.

Ощущение такое, что нравственные ценности жителей некоторых современных городских районов начинают все больше походить на идеалы яномамо: молодые мужчины, не гнушающиеся убийством, пользуются уважением в своем референтном кругу. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что худшие черты человеческой природы всегда находятся у поверхности, готовые всплыть при малейшем ослаблении культурных ограничений. Человек – не чистый лист, как некогда полагали бихевиористы, он – живой организм, отталкивающие склонности которого не так-то просто (если вообще возможно) подавить, – и все из-за нашей готовности ни перед чем не останавливаться в борьбе за высокий статус. Мы способны пойти на все, что угодно, ради уважения – даже отринуть свою природу и вести себя как люди.

Глава 13

Обман и самообман

Какие только гнусности не совершаются из любви к славе; одна лишь любовь к правде не порождает жестокости.

*Из письма Чарлза Дарвина к сэру
Д. Д. Гукеру (1848 г.)^[493].*

Естественный отбор презирает принципы честной рекламы. Самки светлячков рода *Photuris* имитируют свечение готовых к спариванию самок рода *Photinus*, чтобы таким образом привлечь и съесть их незадачливых самцов. Некоторые орхидеи мимикрируют под самок ос, чтобы привлечь самцов и заставить их переносить пыльцу. Некоторые безобидные змеи обзавелись окраской, как у ядовитых сородичей, чтобы отпугивать врагов. Куколка бабочки вида *Dynastor dargius* прикидывается головой змеи и даже раскачивается при приближении опасности^[494]. В общем, ради своих генетических интересов живые организмы готовы на все.

И люди не исключение. В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века социолог (не дарвинист) Ирвинг Гофман наделал шуму своей книгой «Представление себя другим в повседневной жизни», где подробно описал, сколько времени и сил мы тратим на то, чтобы произвести определенное впечатление на окружающих. Однако делаем мы это совсем не так, как братья наши меньшие. Если самка *Photuris* вряд ли питает иллюзии насчет своей истинной сущности, то человек часто вживается в роль. Гофман поражается, насколько человек может быть «полностью захвачен собственной игрой и искренне убежден, что впечатление о реальности, которое он создает, это и есть самая доподлинная действительность»^[495].

Современный дарвинизм добавил к наблюдениям Гофмана, помимо всего прочего, теорию о функции самообмана. Согласно ей, мы обманываем самих себя, чтобы убедительнее обманывать других. Эта

гипотеза была предложена в середине 1970-х годов Ричардом Александером и Робертом Триверсом. В своем предисловии к книге Ричарда Докинза «Эгоистичный ген» Триверс отметил повышенное внимание Докинза к роли обмана в жизни животных и добавил, что если действительно «обман играет фундаментальную роль в общении животных, то должен иметь место сильный отбор на способность различить обман, что, в свою очередь, должно повышать степень самообмана и переводить некоторые факты и мотивы в подсознание, дабы не выдать обман едва уловимыми признаками осознания собственной неправоты». Таким образом, утверждает он, «общепринятое мнение о том, что в ходе естественного отбора преимущество получают нервные системы, более точно отражающие реальный мир, – это крайне наивный взгляд на эволюцию психики»^[496].

Изучение самообмана уводит нас в сумрачные дебри науки^[497], но это и неудивительно: «сознание» – понятие, на редкость уклончиво сформулированное и нечетко очерченное. Истина (целиком или частично) может попадать в «сознание» и ускользать из него или витать на периферии, оставаясь неразличимой. И даже если предположить, что мы сможем доподлинно установить неадекватность восприятия кем-то информации, то определить, является ли это самообманом, нам все равно будет не под силу. Мы не сможем выяснить, отсутствует ли достоверная информация в мозгу или она просто исключена из сознания внутренней цензурой. Или человек изначально был не в состоянии воспринять эту информацию? Если это так, то является ли выборочное восприятие результатом действия определенного эволюционного механизма самообмана? Или это просто следствие неспособности мозга (и сознания, в частности) удерживать определенный объем информации? Сложность этих вопросов затормозила предсказанное Триверсом еще два десятилетия назад появление новой науки, которая должна была исследовать самообман и дать четкое представление о бессознательном.

Однако гипотезы Докинза, Александера и Триверса во многом подтвердились: точность нашего восприятия действительности не является приоритетом в ходе естественного отбора. Новая эволюционная парадигма позволяет нам нанести на карту научного

познания *terra incognita* человеческого обмана и самообмана, пусть пока и в очень общих чертах.

Одну сферу обмана – *секс* – мы уже исследовали. Мужчины и женщины охотно вводят в заблуждение друг друга и самих себя насчет силы собственной любви и нерушимости верности. Две другие сферы, где представление себя и восприятие других играют большую эволюционную роль, – реципрокный альтруизм и социальная иерархия. Здесь, как и в сексе, честность может быть губительна. Собственно говоря, именно в этих сферах у человека (как и у животных) и процветает в основном непорядочность. Мы далеко не единственные лгуны в природе, но, очевидно, самые прожженные, хотя бы потому, что умеем разговаривать.

Стремление нравиться

Люди обычно стремятся не к высокому статусу как к таковому, а к преимуществам, с ним связанным. Они не строят планы восхождения по социальной лестнице и не придерживаются их с методичностью боевого генерала, ведущего военные действия. Ладно, согласен, некоторые так делают. Возможно, даже все мы иногда пытаемся контролировать этот процесс. Однако стремление к высокому статусу все же более глубоко встроено в нашу психику. Во всех культурах люди, отдают они себе в этом отчет или нет, желают ошеломить окружающих, возвыситься в их глазах.

Жажда одобрения проявляется у человека на самых ранних этапах развития. Дарвин всю жизнь вспоминал, как поразило взрослых его умение лазать по деревьям: «Моим почитателем был старый каменщик Питер Хейлс, я покорял рябину на лужайке»^[498]. Противоположная сторона этой медали – боязнь презрения и насмешек. Дарвин заметил, что его старший сын в два с половиной года стал «чрезвычайно подозрительным и чувствительным к насмешкам; если люди болтали и смеялись между собой, он считал, что они обсуждают его и потешаются над ним»^[499].

Не стану утверждать, что такая реакция является нормой, однако это не главное (хочу лишь обратить ваше внимание, что многие

психопатологии, включая паранойю, – это, вероятнее всего, не что иное, как утрированные эволюционные склонности)^[500]. Даже если поведение сына Дарвина и отклонялось от нормы, то лишь количественно, а не качественно. Все мы с самого раннего возраста боимся насмешек и стараемся любыми силами их избегать. Вспомните замечание Дарвина о «жгучем чувстве позора, которое большинство из нас испытывает даже спустя много лет при воспоминании о нарушении какого-нибудь пустякового, но общепринятого правила этикета»^[501]. Такая высокая чувствительность свидетельствует о высоких ставках в игре, и в самом деле если уважение общества дает весомые генетические преимущества, то его отсутствие грозит генетическим крахом. Нередко в колониях человекообразных приматов (да и в человеческом социуме) крайне непопулярные особи вытесняются на задворки общества и даже за его пределы, где выживание и воспроизводство становятся затруднительны^[502]. Снижение статуса влечет за собой существенные издержки и уменьшает шансы на репродуктивный успех, поэтому любые меры, позволяющие произвести благоприятное впечатление, стоят затраченных усилий (в эволюционном контексте), даже если эффект будет небольшим.

Заботиться о правдоподобии при этом совершенно необязательно. Когда шимпанзе угрожает конкуренту или реагирует на чужую угрозу, ее шерсть встает дыбом, отчего она кажется больше, чем на самом деле. Рудиментарные остатки этого рефлекса есть и у людей: наши волосы тоже поднимаются дыбом, когда мы напуганы. Однако, по обыкновению, мы не стали доверять природе и взяли все в свои руки – и теперь для преувеличения собственной значимости используем речь. Размышляя об истоках такого поведения, Дарвин констатировал: «Самому грубому дикарю знакомо понятие о славе, как видно из того, что они сохраняют трофеи своих подвигов, имеют привычку страшно хвастать, старательно украшают себя и заботятся о своей внешности»^[503].

В викторианской Англии хвастовство порицалось, и Дарвин был виртуозом по части скромности. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих современных культурах, где дети учатся преодолевать «бахвальство» еще в раннем возрасте^[504]. И что же приходит взамен?

Сдержанное, завуалированное хвастовство. Дарвин и сам его не чурался. В своей автобиографии он не без гордости отмечал, что его книги «были переведены на многие языки и выдержали по несколько изданий в иностранных государствах. Мне приходилось слышать утверждение, будто успех какого-либо произведения за рубежом – лучший показатель его непреходящей ценности. Сомневаюсь, чтобы такое утверждение вообще можно было бы считать правильным. Но если судить с такой точки зрения, мое имя, вероятно, на несколько лет сохранит свою известность»^[505]. Странно для ученого, не правда ли, сомневаться в ценности «показателя», но при этом тут же строить на его основе предположения?

Очевидно, что уровень наглости хвастуна напрямую зависит от того, какие способы саморекламы одобряет его социальная среда, и калибруется с учетом реакции окружающих. Однако, если вы не ощущаете даже слабой потребности рассказать о своих победах и умолчать о неудачах, вероятно, имеет место какое-то отклонение от нормы.

Часто ли самореклама опирается на обман? Тут я, конечно же, имею в виду не наглую, жирную ложь, прибегать к которой просто опасно. Она отнимает много времени и сил, потому что лжецу приходится запоминать, что и кому он наврал, и грозит серьезными последствиями, если будет раскрыта. Сэмюэль Батлер, викторианский эволюционист (тот самый, который заявил, что курица – это всего лишь средство, при помощи которого яйцо производит на свет другое яйцо), заметил, что «лучший лжец тот, кто способен растянуть минимальное количество лжи на максимально долгое время»^[506]. Отлично сказано. Есть виды лжи настолько незначительной или неопровержимой, что в ней невозможно уличить, – так вот, именно они и процветают.

Вечные истории рыбаков про то, как у них «во-о-от такая сорвалась», как раз из этой серии. Первоначально они могут сознавать, что несколько искажают факты, но уже после трех-четырех пересказов, если никто не оспаривает их правоту, и сами начинают верить в то, что говорят. Когнитивные психологи доказали, что отдельные детали истории, даже если они ложные, при многократном повторении внедряются в первоначальную память^[507]. Естественно, хвастаясь сорвавшимся уловом, рыбаки переключаются

ответственность за неудачу на судьбу или иные непреодолимые обстоятельства – там, где объективная истина неуловима, открывается широкий простор для самовосхваления. Опыты доказали, что все люди склонны объяснять успехи своими заслугами, а неудачи – случайностью (волею судьбы, происками врагов, кознями дьявола) [508]. В играх на удачу мы списываем потери на невезение, а победы приписываем своему уму. И искренне верим этому.

Дарвин обожал триктрак, часто играл в него со своими детьми и, естественно, нередко выигрывал. Одна из его дочерей вспоминала: «Мы записывали дуплеты, выброшенные каждым игроком, и я была убеждена, что он бросал лучше меня» [509]. Это убеждение знакомо всем неудачливым игрокам. Оно помогает им сохранять веру в свою компетентность и, таким образом, убеждать в этом других. А еще оно обеспечивает стабильный источник дохода шулерам.

Самовозвеличивание всегда происходит за счет других. Сказать, что вы проиграли из-за невезения, – все равно что заявить, будто вашему противнику просто случайно повезло. И даже если не рассматривать игры и другие ситуации открытой конкуренции, то пройти вперед самому всегда означает отодвинуть кого-то, потому что статус – вещь относительная. Победа одного – это непременно проигрыш другого.

Вот почему борьба за статус – обычно довольно грязное дело. В небольшой группе (скажем, в деревне охотников-собирателей) человек напрямую заинтересован в том, чтобы опустить репутацию окружающих, особенно одного с ним пола и возраста. А как вы помните, лучший способ убедить других в чем-то (например, в пороках соседей) – это поверить самому. Поэтому для людей, как для представителей иерархического вида, наделенного речью, вполне естественно превозносить свои заслуги и принижать достижения окружающих. И действительно, лабораторные опыты социальных психологов подтвердили, что люди в игре не только приписывают успех себе, а вину за проигрыш перекладывают на случайность, но и в сходных ситуациях оценивают противников диаметрально противоположным образом [510]: если вас судьба испытывает, то конкурентам она благоволит; если у вас любой выигрыш – это заслуженная победа, то у конкурентов любой проигрыш – закономерный разгром.

Нередко стремление принизить окружающих нивелируется или даже исчезает вовсе, если речь идет о семье и друзьях. Но когда на кону оказывается любовный партнер или профессиональное признание, оно расцветает пышным цветом^[511]. Главным критиком «Происхождения видов» Дарвина был Ричард Оуэн, выдающийся зоолог и палеонтолог, имевший собственные идеи насчет видовой изменчивости. После выхода его критической статьи Дарвин не преминул заметить: «В Лондоне все уверены, будто он обезумел от зависти, ведь в столице только и разговоров что о моей книге»^[512]. Как тут понять, где самообман? Оуэн ли убедил сам себя и других, что работа конкурента хуже? Или Дарвин убедил сам себя и других, что человек, покушающийся на его статус, руководствуется эгоистичными мотивами? Вероятно, имело место и то, и другое.

Острая чувствительность, с которой люди реагируют на недостатки своих конкурентов, – одно из чудес природы. Требуются титанические усилия, чтобы сознательно сдерживать это стремление, причем делать это придется регулярно. Некоторые могут, собрав волю в кулак, не отзываться о конкурентах как о ничемных людях и даже выдавать нечто шаблонно-викторианское о «достойном противнике». Однако обуздывать само стремление, непрерывное, неосознанное, всеобъемлющее, – задача, посильная, вероятно, лишь просветленному буддийскому монаху. Большинству смертных честная, непредвзятая оценка противника просто не по силам.

Скромность

Если стремление нравиться настолько глубоко сидит в нашей природе, то откуда берутся скромники? Одна версия заключается в том, что скромность не наносит вреда, если статус человека и так очевиден, – даже пользу приносит: репутация скромника повышает эффект от умеренного хвастовства (как в случае с Дарвином). Другая версия гласит, что генетическая программа психического развития очень сложна и реализуется в мире, где господствует неопределенность (чего раньше не было), поэтому не стоит ожидать полного соответствия человеческого поведения генетическим

интересам. Третья версия наиболее интересная: она предполагает, что социальная иерархия в ходе естественного отбора оказала парадоксальное влияние на человеческую психику, – видимо, раньше искреннее принятие низкого статуса давало определенные эволюционные преимущества.

Как вы помните, статус у кур необходим для того, чтобы не ввязываться в борьбу с конкурентами, которые заведомо сильнее, при этом гены, помогающие особи определить, с каким соседом стоит связываться, а с каким нет, процветают. Как именно особь принимает решение? Уж, конечно, у нее перед глазами не появляется бегущая строка «Борись» или «Не лезь»; скорее всего, информация передается через чувство: животное ощущает или не ощущает готовность к борьбе. Аутсайдеры, которые находятся в самом низу иерархии и получают тумаки ото всех, такой готовности не ощущают никогда. Можно называть это низкой самооценкой. Вероятно, она возникла как способ примириться с подчиненным статусом, если такое примирение отвечает генетическим интересам.

Собственно, именно поэтому люди и не скрывают низкую самооценку. В их генетических интересах не только принять низкий статус, но и продемонстрировать его принятие, по крайней мере, в некоторых обстоятельствах, – им выгодно вести себя покорно, чтобы более сильные соплеменники не восприняли их ошибочно как угрозу и не атаковали^[513].

Обманывать себя насчет низкой самооценки нет никакого смысла. И впрямь, если чувство предназначено ограждать человека от стремления к недостижимым целям, то, по идее, оно должно, хотя бы приблизительно, соответствовать действительности. Но так бывает не всегда. Коль скоро одна из целей низкой самооценки – засвидетельствовать людям с высоким статусом ваше почтение, то уровень самооценки должен напрямую зависеть от того, сколько этого почтения требуется: в присутствии очень яркого человека вы можете более глубоко ощущать свою никчемность в интеллектуальном плане, чем есть на самом деле. Антрополог Джон Хартунг в 1988 году предположил, что самообман для снижения самооценки существует, он назвал его «самообманом, направленным вниз», и привел такой пример: женщины иногда ложно подчиняются мужчинам. Если, скажем, семейный доход зависит от того, насколько высока

профессиональная самооценка мужа, то женщина может неосознанно «укреплять уверенность мужа, демонстрируя более низкую компетенцию»^[514].

Чтобы понять, насколько глубоко в нашем сознании захоронена правда о самих себе, достаточно вспомнить один гениальный эксперимент. Оказывается, при звуках голоса у нас повышается электрическая активность кожи (ЭАК), причем если мы слышим собственный голос, записанный на пленку, то реакция протекает особенно бурно. Когда людей спрашивают, их ли это голос, они в среднем ошибаются чаще, чем их организм, и характер этих ошибок весьма показателен. Помещенные в ситуацию заведомой неудачи, когда самооценка падает, люди чаще отрекаются от собственного голоса, хотя, судя по их ЭАК, в глубине души они «знают» правду. После повышения самооценки они, напротив, начинают приписывать себе чужие голоса, хотя их ЭАК снова показывает, что правда им так или иначе известна. Комментируя данный эксперимент, Роберт Триверс написал: «Мы словно разрастаемся... при успехе и сжимаемся при неудаче, причем в значительной степени даже не осознаем этого»^[515].

Чувство неловкости и стыда имеет не меньший эволюционный смысл, чем стремление к превосходству. Вспомним хотя бы про «жгучий позор», о котором писал Дарвин, – он не дает нам повторять социальные промахи, чреватые снижением статуса. Как верно заметил эволюционный психолог Рэндольф Нессе, настроение способно эффективно фокусировать энергию^[516]. Независимо от положения в обществе, люди теряют интерес к жизни, становятся апатичными и мрачными, когда их социальные, сексуальные или профессиональные перспективы тускнеют, и преисполняются оптимизма и энергии, как только перспективы появляются. Мы словно экономим силы перед решающим матчем. Однако, если ничего не происходит, апатия переходит в легкую депрессию, что в некоторых случаях бывает даже на пользу, так как стимулирует действовать: сменить работу, распрощаться с неблагодарными друзьями, выйти из отношений, не приносящих удовлетворения.

Дарвин на своем опыте ощутил пользу стыда. В июле 1857 года, за два года до публикации «Происхождения видов», он признался своему другу Джозефу Гукеру: «Я проделал расчеты по изменчивости и т. п.

Вчера говорил с Леббоком, он указал мне на грубейшую методическую ошибку, которую я допустил. Значит, две или три недели я работал впустую». Это повергло и без того неуверенного в себе Дарвина в отчаяние. «Я самая жалкая, бестолковая, глупая собака во всей Англии и готов плакать от досады из-за моей слепоты и самонадеянности»^[517], – написал он.

Столь эмоциональное переживание неудачи принесло Дарвину немалую пользу. Во-первых, снизилось его самомнение. Дарвин испытал социальное унижение, когда в очном поединке оппонент указал ему на грубую ошибку в сфере, где он считал себя экспертом. Бесспорно, падение самооценки – само по себе событие очень неприятное, но в долгосрочной перспективе оно, вероятно, сыграло ему на руку: Дарвин поумерил свои амбиции, благодаря чему крупные научные светила Англии не разглядели в нем потенциальную угрозу.

Во-вторых, Дарвин получил негативное подкрепление. Боль от пережитой неудачи защитила его от повторения совершенных ошибок и, вероятно, заставила впредь быть более осторожным.

В-третьих, Дарвину стало очевидно, что необходимо изменить курс. Если бы уныние переросло в депрессию, оно, возможно, заставило бы его более радикально пересмотреть свое поведение и направить энергию в совершенно новое русло. «Я готов разорвать рукопись и впасть в отчаяние», – написал он в тот же день Леббоку, благодаря его за поправки и извиняясь за ошибки^[518]. Насколько мы знаем, рукопись осталась цела, однако, если бы подобные неудачи повторились, Дарвин вполне мог бы забросить работу, что было бы оправданно с точки зрения сохранения социального статуса. Ведь, как говорится, не можешь – не берись.

Все три этих составляющих ни в коей мере не исключают друг друга. Естественному отбору несвойственна расточительность, он изобретательно использует ограниченный набор доступных химических соединений и вызываемых ими чувств. Вот почему делать категоричные заявления о роли серотонина (или любого другого нейромедиатора) и уныния (или любого другого настроения) весьма рискованно. Эволюционные психологи осознают это, и потому их не удивляет, когда оказывается, что у высокой или низкой самооценки, например, может быть несколько одинаково значимых функций. Это не противоречит действительности.

Но тогда возникает закономерный вопрос: а какая же самооценка является правдивой? Если в один месяц после серии профессиональных и социальных успехов у вас подскакивает уровень серотонина и вы чувствуете себя компетентным, симпатичным и привлекательным, а в следующем месяце, после неудач и закономерного снижения серотонина, ощущаете себя абсолютно никчемным, вы не можете быть правы оба раза. Когда вы ошибались? Какая роль у серотонина? Что это, сыворотка правды или дурманящий мозг наркотик?

Вероятно, ни то, ни другое. Крайности в восприятии себя означают определенную неспособность разглядеть важные факты. Правда всегда лежит где-то посередине.

Хотя, возможно, понятие «правда» вообще лучше оставить в стороне. «Хороший» вы человек или «никчемный» – вопрос, объективно ответить на который крайне сложно. И даже когда «правда» может быть четко определена, естественный отбор остается к этому факту безразличен. Безусловно, если правдивое отображение реальности будет способствовать распространению генов, то точность восприятия или коммуникации существенно повысится. Собственно, так и происходит на практике, когда, скажем, вы запоминаете, где хранится пища, и делитесь информацией с детьми или родственниками. Однако такое случается крайне редко: честность обычно не отвечает генетическим интересам, а естественный отбор сам по себе не «благоволит» ни честности, ни вранью. Они ему безразличны^[519].

Сильный, но чувствительный

Реципрокный альтруизм вносит собственный вклад в самооценку и, следовательно, в самообман. Тогда как иерархическая структура заставляет нас стремиться к тому, чтобы выделиться более умелыми, сильными, привлекательными и умными, нежели окружающие, реципрокный альтруизм делает акцент на честность и справедливость – те качества, которые позволяют нам казаться достойными членами

общества, с которыми можно иметь дело. Они создают нам репутацию приличных и щедрых людей, а это всегда выгодно.

Эволюционную значимость моральной саморекламы подчеркивал, в частности, Ричард Александер. В своей книге «Биология моральных систем» он утверждал, что «современное общество наполнено мифами» о нашей добродетельности: «что ученые – скромные и увлеченные искатели правды, доктора посвящают свои жизни облегчению страданий, учителя отдают себя ученикам и все мы – законопослушные, добрые, бескорыстные существа, ставящие интересы общества превыше собственных»^[520].

Для повышения самооценки самообман необязателен, но часто так случается, что эти процессы протекают вместе. Подсознательные механизмы, заставляющие нас верить в собственную добродетельность, были экспериментально обнаружены еще до того, как теория реципрокного альтруизма объяснила их существование. В ходе ряда экспериментов испытуемых просили вести себя жестче с неким человеком, которого они впервые видели и о котором ничего не знали: оскорблять его и наносить удары электротоком (на самом деле тока не было, но участники об этом не знали). Впоследствии, рассказывая о «жертве», они, как правило, пренебрежительно отзывались о ней, словно стараясь принизить ее и убедить себя, что она заслужила плохое обращение, хотя им прекрасно было известно, что никаких проступков она не совершала. Когда же испытуемым предлагали нанести «удар» и предупреждали, что «жертва» потом ответит им тем же, склонности принижать ее у них не было^[521], словно в нашей психике заложено простое правило: если счеты будут сведены, то рационализировать насилие не требуется – справедливость восторжествует. Однако если вы обманываете или оскорбляете человека, который не делает вам ничего плохого, то приходится придумывать причины, почему он это заслужил. Вы будто готовитесь держать ответ и отстаивать свою репутацию хорошего человека, достойного доверия.

Репертуар наших моральных оправданий весьма обширен. Психологи выяснили, что если человек не хочет или не может оказать помощь ближнему, то он старается приуменьшить тяжесть положения («Это не нападение, а обычная ссора»), нивелировать собственную ответственность и умалить свою возможность помочь^[522].

Проверить, действительно ли люди верят таким оправданиям, трудно. Однако известная серия экспериментов показала (правда, в совершенно ином контексте), насколько сознание может быть слепо к реальной мотивации и с какой легкостью оно оправдывает ее результаты.

Эксперименты проводились на пациентах с рассеченным мозолистым телом (перемычкой, соединяющей правое и левое полушария мозга). Предполагалось, что эта операция поможет облегчить состояние больных с тяжелыми формами эпилепсии. Ожидаемых результатов она не дала и на повседневное поведение больных особенно не повлияла, однако в ходе экспериментов выяснились удивительные вещи. Если слово «орех» предъявлялось правому полушарию (вспыхивало в левой половине поля зрения), то в сознание оно не попадало и в левое полушарие, отвечающее за речь и доминирующее над сознанием, не передавалось. Однако если испытуемому предлагали коробку с разными мелочами, то его левая рука (управляемая правым полушарием) автоматически вытаскивала оттуда орех. При этом пациент до последнего не понимал, что собиралась сделать его рука^[523].

Если такого человека попросить объяснить свое поведение, то его левое полушарие перейдет от мнимого неведения к неосознанной нечестности. Например, если предъявить команду «иди» правому полушарию, а затем спросить человека, куда он идет, то его левое полушарие, не посвященное в реальную причину действия, быстро придумает, что идет он, скажем, за газировкой, причем человек будет искренне верить в то, что так оно и есть. Еще пример: правому полушарию женщины предъявили изображение обнаженного тела, она покраснела и смущенно засмеялась. Когда ее спросили, что смешного, она ответила, но вместо истинной причины назвала менее пикантную, чем на самом деле^[524].

Майкл Газзанига, проводивший подобные эксперименты, заявил, что речь – просто «пресс-секретарь» других частей сознания. Она оправдывает и покрывает их поступки, стараясь убедить мир в том, что тот, кто их совершает, – это разумный, рациональный и честный человек^[525]. Вполне вероятно, что и все наше сознание – такой же «пресс-секретарь», который прочувствованно и убедительно озвучивает коммюнике, подsunутые ему подсознанием. Оно скрывает

холодную и корыстную логику генов под невинным обличем. Эволюционный антрополог Джером Баркоу утверждает: «Можно предположить, что сознание зародилось как механизм, ответственный за создание впечатления в глазах окружающих, а не механизм принятия решения, как утверждают житейские психологи»^[526].

Я бы лишь добавил, что само существование житейской психологии – возможно, тоже часть эволюционного процесса. Иными словами, ощущение, что мы «сознательно» контролируем наше поведение, – не просто иллюзия (что подтверждают многочисленные нейробиологические эксперименты), это умышленная иллюзия, предназначенная естественным отбором для придания убедительности нашим словам и действиям. Веками, рассуждая о свободе воли, люди испытывали смутную, но непоколебимую уверенность в том, что она существует, и мы на сознательном уровне отвечаем за свое поведение. Рискну предположить, что эта значимая страница нашей интеллектуальной истории полностью продиктована естественным отбором и что один из основных наших философских постулатов, по сути, является адаптацией.

Теневая бухгалтерия

Под давлением реципрокного альтруизма мы не только убеждаем себя в собственной честности, но и практикуем теневую «социальную бухгалтерию». Реципрокный альтруизм вынуждает человека пристально следить за балансом обмена: кому и сколько он должен и кто должен ему. С генетической точки зрения контролировать обе стороны процесса с равным усердием просто глупо. Если вы получаете чуть больше, чем отдаете, то все прекрасно, однако обратная ситуация, даже когда убыток небольшой, грозит потерями.

То, что люди лучше помнят чужие долги, чем свои, – *отнюдь не новость*. В письме с «Бигля» Дарвин пересказал Кэролайн шутку о человеке, про которого «сам лорд Байрон написал, будто он так изменился после болезни, что его не узнали бы даже давнишние кредиторы»^[527]. Дарвин и сам, несмотря на свою скромность, умудрился наделать долгов в университете и, как писал его биограф

Джон Боулби, «чувствовал себя из-за этого весьма скверно и впоследствии, спустя годы, когда рассказывал о своей расточительности, старался приуменьшить размер долгов как минимум вдвое»^[528].

К интеллектуальным долгам Дарвин тоже относился не слишком внимательно. С научными трудами своего деда Эразма Дарвина он познакомился еще в ранней юности. И там не мог не натолкнуться на высказывание, которое предвосхищает идею полового отбора (одного из направлений естественного отбора, в ходе которого возросла агрессивность мужчин): «Главная причина соперничества между самцами заключается в том, что только самый сильный и наиболее активный из них будет способен расплодить свой вид, что, несомненно, приведет к его улучшению». Однако в списке интеллектуальных предшественников к третьему изданию «Происхождения видов» Дарвин упоминает своего деда лишь как предвестника ламаркианских заблуждений и в автобиографии отзывается о его «Зоономии» весьма пренебрежительно, хотя эта книга, судя по приведенной выше цитате, могла заронить в его голову будущие идеи не только эволюционизма, но и естественного отбора. Готов спорить, что лишь бдительная совесть Дарвина не позволила ему вовсе умолчать про деда^[529].

Впрочем, нельзя сказать, что Дарвин был неаккуратен в указании источников. Скорее, он был избирателен. Как отметил Боулби, «Дарвин охотно выражал благодарность тем, чьи эмпирические наблюдения он находил полезными, и лишь вскользь упоминал тех, чьи идеи оказали на него значительное влияние»^[530]. Удобная схема, не правда ли, расточать благодарности второстепенным исследователям, умаляя роль немногих предшественников, которые могли бы посоперничать с ним за корону первооткрывателя. Дарвин предпочел «задолжать» молодым, начинающим ученым, даже рискуя оскорбить заслуженных и уже ушедших. В целом неплохая тактика для достижения высокого статуса. Естественно, правило «не благодари тех, кто предвосхитил твою теорию» не прописано у нас в генах, однако туда вполне может быть встроена тенденция воздерживаться от действий, повышающих статус конкурентов.

Теневая бухгалтерия наблюдается на всех уровнях социального взаимодействия. Войны, как известно, сопровождаются глубоким

чувством обиды с обеих сторон и твердой верой в виновность противника. Ближайшие соседи, даже добрые друзья могут копить друг на друга досаду. Конечно, в некоторых слоях современного общества, где господствует атмосфера тотальной сердечности и благодушия, указанная тенденция может меркнуть, однако на протяжении всей истории и предыстории человечества реципрокный альтруизм вносил напряженность в повседневную жизнь и провоцировал явные или скрытые претензии. В своей книге «Сексуальная жизнь дикарей Северо-Западной Меланезии» Бронислав Малиновский отмечал, что для аборигенов Тробрианских островов в высшей степени характерна «дотошная погруженность в маленькие подарки и ответные подарки», при этом «они склонны хвастаться теми подарками, которые делают сами и которыми они полностью удовлетворены, и в то же время подвергают сомнению ценность того, что получают, и даже ссорятся из-за этого»^[531].

Существовала ли на Земле когда-нибудь культура, в которой люди регулярно не возмущались бы ценами, зарплатой, территориальной политикой, плохим воспитанием чужих детей и так далее? Подобные споры, хоть и незначительные, как правило, имеют реальные последствия. Конечно, вопросы жизни и смерти сами по себе они не решают, но на материальное благополучие оказывают влияние, а в ходе человеческой эволюции порой даже незначительная разница в материальных благах являлась решающей: определяла, выживет индивид или нет, сумеет привлечь партнера или останется одиноким, вырастит троих потомков или только одного. Так что не исключено, что теневая бухгалтерия у нас в генах. Она отмечается во всех культурах и на интуитивном уровне кажется вполне естественным продолжением реципрокного альтруизма.

Правда, если полагаться не только на интуицию, но и на факты, то все становится гораздо сложнее. В известном экспериментальном турнире математика Роберта Аксельрода одержала победу программа «Око за око», которая не пыталась перехитрить оппонента, а лишь повторяла решение, принятое им на предыдущем ходу, то есть просто выравнивала баланс. Получается, особи, которые стремятся обманом получить больше, чем отдают, должны постепенно вымереть. Но если эволюция так наказывает жадин, тогда почему люди все равно подсознательно стремятся отдавать чуть меньше, чем получают?

Для начала нужно уяснить, что получать больше, чем отдавать, – это не вполне «обман»^[532]. В компьютерной модели Аксельрода эти вещи стали синонимами, так как там действует бинарная логика, в рамках которой выбор жестко ограничен двумя вариантами: либо вы сотрудничаете, либо нет, либо играете честно, либо обманываете. В реальной жизни альтернатив больше. К тому же выгоды от взаимоотношений с ненулевой суммой часто настолько велики, что слегка неравный обмен может иметь смысл для обеих сторон. Если вы оказали другу сорок девять услуг, а в ответ получили пятьдесят одну, дружба между вами все равно может сохраниться, ведь, по сути, вы не «обманывали» его – да, получили чуть больше, но не настолько, чтобы он предпочел разорвать отношения.

Так что чисто теоретически можно вести себя чуть прижимистее, чем «Око за око», главное – не обманывать, чтобы не нарваться на месть. Это умеренное скупердяйство вполне могло закрепиться естественным отбором и принять форму острого чувства социальной справедливости, слегка скорректированного в свою пользу (то есть той самой теневой бухгалтерии).

Почему так важно, чтобы эта предвзятость была неосознанной? Подсказку можно найти в книге экономиста Томаса Шеллинга «Стратегия конфликта». В главе «Эссе о торге», которая напрямую не связана с вопросами эволюции, но вполне может быть приложена к ним, Шеллинг отметил парадокс, состоящий в том, что «от степени, в которой сторона связывает себя, может зависеть степень, в которой она ограничивает своего противника»^[533].

Классический пример – когда два автомобиля движутся навстречу друг другу. Водитель, который первым свернет, проиграет, так как прослышет трусом среди товарищей. Однако если не свернет ни один, то проиграют оба, причем по-крупному. Как тут быть? Шеллинг советует оторвать руль и выкинуть его в окно, чтобы другой водитель понял вашу решимость и сворачивал сам.

Тот же принцип действует и в более обыденных ситуациях, например при покупке автомобиля. Существует диапазон цен, в пределах которого сделка имеет смысл и для покупателя, и для продавца. Однако покупателю выгоден нижний предел, а продавцу – верхний. Путь к успеху, утверждает Шеллинг, такой же, как в игре «кто первым свернет»: надо первым убедить оппонента в своей

твердости. Если продавец поверит, что вы уходите, он сдастся. Однако, если он нанесет превентивный удар и безапелляционно заявит: «Дешевле, чем за X, я машину не отдам», тогда победа окажется у него. Сущность такой тактики, по мнению Шеллинга, «коренится в некотором добровольном, но необратимом жертвовании свободой выбора», причем побеждает тот, кто первым решится сжечь за собой мосты.

Насчет «добровольности» я бы поспорил. Внутренняя логика вполне может быть исключена из сознания, чтобы жертва казалась истинно «необратимой». Ладно, для торговцев подержанными автомобилями сделаем исключение – *они не хуже специалистов по теории игр* следят за динамикой торга – собственно, как и опытные покупатели. Однако в повседневной жизни, когда мы вступаем в торг из-за помятой машины, низкой зарплаты или спорной территории, мы искренне веруем в свою правоту, что облегчает нанесение превентивных ударов, рекомендованных Шеллингом. Интуитивная непреклонность наиболее убедительна.

Тем не менее загадки остаются. Чрезмерная непреклонность может быть пагубна. По мере распространения в популяции генов, отвечающих за склонность к «теневой бухгалтерии», их носители все чаще будут сталкиваться между собой. Если ни один из участников торга не пойдет на уступки, то сделка просто не состоится. К тому же в реальной жизни не всегда получается сразу определить эффективную степень непреклонности, потому что трудно предвидеть, какие условия другая сторона примет. Покупатель не знает, за сколько автомобиль достался продавцу и какую цену предлагают за него другие желающие. В менее структурированных ситуациях, например при обмене любезностями, эти расчеты становятся еще туманнее, потому что объект торга не поддается количественному измерению. В ходе эволюции мы преимущественно и сталкивались с такими ситуациями, когда трудно оценить диапазон условий, приемлемых для другой стороны. Однако так или иначе оценивать их приходилось, ибо если настаивать на условиях, выходящих за пределы этого диапазона, то заключить сделку невозможно.

Идеальная стратегия в таких условиях – это, возможно, псевдонепреклонность, или гибкая твердость. Вы начинаете диалог с

решительного заявления о своих притязаниях, однако, если оппонент приводит веские доказательства своей твердости, вы отступаете до определенного предела. Какие доказательства можно считать вескими? Те, которые подкреплены фактами. Если оппонент может объяснить причины своей твердости и те звучат правдиво и искренне, то некоторые уступки будут вполне уместными. Если он справедливо напоминает о том, как много сделал для вас в прошлом, то и тут следует уступить. Естественно, если у вас есть контрдоказательства, то их следует с наименьшей убежденностью предъявить. И так далее.

Собственно, такова динамика спора (и значение слова «спор»). Люди спорят именно так, хотя обычно даже не отдают себе отчета в том, что они делают и почему. Они настолько погружены в собственные доказательства, что им время от времени просто необходимо напоминать о существовании противоположной точки зрения. В своей автобиографии Дарвин упоминает о «золотом правиле»: «Каждый раз, как мне приходилось сталкиваться с каким-либо опубликованным фактом, новым наблюдением или мыслью, которые противоречили моим общим выводам, я обязательно и не откладывая делал краткую запись о них, ибо, как я убедился на опыте, такого рода факты и мысли обычно ускользают из памяти гораздо скорее, чем благоприятные»^[534].

Причина, по которой люди с такой легкостью вступают в спор, по-видимому, заключается в том, что к моменту начала спора основная работа уже проделана. Роберт Триверс изучал регулярные споры, так называемые пересмотры контракта, которые часто возникают в близких отношениях, таких как дружба или брак. Он отметил, что «может показаться, будто спор разразился спонтанно, так сказать, без прелюдий, но по мере того, как он разворачивается, становится очевидно, что вся аргументация уже была подготовлена и ожидала лишь вспышки гнева, чтобы явить себя»^[535].

Дело тут в том, что человеческий мозг настроен на победу в спорах – на то, чтобы убедить в правоте своего владельца всех окружающих, и самого владельца в том числе. Мозг подобен хорошему адвокату: если он берется защищать какие-либо интересы, то старается убедить весь мир в их нравственной и логической ценности, независимо от того, есть она или нет. Как и адвокат, человеческий мозг жаждет

победы, а не истины, и полагается скорее на навык, а не на добродетель.

Социологические эксперименты, подтверждающие точку зрения Триверса, проводились задолго до того, как он написал об эгоистичном использовании самообмана. В ходе одного из них людям с твердыми социальными убеждениями были предъявлены четыре аргумента: два «за» и два «против» (и там, и там один весьма правдоподобный, другой неправдоподобный до нелепости). Оказалось, что люди чаще запоминали правдоподобные аргументы «за» и неправдоподобные аргументы «против» – то, что подтверждает правильность их убеждений и глупость альтернативы^[536].

Можно предположить, что, будучи рациональными существами, мы в конечном счете должны бы усомниться и задаться вопросом, почему всегда, в любом споре – о льготах, деньгах, манерах, чем угодно – мы всегда оказываемся правыми? Но нет, ничего подобного. Снова и снова, споря за место в очереди, за должность, которую никак не получим, или за компенсацию в аварии, мы поражаемся слепоте людей, которые осмеливаются предположить, что наше возмущение не оправданно.

Дружба и коллективная нечестность

В психологической литературе, предшествующей современному дарвиновскому взгляду на обман и поддерживающей его, выделяется одно емкое понятие – *бенэффектанс*. Оно было предложено в 1980 году психологом Энтони Гринвальдом для описания склонности людей толковать события в более выгодном для себя свете, ставить себе в заслугу успешные результаты, отрицая свою ответственность за неудачи. В этом стремлении четко прослеживается давление как реципрокного альтруизма, так и социальной иерархии^[537].

Был проведен такой эксперимент: группе людей предлагали командное задание, а затем спрашивали каждого участника, какую роль в общем деле он сыграл. Если человеку предварительно сообщали, что задание было выполнено успешно, то он, как правило, преувеличивал свою роль. Если говорили, что команда потерпела

неудачу, то приуменьшал^[538]. Такое поведение (присвоение славы и разделение вины) абсолютно оправданно с точки зрения эволюции: помогая другим членам команды, человек хочет казаться отзывчивым, чтобы потом получить благодарность, и в то же время он хочет казаться эффективным, чтобы заслужить высокий статус.

Одна из главных побед сторонников Дарвина случилась в 1860 году, когда Томас Гексли, получивший прозвище «бульдог Дарвина», победил епископа Сэмюэля Уилберфорса в дебатах по «Происхождению видов». Уилберфорс саркастически поинтересовался у Гексли, по какой линии тот произошел от обезьяны, и он парировал, что предпочел бы иметь предком «ничтожную обезьяну», чем человека, «богато одаренного природой и обладающего большим влиянием, но при этом использующего свои способности и влияние с единственной целью: превратить серьезную научную дискуссию в балаган». По крайней мере, именно так Гексли пересказал историю Дарвину, и именно в таком виде она попала в анналы истории.

Однако близкий друг Дарвина Джозеф Гукер, также присутствовавший на диспуте, вспоминал произошедшее по-другому. Он написал Дарвину, что Гексли «не мог ни достаточно возвысить голос, ни завладеть вниманием аудитории; он не оспаривал слабые аргументы епископа Уилберфорса и не излагал собственные так, чтобы заручиться поддержкой аудитории». Далее Гукер сообщил, что, к счастью, он сам не растерялся и сразил Уилберфорса («Я разделал его под гром аплодисментов»), вышел и показал всем, что «он не читал вашу книгу» и «совершенно не разбирается» в биологии. Раздавленный Уилберфорс «не нашел ни одного слова в ответ; и собрание было распущено после четырех часов сражения, оставив вас победителем». После дебатов, по уверению Гукера, его «поздравили и подарили самую черную мантию и самый белый шарф в Оксфорде». Между тем Гексли уверял, что это он, а не Гукер, был «самым популярным человеком в Оксфорде в течение двадцати четырех часов после сражения»^[539]. Эти двое рассказывали совершенно разные истории, но преследовали одну цель – заслужить одобрение Дарвина и вызвать его признательность.

Еще один яркий пример пересечения реципрокного альтруизма и иерархической структуры – наша готовность отказаться от стремления выкачать из другого побольше вложений, если этот другой обладает

высоким статусом. К примеру, имея знаменитого друга, мы с радостью принимаем от него даже скромные подарки, прощаем ему небольшие обиды и прикладываем усилия, чтобы не подвести его. С одной стороны, вроде бы все справедливо: мы усмиряем свой эгоцентризм и выравниваем баланс. Но дело в том, что при подобном раскладе люди, превосходящие нас по статусу, ценят нас еще меньше, так как своим смирением мы как бы обесцениваем свои вклады. Однако даже подобная несправедливость обычно не заставляет нас рвать эти отношения, так как возможные выгоды перевешивают издержки. В трудную минуту высокостатусный друг может выручить нас, даже не прикладывая для этого особых усилий: альфа-самец у обезьян может защитить союзника, просто посмотрев искоса на потенциального обидчика; высокопоставленному покровителю достаточно сделать один телефонный звонок, чтобы открыть любые двери для своего протеже.

При таком подходе социальная иерархия и реципрокный альтруизм не просто пересекаются, они сливаются. Статус становится одним из ресурсов, которыми человек оперирует при ведении торгов, или, если точнее, ресурсом, который увеличивает ценность всех прочих ресурсов. Обладая им, человек может оказывать большие услуги при минимуме усилий.

Статус и сам может являться такой услугой. Когда мы обращаемся к друзьям за помощью, мы часто просим их не только употребить свой статус, но и поднять наш статус по ходу дела. Шимпанзе Арнема активно пользуются простой схемой: шимпанзе А помогает шимпанзе В отразить атаку претендента и поддерживает тем самым его статус, позднее шимпанзе В отплачивает помощнику своим покровительством. У людей такая поддержка также существует, но она менее очевидна и, кроме баров, подростковых тусовок и других мест, перенасыщенных тестостероном, осуществляется скорее при помощи слов, чем мускулов. Причем правдивость этих слов особого значения не имеет. Человек обращается к друзьям не для того, чтобы услышать от них правду, а для того, чтобы услышать то, чего ему хочется.

Вопрос о том, укоренена ли в подсознании эта предвзятость по отношению к друзьям, пока еще не изучен. Ответить на него исключительно положительно нельзя, ведь тогда непонятно, как

интерпретировать факты предательства. Но и отрицать сложно, ведь глубокая взаимная предвзятость нередко является признаком самой крепкой и долгой дружбы: взгляд настоящих друзей друг на друга объективным не назовешь. Как бы то ни было, дружба связывает отдельные узлы эгоистичной нечестности в сети коллективной нечестности. Себялюбие порождает общество взаимного восхищения.

Вражда разделяет общество на два лагеря, питающих взаимное отвращение. Если у вашего настоящего друга есть настоящий враг, вам придется также признать его врагом – именно так и осуществляется поддержка статуса. А этот враг вместе со своими друзьями будет ненавидеть не только вашего друга, но и вас. Это не жесткая модель, но четкая тенденция. Все мы интуитивно чувствуем, что не стоит поддерживать тесную дружбу с двумя открытыми врагами.

Вражда, кстати, также является темным порождением социальной иерархии и реципрокного альтруизма. Она вырастает из конкуренции, взаимного, несовместимого стремления к статусу и демонстрирует изнанку реципрокного альтруизма (по меткому замечанию Триверса, взаимный альтруист помнит всех, кто воспользовался его поддержкой, а сам ничем не отплатил, и впредь воздерживается помогать этим людям или активно им мстит).

У людей вражда, в отличие от шимпанзе, может ограничиваться словесными перепалками, не переходя в драку. Что обычно делает человек, когда кто-то идет с ним на конфликт, или поддерживает его врагов, или отказывается поддержать его в ответ? Говорит про обидчика гадости. А чтобы сделать это максимально убедительно, сам старается поверить в то, что обидчик невежественный, глупый или, еще лучше, плохой, нравственно неполноценный, опасный для общества человек. В книге «Выражение эмоций у человека и животных» Дарвин уловил морально нагруженную природу вражды: «Немногие, однако, могут долго думать о ненавистном человеке без того, чтобы не чувствовать и не проявлять в той или иной форме негодования или ярости»^[540].

Сам Дарвин, естественно, в драки не лез, но уколоть словом мог. Во время учебы в Кембридже он познакомился с энтомологом Леонардом Дженинсом, который, как и сам Дарвин, коллекционировал жуков. Несмотря на естественную конкуренцию, эти двое вполне могли стать друзьями и союзниками. Дарвин сделал первый шаг к сближению и

подарил Дженинсу «достаточно много насекомых», что тот «весьма оценил». Когда же Дарвин попросил у нового знакомого жука-могильщика, тот отказал, «хотя у него было семь или восемь экземпляров». Пересказывая эту историю своему кузену, Дарвин упомянул не только эгоизм Дженинса, но и его «слабые умственные способности». Тем не менее через восемнадцать месяцев он уже отзывался о Дженинсе как о «превосходном натуралисте». Вероятно, не в последнюю очередь потому, что тот подарил ему «великолепный экземпляр семейства двукрылых»^[541].

Когда в результате поддержки друзей вражда перерастает из индивидуальной в коллективную, самообман растет и вероятность насилия повышается. Вот в качестве примера фраза из «Нью-Йорк таймс»: «За неделю обе стороны сочинили очень эмоциональные истории, объясняющие их позицию, – этакie субъективные оправдания, излагаемые с горячечной убежденностью, но не выдерживающие внимательной проверки»^[542]. Она взята из статьи о том, как израильские солдаты расстреляли палестинских мирных жителей. Каждая сторона утверждала, что конфликт развязал противник. Эта фраза, на мой взгляд, точно описывает любые столкновения, независимо от их давности и масштаба, и рассказывает огромную часть истории человечества.

Психические механизмы, провоцирующие современные войны – патриотический пыл, массовая уверенность в своей правоте, заразительная ярость, – обнаруживаются эволюционистами в разных эпохах и обществах. Крупномасштабные акты агрессии, к сожалению, не редкость для нашего вида. Они давали эволюционные преимущества победителям, которые получали возможность свободно насиловать и похищать женщин противника^[543]. Не исключено, что психология войны сформировалась под воздействием постоянных конфликтов, однако, на мой взгляд, их роль второстепенна^[544]. Чувства вражды, обиды, справедливого негодования, как индивидуальные, так и коллективные, вероятно, имеют глубочайшие корни в древнейших конфликтах между группами людей и приматов, и в особенности в конфликтах между коалициями мужчин, борющихся за статус.

Групповые интересы

Склонность друзей не любить врагов друг друга часто остается неостребованной, потому что одним из самых сильных стимулов к началу и поддержанию дружбы является наличие общего врага (замечено, что в «Дилемме заключенного» двое игроков действуют более сплоченно в присутствии человека, к которому оба испытывают неприязнь)^[545].

В современном обществе эта стратегическая выгода дружбы размывается. Люди предпочитают сближаться не перед лицом общих врагов, а на почве общих интересов, таких как хобби, спорт, музыка, кинематограф. Однако вероятно, что тяга к особям со схожими интересами возникла в контексте, когда общие интересы были более насущными и определяли, скажем, кто возглавит племя или как будет разделено мясо. Иными словами, тяга могла развиваться как способ цементирования плодотворных тактических союзов и лишь позднее распространилась на кино и музыку. Это объясняет абсурдную серьезность споров по поводу, казалось бы, несущественных вопросов. Иначе с чего бы вдруг на приятном званом обеде может воцариться натянутая атмосфера при обсуждении фильмов Джона Хьюстона?

Более того, часто оказывается, что за «несущественными вопросами» стоят реальные ставки. Возьмем для примера двух социологов, тяготеющих к эволюционизму. На первый взгляд их связывают чисто интеллектуальные интересы – исследование эволюционных основ человеческого поведения. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что они разделяют еще и общий тактический интерес: им обоим надоело терпеть безразличие или нападки научной элиты, надоело бороться с догмами культурного детерминизма, господствующего на многих факультетах антропологии и социологии. Они оба хотят издаваться в крупных, уважаемых журналах, преподавать в лучших университетах. Они хотят власти и высокого положения в обществе, а для этого им надо свергнуть господствующий режим.

Правда, даже если они достигнут своей цели (свергнут режим, станут знамениты, будут публиковаться огромными тиражами), особых эволюционных преимуществ они не получают. Они вряд ли

станут конвертировать новообретенный высокий статус в секс, а если и станут, то, скорее всего, будут пользоваться контрацепцией. Однако на протяжении всей нашей эволюции, за исключением нескольких последних столетий, статус конвертировался в эволюционную валюту более эффективно. Сей факт, несомненно, оказал глубочайшее влияние на структуру интеллектуального дискурса, особенно среди мужчин.

В следующей главе мы его рассмотрим подробнее на примере интеллектуального дискурса, сделавшего Дарвина знаменитым. А пока просто отметим восторг Дарвина, когда в 1846 году он обнаружил общие научные интересы с Джозефом Гукером, который, спустя десятилетие с небольшим, стал его союзником в научном сражении и сделал многое для повышения его социального статуса. «Какая чудесная вещь, общность вкусов, – писал Дарвин Гукеру, – мне кажется, будто я знаю вас уже полвека»^[546].

Глава 14

Триумф Дарвина

Эта тема увлекла меня, но я бы хотел меньше заботиться о суетной славе, как прижизненной, так и посмертной; впрочем, и вовсе отказаться от нее я не готов – все же, насколько я себя знаю, я бы работал столь же упорно, но с меньшим удовольствием, если бы понимал, что книга будет издана анонимно.

Из письма Дарвина У. Д. Фоксу^[547].

Дарвина можно назвать идеальным экземпляром нашего вида. Он отлично преуспел в самом человеческом деле – манипулировании социальной информацией в личных интересах. Предложенная им версия появления человека и других живых организмов получила широкое распространение и подняла его на вершину социального олимпа. Когда Дарвин умер в 1882 году, его похоронили в Вестминстерском аббатстве, недалеко от могилы Исаака Ньютона^[548], на территории альфа-самцов, и все газеты мира оплакивали его кончину и восхваляли его гениальность. И не только. Лондонская «Таймс» писала: «Несмотря на все его величие и мощь его ума, он обладал приветливейшим характером, который привлекал к нему многочисленных друзей и очаровывал всякого, кто имел счастье с ним встретиться»^[549]. До самого конца Дарвин сохранял свою легендарную неприязнательность. Местный гробовщик вспоминал: «Я сделал для него такой гроб, какой он хотел, грубый, будто только с верстака, без полировки, без украшений», однако после внезапного переноса похорон в Вестминстерском аббатстве «мой гроб не потребовался, и они отослали его назад. Другой гроб блестел так, что, глядя в него, можно было бриться»^[550].

В этом, собственно, и заключался парадокс личности Чарльза Дарвина. Он добился мировой известности, казалось бы, не имея характерных черт, необходимых для грандиозного социального триумфа. Как выразился его биограф Рональд Кларк, он «мало походил на человека, которому суждено оставить след в вечности, так как обладал редкой порядочностью, которая не позволяет идти к цели по головам»^[551].

Утверждение о том, что Дарвин просто выдвинул верную теорию происхождения человека, не разрешает этот парадокс, поскольку он был отнюдь не единственным и даже не первым, кто это сделал. Альфред Рассел Уоллес самостоятельно пришел к концепции естественного отбора и начал писать о ней еще до того, как Дарвин опубликовал свой труд. Версии Дарвина и Уоллеса были официально обнародованы в один день на одном ученом совете, но сегодня о Дарвине знают все, а о Уоллесе – единицы. Почему Дарвин победил?

В десятой главе мы частично объяснили, как безусловная порядочность Дарвина могла сочетаться с его громкой славой – все-таки он жил в обществе, где благородство было обязательным условием социального успеха. Моральная репутация значила очень многое.

Однако не все так просто. При более внимательном изучении длинного и извилистого пути Дарвина к славе становится очевидно, что привычные представления о нем, как о человеке, лишенном амбиций, презиращем макиавеллизм и не испорченном славой, не вполне соответствуют действительности. В свете новой эволюционной парадигмы он предстает скорее не как святой, а как самец-примат.

Честолюбие

С самого раннего возраста Дарвину были не чужды амбиции – обязательный компонент социального успеха. Он конкурировал за статус и жаждал признания. «Мой успех... в изучении плавунцов вполне неплох, – писал он кузену из Кембриджа. – Думаю, моя коллекция Colymbetinae больше, чем у Дженинса». Когда упоминание

об экземпляре, пойманном им, появилось в книге энтомолога Джеймса Френсиса Стивенса «Изображения британских насекомых» (Illustrations of British insects), он написал: «Вы увидите мое имя в последнем томе Стивенса. Я доволен, что утер нос Дженинсу»^[552].

Представление о Дарвине как о типичном молодом самце, одержимом жаждой победы, несколько противоречит привычным воззрениям. Джон Боулби описывал Дарвина как человека, «постоянно недовольного собой», «склонного принижать собственные достижения», «постоянно опасющегося критики от других и от самого себя», «преувеличенно почтительного к авторитету и мнению других»^[553]. Не слишком похоже на поведение альфа-самца, не правда ли? Но вспомним, что в группах шимпанзе часто (а в человеческих обществах почти всегда) социальный статус не повышается в одиночку. Как правило, первым шагом к восхождению становится заключение союза с особью более высокого ранга, для чего требуется уметь демонстрировать подчиненное положение. Один из биографов Дарвина так описывал его мнимую патологию: «Недоверие самому себе и отсутствие уверенности заставляли его подчеркивать собственные недостатки, особенно при общении с авторитетными личностями»^[554].

В автобиографии Дарвин вспоминал про то, как, будучи подростком, «сиял от гордости», когда узнал, что один выдающийся ученый после беседы с ним сказал: «В этом молодом человеке есть что-то такое, что заинтересовало меня», но тут же добавил: «Этим отзывом я обязан, должно быть, главным образом тому, что он заметил, с каким огромным интересом я вслушиваюсь буквально в каждое его слово, – а я был невежественен, как поросенок, в тех вопросах истории, политики и морали, которых он касался»^[555]. Здесь, как обычно, Дарвин скромничает, но, похоже, догадывается, что как раз это качество и помогло ему пробиться наверх, так как продолжает: «Думаю, что похвала со стороны выдающегося человека – хотя может возбудить и даже несомненно возбуждает тщеславие – полезна для молодого человека, так как помогает ему держаться правильного пути»^[556]. Да, правильного – наверх.

Скромность Дарвина, безусловно, была тактической, но не лицемерной. Почтительное отношение к людям, стоящим на

ступеньку выше по социальной лестнице, приносит наибольшие плоды, когда человек полностью ему отдается и не осознает конечной цели. Мы испытываем истинное благоговение перед теми, чье расположение сулит нам выгоды. Томас Карлайл, один из современников Дарвина и его знакомый, был, вероятно, прав, утверждая, что преклонение перед героями – неотъемлемая часть человеческой природы. И, видимо, не случайно поклонение набирает обороты, когда начинается настоящая социальная конкуренция. Как заметил один психиатр, «юность – время поиска новых идеалов... Подросток ищет модель, совершенный образец для подражания. Он как младенец, который еще не осознал несовершенство родителей»^[557].

Это правда, благоговение перед идеалом во многом подобно благоговению перед родителями в раннем детстве и, вероятно, обусловлено той же нейрхимией. Однако теперь его роль не ограничивается поощрением подражательного поведения; оно помогает младшим заключить союз со старшими (свой низкий статус они компенсируют повышенным почтением).

Во время обучения в Кембридже наибольшее почтение Дарвин выказывал своему профессору, преподобному Джону Стивенсу Генсло: «Еще до того, как я оказался в Кембридже, мой брат говорил мне о нем, как о человеке, сведущем во всех областях науки, и я был таким образом подготовлен к тому, чтобы отнести к нему с благоговением»^[558]. Уже сведя с ним знакомство, Дарвин писал, что это «наиболее совершенный человек из тех, с кем я когда-либо встречался»^[559].

Благодаря почтительности Дарвин сблизился со своим кумиром и почти ежедневно совершал с ним длительные прогулки, вследствие чего «некоторые члены Колледжа называли меня «Тот, который гуляет с Генсло». Эти отношения строились по тем же законам, что и миллионы подобных отношений между особями мужского пола нашего вида: Дарвин пользовался опытом, советами и социальными связями Генсло и платил ему подобострастием, например, приходил на лекции заранее и помогал устанавливать оборудование^[560].

Как тут не вспомнить описанную Джейн Гудолл историю «необычных отношений» молодого шимпанзе Гоблина с альфа-самцом Фиганом: «Гоблин тянулся к Фигану. Он проводил с ним

больше времени, чем с любым другим взрослым самцом, и эта тесная связь длилась на протяжении всех его подростковых лет. Гоблин с большим уважением относился к своему «герою», всюду следовал за ним, наблюдал, чем тот занимается, и часто обыскивал его»^[561]. Возмужав и набравшись опыта, Гоблин пошел против своего «учителя», сместил его и сам стал альфой. Однако до момента обретения независимости он, вероятно, питал искреннее уважение к Фигану. Так и мы: наша оценка значимости человека (его профессионального уровня, моральных качеств и т. д.) неизбежно зависит от того, какое место в нашей жизни он занимает. И мы с готовностью закрываем глаза на те качества, которые нам бы не хотелось признавать.

Благоговение Дарвина перед Генсло – не самый показательный пример такой слепоты, все-таки профессором восхищались многие. Другое дело – капитан «Бигля» Роберт Фицрой. Уже идя на собеседование, где должно было решиться, поплывет ли он на «Бигле», Дарвин был готов благоговеть перед Фицроем, человеком, от которого зависела его дальнейшая судьба. После встречи Дарвин написал своей сестре Сьюзан: «Бесполезно расхваливать его так, как мне хотелось бы, ибо ты все равно мне не поверишь». В своем дневнике он, уже не сдерживаясь, называл Фицроя человеком, «настолько совершенным, насколько может создать природа». Генсло (который помог ему попасть на «Бигль») он написал, что «в капитане Фицрое все вызывает восхищение»^[562].

Потом, годы спустя, Дарвин будет описывать Фицроя как «мастера воспринимать все и вся в искаженном виде», но тогда он уже мог себе это позволить, а в молодости ему было не до разглядывания недостатков капитана, спрятанных за благопристойным светским фасадом. В молодости он был преисполнен почтения и приязни. Вечером после собеседования, когда Дарвин расхваливал Фицроя в письмах к друзьям и родственникам, тот просил утвердить почтительного юношу натуралистом экспедиции и писал военноморскому офицеру: «Мне весьма нравится все, что я вижу и слышу о нем». А Дарвин уверял Сьюзан: «Надеюсь, я сужу о капитане рационально и не предвзято»^[563]. Хотя на деле он рационально преследовал долгосрочную личную выгоду посредством краткосрочной предвзятости.

Под конец плавания произошло событие, давшее возможность Дарвину впервые ощутить вкус настоящей профессиональной победы. Он был на острове Вознесения, когда получил письмо от Сьюзан, в котором она рассказывала о том, с каким интересом Геологическое общество Лондона восприняло его научные наблюдения и заметки. Именитый кембриджский геолог Адам Седжвик даже предсказал, что когда-нибудь Дарвин «обретет громкое имя среди натуралистов Европы». Пока еще точно не выяснено, какие нейромедиаторы выделяются при получении новостей о подъеме статуса (не исключено, что серотонин, который мы уже рассматривали), однако Дарвин описал эффект очень красочно: «Прочитав это письмо, я вприпрыжку взлетал на горы острова Вознесения и будоражил вулканические породы громким стуком моего геологического молотка»^[564]. В ответном письме сестре он пообещал, что теперь его жизненным кредо будет: «Человек, посмеявшийся потратить впустую хотя бы один час, не ценит жизнь».

Повышение статуса обычно ведет к переоценке социального окружения. Фигуры, которые раньше находились в центре, смещаются на периферию, а их место занимают более яркие светила, которые прежде казались недостижимыми. И хотя Дарвин не стал исключением, но проделал он это весьма тактично и неблагодарностью никого не обидел. Первые намеки на пересмотр социальных ориентиров появляются уже во время плавания на «Бигле». Уильям Фокс, старший кузен Дарвина, познакомил его с энтомологией (и Генсло). Во время учебы в Кембридже Дарвин с большой для себя пользой обменивался с братом знаниями о насекомых и экземплярами коллекций. В письмах Дарвин обычно принимал привычную позу «подобострастного подчинения». Он писал: «Не стоило посылать это постыдно глупое письмо, но мне не терпится узнать о вас и о насекомых». Иногда он напоминал Фоксу: «Я так долго и тщетно надеялся получить письмо от моего старого учителя». И просил помнить, что «я ваш ученик»^[565]. Через шесть лет, когда исследования на борту «Бигля» сделали Дарвина знаменитым, положение кардинально изменилось. Теперь Фокс вдруг стал извиняться за «глупость» своих писем, просить поскорее прислать ответ и утверждать, что «каждый день вспоминает» о брате. «Я так давно не получал от вас писем, что буду рад любой весточке. Я знаю,

однако, что ваше время дорого, а мое ничего не стоит, и в этом большая разница»^[566]. Такое смещение баланса – обычная вещь при резком изменении статуса одного из друзей. Расстановка сил меняется и влечет за собой пересмотр условий негласного социального договора. У наших предков подобные пересмотры, скорее всего, случались реже: судя по обществам охотников-собирателей, иерархии во взрослом возрасте были менее текучи, чем теперь^[567].

Союз с Лайелем

Джон Генсло, кембриджский наставник Дарвина, оставался его главным связующим звеном с британским научным сообществом во время плавания на «Бигле». Геологические заметки Дарвина, столь впечатлившие Седжвика, были не чем иным, как выдержками из его писем учителю, которые тот посчитал своим долгом предать огласке. Именно к Генсло, которого Дарвин неизменно называл «мой ректор и учитель», он обратился ближе к концу плавания с просьбой подготовить почву для его вступления в Геологическое общество. По возвращении домой Дарвин первым делом написал Генсло: «Я так хочу с вами увидеться. Вы были мне самым добрым другом, которого только можно пожелать»^[568].

Однако быть главным наставником Дарвина Джону Генсло оставалось недолго. На борту «Бигля» по совету Генсло Дарвин прочел «Основы геологии» Чарлза Лайеля, где тот отстаивал спорную теорию, выдвинутую ранее Джеймсом Геттоном, о том, что геологические формации – это главным образом продукт медленной, постепенной, непрерывной эрозии и разрушения, а не катастрофических событий вроде наводнений (катастрофическая версия пользовалась поддержкой духовенства, так как не исключала божественное вмешательство). Путешествуя на «Бигле», Дарвин нашел свидетельства в пользу теории Геттона (например, что побережье Чили незначительно поднялось с 1822 года) и вскоре сам стал называть себя «пылким последователем» Лайеля^[569].

Как отмечает Джон Боулби, вполне закономерно, что Лайель стал главным наставником и кумиром Дарвина: «Защита одних

геологических принципов стала тем общим делом, которое связало их и которого недоставало в отношениях с Генсло»^[570]. Как мы видели, общие цели укрепляют дружбу. После того как Дарвин поддержал взгляды Лайеля, их статусы оказались связаны: упадет один, упадет и другой, но и подъем будет совместный.

Однако общность интересов была не единственной опорой для взаимно альтруистической связи между Лайелем и Дарвином. У каждого из них были собственные козыри. Дарвин предоставил массу доказательств тех взглядов, которые продвигал Лайель. А Лайель, помимо прочной теоретической опоры, на которой Дарвин мог строить свои исследования, дал младшему коллеге научное и социальное покровительство. Через несколько недель после возвращения «Бигля» Лайель пригласил Дарвина на обед, посоветовал не терять времени и пообещал членство в закрытом клубе «Атенеум»^[571], заявив, что Дарвин «прекрасно дополнит наше общество геологов»^[572].

Несмотря на то что Дарвин был довольно бесстрастным и циничным исследователем человеческой природы, он, казалось, не разглядел за интересом Лайеля расчетливого прагматизма. «Среди крупных ученых никто не был со мной столь дружелюбен и добр, как Лайель. Вы не представляете, с каким участием он принял все мои планы»^[573], – писал он Фоксу через месяц после возвращения. Ну что за душка!

Еще раз подчеркну, что своекорыстное поведение необязательно должно опираться на сознательный расчет. В 1950-х годах социальные психологи доказали, что нам нравятся люди, на которых мы можем влиять, а если эти люди еще и имеют высокий статус, то наша симпатия возрастает в разы^[574]. При этом никто обычно не думает «если я смогу влиять на него, то он будет мне полезен – сдружусь-ка я с ним покрепче» или «чем выше статус, тем дороже друг», естественный отбор уже все решил за нас.

Естественно, люди могут дополнять эти «выводы» сознательными размышлениями. Наверняка и Дарвин, и Лайель понимали, что способны быть полезны друг другу, но главным все равно было чувство крепкой и искренней приязни. Думаю, Дарвин не кривил душой, когда писал Лайелю: «Переписка и разговоры о геологии с

вами доставляют мне величайшее удовольствие». Его, без сомнения, подкупила «добродушнейшая манера», с которой Лайель наставлял его, «даже не дожидаясь запроса»^[575].

Полагаю, не менее искренне Дарвин жаловался несколькими десятилетиями позже, что Лайель «очень любил общество, особенно – общество выдающихся людей и лиц высокого положения, и это чрезмерно большое преклонение перед положением, которое человек занимает в свете, казалось мне его главным недостатком»^[576]. Но это было уже после того, как Дарвин добился всемирной известности и обрел четкие профессиональные перспективы, а до этого он был слишком ослеплен величием Лайеля, чтобы обращать внимание на его недостатки.

И снова о промедлении Дарвина

Два десятилетия после возвращения в Англию Дарвин провел весьма своеобразно: сначала открыл естественный отбор, а затем всячески избегал оглашения своего открытия. Мы разобрали несколько теорий, объясняющих это промедление. Подход эволюционной психологии ни в коей мере не отменяет, а скорее дополняет и подкрепляет их.

Начнем с того, что Дарвина одолевали две силы: одна из которых подталкивала его к публикации, а другая отвращала от нее.

Первая – врожденная тяга к признанию, которая не была чужда Дарвину. Выдвинуть революционную теорию – верный способ добиться славы. Но что вдруг, если ее не примут? Решительно отметут как угрозу обществу? Тогда лучше не высываться. Во все века продвижение непопулярных взглядов (тем более без поддержки сильных мира сего) не давало генетических преимуществ, и это мягко сказано.

Стремление людей говорить то, что нравится большинству, было известно задолго до того, как ученые объяснили его эволюционную природу. В известном эксперименте 1950-х годов многие участники с удивительной готовностью выносили неверное – очевидно неверное! – суждение о длине двух линий, если в комнате было много людей,

считавших именно так^[577]. Кроме того, психологи обнаружили, что стремление человека высказывать собственное мнение напрямую зависит от благосклонности слушателя^[578]. Еще один эксперимент, проведенный примерно в то же время, показал, что информация, запоминаемая человеком, зависит от того, с какой аудиторией ему предстоит ею поделиться: испытуемым показывали список аргументов «за» и «против» увеличения зарплаты учителей; те участники, которым предстояло выступать перед налогоплательщиками, как правило, запоминали аргументы «против», те, которым предстояло общаться с учителями, – «за». Авторы эксперимента заключили, что «вероятно, значительную часть мыслительной деятельности человека полностью или частично составляет воображаемое общение с воображаемой или реальной аудиторией, и это способно оказывать влияние на то, что он помнит и во что верит в текущий момент»^[579]. Это полностью сопласуется с эволюционным взглядом на человеческую психику. Речь развилась как способ манипулирования людьми в собственных интересах (в данном случае в интересах индивида заручиться поддержкой группы, имеющей четкое мнение), и когнитивная функция, связанная с речью, настраивается соответствующим образом.

В свете сказанного выше промедление Дарвина становится более понятным. Всем нам свойственно сомневаться в себе, когда кругом полно несогласных (особенно если это авторитетные фигуры), и Дарвин не являлся исключением, хотя, возможно, в нем эта склонность была несколько утрирована. Нет ничего удивительного в том, что он предпочел потратить несколько лет на изучение моллюсков вместо того, чтобы вынести на суд общественности теорию, являющуюся, по мнению многих, еретической (сейчас, когда это слово в основном употребляется в ироническом контексте, нам трудно понять, каким серьезным обвинением оно было в ту эпоху). Также нет ничего удивительного в том, что Дарвин в течение многих лет, пока писал «Происхождение видов», часто ощущал беспокойство и подавленность: естественный отбор «предусмотрел», чтобы мы испытывали тревогу при мыслях о чем-то, что может привести к потере общественного признания.

Что действительно удивительно, так это неколебимая вера Дарвина в эволюцию, несмотря на всеобщую враждебность. Преподобный

Адам Седжвик, кембриджский геолог, похвала которого так взволновала юного Дарвина на острове Вознесения, разгромил анонимно изданный в 1844 году труд Роберта Чамберса «Следы естественной истории творения», считающийся одной из первых работ по эволюционной биологии. «Нельзя, чтобы мир перевернулся с ног на голову; мы готовы вести непримиримую войну со всяким нарушением наших скромных принципов и социальных норм»^[580], – писал он. Не слишком ободряет, не правда ли?

Принято считать, что все эти годы Дарвин колебался как лабораторная крыса, которая хочет есть, но знает, что, если притронется к пище, то получит удар током. Спорить не стану, просто приведу еще одну версию, согласно которой Дарвин, занимаясь изучением моллюсков, готовил почву для своего плавного труда по трем стратегическим направлениям.

Во-первых, он укреплял аргументацию. Прикрываясь моллюсками, он продолжал собирать свидетельства в пользу своей теории, в том числе ведя переписку с видными специалистами по флоре и фауне. Он долго и дотошно выискивал слабые стороны теории, чтобы иметь возможность моментально давать отпор любым критикам, что стало одной из причин успеха «Происхождения видов». За два года до публикации он писал: «Думаю, я лучше кого бы то ни было вижу серьезные проблемы моей доктрины»^[581]. Эта тщательность, вероятно, была следствием его неуверенности в себе, легендарной скромности и серьезного страха критики. Фрэнк Саллоуэй, изучавший Фрейда и Дарвина, заключил: «Оба они были революционерами. Дарвин вечно боялся ошибиться и был скромнее до чрезмерности – и выдвинул новую научную теорию, которая успешно выдержала испытание временем. Фрейд, напротив, был чрезвычайно честолюбив и уверен в себе (называл себя «конкистадором» науки) – и предложил подход к изучению человеческой природы, который, по сути, был не чем иным, как компиляцией психобиологических фантазий XIX века, маскирующейся под настоящую науку»^[582].

Анализируя биографию Дарвина, написанную Джоном Боулби, Саллоуэй сделал вывод, который Боулби сделать не сумел: «Логично предположить, что умеренно пониженная самооценка, которая у Дарвина сочеталась с упорным постоянством и неослабевающим трудолюбием, весьма полезна в науке, так как удерживает от

преувеличения оценки собственных теорий. Таким образом, постоянная неуверенность в себе является методологическим признаком хорошей науки, даже если она не особенно благоприятна для психологического здоровья»^[583].

Тут закономерно возникает вопрос: может ли такая полезная неуверенность в себе (как бы болезненна она ни была) быть частью поведенческого репертуара человека, сохраненного естественным отбором из-за того, что в определенных обстоятельствах она способствует повышению социального статуса? Вопрос этот становится еще интереснее, если вспомнить, что отец Дарвина сыграл немалую роль в укреплении неуверенности в себе у сына. Боулби спрашивает: был ли Чарлз «позором семьи, как злобно предрекал ему отец, или все-таки сумел преуспеть?.. На протяжении всей научной карьеры Дарвина, невероятно плодотворной и незаурядной, чувствуется постоянный страх критики и неудовлетворенная жажда признания». Боулби также обращает внимание, что «покорное, примирительное отношение к отцу стало второй натурой Чарлза», и предполагает, что отец отчасти виноват в «преувеличенном» почтении Чарлза к авторитетам и в его «склонности принижать собственные достижения»^[584].

Вероятно, внедряя этот источник пожизненного дискомфорта, Дарвин-старший действовал в соответствии с природной программой, которая заставляет родителей всеми силами стремиться скорректировать психику детей таким образом, чтобы они могли добиться успеха в социуме. Тогда Дарвин-младший, легко усвоивший эту болезненную корректировку, возможно, также действовал в соответствии с природной программой. В эволюционном смысле мы созданы для того, чтобы быть эффективными, а не счастливыми^[585]. Стремление к счастью заложено в нас, и достижение эволюционных целей (секс, статус и так далее) часто сопровождается ощущением счастья, как правило кратковременным. Так что отсутствие счастья – нормальное состояние, которое стимулирует нас к действию. Повышенный страх критики не давал Дарвину расслабиться и поддерживал его продуктивность.

Вероятно, Боулби был прав насчет болезненного отцовского влияния на характер Дарвина, но, скорее всего, ошибался в оценке его патологичности. Конечно, даже то, что не является патологией в

строгом смысле, может быть достойно сожаления и требовать психиатрического вмешательства. Однако такое будет более квалифицированным и эффективным, если уметь отличать «естественную» боль от «неестественной».

Вторым стратегическим направлением было зарабатывание авторитета. Занимаясь изучением моллюсков, Дарвин укреплял свои позиции в науке. Доверие растет вместе с престижем – общеизвестный факт социальной психологии^[586]. Решая, кому верить в вопросах биологии – профессору университета или учителю начальной школы, – мы, несомненно, выберем первого, и будем правы (квалификация профессора гораздо выше). Однако заслуги нашей тут будет мало, это просто еще один произвольный побочный продукт эволюции – рефлексивное почтение к статусу.

Как ни крути, а профессиональная репутация – *полезная штука, когда пытаешься совершить переворот в науке*. Поэтому Дарвин и занялся моллюсками: мало того что он многое узнал и многому научился в процессе исследования, он еще и заработал имя в науке своим четырехтомником об усконогих ракообразных (Cirripedia). Или, как предположил биограф Питер Брент, «возможно... Дарвин не тренировался на Cirripedia, а сдавал сам себе квалификационный экзамен»^[587]. В качестве примера Брент приводит переписку между Дарвином и Джозефом Гукером. В 1845 году Гукер мимоходом назвал сомнительными громкие заявления одного французского ученого и заявил, что тот «сам не знает, что значит быть Натуралистом». Дарвин, что весьма показательно, в ответ на это написал о собственной «самонадеянности в накоплении фактов и размышлениях на тему изменчивости», хотя сам «не описал еще причитающуюся долю видов»^[588]. Год спустя он начал работать над изучением моллюсков.

Возможно, Брент прав. Через несколько лет после выхода «Происхождения видов» Дарвин советовал молодому ботанику: «Пусть теория направляет ваши наблюдения, но до тех пор, пока ваша репутация не укрепитя, воздерживайтесь от ее публикации, так как это вызовет у людей недоверие к вашим наблюдениям»^[589].

Третьим стратегическим направлением была мобилизация социальных сил. Дарвину требовалась мощная коалиция, включающая людей авторитетных, уважаемых и красноречивых. И он их нашел:

Лайель представит его первую статью о естественном отборе Лондонскому Линнеевскому обществу, защитив ее своим авторитетом (хотя сам тогда еще будет скептически к ней относиться)^[590]; Томас Гексли будет лихо противостоять епископу Уилберфорсу в Оксфордских дебатах об эволюции; Джозеф Гукер также будет противостоять Уилберфорсу, хотя и менее лихо, а затем присоединится к Лайелю в популяризации теории; Эйса Грей, гарвардский ботаник, будет продвигать теорию в Америке своими статьями в «Атлантик Мансли». Одного за другим Дарвин будет перетягивать их под свои знамена.

Стоял ли за этим трезвый расчет? Естественно, к моменту публикации «Происхождения видов» Дарвин прекрасно знал, что сражение за правду ведут люди, а не идеи. «У нас небольшая, но крепкая группа достойных людей, причем весьма не старых, – уверял он одного сторонника через несколько дней после публикации. – *В конце концов, мы победим*». Через три недели после выхода книги он написал своему молодому другу Джону Леббоку, которому посылал копию, и спросил: «Вы закончили чтение? Если да, то, прошу вас, скажите, со мной вы в главном или против меня». В постскриптуме он уверил: «На моей стороне – вернее, я хочу и надеюсь, что могу говорить – на нашей стороне много отличных людей»^[591] (в переводе на язык эволюционной психологии это значит: если примкнете к нам, то станете членом победившей коалиции самцов-приматов).

Умоляя Лайеля о поддержке, Дарвин может казаться сентиментальным, но на деле он сугубо прагматичен. Он четко понимал, что для победы будет важно не только количество его союзников, но и их репутация. 11 сентября 1859 года он писал: «Помните, что сейчас ваш вердикт больше, чем моя книга, может повлиять на судьбу воззрений, которых я придерживаюсь: будут ли они признаны или отвергнуты»; 20 сентября: «Ваш вердикт более важен для меня и для всех остальных, чем мнение пусть даже дюжины других человек, поэтому неудивительно, что я так тревожусь»^[592].

Однако Лайель не торопился выносить окончательное суждение. Ожидание утомило Дарвина и довело почти до отчаяния. В 1863 году он написал Гукеру: «Я глубоко разочарован (без личной обиды) его робостью, которая не дает ему вынести решение... И ирония в том, что он думает, будто действовал с храбростью древнего

мученика»^[593]. Однако, если разобраться, в контексте реципрокного альтруизма Дарвин просил от старшего друга слишком много. Лайелю к тому времени было шестьдесят пять лет, он уже успел оставить заметный след в науке и от поддержки чужой теории при любом раскладе много не выигрывал, а вот проиграть от причастности к радикальной доктрине мог, причем по-крупному, если бы впоследствии ее признали ложной. К тому же в свое время Лайель выступал против эволюционизма в его ламарковском изводе и, следовательно, мог бы быть обвинен в непостоянстве. Теория Дарвина не объединила этих двоих и не стала их «общим делом», как когда-то теория самого Лайеля, но долгов у Лайеля перед Дарвином не было, он еще раньше сполна оплатил молодому союзнику за поддержку. Дарвин, похоже, как-то по-своему понимал дружбу или вел собственную эгоцентричную бухгалтерию.

Тот факт, что Дарвин спешно вербовал союзников с 1859 года, конечно, не доказывает, что он в течение многих лет вынашивал стратегические планы. Его союз с Гукером вообще начинался еще в 1840-е годы как простая дружба, основанная на общих интересах и ценностях и освященная взаимной искренней симпатией^[594]. Когда оказалось, что Гукер допускает возможность эволюции, привязанность Дарвина наверняка углубилась, однако не стоит полагать, будто он уже тогда рассчитывал, что Гукер станет страстным защитником его теории. Привязанность, основанная на общих интересах, – это косвенное признание естественным отбором тактической полезности друзей.

Не меньший восторг вызывали у Дарвина честность и порядочность Гукера («Сразу видно благородного человека»^[595]). Да, надежность Гукера оказалась очень кстати. Дарвин зачитывал ему отрывки из своей книги задолго до публичного обсуждения естественного отбора. Однако это означает, что с самого начала Дарвин сознательно искал себе друга с такими качествами. В ходе естественного отбора развилось подсознательное влечение к людям, которые будут надежными партнерами с точки зрения реципрокного альтруизма. Во всех культурах доверие (наряду с общим интересом) является непременным условием дружбы.

Импульсивные поиски Дарвином надежного союзника, а затем, по мере приближения момента публикации книги, и его стремление

заручиться поддержкой Лайеля, Грея, Гексли и других имели под собой не только сознательные, но и эволюционные резоны. «Не думаю, что я настолько храбр, чтобы выдержать всеобщее осуждение без поддержки»^[596], – написал он через несколько дней после публикации «Происхождения видов». Да и кто бы смог? Ни один человек (и ни один примат) не решится пойти против существующего порядка, не заручившись социальной поддержкой.

Представьте, сколько раз со времен нашего обезьяньего прошлого успех социальных переворотов зависел от способности претендента сколотить крепкую коалицию и сколько раз они терпели неудачи из-за излишней поспешности или недостаточной скрытности. И еще представьте репродуктивные ставки в этой игре на выживание. Удивительно ли, что любые мятежи во всех культурах начинаются с шепота? Нужно ли объяснять шестилетнему школьнику, что не стоит бросать вызов местному хулигану, предварительно не выяснив, как к нему относятся окружающие? Готов спорить, что, когда Дарвин, с присущей ему нерешительностью («Уверен, вы будете презирать меня»^[597], – писал он Эйсе Грею), впервые доверял свою теорию немногим союзникам, им двигали прежде всего эмоции, а не разум.

Проблема

Величайший кризис в карьере Дарвина случился в 1858 году. Пока он не спеша корпел над своим эпическим манускриптом, вдруг оказалось, что у него есть конкурент, причем весьма бойкий. Альфред Рассел Уоллес открыл теорию естественного отбора – через 20 лет после Дарвина, но уже был готов предать ее огласке.

Поведение Дарвина в этой ситуации полностью соответствует понятию о защите собственной территории, но сделано было все так мягко и под аккомпанемент таких искренних моральных страданий, что до сих пор все считают этот эпизод примером его сверхчеловеческой порядочности.

Уоллес, молодой британский натуралист, недавно вернулся из плавания по миру, как и Дарвин несколькими десятилетиями ранее. Дарвину было известно, что он интересовался происхождением и

распространением видов. Они даже одно время переписывались на эту тему, и Дарвин признался, что у него уже есть «отчетливая, конкретная идея», но заявил, что «изложить мои взгляды в письме решительно невозможно». Вместо того чтобы за столбить за собой первенство, издав короткую статью о сути своей теории, Дарвин продолжал писать свой монументальный труд. «Я не хочу писать только ради того, чтобы быть первым. Хотя, конечно, будет досадно, если кто-то озвучит мои гипотезы раньше меня»^[598], – признавался он Лайелю, который торопил его с публикацией.

Досада настигла Дарвина 18 июня 1858 года, когда ему пришло письмо от Уоллеса с кратким изложением сути его теории эволюции, которая почти полностью совпадала с его собственной. «Его термины стоят в названиях моих глав»^[599], – ужасался Дарвин.

Паника, которая, должно быть, охватила его в тот день, наглядно демонстрирует «изобретательность» естественного отбора. Биохимический механизм паники, вероятно сформировавшийся у наших предков еще в бытность ими рептилиями, в те суровые времена запускался при угрозе жизни и здоровью; теперь же он сработал в совершенно иных условиях – при угрозе статусу, который приобрел значение у наших предков на более позднем этапе развития, в бытность ими приматами. Более того, угроза не носила физический характер, как у тех же приматов. Она была абстрактной, облеченной в слова – символические знаки, за порождение и понимание которых отвечает особая мозговая ткань, появившаяся у нашего вида всего лишь несколько миллионов лет назад. Эволюция, как рачительная хозяйка, берет старые вещи и перелицовывает их на новый лад, адаптирует к текущим потребностям. Сомневаюсь, однако, что Дарвин в тот момент был в состоянии оценить природную красоту своей паники. Он переслал очерк Уоллеса Лайелю, мнением которого тот интересовался, и попросил совета, но сделал это весьма хитроумно, не в лоб: предложил собственный праведный план действий, предоставив возможность Лайелю предложить свой, менее высокодуховный и более действенный: «Пожалуйста, возвратите мне рукопись. Хотя он и не просил меня ее опубликовать, но я, конечно, непременно напишу ему и посоветую отправить ее в какой-нибудь журнал. Я уже не буду первооткрывателем, но книга моя, если она

имеет какую-то ценность, не пострадает, так как суть ее в применении теории»^[600].

Ответ Лайеля на это письмо не сохранился (что весьма странно, учитывая фанатичную аккуратность, с которой Дарвин собирал корреспонденцию), но, видимо, сумел пошатнуть добродетельность Дарвина. Поскольку в ответ на него он написал: «В очерке Уоллеса нет ничего, что уже не было бы изложено в более полном виде в моем очерке, написанном в 1844 году и прочитанном Гукером несколько десятков лет назад. Примерно год назад я послал короткий очерк с изложением моих взглядов (копия у меня имеется) ... Эйсе Грею, так что я могу уверенно сказать и доказать, что не позаимствовал ничего у Уоллеса».

После этого на глазах у Лайеля начинает разворачиваться эпическая схватка Дарвина со своей совестью. Вот что Дарвин написал своему старшему другу [в скобках рискну привести эволюционный подтекст]: «Я был бы очень рад сейчас издать статью с кратким изложением моих взглядов, страниц на десять, но не могу убедить себя, что это будет честно. [Постарайтесь переубедить меня.] Уоллес ничего не говорит о публикации; прилагаю его письмо. Я не собирался издавать статью, и могу ли я теперь сделать это, не потеряв лица, после того, как Уоллес прислал мне тезисы своей теории? [Скажите «да», умоляю] ... Считаете ли вы, что его очерк связывает мне руки? [Скажите «нет», умоляю] ... Я мог бы послать Уоллесу копию моего письма Эйсе Грею, чтобы доказать ему: я не украл его теорию. Но решиться издать это сейчас я не могу, а вдруг получится подло и жалко. [Разубедите меня]». В постскриптуме, приписанном на следующий день, Дарвин снял с себя всякую ответственность и переложил ее на Лайеля: «Я всегда считал, что из вас бы вышел первоклассный лорд-канцлер, и теперь я обращаюсь к вам, как к верховному судье»^[601].

Страдания Дарвина усугублялись тяжелой обстановкой дома: дочь Генриетта слепла с дифтерией, а слабоумный сын Чарлз Уоринг подхватил скарлатину, от которой вскоре и умер.

Лайель посоветовался с Гукером, который уже был в курсе, и эти двое решили дать обеим теориям равные шансы и посмотреть, какая возьмет верх. План был такой: представить на ближайшем собрании Лондонского Линнеевского общества очерк Уоллеса вместе с отчетом

Дарвина, посланным Эйсе Грею, и его же наброском 1844 года, переданным Эмме, чтобы затем все это было напечатано вместе. Любопытно, что свой отчет Дарвин послал Грею буквально через пару месяцев после того, как заверил Уоллеса, что изложить теорию «в письме решительно невозможно». Почувствовал ли он, что молодой конкурент наступает ему на пятки, и решил задокументировать свое первенство? Мы этого никогда не узнаем.

Собрание общества было на носу. В это время Уоллес работал на Малайском архипелаге, и Лайель с Гукером решили не ставить его в известность. Дарвин не возражал. Когда Уоллес узнал о произошедшем, он испытал эмоции, схожие с теми, которые нахлынули на юного Дарвина, когда он узнал об одобрении его геологических изысканий мэтром Адамом Седжвиком. Уоллес тогда только начинал, мечтал сделать себе имя, но был не уверен в своих силах. И тут выяснилось, что известные ученые представляли его работу перед влиятельным научным обществом. Он с гордостью написал своей матери: «Я послал м-ру Дарвину очерк по теме, над которой он сейчас работает. Он показал его доктору Гукеру и сэру Чарлзу Лайелю, которые оценили ее настолько высоко, что сразу прочли перед Линнеевским обществом. Думаю, я могу рассчитывать на знакомство и помощь этих выдающихся людей, когда вернусь домой»^[602].

Пятно на совести Дарвина

По мне, это один из самых тягостных и неловких эпизодов в истории науки. Уоллеса ободрали как липку. Да, его имя поставили рядом с блестящим именем Дарвина, но он от этого не выиграл, наоборот, ушел в тень. Никто не обратил внимания на то, что какой-то молодой выскочка объявил себя эволюционистом и выдвинул теорию эволюции. То ли дело известный и уважаемый Чарлз Дарвин. Это стало сенсацией. И даже если у кого-то и были сомнения насчет того, чье имя должна носить теория, они моментально развеялись, когда Дарвин, более не мешкая, представил на суд публики свой монументальный труд.

Чтобы исключить любые недоразумения относительно масштаба фигур, Гукер и Лайель, представляя рукописи Линнеевскому обществу, особо подчеркнули: «Пока весь научный мир ожидает завершения труда м-ра Дарвина, мы решили познакомить общественность с некоторыми ключевыми результатами его работы, а также с выводами его способного корреспондента»^[603].

Несомненно, найдутся те, которые скажут, что слава Дарвина и забвение Уоллеса вполне заслуженны^[604]: Дарвин открыл принцип естественного отбора задолго до Уоллеса. Однако факт остается фактом: в июне 1858 года Уоллес первым написал очерк о естественном отборе и был готов опубликовать его. Отправь он его в журнал, а не Дарвину, мы бы помнили его сегодня, как первого человека, выдвинувшего теорию эволюции путем естественного отбора^[605]. И книга Дарвина, строго говоря, считалась бы уже просто дополнением его идей. Чье имя тогда носила бы теория? Мы уже не узнаем.

Как бы то ни было, с самым суровым моральным испытанием в своей жизни Дарвин справился блестяще. Сравните альтернативы: они могли опубликовать только версию Уоллеса, могли написать Уоллесу и предложить публикацию, как изначально хотел Дарвин, и, возможно, даже без упоминания его теории, могли попытаться предложить Уоллесу совместную публикацию (но он вряд ли бы на это пошел). Был и еще один вариант, самый выигрышный, единственный из всех гарантирующий, что естественный отбор войдет в историю науки как теория Дарвина, – тот, который они в конце концов и выбрали: издать очерк Уоллеса без его явного разрешения, однако этот вариант был и самым сомнительным с точки зрения морали, особенно для такого щепетильного человека, как Дарвин.

Примечательно, что многие восприняли эту уловку как высочайшее проявление нравственности. Джулиан Гексли, внук Томаса Гексли, назвал итог «памятником природной щедрости обоих великих биологов»^[606]. Лорен Айзли считал это «примером взаимного благородства, справедливо занесенным в анналы науки»^[607]. Оба они отчасти правы. Уоллес даже любезно настаивал, что титул первого эволюциониста по праву принадлежит Дарвину, учитывая глубину и

масштабность его изысканий – что, в общем-то, справедливо, но тем не менее делает честь благородству Уоллеса. Он даже назвал свою книгу «Дарвинизм».

Уоллес защищал теорию естественного отбора всю оставшуюся жизнь, но кардинально сузил ее границы. Он сомневался, что она может объяснить мощь человеческого разума: люди казались ему умнее, чем того требовало банальное выживание. Исходя из этого, Уоллес заключил, что, хотя тело человека и было сформировано естественным отбором, его интеллект имел божественное происхождение. Думаю, было бы слишком цинично (даже по дарвинистским меркам) строить предположения, появилась бы эта версия, если бы теория естественного отбора носила название «уоллесизм». Как бы то ни было, человек, давший теории свое имя, сетовал на ослабление веры Уоллеса: «Надеюсь, вы не убили окончательно вашего собственного и моего ребенка»^[608]. И это после того, как в «Происхождении видов» он окрестил естественный отбор «моя теория» и Уоллеса упомянул лишь в предисловии, и то вскользь.

Общая уверенность в том, что в эпизоде с Уоллесом Дарвин повел себя как истинный джентльмен, отчасти зиждется на неверной предпосылке, будто у него был выбор. Опубликуй Дарвин спешно свою теорию без упоминания Уоллеса, разразился бы скандал, навсегда опорочивший его имя и, возможно, даже поставивший под сомнение его причастность к теории естественного отбора (причем резонанс был бы, даже если бы Уоллес не стал предъявлять претензии и повел бы себя еще святее, чем на самом деле). Так что выбора у Дарвина не было. Биограф, который с восхищением замечает, что Дарвин «не хотел потерять первенство, но еще меньше он хотел, чтобы его заподозрили в неджентльменском или, вернее даже, в неспортивном поведении»^[609], описывает альтернативу, которой на деле не существовало: подозрения в нечестной игре мигом бы лишили Дарвина всякого первенства. Когда Дарвин написал Лайелю сразу после получения очерка Уоллеса: «Лучше я сожгу свою книгу, чем позволю ему или кому бы то ни было усомниться в моей честности»^[610], то им двигала не столько честность, сколько здравый смысл. Или, скорее, так: им двигала честность, иметь которую в его социальном окружении предписывал здравый смысл. Совесть не исключает практичности.

Удивительно, но тот факт, что Дарвин вовремя умыл руки и перепоручил решение этого непростого вопроса Гукеру и Лайелю – «в отчаянии отрекся», как тактично выразился один биограф^[611], – отчего-то также считается доказательством его исключительного благородства, хотя он просто себя обезопасил. После того как Уоллес дал понять, что он не в претензии, Дарвин написал ему: «Хотя я ни коей мере не вмешивался в планы Лайеля и Гукера, все же я не мог не беспокоиться о том, как вы их воспримете...»^[612] Что ж, если Дарвина так тревожило мнение Уоллеса, стоило бы, наверное, поинтересоваться им заранее, а не постфактум? И разве не мог он подождать с публикацией теории еще пару месяцев, если уж стоически терпел два десятилетия? Уоллес просил его лишь показать очерк Лайелю, но не требовал, чтобы тот спешно определял его судьбу.

Утверждая, что не оказывал никакого влияния на Гукера и Лайеля, Дарвин откровенно лукавил – в конце концов, это были его ближайшие друзья. Но внешне все приличия оказались соблюдены – он же не призвал в арбитры собственного брата Эразма. Однако есть все основания полагать, что в дружбе нашли проявление многие психологические механизмы, которые изначально применялись для скрепления родственных уз (привязанность, преданность, самопожертвование) – ну вы же помните, насколько естественный отбор рачителен и изобретателен.

Разумеется, Дарвин этого не знал, но и в беспристрастность друзей он всерьез верить не мог (в конце концов, суть дружбы в том, чтобы поддерживать друг друга), так что выставить Лайеля непредвзятым «лорд-канцлером» было с его стороны весьма наигранно, особенно учитывая, что впоследствии он активно апеллировал к его дружеским чувствам, прося сделать ему личное одолжение и поддержать теорию естественного отбора.

Разбор полетов

Впрочем, в конце концов, кто я такой, чтобы судить? Я, откровенно признаться, делал вещи и похуже. Кстати, моя способность

преисполниться праведным негодованием и встать в позу морального превосходства – результат избирательной слепоты, которой эволюция наделила нас всех. Теперь я постараюсь выйти за биологические границы и, собрав всю свою беспристрастность, проанализировать эволюционные особенности эпизода с Уоллесом.

Прежде всего обратите внимание на отменную нравственную гибкость Дарвина. Обыкновенно он крайне презрительно относился к ученым, которые чрезмерно носились с авторством и боялись, что конкуренты украдут их идеи, считая это «недостойным для искателей истины»^[613]. И хотя он был слишком проницателен и честен, чтобы вовсе отрицать притягательность славы, он существенно преуменьшал ее и утверждал даже, что ее отсутствие не повлияет на его усердие^[614]. Тем не менее, как только появился конкурент, способный отнять эту «необязательную» награду, он тут же мобилизовался и в сжатые сроки закончил «Происхождение видов», чтобы у новой теории было его имя. Он и сам видел противоречие. Через несколько недель после эпизода с Уоллесом он признался Гукеру: «Я всегда считал, что у меня достаточно великодушия, чтобы не заботиться об этом [о научном первенстве], но я ошибся и понес наказание»^[615].

Однако кризис миновал, и к Дарвину вернулось его былое благочестие. В своей автобиографии он заявил, что «весьма мало заботился о том, кому припишут больше оригинальности – мне или Уоллесу»^[616]. Любой, кто читал горячечные письма Дарвина Лайелю и Гукеру, не мог бы не поразиться мощи его самообмана.

Эпизод с Уоллесом наглядно демонстрирует базовое отличие психологических механизмов, связанных с родственным отбором и реципрокным альтруизмом. Обманывая или подставляя родственника, мы чувствуем вину, потому что естественный отбор «хочет», чтобы мы хорошо обращались с родными, поскольку у нас с ними много общих генов. Когда мы обманываем или подставляем друга (или случайного знакомого), механизм немного другой: тут вина возникает, потому что естественный отбор «хочет», чтобы мы казались хорошими, поскольку реципрокный альтруизм строится на том, как нас воспринимают окружающие. Так что в отношениях с неродственниками главное слыть щедрым и порядочным, а правда это или нет, не так уж важно^[617]. Конечно, нередко репутация

благородного человека оказывается вполне заслуженной и опирается на реальные добродетели, но, увы, так бывает не всегда.

Как видим, сознание Дарвина в этом эпизоде сработало на «отлично». Оно неизменно побуждало его вести себя благородно и порядочно в социальной среде, где для поддержания хорошей репутации были необходимы реальные, а не мнимые добродетели, но в нужный момент сумело, так сказать, немного ослабить контроль. Его хваленая совесть, эдакий бастион нравственности, оказалась достаточно гибка, чтобы в переломный момент, когда на кону стоял социальный статус, к которому он стремился всю жизнь, допустить небольшое моральное послабление. Это позволило Дарвину незаметно и почти неосознанно дернуть за нужные ниточки, чтобы убрать с дороги молодого, нахального конкурента.

Некоторые эволюционисты рассматривают сознание как распорядителя сберегательного счета, на котором хранится моральная репутация^[618]. Десятилетиями Дарвин усердно накапливал капитал, недвусмысленно и разнообразно демонстрируя свою совесть. Эпизод с Уоллесом стал моментом, когда ему пришлось рискнуть его частью, дабы не потерять все. Даже если бы поползли пересуды насчет публикации Уоллеса без его разрешения, риск был оправдан, учитывая величину ставки (слава и стремительный рост статуса). Собственно, принятие решений о распределении ресурсов – это и есть главное предназначение человеческого сознания, и в эпизоде с Уоллесом сознание Дарвина справилось на «отлично».

Как все мы знаем, рискнул Дарвин не зря: капитал он не только сохранил, но и приумножил – во многом благодаря Гукеру и Лайелю. Вот как они преподнесли ситуацию Линнеевскому обществу: «М-р Дарвин настолько высоко оценил изложенные в нем [очерке Уоллеса] взгляды, что немедленно предложил в письме сэру Чарлзу Лайелю заручиться согласием м-ра Уоллеса на скорейшую публикацию. Мы одобрили этот шаг при условии, что м-р Дарвин также не станет, как сначала намеревался, воздерживаться от публикации рукописи, составленной им на ту же тему, с которой, как было ранее сказано, один из нас познакомился еще в 1844 году и о существовании которой все эти годы мы оба знали»^[619]. По-моему, гениально.

Удивительно, но даже столетия спустя эта подправленная версия событий (якобы Дарвина принудили опубликовать собственную

статью одновременно с очерком Уоллеса) остается общепринятой. Один биограф даже написал, что давление Лайеля и Гукера было настолько велико, что у Дарвина просто «не оказалось выбора»^[620].

Нет никаких оснований полагать, что Дарвин сознательно организовал «устранение» Уоллеса. Вспомним хотя бы импульсивное назначение Лайеля «лорд-канцлером». Обращаться к друзьям за помощью в минуту паники – вполне обычная человеческая реакция, при этом, естественно, никто из нас не думает: «Позову-ка я друга, а не кого-нибудь со стороны, – он наверняка разделит мое предвзятое мнение». То же самое касается позы нравственного страдания Дарвина: ему поверили, потому что он не знал, что это была поза, вернее, потому что это не было позой, он и в самом деле чувствовал душевную боль.

Случай с Уоллесом – не единственный эпизод, причинявший Дарвину страдания. Муки совести преследовали его постоянно. Согласно меткому наблюдению Джона Боулби, он «презирал себя за тщеславие»: «На протяжении всей жизни жажда славы и внимания сопровождалась у него чувством глубокого стыда, которым он прикрывал непозволительные стремления»^[621]. Это были настоящие душевные муки. Видя их, Гукер и Лайель поверили в то, что Дарвин способен отказаться от славы, и убедили в этом весь мир. Накопление морального капитала далось Дарвину нелегко, но и дивиденды оказались немаленькими. Это вовсе не означает, что жизнь Дарвина являла собой идеальный пример адаптивного поведения, нацеленного на максимальное генетическое размножение, и что все его усилия и страдания оправдывались этой целью. Учитывая пропасть между викторианской Англией и условиями, в которых преимущественно протекала наша эволюция, ожидать такое функциональное совершенство было бы, по крайней мере, опрометчиво. Нравственные чувства Дарвина были гораздо острее, чем диктовал личный интерес. И я считаю, что если рассматривать их через призму эволюционной психологии, то многие странности и неувязки в характере Дарвина станут вполне объяснимыми, а его профессиональные усилия обретут логическую стройность, перестанут казаться беспорядочными метаниями из-за неуверенности в себе и излишней почтительности к авторитетам и предстанут в истинном свете – как упорное, неуклонное восхождение на вершину, ловко прикрытое страданиями и

смирением. Муки совести помогли Дарвину обрести крепкую репутацию; почтение к успешным людям – обзавестись полезными знакомствами и подняться по социальной лестнице; мучительная неуверенность в себе – защититься от нападений; искренняя симпатия к друзьям – создать крепкую коалицию. Воистину животное!

Часть четвертая
Мораль сей басни...

Глава 15

Цинизм дарвинизма (и фрейдизма)

Наличие в мозге потока мыслей, чувств и ощущений, отделенного от обыденного душевного состояния, вполне вероятно – по аналогии с привычками, называемыми второй натурой, когда человек действует неосознанно в отличие от более энергичных проявлений личности.

*Из записных книжек Дарвина
(1838)^[622].*

Согласитесь, пока нарисованная нами картина человеческой природы получается не слишком лестной: мы тратим жизнь на погоню за высоким статусом и сидим на игле общественного мнения, причем вполне буквально – изо всех сил пытаемся произвести впечатление на окружающих, чтобы получить дозу нейротрансмиттеров. Многие при этом умудряются утверждать, что являются самодостаточными, имеют моральный компас и ни при каких условиях не поступят своими принципами. Но вообще-то людей, совершенно безразличных к общественному мнению, называют социопатами. А их полную противоположность, людей, стремящихся любыми силами завоевать всеобщее обожание, обзывают «самохвалями» и «честолюбцами». Откровенно говоря, мы все, в той или иной мере, попадаем под эти нелестные определения, просто те, к кому они привязались, либо настолько удачливы, что вызывают всеобщую зависть, либо настолько бесстыдны, что это бросается в глаза, либо и то и другое сразу.

Наши щедрость и любовь всегда четко обусловлены: они направлены либо на родственников, имеющих схожие гены, либо на представителей противоположного пола, которые необходимы нам для передачи генов следующему поколению, либо на тех особей, от

которых мы можем ожидать ответной услуги, и в том числе пристрастного отношения к нашим врагам (недостатки друга принято замалчивать, а недостатки врага – преувеличивать). Не будь симпатии, не было бы и враждебности. Мы укрепляем связи, чтобы углубить раскол^[623].

В нашей дружбе, как и в остальных социальных сферах, огромную роль играет статус. Расположение людей, занимающих высокое положение в обществе, мы ценим настолько высоко, что даже готовы соглашаться на неравные вклады (давать больше, просить меньше, строго не судить). Если статус друга неожиданно упадет или просто не будет поспевать за ростом нашего, мы начнем чувствовать охлаждение и отдаляться, оправдывая это тем, что «стало меньше общего».

Меня могут в очередной раз обвинить в цинизме. Ну что ж... Многие считают цинизм идеологией нашего времени, закономерной реакцией на викторианскую серьезность^[624]. Кстати, одним из первых, кто нанес удар по ней, был Зигмунд Фрейд.

Фрейдизм, как и новая эволюционная психология, обнаруживает скрытые бессознательные цели в наших самых невинных поступках и видит животную сущность в основе бессознательного. На этом сходства не заканчиваются. Несмотря на критику, обрушившуюся на учение Фрейда в последние десятилетия, оно остается наиболее влиятельной поведенческой парадигмой нашего времени в научном, моральном и духовном плане. К такому же положению стремится и эволюционная психология. В связи с этим имеет смысл сравнить ее с фрейдистской психологией. Это будет весьма полезно, поскольку формы цинизма у этих двух школ отличаются кардинальным образом.

Нельзя не отметить, что обе формы цинизма гораздо более гуманные, чем цинизм бытовой. Они полагают, что человеком движут бессознательные мотивы, и поэтому рассматривают личность (по крайней мере, осознанную личность) как своего рода невольного сообщника. Если боль – это цена, которую человек платит за внутренний обман, то он вполне заслуживает не только обвинения, но и сострадания. Получается, каждый из нас – жертва. И вот тут, в объяснении того, как и почему приносится жертва, две школы расходятся.

Фрейд считал себя дарвинистом и воспринимал человеческую психику как продукт эволюции. Уже одно это обеспечивает ему симпатии эволюционных психологов: тот, кто рассматривает людей как животных, управляемых сексуальными и другими плотскими импульсами, не может быть кардинально неправ. Фрейд, однако, неверно истолковал базовые принципы эволюции^[625], например, слишком акцентировал ламарковскую идею о том, что приобретенные признаки передаются биологически. В его защиту следует отметить, что он был не единственным, кто так считал, да и сам Дарвин поддерживал или не рисковал открыто критиковать отдельные ошибочные представления тех дней. Однако факт остается фактом: некоторые идеи, высказанные Фрейдом, кажутся абсолютно нелепыми с точки зрения современной эволюционной парадигмы.

Зачем людям стремиться к смерти (танатос)? Зачем девочкам желать себе мужские гениталии (зависть к пенису)? Зачем мальчикам мечтать о сексе с матерями и убивать отцов (эдипов комплекс)? Гены, которые однозначно поощряют любой из этих импульсов, даже если бы и появились, то быстро бы вытеснились из генофонда охотников-собирателей, поскольку нисколько не способствовали выживанию и размножению носителей.

Фрейду, конечно, не откажешь в наблюдательности, особенно в том, что касается эмоционального напряжения. Нечто, напоминающее эдипов конфликт между отцом и сыном, действительно может существовать. Но в чем его реальные причины? Мартин Дали и Марго Уилсон предположили, что Фрейд смешал здесь несколько эволюционных механизмов, среди которых, помимо прочего, были те, что связаны с конфликтом поколений, описанным Робертом Триверсом^[626]. Когда мальчики достигают половой зрелости, они начинают составлять конкуренцию отцам (особенно в полигиничном обществе, в котором жили наши предки), претендуя на тех же самок, за исключением матери. Даже человекоподобные приматы избегают инцеста, поскольку он часто приводит к рождению нежизнеспособного потомства. В более юном возрасте у мальчика (и у девочки) может возникать конфликт с отцом за внимание матери, но он не будет иметь никакого отношения к сексу. Вернее, сексуальный подтекст, конечно, присутствует, но лишь в том плане, что отец будет

стремиться оплодотворить мать, а сын – мешать этому (например, долго не отлучаясь от груди и тем самым задерживая овуляцию).

Подобные эволюционистские теории нередко достаточно спекулятивны и недостаточно проверены, но в отличие от теорий Фрейда они всегда опираются на крепкое основание – четкое понимание процессов эволюции человеческого мозга. Эволюционная психология легла на курс, общие контуры которого четко обозначены и который по мере продвижения будет непрерывно корректироваться в научном дискурсе.

Регуляторы

Для начала стоит определить регуляторы человеческой природы – то общее, что роднит Дарвина со всеми представителями нашего вида. Он в известной степени заботился о родственниках. Стремился к высокому статусу. Стремился к сексу. Старался произвести впечатление на окружающих и понравиться им. Хотел, чтобы его считали хорошим человеком. Заключал союзы и поддерживал их. Старался нейтрализовать конкурентов. Обманывал себя, если это было необходимо для достижения перечисленных выше целей. И испытывал любовь, вожделение, сострадание, почтение, честолюбие, гнев, страх, угрызения совести, вину, благодарность, позор и другие чувства, толкающие людей к этим целям.

Обнаружив у Дарвина (или любого другого человека) эти регуляторы, эволюционист непременно спросит себя: как они у него настроены? Дарвин имел необыкновенно «активную» совесть. Поддерживал союзы с особым старанием. Чересчур беспокоился о том, что о нем думают другие. И так далее.

Откуда берутся эти особенности в настройках? Хороший вопрос. Ответов на него пока маловато, потому что специалисты по психологии развития обходят стороной новую эволюционную парадигму. А между тем направление для поиска ответов очевидно. Молодая, пластичная психика формируется, опираясь на сигналы, которые в древней среде обитания подсказывали, какие поведенческие стратегии с большей вероятностью приведут к распространению генов. Сигналы, по-видимому, отражают две вещи: тип социальной

среды, в которую вы приходите, и ваши активы и пассивы, которые вы туда вносите.

Некоторые сигналы передаются через семью. Фрейд был прав, полагая, что родственники, и особенно родители, оказывают огромное влияние на формирующуюся психику. Он также был прав, полагая, что родители не абсолютно добры и могут находиться в состоянии глубокого конфликта со своими детьми. Теория межпоколенческого конфликта Триверса предполагает, что тонкая настройка психики может отчасти осуществляться в генетических интересах настройщика (родителя), а не настраиваемого (ребенка). Распутать клубок двух типов влияния – обучения и эксплуатации – нелегкая задача. А в случае Дарвина это особенно трудно, поскольку некоторые примечательные черты его характера – преклонение перед авторитетами и жестокие угрызения совести, – будучи полезны всему социуму, могут быть невыгодны родственникам.

Если поведенческие психологи решат использовать новую парадигму для изучения психического и эмоционального развития человека, то им придется отказаться от одного предположения, неявно присутствующего в рассуждениях Фрейда и всех психиатров вообще (а следовательно, и всех нас) – предположения, будто боль является симптомом чего-то противоестественного, ненормального, признаком того, что что-то пошло не так. Как подчеркивал эволюционный психиатр Рэндольф Нессе, боль – часть замысла естественного отбора (это, конечно, вовсе не означает, что она благо)^[627]. Те черты, которые сделали Дарвина эффективным животным (его сверхактивная совесть, постоянная самокритичность, жажда утешения, преувеличенное почтение к авторитетам), доставляли ему огромную боль. Если и вправду отец Дарвина, как считается, культивировал эту боль, то вопрос «что за демоны заставляли его это делать», возможно, отпадет сам собой (если, конечно, вы не ответите на него: «гены, точные, как швейцарские часы»). Более того, не исключено, что ошибкой будет полагать, будто молодой Дарвин сам в каком-то смысле не поощрял это болезненное влияние. Люди вполне могут быть рассчитаны на то, чтобы воспринимать болезненное руководство, если оно способствует распространению генов (или, по крайней мере, способствовало в древних условиях). Многие явления, которые на первый взгляд

напоминают родительскую жестокость, на самом деле не могут быть отнесены к межпоколенческому конфликту по Триверсу.

Одно из болезненных состояний Дарвина, которое можно будет проанализировать и понять, только если прекратить рассматривать его как противоестественное, – его беспощадная неуверенность в себе. Возможно, в древности она была оправданна, поскольку помогала человеку найти обходные пути, если он был неспособен подняться по социальной лестнице классическими способами (при помощи физической силы, приятной внешности, обаяния). Такой человек мог, например, попробовать подняться за счет увеличения вкладов в рамках реципрокного альтруизма, отсюда и чувствительная совесть, и хроническая боязнь не понравиться. Стереотипные образы надменного и бесцеремонного качка и заискивающего, почтительного хлюпика, несомненно, преувеличены, но они отражают статистически достоверную корреляцию и, вероятно, имеют эволюционный смысл. И случай Дарвина они описывают довольно верно. Он был мальчик не маленький, но неуклюжий и замкнутый и в начальной школе, по его собственному признанию, «не мог собраться с духом, чтобы поссориться»^[628]. И хотя некоторые воспринимали его сдержанность как проявление надменности, большинство все же считало его добряком. «Ему нравилось маленькими услугами доставлять радость своим товарищам», – вспоминал о Дарвине одноклассник^[629]. И капитан Фицрой позже поражался тому, как он умеет «с любым подружиться»^[630].

Вьедливое самокопание также могло развиваться в результате раннего социального разочарования. Дети, не имеющие природных данных для достижения высокого статуса, могут постараться компенсировать это путем накопления знаний, особенно если у них есть к этому способности. Дарвин сумел переплавить неуверенность в своих интеллектуальных силах в ряд блестящих научных работ, которые одновременно повысили его статус и сделали его ценным взаимным альтруистом.

Если эти предположения верны, то неуверенность Дарвина в своих моральных качествах и интеллектуальных способностях – две стороны одной медали, и обе они являются проявлением социальной неуверенности и служат последним средством для повышения статуса, когда другие пути оказываются закрыты. Дарвиновская

«острая чувствительность к похвале и порицанию», отмеченная Томасом Гексли, может лежать в основе этой двойственной неуверенности и быть укорененной в едином принципе психического развития^[631]. И отец Дарвина, вероятно, немало сделал (с негласного согласия сына) для укрепления этой острой чувствительности.

Называя человека «неуверенным в себе», мы обычно подразумеваем, что он много переживает: по поводу того, что окружающие его не любят, что друзья от него отвернутся, что он кого-нибудь случайно обидит или даст неверную информацию. Корни неуверенности принято искать в детстве: недостаток друзей в младшем возрасте, романтические неудачи в юности, нестабильная обстановка дома, смерть члена семьи, слишком частые переезды и так далее. Подразумевается, что неудачи и треволения в детстве неизбежно ведут к неуверенности во взрослой жизни.

Можно придумывать кучу причин, вроде тех, что я только что отбросил, чтобы попытаться объяснить, зачем естественный отбор установил связь между детским опытом и взрослыми чертами характера (ранняя смерть матери Дарвина – благодатная почва для подобных спекуляций – у наших предков ребенок без матери не мог позволить себе излишнюю самонадеянность). Данные социальной психологии подтверждают такую корреляцию. Ясность придет, когда две эти стороны диалектики соприкоснутся друг с другом: когда психологи начнут оценивать теории развития с точки зрения соответствия эволюционным принципам и тестировать их.

Так, постепенно, мы начнем понимать, откуда берутся разные социальные особенности, такие, как сексуальная сдержанность и распушенность, толерантность и нетерпимость, высокая и низкая самооценка, жестокость и мягкость и так далее. У этих явлений, действительно, обычно оказываются самые банальные, всем известные причины (степень и характер родительской любви, количество родителей в семье, ранние романтические отношения, отношения с родными братьями и сестрами, друзьями, врагами), это значит, что они были важны для эволюции. Если психологи хотят понять процессы, которые формируют человеческую психику, они должны понять процесс, который сформировал человеческий вид^[632]. И как только они это сделают, прогресс не заставит себя ждать. Вообще, определенный прогресс уже наблюдается – все больше

выдвигается точных, жизнеспособных теорий, что выгодно отличает дарвинизм XXI столетия от фрейдизма XX века.

Различия между фрейдизмом и дарвинизмом сохраняются и при обращении к подсознательному, а различия снова затрагивают функцию боли. Вспомните «золотое правило» Дарвина: немедленно записывать любое наблюдение, противоречащее его теориям, поскольку «такого рода факты и мысли обычно ускользают из памяти гораздо скорее, чем благоприятные»^[633]. Фрейд цитировал эту фразу как подтверждение выведенной им тенденции «выбрасывать из памяти то, что неприятно»^[634]. Эту тенденцию Фрейд полагал широкой и общей, наблюдающейся как среди психически здоровых, так и среди больных и являющейся ключевой в динамике подсознания. Все бы хорошо, но есть одно «но». Болезненные воспоминания чрезвычайно трудно забыть. Фрейд сам упоминает об этом буквально через пару строк, и пациенты особенно жаловались на болезненно неотвязное «воспоминание обид или оскорблений».

Возможно, это просто означало, что тенденция забывать неприятные вещи не является всеобщей? Нет. Фрейд предпочел другое объяснение: все решает случай, иногда стремление отбрасывать болезненные воспоминания оказывается успешным, а иногда – нет; психика – это «арена цирка», где противостоящие тенденции сталкиваются, и заранее нельзя сказать, какая из них победит^[635].

Эволюционным психологам гораздо проще найти ответ на данные вопросы, поскольку их представление о человеческой психике отличается от схематичного подхода Фрейда. Они уверены, что мозг в ходе эволюции, на протяжении многих веков «на скорую руку» приспособивался к разным насущным задачам по мере их возникновения. А если нет задачи подогнуть под единый знаменатель воспоминания об обидах, оскорблениях и неудобных фактах, то и не приходится ломать голову над тем, как объяснить случаи, выбивающиеся из общей картины. Можно просто искать ответы на актуальные вопросы: 1) почему мы забываем факты, противоречащие нашим взглядам; 2) почему мы помним обиды; 3) почему мы помним унижения.

Ответы мы уже примерно наметили. Забыв о неудобных фактах, можно спорить с полной убежденностью в своей правоте (а это немаловажно, ведь у наших предков в подобных спорах были

генетические ставки). Запоминать обиды необходимо, чтобы иметь потом возможность потребовать компенсации или наказать обидчика. Болезненные воспоминания об унижениях заставляют нас впредь избегать действий, способных понизить наш социальный статус; а если унижения были слишком сильными, то память о них заставляет нас понизить свою самооценку в целях адаптации.

Получается, что модель человеческой психики, предложенная Фрейдом, недостаточно сложна (хотите верьте, хотите нет). У нее оказалось больше темных закутков и маленьких хитростей, чем он предполагал.

Лучшие идеи Фрейда

Главное достоинство теории Фрейда заключается в том, что он вычленил основной парадокс нашего существования: будучи по природе своей сладострастными, жадными и вообще эгоистичными, мы, однако, вынуждены вести себя цивилизованно, то есть идти к своим животным целям по извилистой дорожке сотрудничества, компромисса и ограничений. Из понимания этого парадокса вытекает главная идея Фрейда о психике как о месте столкновения животных импульсов с социальной реальностью.

Одну из биологических точек зрения на сей конфликт предложил Пол Маклин, выдвинувший теорию о том, что мозг человека можно разделить на три составляющие, или три слоя: мозг рептилий (самый древний), отвечающий за наши инстинкты, мозг млекопитающих (лимбический), отвечающий за эмоции и социальные отношения и в том числе за привязанность к детям, и новый мозг (неокортекс), отвечающий за абстрактное мышление, речь и, вероятно, привязанность к неродственникам. Как писал Маклин, он «услужливо рационализировал, оправдывал и подбирал словесные выражения для импульсов, исходящих из ретикулярного и лимбического слоя нашего мозга...»^[636]. Как и многие изящные модели, она может показаться излишне простой, но между тем она хорошо отражает ключевое направление эволюции – переход от уединенного проживания к

социальному, где погоня за едой и сексом становится все более тонким и сложным делом.

Подсознание (ид, «Оно», дикий зверь в подвале), вероятно, вырастает из рептильного мозга, продукта досоциальной эволюции мозга. Супер-эго («Сверх-Я»), или, нестрого говоря, совесть, является более поздним изобретением. Это источник запретов и чувства вины, нацеленных на то, чтобы ограничить ид для обеспечения генетического успеха. Супер-эго не дает нам, скажем, причинять вред родным братьям и сестрам и пренебрегать друзьями. Эго («Я») находится в середине. Его конечные, хотя и неосознанные, цели – это цели ид, однако преследуются они с учетом долгосрочной перспективы, памятуя о предостережениях и нотациях супер-эго.

На сходство между фрейдистским и эволюционным взглядами на психический конфликт обратили внимание в своих работах психолог Рэндольф Нессе и психиатр Алан Ллойд. Они рассматривали этот конфликт как столкновение конкурирующих защитных механизмов, выработанных эволюцией, с целью обеспечения здравого руководства, так же как напряженность между ветвями власти призвана обеспечить эффективное управление. Основной конфликт разворачивается «между эгоистическими и альтруистическими побуждениями, между стремлением к удовольствию и нормативным поведением, а также между интересами индивида и группы. Функции ид соответствуют первым компонентам этих пар, а функции эго и супер-эго – вторым»; для вторых характерна «отсроченная выгода от социальных отношений»^[637].

Описывая напряженность между краткосрочным и долгосрочным эгоизмом, дарвинисты иногда прибегают к метафоре «подавление». Психоаналитик Малкольм Славин высказал предположение, что дети могут подавлять эгоистичные мотивы, чтобы не потерять благосклонность родителей, и тут же возвращаться к ним, как только потребность угождать минует^[638]. Другие специалисты подчеркивали, что мы нередко подавляем эгоистичные импульсы по отношению к друзьям и даже можем подавлять воспоминания о проступках друга, особенно если тот полезен нам или обладает высоким статусом^[639]. Впоследствии проступок может всплыть в памяти, если друг потеряет свой статус или иначе упадет в наших глазах. Сфера секса, конечно же, тоже изобилует подобными

подавлениями. Например, мужчине будет легче убедить женщину в своей будущей преданности, если он не будет в этот момент в красках представлять себя с ней в постели. Сексуальный импульс может расцвести позже, когда почва будет подготовлена.

Как отмечали Нессе и Ллойд, подавление – лишь один из многих «защитных механизмов эго» (о которых, в частности, писала дочь Фрейда Анна и которые стали частью его теории). Другие защитные механизмы также можно проанализировать с помощью эволюционной теории. Например, «идентификация» и «интроекция» (перенимание ценностей и черт других людей) может быть способом сблизиться с влиятельным человеком, который «распределяет статусы и вознаграждает всех, кто поддерживает его убеждения»^[640]. И «рационализация» – выдумывание псевдообъяснений, скрывающих наши истинные мотивы. Продолжать?

В общем, надо отдать Фрейду должное, он (и его последователи) выявил много психических механизмов, которые могут иметь глубокие эволюционные корни. Он справедливо рассматривал психику как место бурных коллизий, большей частью скрытых. Он видел и источник этих бурь – животное, преисполненное жестокости, рождается в сложной и неминуемой социальной сети.

Но когда Фрейд переходил от общих рассуждений к конкретным случаям, то нередко ставил неверные диагнозы. Главным источником напряжения в человеческой жизни он считал конфликт не между индивидом и обществом, а между индивидом и культурой. В книге «Недовольство культурой» он так описывает проблему: людей сталкивают вместе, велят усмирять сексуальные импульсы и вступать в «любовные отношения с вытеснением мотивов» и при этом не только жить с соседями в согласии, но и «возлюбить ближнего, как самого себя». Однако, замечает Фрейд, «человек не является мягким и любящим существом, которое в лучшем случае способно на защиту от нападения. Нужно считаться с тем, что к его влечениям принадлежит и большая доля агрессивности. Поэтому ближний является для него не только возможным помощником или сексуальным объектом; всегда есть искушение сделать ближнего своего средством удовлетворения агрессивности, воспользоваться его рабочей силой без вознаграждения, использовать как сексуальный объект, не спрашивая согласия, лишиться имущества, унижить, причинить боль, мучить и

убивать. Homo homini lupus». Нет ничего удивительного в том, что люди настолько несчастливы, ведь «первобытному человеку действительно было лучше тем, что он не знал никаких ограничений на свои влечения»^[641].

Последняя фраза – миф, развенчание которого лежит в основе эволюционной психологии. Времена, когда наши предки «не знали никаких ограничений на свои влечения», кончились так давно, что и определить невозможно. Даже шимпанзе приходится усмирять свои хищные побуждения, поскольку ближний способен оказаться, по словам Фрейда, «возможным помощником», и тогда сдержанность окажется более выгодна, чем агрессия. Самцам шимпанзе (и бонобо) нередко приходится подавлять свои сексуальные побуждения, когда самки требуют от них еду и другие услуги в обмен на секс. У человека данная тенденция усиливалась по мере роста мужских родительских инвестиций, и мужчины столкнулись с обширными «ограничениями» на свои сексуальные импульсы задолго до появления современных культурных норм, сделавших их жизнь еще более сложной и печальной.

Дело в том, что подавление и подсознание – продукты миллионов лет эволюции; они развились задолго до появления культуры, которая еще более усложнила нашу психическую жизнь. Новая парадигма позволяет увидеть генезис этих механизмов. Теории родственного отбора, межпоколенческого конфликта, родительских инвестиций, реципрокного альтруизма и иерархии статусов подсказывают, какие виды самообмана «одобряются» эволюцией, а какие нет. Если современные фрейдисты научатся улавливать эти подсказки и корректировать свои идеи, то, возможно, они смогут спасти имя Фрейда от забвения – неизбежного, если их оттеснят дарвинисты.

Постмодернистская психика

Очевидно, что дарвинистское понимание подсознания более фундаментальное, чем фрейдистское. Эволюционные психологи полагают, что источники самообмана более многочисленны, разнообразны и коренятся глубже, а граница между сознательным и

подсознательным более размыта. Фрейд определил фрейдизм как попытку указать «Я, что оно не является даже хозяином в своем доме, а вынуждено довольствоваться жалкими сведениями о том, что происходит в его душевной жизни бессознательно»^[642]. С точки зрения дарвинизма здесь роль Я даже переоценивается: оно предстает как психическая сущность, наделенная ясным видением, но вводимая в заблуждение. Эволюционному же психологу заблуждение кажется настолько вездесущим, что целесообразность размышлений о каком-то ядре искренности вызывает серьезные сомнения.

Обывательский взгляд на то, как взаимосвязаны наши чувства и мысли, и на то, как мы достигаем целей, не просто ошибочный, он прямо противоположен истине. Мы считаем, что сначала принимаем решение, а затем действуем на его основе: решаем, что нам кто-то нравится, и заводим с ним дружбу; решаем, что кто-то достоин уважения, и рукоплещем ему; решаем, что кто-то неправ, и противостояем ему; решаем, что есть истина, и следуем ей. Фрейд бы добавил, что у нас часто есть цели, которые мы не осознаем и которые преследуем окольными, даже контрпродуктивными, путями, и что наше восприятие мира может исказиться в процессе.

Эволюционная психология утверждает, что все совсем наоборот. Мы принимаем лишь то (будь это мораль, личные качества или объективная истина), что стимулирует поведение, гарантирующее передачу генов в следующее поколение (или, по крайней мере, гарантировавшее в прошлом). Поведенческие цели (высокий статус, секс, благоприятный союз, родительские инвестиции) остаются неизменными, и наше восприятие действительности настраивается в соответствии с ними. Все, что отвечает нашим генетическим интересам, кажется нам «правильным» – морально оправданным, объективно верным и так далее до бесконечности.

Тогда как Фрейд утверждал, что людям трудно принять правду о себе, дарвинисты считают, что людям трудно принять правду в принципе. Дарвинизм близок к тому, чтобы подвергнуть сомнению само значение слова «истина», поскольку социальные дискуссии, которые якобы призваны открыть истину (моральные, политические, иногда даже академические), являются с точки зрения эволюции не более чем схватками за власть, победитель в которых далеко не всегда

оказывается правым. А когда-то было трудно представить цинизм более глубокий, чем у Фрейда...

Однако, как оказалось, даже эволюционного цинизма уже недостаточно. Многие ученые-авангардисты (приверженцы критических правовых исследований, деконструктивизма в литературоведении и антропологии) рассматривают человеческое общение как «дискурс власти». Многие верят в то, что провозглашает новый дарвинизм: в человеческих отношениях все (или почти все) – хитрость, корыстная манипуляция образом. Эта вера служит опорой для ключевой особенности постмодернистского сознания – мощной неспособности принимать вещи всерьез^[643].

Ироничное самоосознание – примета нашего времени. Большинство современных ток-шоу замкнуты сами на себе (шутки про шпаргалки с текстом, написанные на шпаргалках; камеры, снимающие другие камеры). Архитектура теперь тоже об архитектуре (архитекторы шутливо и иногда покровительственно смешивают приемы разных эпох и приглашают нас вместе посмеяться над результатом). Серьезность – главный порок, выдающий постыдную наивность.

Цинизм эпохи модерн наводил отчаяние, провозглашая неспособность людей достигать похвальных идеалов. Постмодернистский цинизм не таков, но не потому, что он оптимистичен, просто он в принципе не принимает всерьез никакие идеалы. Преобладающая философия – абсурдизм. Современные СМИ могут непочтительно отзываться об авторитетах, но в этом не будет горечи, так как непочтительность эта не преднамеренная и не направленная, она тотальная, потому что все вокруг смешны. И вообще, нет никаких моральных оснований для осуждения. Надо просто расслабиться и наслаждаться шоу.

Вполне вероятно, что новая эволюционная парадигма поспособствовала распространению постмодернистской философии. В конце концов социобиология, хотя и изгнанная с научного олимпа, начала просачиваться в массовую культуру два десятилетия назад. Дальнейшее развитие дарвинизма укрепит позиции постмодернизма. Новая парадигма наверняка придется по душе деконструктивистам и приверженцам критических правовых исследований; у обычных же людей возможна лишь одна разумная реакция на эволюционную психологию – острое самоосознание и глубочайший цинизм, которые

не оставляют иного выбора, чем ироничное отстранение. Как следствие, трудный вопрос о том, может ли человек быть нравственным животным (вопрос, от которого у современного циника сводит зубы от уныния), будет звучать все более нелепо. После укоренения новой парадигмы единственный вопрос, который останется, – можно ли вообще употреблять слово «нравственный» без иронии.

Глава 16

Эволюционная этика

Значит, наше происхождение и есть источник наших порочных страстей!! Дьявол в обличье бабуина – это наш прадед.

Из записных книжек Ч. Дарвина

Другой вопрос – чему надо учить. Все согласны, что общему благу.

Из записных книжек

Ч. Дарвина^[644].

В 1871 году, через двенадцать лет после появления «Происхождения видов», Дарвин опубликовал «Происхождение человека», в котором изложил свою теорию «нравственных чувств». Он не выпячивал тревожные выводы и не подчеркивал, что ощущение добра и зла, воспринимающееся как дар небес, черпает свою мощь исключительно из этого восприятия, являющегося произвольным продуктом нашего своеобразного эволюционного прошлого, и тем не менее местами книга источала дух морального релятивизма. Он утверждал: «Если бы... мы были воспитаны в совершенно тех же условиях, как домашние пчелы, то нет ни малейшего сомнения, что наши незамужние женщины, подобно пчелам-работницам, считали бы священным долгом убивать своих братьев, матери стремились бы убивать своих плодовитых дочерей, – и никто не подумал бы протестовать против этого»^[645].

После этого в «Эдинбургском обозрении», одном из самых влиятельных британских журналов XIX века, было отмечено, что если теория Дарвина верна, то «большинству честных людей придется отринуть как ошибочные те мотивы, которые заставляли их вести благородную и добродетельную жизнь. Окажется, что наше нравственное чувство – всего лишь возникший в ходе эволюции инстинкт... Если эти представления верны, то неизбежна революция в умах, которая потрясет общество до основания, разрушив святость совести и религиозные чувства»^[646].

Это предсказание, несмотря на его судорожную тревожность, не было лишено оснований. Религиозное чувство действительно ослабло, особенно среди интеллигенции – аудитории, читающей толстые умные журналы, современные аналоги «Эдинбургского обозрения». И совесть явно утратила тот вес, который она имела для викторианцев. Где искать базовые нравственные ценности, не знает никто, даже философы, занимающиеся вопросами этики и морали. На большинстве философских факультетов господствует нигилизм. И всего этого Дарвин добился буквально двумя ударами: «Происхождением видов» отмел библейское учение о Творении, «Происхождением человека» поставил под сомнение нравственное чувство.

Если старый добрый дарвинизм так запросто подточил моральную силу западной цивилизации, то что же случится, когда новая версия полностью выкорчует ее? Размышления Дарвина о «социальных инстинктах», порой весьма туманные, ныне уступили место теориям, прочно основанным на логике и фактах (теориям реципрокного альтруизма и родственного отбора). Они лишают наши нравственные чувства привычной божественности. Симпатия, сочувствие, сострадание, угрызения совести, вина, раскаяние, даже сама идея правосудия (что добро воздастся, а зло аукнется) – все это теперь рассматривается как следы органической истории нашей планеты.

Более того, мы не можем утешиться, подобно Дарвину, ложной верой в то, что эти вещи развились в целях более масштабного блага – «блага группы». Наши божественные прозрения о том, что правильно, а что – нет, – это оружие, предназначенное для повседневных рукопашных схваток друг с другом.

Под подозрение подпадают не только нравственные чувства, но и весь моральный дискурс. В свете новой дарвиновской парадигмы моральный кодекс представляется не более чем политическим компромиссом, достигнутым в ходе борьбы нескольких конкурирующих групп, каждая из которых пускает в ход все имеющиеся у нее средства. Только в этом смысле можно сказать, что нравственные ценности спускаются нам свыше – они непропорционально формируются властью имущими.

И что же получается? Мы одни в холодной Вселенной, без нравственного компаса, без шансов найти его, без всякой надежды? Неужели мораль не имеет никакого значения для думающего человека в постмодернистском мире? Я не стану (ради спокойствия читателей) ставить этот сложный и темный вопрос в данной книге, но все же попытаюсь понять, как Дарвин решал вопрос о смысле морали. Хотя он и не имел доступа к новой парадигме с ее неутешительными гипотезами, он явно уловил, как и автор статьи в «Эдинбургском обозрении», нравственно дезориентирующий уклон дарвинизма. И тем не менее он продолжал на полном серьезе оперировать словами «добро и зло», «правда и ложь». Как ему удавалось, обладая знанием, принимать мораль всерьез?

Обреченные на муки

По мере того как дарвинизм завоевывал популярность, страхи, высказанные в «Эдинбургском обозрении», просачивались в общественное сознание. Появлялись мыслители, пытающиеся предотвратить крах моральных основ. Чтобы обойти угрозу, которую эволюционизм представлял для религиозной и нравственной традиции, они использовали простой маневр: перенаправили свой религиозный страх на саму эволюцию, превратив ее в мерило добра и зла. По их словам, чтобы увидеть нравственный абсолют, достаточно обратить взоры к процессу, нас создавшему: правильно то, что согласуется с основным направлением эволюции – мы все должны двигаться по ее руслу.

Где именно пролегает это русло? Мнения разошлись. Одна школа, позже названная социальным дарвинизмом, сосредоточилась на

безжалостном, но в конечном счете продуктивном избавлении от «некондиции» в ходе естественного отбора. Стрдание – это движущая сила прогресса, как в человеческой, так и в эволюционной истории. Расхожее определение социального дарвинизма дал Герберт Спенсер, считающийся его отцом: «Бедность, в которой находится неспособный; нищета, составляющая удел непредусмотрительного; голодное существование, на которое обречен ленивый, и затирание слабого сильным, причиняющее столько страданий и несчастья, – таковы веления этого великого, дальновидного и всеблагого закона».

Спенсер написал это в 1851 году, за восемь лет до появления «Происхождения видов». Но и раньше многие полагали, что благо через боль – это естественный ход вещей. Данное мнение было неотъемлемой частью концепции свободного рынка, которая обеспечила Англии быстрый материальный прогресс. Теория естественного отбора придала в глазах капиталистов этому взгляду дополнительную убедительность, наделив его статусом «вселенского закона». Джон Д. Рокфеллер заявлял, что гибель слабых компаний в свободной экономике согласуется с «законами природы и законами Бога»^[647].

Подобные моральные огрубления своей теории Дарвин считал смехотворными. «Я прочитал в манчестерской газете сносный памфлет, в котором утверждалось, будто я доказал, что кто сильнее, тот и прав, и, следовательно, Наполеон прав и всякий нечистый на руку торговец тоже прав»^[648], – писал он Лайелю. Спенсер на его месте пришел бы в ужас от такого отзыва: он был гораздо более гуманным, чем может показаться по его самым суровым высказываниям и чем его теперь помнят; он много говорил о пользе альтруизма и сочувствия, и вообще был пацифистом. Как он пришел к этому, иллюстрирует второй подход к поиску «русла» эволюции, состоящий в том, что цель эволюции столь же важна, как и ее течение: чтобы понять, как нам стоит себя вести, надо понять, куда мы движемся.

Современные биологи сходятся на том, что у эволюции нет определенной цели. В отличие от них, Спенсер полагал, что эволюция ведет к увеличению продолжительности и качества жизни вида и к более безопасному выращиванию потомства. Значит, наша задача

поддерживать эти цели: сотрудничать друг с другом и быть добрыми, чтобы жить в состоянии мира^[649].

Теперь эти взгляды оказались на свалке интеллектуальной истории. В 1903 году философ Джордж Э. Мур решительно оспорил идею заимствования нравственных ценностей у эволюции и, в более широком смысле, у природы и обозначил ее как «натуралистическую ошибку»^[650]. С тех пор философы старательно следят за тем, чтобы не совершать ее.

Однако Мур не был первым, кто подверг сомнению правомерность логического перехода от связки «есть» к связке «должен». Джон Стюарт Милль сделал это за несколько десятилетий до него^[651], причем доводы его, менее формальные и научные, звучат более убедительно. Он озвучил широко распространенное негласное мнение, которым принято было оправдывать заимствование ценностей из природы, – мнение, будто природа создана Богом и, следовательно, воплощает его ценности. Однако, дальше рассуждает Милль, если Бог не великодушен, то зачем чтить его ценности? Или если он великодушен, но не всемогущ, то вызывает сомнение его способность воплотить свои ценности в природе? Получается, что вопрос о том, стоит ли рабски подражать природе, сводится к другому – является ли природа делом рук великодушного и всемогущего Бога.

Ответ Милля был однозначным. В своем эссе «Природа» он написал, что природа «пригвождает людей, ломает их, как на дыбе, бросает на растерзание диким зверям, сжигает до смерти, побивает камнями как первого христианского мученика, морит голодом, замораживает холодом, отравляет быстрыми и медленными ядами и держит в запасе еще сотни других отвратительных смертей», причем делает она это «с высокомерным пренебрежением, не заботясь ни о милосердии, ни о справедливости, поражая лучших и благороднейших наряду с самыми низменными и недостойными». «Если и есть высший замысел творения, – утверждал он, – то, очевидно, он состоит в том, чтобы большинство живых существ мучило и пожирало других на своем жизненном пути». И всякий, «какие бы религиозные формулировки он ни использовал», должен признать, что «если природа и человек являются делом рук всеблагоего существа, то существо это создало природу, чтобы человек исправил ее, а не следовал за ней слепо»^[652]. И нравственной интуиции, полагал

Милль, доверять не следует, поскольку она лишь «освящает укоренившиеся предубеждения»^[653].

Милль написал «Природу» до выхода в свет «Происхождения видов» (хотя опубликовал ее позже) и даже не рассматривал возможность того, что страдание может быть платой за сотворение жизни. Но даже если бы он столкнулся с этим мнением, его вопрос все равно остался бы актуален: если Бог милостив и всемогущ, почему он не сделал этот процесс безболезненным? Дарвин прекрасно понимал, что страдания являются весомым аргументом против религиозных верований. В 1860 году, через год после выхода «Происхождения видов» и задолго до публикации «Природы» Милля, он написал Эйсе Грею: «Я не вижу столь же явно, как другие, и как мне хотелось бы, доказательств всеблагото высшего замысла. В мире слишком много страданий. Я не могу убедить себя в том, что милостивый и всемогущий Бог намеренно создал ихневмонид [оснаездников], чьи личинки изнутри поедают живых гусениц, или кошек, играющих с мышами»^[654].

Этика Дарвина и Милля

Дарвин и Милль сходились не только в видении проблемы, но и в видении способов ее решения. Оба они полагали, что единственный нравственный ориентир в мире, лишенном Бога, – это утилитаризм. Милль не просто разделял идеи утилитаризма, он был его главным глашатаем. В 1861 году, через два года после публикации очерка «О свободе» и «Происхождения видов», он написал ряд статей для «Журнала Фрейзера», которые позже были изданы под одной обложкой и стали программным изложением идей утилитаризма.

Для утилитаристов ключевыми понятиями являлись удовольствие и боль, именно они определяют моральный дискурс. Благом является то, что увеличивает счастье в мире, а злом – то, что приумножает страдания. Нравственные нормы нужны для того, чтобы обеспечить максимально возможное счастье в мире. Тут Дарвин с ними несколько расходился, он различал «общее благо, или процветание общества» и «всеобщее счастье» и отдавал предпочтение второму; правда, потом

признал, что, поскольку «счастье есть существенная составная часть общего благосостояния, то принцип «наибольшего счастья» служит приблизительной верной меркой добра и зла»^[655]. В практическом плане Дарвин был утилитаристом и большим поклонником Милля, как его моральной философии, так и его политического либерализма^[656].

Главное преимущество утилитаризма Милля в постмодернистском мире – его лапидарность. Раз уж сейчас так сложно находить аргументы в пользу утверждений о нравственных ценностях, то чем меньше будет этих утверждений, тем лучше. Идеология утилитаризма базируется по большей части на простом утверждении о том, что счастье (при прочих равных) лучше, чем несчастье. Кто станет с этим спорить?

Вы удивитесь, но такие нашлись. Они заявили, что это необоснованное выведение «должен» из «есть» (то есть из факта, что людям нравится счастье). В частности, Дж. Э. Мур активно пытался это доказать, хотя позднее было подмечено, что он просто неверно понял теорию Милля^[657].

Отчасти в этом был виноват и сам Милль – он не слишком заботился о формулировках^[658], хотя никогда и не утверждал, что благо удовольствия и порочность боли – это доказанный факт; он просто полагал, что «базовый принцип» не требует доказательств. Его аргументация была более скромной и прагматичной. Например, он утверждал, что все мы отчасти придерживаемся принципов утилитаризма, просто не называем их по-другому.

Прежде всего, все мы живем так, будто счастье – наша главная цель. Даже люди, практикующие суровое самоотречение, как правило, делают это во имя будущего счастья, на этом свете или на том. И как только каждый из нас признает, что да, мы считаем счастье благом и не готовы поступиться им без весомой на то причины, станет трудно отрицать идентичное стремление у других.

Все, кроме социопатов (которые плохо подходят на роль моральных ориентиров), соглашаются с тем, что влияние наших поступков на счастье других является важным критерием моральной оценки. Вы можете верить в наличие неотъемлемых прав (скажем, быть свободным) или обязанностей (никогда не обманывать), можете считать их предписанными свыше или постигаемыми интуитивно,

можете полагать, что они одним фактом своего существования отмечают аргументы утилитаризма (как говорят некоторые философы, кроют их «козырем»), но вы не можете отрицать, что эти аргументы имеют вес и их невозможно побить, не имея туза в рукаве.

Более того, если вас прижать к стенке, то вы, скорее всего, начнете обосновывать свои «козыри» в терминах утилитаризма. Например, вы можете возразить, что даже если отдельный обман случайно повысит общее благосостояние в краткосрочной перспективе, то регулярный обман рано или поздно подорвет общественную мораль и все пострадают от морального хаоса. Точно так же, как только свобода попирается в отдельной группе, все вокруг перестают чувствовать себя в безопасности. Подобный скрытый утилитаризм обычно всплывает, если добраться до логики, лежащей в основе «базовых прав». Милль писал: «Принцип наибольшего счастья оказал огромное влияние на формирование этических теорий, что признается даже теми их создателями, которые в наибольшей степени подвергали сомнению его авторитетность. И нет таких школ теоретической мысли, которые отрицали бы, что зависимость счастья от практических действий имеет наиболее осязаемое и даже преобладающее значение во многих аспектах морали (не желая тем не менее признавать его в качестве фундаментального принципа нравственности и источника морального долга)»^[659].

В свете сказанного выше вырисовывается интересный факт: утилитаризм, оказывается, является обоснованием абсолютных прав и обязанностей. Утилитарист, не жалея себя, может отчаянно защищать «неприкосновенные» ценности, поскольку их попрание в конечном счете приведет к большим проблемам. Это так называемый «утилитаризм правил» (которого придерживался и Милль). Его приверженец не станет заботиться о том, как его поступок повлияет на всеобщее счастье (как стал бы последователь «утилитаризма действий») ^[660]. Вместо этого он спросит себя: что будет, если все люди станут делать так в аналогичных обстоятельствах?

Вера в то, что счастье – есть благо, а страдание – зло, – это не просто базовый элемент общей морали. Это единственное, что нас объединяет; дальше уже каждый выбирает сам, к какой, божественной или самоочевидной, истине стремиться. Значит, если нравственные нормы обязательны для всех, то постулат утилитаризма «Счастье –

хорошо, а страдание – плохо» является наиболее справедливой (или даже единственно справедливой) основой морали. Это наш общий знаменатель, единственный пункт, в котором все сходятся, – других просто нет.

Конечно, могут найтись те, которые возразят, ссылаясь на натуралистическую ошибку, что в счастье нет ничего хорошего (лично я с этим не согласен и очень рад, что в рамках научно-популярной книги можно обойтись без пространных доказательств, не то что диссертации). Могут найтись и те, которые, соглашаясь, что счастье – прекрасная вещь, будут оспаривать наличие общепринятых нравственных норм. Что ж, это их право – отказаться от морали и ото всех связанных с ней прав и обязательств. Однако, если вы признаете всеобщую мораль и хотите, чтобы она была по возможности широко принята, то утилитаризм – это то, с чего стоит начинать.

Тем не менее остается вопрос: зачем нам нужны нравственные нормы? С какой стати каждый из нас должен заботиться о счастье других людей? Почему бы каждому не заняться собственным счастьем?

Оказывается, нравственные нормы имеют сугубо практический смысл: вспомните игры с ненулевой суммой, в них счастье каждого возрастает, если все ведут себя хорошо. Вы не обманываете и не притесняете меня, я не обманываю и не притесняю вас – мы оба в выигрыше. Если мы оба попытаемся нарушить нормы, то вряд ли что-то приобретем (один обман уравнивает другой), но при этом придется еще испытывать страх разоблачения и бдительно следить за соперником.

Жизнь полна ситуаций, когда небольшое усилие со стороны одного человека позволит другому существенно сэкономить силы, например, если вы придержите дверь для идущего следом. В обществе, где все придерживают дверь, все оказываются в выигрыше (при условии, что никто не лезет вперед).

В свете сказанного аргумент в пользу утилитарной морали можно сформулировать кратко: распространение утилитаризма повысит счастье каждого, а ведь, насколько можно судить, именно этого все и хотят.

Милль следовал логике ненулевой суммы (естественно, не используя этот термин и даже не конкретизируя). Он хотел увеличить

всеобщее счастье и единственный путь к этому видел в самопожертвовании. Человек должен придерживать дверь не только, когда ему это почти ничего стоит, а других уберегает от затруднений, но даже тогда, когда ему это стоит огромного труда, а других уберегает от пустячных затруднений. В общем, благополучие других надо считать не менее важным, чем собственное.

Да, эта теория радикальна. Один человек, который проповедовал ее, кончил жизнь на кресте. Милль писал: «В золотом правиле Иисуса из Назарета мы видим духовное содержание, которому в полной мере отвечает этика утилитаризма: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе; люби ближнего, как себя самого, – эта формула наилучшим образом выражает подлинный идеал утилитаристской морали»^[661].

Дарвин и братская любовь

Кого-то может удивить, что такое теплое и сентиментальное понятие, как братская любовь, я рассматриваю в связи с холодным и беспристрастным утилитаризмом, но удивляться не стоит. Основные цели утилитаризма – наибольшее общее счастье и благо для всех – недвусмысленно подразумевают братолюбие: счастье каждого важно одинаково, привилегий тут нет. Это второй постулат Милля. Он не просто утверждает, что счастье – это хорошо, но и подчеркивает, что ничье счастье не важнее прочих.

Трудно представить себе утверждение, более открыто отрицающее негласные «природные» ценности. Естественный отбор «хочет», чтобы мы верили в то, что наше личное счастье важнее прочих. Дозу счастья мы получаем, когда совершаем действия, способствующие распространению наших генов (или, по крайней мере, повышающие наши шансы на это). Оставим ненадолго в стороне то обстоятельство, что, преследуя цели, которые сулят счастье в долгосрочной перспективе, мы нередко остаемся ни с чем, и что естественный отбор нимало не «заботится» о нашем счастье и с легкостью обрекает нас на страдания, если это дает возможность передать гены потомкам. Сейчас нам важно, что основной механизм, посредством которого

наши гены управляют нами, – глубокая, негласная (и даже неосознаваемая) уверенность в том, что наше счастье важнее прочих. Мы не созданы заботиться о счастье других, если только это не дает генетических преимуществ.

И это касается не только нас. Эгоцентризм – главная черта всех живых организмов на нашей планете. Никто не ставит благо соседа превыше собственного (опять же, кроме случаев, когда это дает генетические преимущества). Утверждение Милля о том, что ваше счастье заканчивается там, где начинается несчастье другого, – полная ересь с точки зрения эволюции, идея которой и состоит в том, чтобы стать счастливым в обход всех остальных. Цель существования – добиться счастья любыми доступными способами^[662].

Задолго до того, как Дарвин пришел к идее естественного отбора и стал задумываться о его «ценностях», его собственные ценности (прямо противоположные «природным») сформировались и закрепились. В его семье господствовала этика, позднее изложенная Миллем. Его дед Эразм писал о «принципе наибольшего счастья». Сочувствие ко всему живому было идеалом в обеих ветвях генеалогического древа Дарвина. В 1788 году Джозайя Веджвуд, дед Дарвина по материнской линии и ярый противник рабства, изготовил сотни медальонов с изображением черного человека в цепях и словами: «РАЗВЕ Я НЕ ЧЕЛОВЕК И НЕ БРАТ ВАМ?»^[663] Дарвин поддерживал традицию, глубоко сочувствуя мучениям негров, которых, как он горько заметил, «лощенные дикари в Англии не считают своими братьями, даже перед Богом»^[664].

Это простое и глубокое сострадание – то, на чем в конечном итоге и держался его утилитаризм. Безусловно, он, подобно Миллю, попытался рационально объяснить свои этические принципы (и, надо, сказать, был при этом более подвержен натуралистической ошибке, чем Милль)^[665], но факт остается фактом: сочувствие Дарвина не знало границ, а это и есть самый настоящий утилитаризм.

Когда он пришел к идее естественного отбора, наверняка понял, насколько глубоко его этика расходится с ценностями, укорененными в природе. Коварство осы-наездницы, пожирающей живую гусеницу, и бессердечие кота, играющего с мышью, были лишь верхушкой айсберга. Размышляя о естественном отборе, нельзя не поразиться тому, какую цену из смертей и страданий организмы платят за каждое

мельчайшее адаптационное изменение, и нельзя не понять, что конечная цель каждого такого изменения (например, увеличения длины клыков у самцов шимпанзе) – причинение дополнительных страданий или более эффективное умерщвление других организмов. Эволюция – продукт боли и боль – продукт эволюции.

Однако Дарвин, похоже, не сильно беспокоился по поводу несоответствия между собственной этикой и «этикой» естественного отбора. Если оса-наездник или кот, играющий с мышью, воплощают ценности природы – тем хуже для них. Поразительно, что в ходе эволюционного процесса, основанного на эгоизме, в конце концов появился организм, способный осознать его законы и ценности, оценить их и отвергнуть. И еще поразительнее, что первый же прозревший организм осудил своего «создателя». Нравственные чувства Дарвина, предназначенные, в конечном счете, для обслуживания эгоизма, отвергли его, как только они стали очевидны^[666].

Дарвинизм и братская любовь

Не исключено, что размышления Дарвина о естественном отборе даже укрепили его нравственные ценности. Представьте: миллиарды организмов бегают по планете, одержимые собственной истиной, и все эти истины абсолютно идентичны и абсолютно же логически несовместимы друг с другом: «Мой наследственный материал самый важный на Земле, мне плевать на ваши страдания, боль и даже смерть; главное – сохранить его». И представьте, что вы один из этих организмов. Наверняка вам захочется освободиться из плена и даже, возможно, взбунтоваться против логического абсурда.

Эволюционное восприятие противостоит эгоизму, и даже Дарвин не мог полностью оценить эту его способность. Благодаря ей новая эволюционная парадигма способна заметно приблизить нас к ценностям Милля, Дарвина и Иисуса.

Естественно, я не утверждаю, что всякий нравственный абсолют выводится исключительно из дарвинизма. К тому же, как мы видели, сама идея нравственных абсолютов заметно потускнела в руках

Дарвина. Тем не менее я совершенно уверен, что большинство людей, которые ясно осознают новую эволюционную парадигму и старательно ее проанализируют, придут к пониманию необходимости относиться к ближнему с большей заботой и состраданием или, по крайней мере, допустят, что это было бы правильно.

Новая парадигма лишает эгоцентризм его благородного флера, позволяя взглянуть на него беспристрастно и увидеть в истинном, неприглядном свете. Нам как виду свойственно прикрывать свои действия нравственностью, мы созданы так, чтобы полагать самих себя хорошими и оправдывать свое поведение даже тогда, когда это противоречит действительности. Новая парадигма раскрывает биологические механизмы, лежащие в основе такого поведения, тем самым делая иллюзию собственной правоты менее правдоподобной.

Например, почти все мы утверждаем (и верим), что наша нелюбовь к определенным людям никогда не бывает беспричинной. Если кто-то является объектом нашего гнева или безжалостного безразличия, если мы наслаждаемся его страданиями или одобряем их, то это не потому, что мы такие черствые, а потому, что он совершил что-то и заслуживает жестокого обращения.

Теперь наконец-то мы приблизились к пониманию того, почему люди почти всегда уверены, что поступают с другими по справедливости. И, увы, оно не внушает морального оптимизма.

В основе чувства безоговорочной собственной правоты лежит карательный импульс, один из базовых механизмов реципрокного альтруизма. Он развился не во благо вида, нации или даже племени, а во благо отдельного человека, вернее даже во благо его генома, поскольку главная функция данного импульса – размножить генетическую информацию индивида.

Само по себе это, конечно, неплохо, просто заставляет задуматься над благовидностью наших поступков, в частности усомниться в наличии высшей справедливости (и связанного с ней неосязаемого ощущения, что возмездие несет в себе высшую этическую истину). Эволюционный взгляд обнажает ее истинную природу, демонстрируя, что это не высший закон, а корыстное веление наших генов. Ее происхождение не более божественно, чем у чувства голода, ненависти, похоти или любого другого, доказавшего свою эффективность в ходе эволюции.

Надо сказать, однако, что у возмездия есть и положительная роль, оправданная с точки зрения морали – или утилитаризма, или любой другой этической системы, которая имеет целью заставить людей вести себя более предусмотрительно по отношению друг к другу. Возмездие помогает решить проблему «мошенничества», с которой сталкивается любая моральная система: люди, которые берут больше, чем дают, получают заслуженное наказание, что отбивает у них охоту проходить в открытые двери, не придерживая их для других. Даже при том, что карательный импульс не нацелен на благо группы, как моральная система Милля, он может повышать (и часто действительно повышает) суммарное благосостояние общества, заставляя людей помнить об интересах других. Несмотря на не самое благородное происхождение, карательный импульс стал служить высокой цели.

Казалось бы, этого должно быть достаточно, чтобы реабилитировать карательный импульс, если бы не одно «но»: возмездие часто не соответствует критериям божественной справедливости, на которой настаивал Милль. Мы наказываем не только тех, которые обманули нас или плохо с нами поступили.

Наша моральная бухгалтерия субъективна и предвзята: подсчитывая социальные долги, мы всегда подбиваем баланс в свою пользу. И это не единственный пример несправедливости наших моральных суждений. Мы склонны считать врагов нравственно ущербными, а союзников – достойными сострадания, склонны сочувствовать больше тем, кто обладает высоким статусом, а представителей социальных низов игнорировать. Как можно, глядя на это все, искренне утверждать, что, отказывая кому-то в своей братской любви, мы поступаем справедливо?

Это правда, что наша нелюбовь никогда не бывает беспричинной. Однако причина ее зачастую оказывается в том, что любить кого-то нам невыгодно: симпатия не поднимет наш социальный статус, не обеспечит нам материальные или сексуальные ресурсы, не поможет нашей семье или не принесет иную эволюционную пользу. Чувство «справедливости», сопровождающее нашу неприязнь, – это просто прикрытие. Стоит осознать это, как негатива становится меньше [\[667\]](#).

Но минуточку! Значит, чувство правоты, сопровождающее сострадание, симпатию и любовь, тоже иллюзия? В конце концов,

любовь, как и ненависть, закрепилась только благодаря своему прошлому вкладу в распространение генов. На уровне генов любовь к родному брату, детям или супругу совершенно корыстна, так же как и ненависть к врагу. Если мы ставим под сомнение справедливость возмездия, то почему бы не подвергнуть сомнению также и любовь?

Эволюционисты однозначно отвечают: подвергать сомнению нужно. Но, к счастью, любовь их отлично выдерживает, по крайней мере, в свете утилитаризма или любой другой этической концепции, рассматривающей счастье как моральное благо. Любовь побуждает нас хотеть счастья для других и даже заставляет идти на определенные жертвы ради любимых. Более того, любовь делает эту жертву приятной, увеличивая общее счастье. Конечно, иногда любовь несет зло. Взять хотя бы случай, когда женщина из Техаса подготовила убийство матери девочки, которая конкурировала с ее дочерью за место в команде по чирлидингу. В этом случае материнская любовь, безусловно сильная, толкнула женщину на грубое нарушение нравственных норм. Независимо от отдельных отклонений, оценивать любовь следует точно так же, как возмездие: сначала освободиться от иллюзий (интуитивного чувства «правоты»), а затем трезво оценить влияние на общее счастье.

Таким образом, задача новой парадигмы, строго говоря, не в том, чтобы показать основу наших нравственных чувств (сама по себе эта основа – глубинный генетический эгоизм, обуславливающий импульс, – морально нейтральна и не дает оснований ни для одобрения, ни для осуждения импульса); скорее, парадигма полезна тем, что помогает нам увидеть иллюзорность моральной правоты, сопровождающей многие наши поступки. Совершать зло можно и при полном осознании собственной правоты; естественно, ненависть приводит к этому чаще, чем любовь, поэтому думающий человек, опираясь на новую парадигму, скорее выберет любовь, чем ненависть. Отбросив иллюзии, он сможет оценить оба чувства по их объективным достоинствам, и, я думаю, всем очевидно, кто в этом сравнении выйдет победителем.

Конечно, если вы не утилитарист, то решить эту моральную дилемму будет труднее. Дарвин и Милль прибегли к утилитаризму, чтобы справиться с нравственными проблемами, поднятыми современной наукой; вполне вероятно, вы используете другие

способы. Я ни в коей мере никому не навязываю эту концепцию (хотя и признаю, что сам ее придерживаюсь), просто я хочу показать, что дарвиновский мир не аморален.

Достаточно признать, что счастье лучше несчастья (при прочих равных), и на этой основе можно будет выстроить развернутую моральную систему, с абсолютными законами, правами, обязанностями и всем остальным; вечные ценности, вроде любви, самопожертвования и честности, останутся нетронутыми. Только нестигаемый нигилист, упорно настаивающий на том, что в счастье нет ничего хорошего, может полагать мораль бессмысленной в постдарвиновском мире.

Схватка с врагом

Дарвин не был единственным эволюционистом-викторианцем, с сомнением относящимся к «ценностям» природы. Его друг и защитник Томас Гексли придерживался похожего мнения. В своей лекции «Эволюция и этика», прочитанной в Оксфордском университете в 1893 году, он осудил ключевой тезис социального дарвинизма – идею о необходимости заимствовать ценности у эволюции. Повторяя логику Милля в «Природе», он заявил, что «вселенская эволюция может объяснить нам, как возникли благие и порочные склонности человека, однако прояснить вопрос, почему то, что мы называем благом, лучше того, что мы называем злом, она не способна». Изучая эволюцию с ее бесконечными страданиями и смертями, Гексли не мог не заметить, что ее ценности мало согласуются с тем, что мы считаем добром. Он сказал: «Давайте поймем раз и навсегда, что добиться этического прогресса можно, только противостоя вселенскому процессу, а не подражая ему, как мы до сих пор делали»^[668].

Питер Сингер, один из первых философов, серьезно принявший новый дарвинизм, отметил, что «чем больше вы знаете о вашем противнике, тем выше ваши шансы на победу»^[669]. Джордж Уильямс, внесший столь значительный вклад в формирование новой парадигмы, объединил точки зрения Гексли и Сингера и подчеркнул

их важность для нового эволюционизма. Он признавал, что его отвращение к «ценностям» естественного отбора даже большее, чем у Гексли, поскольку оно «основывается на радикальном современном взгляде на естественный отбор, как на процесс увеличения эгоизма, и на более длинном списке пороков, приписываемых «врагу». А если враг действительно «хуже, чем полагал Гексли, то существует насущная потребность в его биологическом понимании»^[670].

На данный момент выработано несколько основных правил противодействия врагу (я аккуратно перечислю их, но врать, что всегда им следую, не стану). Для начала следует сократить моральное негодование хотя бы наполовину, памятуя о нашей предвзятости, и пропорционально увеличить настороженность в случаях, когда мы ощущаем моральное безразличие по отношению к страданиям других. В некоторых ситуациях следует быть особенно бдительными, поскольку мы склонны возмущаться поведением групп (скажем, стран), чьи интересы противоречат интересам нашей группы; мы также склонны проявлять невнимание к людям низкого статуса и чрезмерную терпимость к людям высокого статуса (немного облегчить жизни первых за счет вторых – будет оправданно с точки зрения утилитаризма или любой другой эгалитарной этики).

Однако не стоит считать, что утилитаризм призывает огульно упразднить любые статусы. Влиятельный человек, использующий свое положение гуманно, – это ценный социальный актив, и, следовательно, он заслуживает особого отношения (если оно не подавляет его гуманное поведение). Знаменитый пример – вопрос о том, кого нужно в первую очередь спасти из горящего здания – архиепископа или горничную? Утилитаризм отвечает однозначно – первого, даже если горничная – ваша мать, ибо архиепископ более полезен обществу^[671]. Допустим (хотя еще надо посмотреть, что за человек этот архиепископ). Однако в отношении большинства людей с высоким статусом подобное решение окажется неоправданным: у нас нет доказательств в пользу положительной корреляции высокого статуса с высокими моральными качествами, вроде совестливости или жертвенности. Новая парадигма подчеркивает, что они достигли своего статуса не ради «блага группы», а ради собственного блага; логично предположить, что и использовать его они будут соответственно^[672]. Статус заслуживает гораздо меньших льгот, чем

фактически получает. Уважением в нашем обществе пользуются и мать Тереза, и Дональд Трамп, хотя моральные качества их несопоставимы.

В основе всех этих правил лежит постулат утилитаризма, утверждающий, что счастье других есть цель моральной системы. А как же быть с нигилистами – людьми, которые считают, что счастье не является благом, или что только их счастье является благом, или что счастье других их не касается? Скорее всего, они тщательно это скрывают, ибо притворяться альтруистом выгодно. Мы прикрываемся изощренными моральными формулировками, чтобы откреститься от животных импульсов и казаться поборниками общего блага. Мы яростно и самоуверенно осуждаем эгоизм других. Таких людей, не признающих утилитаризма и братской любви, хочется попросить только об одном: будьте хотя бы последовательны, а лучше скептически взгляните на свое моральное позерство и вовсе его отбросьте.

Те, кто выберет первый путь, должны иметь в виду, что чувство моральной «справедливости» было создано естественным отбором, чтобы индивид мог спокойно, не отвлекаясь на нравственные терзания, преследовать эгоистичные цели. Образно говоря, мораль появилась для того, чтобы злоупотреблять нравственными ценностями. Зачатки корыстного морализаторства наблюдаются даже у шимпанзе: они преследуют свои интересы со справедливым негодованием. В отличие от них, мы можем дистанцироваться от данного чувства, чтобы увидеть его сущность и даже построить целую моральную философию, направленную на его искоренение.

Дарвин верил, что мы – моральный вид. Единственные нравственные животные. Он написал: «Нравственным же является такое существо, которое способно сравнивать между собой свои прошлые и будущие действия или побуждения и осуждать или одобрять их. Мы не имеем оснований предполагать, что какое-либо из низших животных обладает этой способностью»^[673].

В этом смысле да, мы нравственны, у нас, по крайней мере, есть все необходимое для контроля: самосознание, память, прозорливость и способность к оценкам. Наличие всех этих «инструментов» подтверждается современными эволюционными исследованиями. Нам не нужно постоянно сверяться с некими моральными законами и

корректировать в соответствии с ними свое поведение. В отличие от всех прочих живых существ у нас есть нравственный потенциал. И чтобы стать истинно нравственными животными, мы должны понять, насколько мы далеки от морали.

Глава 17

Обвиняя жертву

Так как все люди желают себе счастья, то поступки и побуждения подвергаются похвалам и осуждению, лишь насколько они ведут или не ведут к этой цели.

Чарлз Дарвин. «Происхождение человека»

Много понятий мы приобретаем бессознательно, не теоретизируя и не рассуждая о них (справедливость?).

Из записных книжек Чарлза Дарвина^[674].

Публикация «Социобиологии» в середине 1970-х годов впервые привлекла к новой эволюционной парадигме всеобщее внимание. И обрушила на ее автора, Эдварда Уилсона, первую лавину публичных оскорблений. Его обзывали расистом, сексистом, империалистом, а книгу воспринимали как оправдание дальнейшего угнетения и без того угнетенных.

Может показаться странным, что страхи, связанные с теорией естественного отбора, до сих пор не развеялись, спустя несколько десятилетий после разоблачения «натуралистической ошибки» и разрушения интеллектуальной основы социального дарвинизма. Наверное, дело в том, что слово «естественный» весьма двоякое. Человек может изменять жене или эксплуатировать слабого, оправдываясь тем, что это «естественно», при этом он необязательно

считает, что такое поведение ниспослано свыше, не исключено, что он лишь имеет в виду, что импульс возникает так глубоко, что практически непреодолим; поступок может быть и не хорош, но осознание этого мало помогает.

Данный вопрос долгие годы муссировался на «социобиологических дебатах». Дарвинистов обвиняли в «генетическом» или «биологическом детерминизме», который якобы не оставляет места «свободе воли». В ответ они указывали обвинителям на ошибки: правильно понятый дарвинизм не содержит никакой угрозы высоким политическим и моральным идеалам.

Обвинения, обрушивавшиеся на дарвинистов, часто были бессвязными (а обвинения, направленные лично против Уилсона, еще и беспричинными). Однако некоторые опасения «левых» сохранили свою актуальность даже после устранения ошибок. Вопрос о моральной ответственности, если решать его в координатах эволюционной психологии, способен широтой своего охвата и щепетильностью предмета всколыхнуть как «правых», так и «левых». Правильно понятый, он поднимает глубокие, важные и до сих пор в большинстве своем нерешенные проблемы^[675].

Одну из них, самую сложную, Чарлз Дарвин решил более сотни лет назад с присущими ему пронизательностью и гуманизмом. А вот миру ничего не сообщил. Подобно современным дарвинистам, он осознавал, насколько взрывоопасным может быть честный анализ вопроса моральной ответственности, и потому так никогда и не опубликовал свои выводы. Они остались в неизвестности, похороненные среди личных записей, скромно озаглавленные: «Старые и БЕСПОЛЕЗНЫЕ примечания о моральном чувстве и метафизические размышления». Теперь, когда биологические основы поведения стремительно выходят на свет, пришло время, чтобы откопать сокровища Дарвина.

Реальность поднимает свою уродливую голову

Поводом, заставившим Дарвина взяться за анализ, стал конфликт между реальностью и идеалом. Братская любовь прекрасно выглядит в

теории, а на практике возникают проблемы. Даже если вам удастся убедить большинство следовать принципам братской любви (проблема номер один), то вы тут же столкнетесь с проблемой номер два: общество распадется.

Истинная братская любовь – безусловное сострадание. Она не дает причинять вред ближнему, даже если тот ведет себя из рук вон плохо. Однако в обществе, где никого и ни за что не наказывают, быстро воцарится хаос.

Данный парадокс кроется на задворках утилитаризма, особенно в трактовке Джона Стюарта Милля. Милль мог говорить, что хороший утилитарист – тот, кто любит безусловно, но это имеет смысл лишь до тех пор, пока безусловно любят все. Достижение цели утилитаризма – максимум всеобщего счастья – требует условной любви. Тех, которые еще не прозрели, надо поощрять к хорошим поступкам. Убийцу следует примерно наказать, альтруиста вознаградить и так далее. Люди должны чувствовать свою ответственность^[676].

Примечательно, что Милль не пытался решить сей парадокс в своем «Утилитаризме» и, кажется, даже не замечал его. Сначала он восхваляет принцип всеобщей любви, который проповедовал Иисус, а затем, буквально через дюжину страниц, утверждает принцип «воздаяния каждому по заслугам, то есть добром за добро и злом за зло»^[677]. С одной стороны – «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой», с другой – «поступай с другими так, как они поступили с тобой»; с одной – «возлюби своего врага» или «подставь другую щеку», с другой – «око за око, зуб за зуб»^[678].

Милль ничего не имел против чувства справедливости, поскольку резонно полагал, что оно лежит в основе реципрокного альтруизма^[679], а как мы уже отмечали, механизм реципрокного альтруизма, с точки зрения утилитариста, является настоящей эволюционной находкой: он раздает кнуты и пряники, заставляя людей помнить о потребностях окружающих, – не так уж и плохо, учитывая, что забота о благополучии общества не закреплена у нас генетически.

Еще раз подчеркну: признавать пользу карательного импульса в деле поддержания порядка вовсе не значит считать его источником истины. Безотносительно к его практической ценности нет никаких оснований полагать, что природное чувство справедливости (чувство,

что люди заслуживают наказания и их страдания – это благо) отражает высшую истину. Новая эволюционная парадигма показывает, что чувство собственной правоты, толкающее нас на возмездие, имеет генетическую природу и поэтому может искажать действительность. Если люди осознают это, то будут больше сочувствовать друг другу, как я и говорил в предыдущей главе.

Современный дарвинизм не поддерживает идею карательного наказания. Эволюционная психология претендует на то, чтобы объяснить все аспекты человеческого поведения, как хорошего, так и плохого, и основных психологических состояний: любви, ненависти, жадности и так далее. А понять – значит простить. Видя силы, управляющие поведением, становится сложнее порицать человека.

Это не имеет никакого отношения к «правой» доктрине «генетического детерминизма». Начнем с того, что вопрос о моральной ответственности не поддерживает никакую идеологию. Хотя крайне правые были бы счастливы услышать, что бизнесмены не могут не эксплуатировать рабочих; правда, счастья бы поубавилось, если бы им сказали, что и преступники не могут не совершать преступлений. Не говоря уж о том, что христианские ортодоксы и феминистки всякий раз начинают биться в конвульсиях, когда слышат, как мужчины-бабники утверждают, что они рабы своих гормонов.

«Генетический детерминизм» чересчур упрощает действительность и поэтому искажает ее. Как мы видели, каждый из нас (не исключая Дарвина) является жертвой не генов, а генов и окружающей среды – регуляторов и их настроек.

Но жертва – все равно жертва, как ни крути. Глупо винить магнитофон в том, какая музыка на нем играет. И хотя генетический детерминизм был справедливо отмечен в 1970-х годах, в общем, детерминизм выстоял. С одной стороны, это хорошо: у нас появилось больше оснований сомневаться в импульсах порицания и осуждения и шире проявлять сострадание, не ограничиваясь кругом родственников и друзей. С другой стороны, этот же детерминизм толкает нас на совершение ужасных вещей. Короче, ситуация запутанная.

Конечно, найдутся те, которые не согласятся, что мы – продукт исключительно генов и среды, регуляторов и их настроек, и станут утверждать, будто есть что-то... еще. Однако если попросить их наглядно представить это «что-то» или четко сформулировать, то они

не смогут. Любая сила, не связанная с генами или средой, находится вне воспринимаемой физической реальности. А значит, и вне научного дискурса.

Это, конечно, не означает, что «чего-то» не существует. Не все доступно науке. Однако в 1970-х годах, когда громили генетический детерминизм, никто из антропологов или психологов, нападавших на него, не приводил метафизических аргументов, все настаивали на строгой научности. В то время в социальных науках господствовала философия «культурного детерминизма» (как называли ее антропологи), или «средового детерминизма» (психологи). Впрочем, когда речь заходит о свободе воли (и, следовательно, о порицании и доверии), детерминизм остается детерминизмом, какие определения ни добавляй. Как отметил Ричард Докинз, «как ни рассматривай детерминизм, а добавление слова «генетический» ничего не меняет»^[680].

Диагноз

Все это Дарвин прекрасно понимал. Естественно, он не знал о существовании генов, но с принципом передачи наследственных признаков знаком был и придерживался научного материализма; ему и в голову не приходило прибегать к метафизическим объяснениям человеческого поведения или чего бы то ни было в природе^[681]. Он понимал, что наше поведение – результат влияния двух факторов: наследственности и среды. «Можно усомниться в существовании свободы воли... потому что каждое действие определено наследственной конституцией, примером других или обучением»^[682], – писал он.

Дарвин видел, что эти силы формируют физическую «организацию» человека, которая, в свою очередь, определяет мысли, чувства и поведение. «Мое желание улучшить свой характер... Откуда оно возникает, как не из организации?» – размышлял он в записной книжке. «Эта организация сформировалась, вероятно, под воздействием окружения и обучения – и еще решений, которые я принимал, согласуясь со своей организацией»^[683].

Здесь Дарвин постулирует важный принцип, до сих пор усвоенный не всеми: любое, генетическое и средовое, влияние на поведение человека опосредовано биологически. Независимо от того, под воздействием каких факторов сформировалась ваша физическая организация на текущий момент (будь то гены, детское окружение или усвоение первой части данного предложения), эта физическая организация будет определять и то, как вы отреагируете на его вторую часть. Давайте назовем это биологическим детерминизмом. Надо понимать, что это не синоним «генетического детерминизма» и вообще определение здесь не играет большой роли, его можно легко опустить без особой потери смысла. «Биологическим детерминистом» можно в равной степени назвать и Уилсона, и Скиннера^[684]. Эволюционная психология – «биологический детерминизм», и вся психология вообще – это тоже «биологический детерминизм».

Итак, если все поведение детерминировано, почему нам кажется, что мы способны на свободный выбор? Дарвин дал поразительный ответ, опередивший свое время: наше сознание не осведомлено об истинных мотивах поведения. Он написал: «Очевидно общее заблуждение насчет свободы воли: человек может действовать, но редко способен проанализировать мотивы (по природе своей ИНСТИНКТИВНЫЕ, а значит, для их обнаружения рассудку приходится прилагать серьезные усилия – это важно) и потому думает, что их у него нет вовсе»^[685].

Новые дарвинисты склоняются к тому, что некоторые из наших мотивов скрыты от нас не случайно, а согласно замыслу – чтобы, когда мы поступали так или иначе, казалось, будто этих мотивов у нас и вовсе нет. Иначе говоря, «иллюзия свободы воли» вполне может быть адаптационным механизмом. Дарвин, похоже, не догадывался об этом, однако главное он уловил: свобода воли – иллюзия, возникшая у нас в ходе эволюции. Все поступки, которые мы обычно порицаем или восхваляем – от убийства и воровства до чрезвычайной вежливости Дарвина, – не результат выбора, сделанного неким «Я», это физиологически обусловленная неизбежность. Дарвин писал в своих заметках: «Данный подход должен учить полному смирению; ибо ни в чем нет нашей заслуги». И еще: «Но также никто не должен порицать никого»^[686]. Это, пожалуй, самое гуманное научное наблюдение Дарвина и одновременно самое опасное.

Дарвин осознавал опасность всепрощения, вытекающего из понимания; он видел, что детерминизм, разрушая понятие вины, угрожает моральной ткани общества. Поэтому, возможно, и не торопился делиться своими наблюдениями: какими бы логичными и стройными они ни казались ему как вдумчивому ученому-материалисту, Дарвин прекрасно понимал, что большинство людей такими не являются. «Это представление не нанесет вреда, потому что никто, кроме вдумчивого мыслителя, не сможет всецело убедиться в его правоте; он же знает, что счастье его состоит в том, чтобы делать добро и стремиться к идеалу, поэтому его не совершит знание того, что дурные поступки от него не зависят»^[687]. Иными словами, пока этим знанием обладают лишь несколько английских джентльменов, беспокоиться не о чем; главное, чтобы «вирус» не попал в массы.

Однако вирус попал и стремительно распространяется. Дарвин не мог предвидеть, что методология науки обеснует необходимость детерминизма. Он понимал: «Мысль, как бы эфемерна она ни была, является таким же продуктом организма, как, скажем, желчь, вырабатываемая печенью», но, вероятно, даже и предположить не мог, что мы начнем точно устанавливать связи между органом и мыслью^[688].

Сегодня новости об этих связях регулярно попадают в передовицы газет: ученые обнаружили корреляцию между преступностью и низким уровнем серотонина; молекулярные биологи стараются найти гены, предрасполагающие к развитию психических заболеваний; обнаружено, что чувство любви вызывает гормон окситоцин; чтобы достичь просветленного спокойствия, достаточно принять экстази – теперь любой может стать Махатмой Ганди на пару часов. Читая новости генетики, молекулярной биологии, фармакологии, неврологии, эндокринологии, люди начинают понимать, что все мы – машины, управляемые силами, распознать которые может только наука. И наука эта, естественно, в первую очередь – биология (не эволюционная, а общая: гены, нейротрансмиттеры и прочие элементы, управляющие психикой, изучаются, как правило, без привлечения дарвинизма). Дарвинизм вступает в игру на следующем этапе: он позволяет выстроить полученные выводы в стройную концепцию. Например, понять, почему низкий уровень серотонина

толкает людей на преступления – он вызывает у человека ощущение недостижимости материального успеха законными способами, а естественный отбор «заставляет» искать альтернативные пути. Преступники действительно в каком-то смысле «жертвы общества». Молодой бандит из городских трущоб стремится к высокому статусу и выбирает для этого путь наименьшего сопротивления – точно так же, как и вы. Им управляют те же неуловимые и мощные силы, что и вами. Конечно, когда он поддает пинка вашей собаке и выхватывает у вас сумочку, об этом как-то не думается. Однако потом, спокойно поразмыслив, вы поймете, что поступали бы так же, родись в его семье.

Лавина новостей о биологии поведения постепенно нарастает, хотя многие пока не спешат признавать себя просто машиной. Так что идея о свободе воли еще живет, хотя и порядком потускнела. Каждый раз, когда появляются новые факты, подтверждающие, что наше поведение определяется биохимией, находят тех, кто предлагает вывести его из волевой сферы. На этом настаивают, например, адвокаты. Самый известный случай – «защита твинки», когда адвокат убедил калифорнийское жюри присяжных в том, что нездоровое питание «ограничило способность» его клиента ясно мыслить и поэтому его нельзя считать полностью виновным в убийстве. Таких примеров масса. И в британских, и в американских судах женщины ссылались на предменструальный синдром, чтобы снять с себя ответственность за преступление. В связи с этим Мартин Дали и Марго Уилсон в своей книге «Убийство» не без горькой иронии интересовались, скоро ли появятся мужчины, оправдывающиеся «высоким уровнем тестостерона»?^[689]

Психология начала подтачивать концепт виновности даже раньше, чем биология. «Посттравматическое стрессовое расстройство» – любимое заболевание адвокатов, которое, как они утверждают, охватывает все: от «синдрома забитой женщины» до «депрессивно-суицидального синдрома» – и которое якобы не только толкает людей на преступления, но и внушает им подсознательную цель – быть пойманными. Первоначально данное расстройство описывали в чисто психологических терминах с минимальными отсылками к биологии, теперь его все больше начинают связывать с биохимическими причинами – не в последнюю очередь потому, что жюри присяжных

привыкло доверять материальным уликам. Уже сейчас эксперты могут оправдывать «синдром зависимости от страха» (подвид посттравматического стрессового расстройства) нехваткой эндорфинов, которые преступник получает, совершив преступление^[690]. Точно такой же выброс эндорфинов происходит у азартных игроков, когда они играют на деньги, следовательно, игромания – болезнь.

Несомненно, все мы зависимы от эндорфинов и делаем разные вещи – от бега трусцой до секса, – чтобы получить их и ощутить удовольствие. Без сомнения, насильники чувствуют подъем во время и сразу после преступления. Без сомнения, это удовольствие имеет биохимическую основу. И без сомнения, рано или поздно эта основа будет обнаружена. Если адвокаты таки добьются своего и действия, запускаемые биохимией, будут выведены из волевой сферы, то концепт свободной воли быстро сдуется, что, в общем-то, правильно с точки зрения теории.

На растущее число свидетельств о том, что нами управляют биохимические процессы, можно реагировать двумя способами. Первый – несмотря на факты, упорно продолжать доказывать наличие свободной воли, аргументируя это тем, что если бы биохимия (уровень эндорфинов, сахара в крови и т. д.) блокировала свободу воли, то ее, этой свободы, не было бы ни у кого из нас! А все мы знаем, что она есть. Так? (Пауза.) Так ведь?

Подобные сеансы самовнушения часто встречаются в книгах и статьях, оплакивающих разрушение концепта виновности. И на референдуме, постановившем удалить из закона штата Калифорния «ограниченную дееспособность» как основание для освобождения от ответственности, подобная точка зрения также неявно присутствовала. Видимо, граждане почувствовали: если признать, что обычный уровень сахара способен превратить человека в робота, то придется также признать, что все мы роботы и никто не заслуживает наказания.

Второй способ реагировать на дегуманизирующие биохимические данные – поступить, как Дарвин: капитулировать, признать иллюзорность свободы воли. Никто и ни за что не заслуживает ни наказания, ни награды, ибо все мы – рабы биологии. Дарвин был

убежден, что дурного человека следует воспринимать «как больного»: «Жалость была бы более уместна, чем ненависть и отвращение»^[691].

В общем, братская любовь – верная концепция. Ненависть и отвращение, которые загоняют людей в тюрьмы и на виселицы или приводят к спорам, поединкам и войнам, не имеют интеллектуального обоснования. А вот практическое – имеют. Порицание и наказание столь же практически необходимы, сколь рассудочно бессмысленны. Видимо, поэтому Дарвин хотел, чтобы его догадки остались при нем.

Лечение

Что же нам делать? Как бы Дарвин поступил, если бы его догадки о физиологических причинах поведения стали достоянием общественности? Как обществу реагировать на леденящее знание о том, что все мы биологические роботы? Ответы на подобные вопросы у Дарвина были. Для начала надо постараться отделить наказание от глубинных импульсов, толкающих к нему, и принимать решение о его необходимости, руководствуясь исключительно объективными причинами, то есть ограничить его теми случаями, когда оно действительно будет благом. Дарвин писал: «Наказывать преступников правильно, но только ради того, чтобы удержать других от совершения преступлений».

Данное утверждение полностью соответствует идеям утилитаризма: наказание необходимо, однако лишь в целях увеличения общего счастья. В самом по себе возмездии нет ничего хорошего, и страдание, причиненное нарушителю, столь же удручающе, как и страдание любого человека. Оно оправданно только в том случае, когда рост благополучия других перевешивает издержки «посредством предотвращения будущих преступлений»^[692].

Эта идея кажется многим весьма разумной и не слишком радикальной, но, чтобы на деле воплотить ее, пришлось бы перекраивать существующую юридическую систему. В американском законодательстве прописано несколько функций наказания. Прежде всего, строго практические: изолировать преступника от общества,

отбить у него охоту впредь нарушать закон, перевоспитать его и отбить у других охоту повторять его судьбу – все вполне соответствует идеям утилитаризма. Но есть еще одна функция, чисто «моральная», – расплата. Даже если у наказания нет никакой четкой цели, оно воспринимается как благо. Иначе говоря, случись вам наткнуться на необитаемом острове на дряхлого девяностопятилетнего старика, который давным-давно сбежал из тюрьмы и о котором все уже забыли, вы послужите делу справедливости, если заставите его страдать. Даже если наказание не доставит вам морального удовлетворения и никто на материке не узнает о вашей «похвальной» инициативе, вы можете быть уверены, что где-нибудь на небесах Бог справедливости улыбается.

Доктрина карательного правосудия уже не играет столь заметной роли в судах, как раньше. Однако многие, особенно из числа консерваторов, были бы не против вернуть ей былое величие. Современные суды зачем-то тратят кучу времени, выясняя, совершил ли обвиняемый преступление «сознательно», или был «невменяемым», или находился во «временном помешательстве», или имел «ограниченную дееспособность», или еще что-то. Если бы утилитаристы правили миром, подобное бы никого не волновало. Суды бы интересовали только два вопроса: а) совершил ли ответчик преступление; б) как наказание повлияет на поведение самого преступника в будущем и на поведение других потенциальных преступников.

Следовательно, если женщина, избитая или изнасилованная мужем, убивает или калечит его, вопрос о ее наказании не должен зависеть от того, был ли у нее «синдром забитой женщины». И когда мужчина убивает любовника своей жены, то вопрос о том, является ли ревность «временным помешательством», вообще не должен подниматься. Суду надо решить лишь, позволит ли наказание предотвратить подобные случаи впредь. Естественно, на данный вопрос невозможно ответить совершенно точно, но он все же более конкретный, чем вопрос о воле, и к тому же не опирается на старые предрассудки.

Надо сказать, что два этих вопроса интересуют суды и сейчас. Суды, как правило, признают «свободную волю» (и, следовательно, «вину») в тех случаях, когда человек может удержаться от совершения преступления, зная о грядущем наказании. Ни судья-утилитарист, ни

судья старой закалки не отправили бы в тюрьму полного психа (правда, свободу бы его ограничили, если бы решили, что преступление может повториться). Как пишут Мартин Дали и Марго Уилсон, «огромный объем религиозно-мистической абракадабры об искуплении, каре, высшем суде и т. п., апеллирующей к высшим силам, нацелен на решение мирского прагматического вопроса: воспрепятствовать эгоистичным действиям конкурентов, снизив их целесообразность до нуля»^[693].

Получается, «свобода воли» – вполне полезная штука, аналог утилитаристского правосудия. Однако ведущиеся сейчас бесконечные споры о том, считать ли алкоголизм болезнью, вызывают ли сексуальные преступления аддикцию, ослабляет ли волю предменструальный синдром и так далее, свидетельствуют о том, что данная концепция теряет свои позиции. Еще десять-двадцать лет, и от нее будет больше проблем, чем толку, и тогда, вероятно, от нее совсем откажутся, и у нас останется как минимум две альтернативы: а) искусственно восстановить концепцию «свободы воли», немного перелицевав ее (например, объявив, что наличие биохимических причин не исключает возможности «сознательного» выбора); или б) полностью отказаться от концепта воли и принять утилитаристский подход к наказанию. Обе альтернативы, несмотря на различия, основываются на одной предпосылке: роботы должны сами отвечать за свои «поломки», если от этого будет зависеть общее благо.

Отказ от концепта воли может лишить юридическую систему эмоциональной подпитки. Присяжные заседатели так охотно назначают наказания, потому что в глубине души ощущают, что творят благо. Это неявное, но очень стойкое ощущение вряд ли уйдет при смене юридической парадигмы. Но даже если оно слабеет, практическая целесообразность наказания, вероятно, останется достаточно очевидной, чтобы присяжные заседатели продолжали выполнять свою работу.

Постмодернистская мораль

По-настоящему серьезная угроза, исходящая от научного познания, лежит в моральной, а не в правовой сфере. И дело тут не в том, что пропадет чувство справедливости, лежащее в основе реципрокного альтруизма. Даже люди, крайне беспристрастные и гуманные, видя, что их обманывают или притесняют, способны испытывать негодование, достаточное для утилитарных целей. Дарвин верил в невиновность людей, но и он мог испытывать гнев, когда прижмет. Ожесточенная критика Ричарда Оуэна заставила его «пылать от негодования», он даже признавался Гексли, что ненавидит его «больше, чем вы»^[694].

Сколько мы ни стремимся к идеалу всемирного сострадания и прощения, привлекая на помощь просветительский потенциал современной науки, прогресс пока настолько ничтожен, что беспокоиться за сохранность нашей цивилизации просто глупо. Истинных адептов братской любви мало, и что-то их ряды пока не слишком растут, несмотря на все просветительские усилия биологии. Принцип «око за око» вшит в нас слишком глубоко, чтобы так легко испариться в ослепительном сиянии истины.

Угроза морали не столь прямолинейна. Принцип «око за око» действует не только на индивидуальном, но и на общественном уровне. Чарлз Диккенс не появлялся в обществе со своей любовницей не потому, что боялся мести жены (у которой для этого не было ни сил, ни возможностей). Он боялся позора.

Так бывает всегда, когда сильный животный импульс идет вразрез с нравственными нормами. Человек понимает, что их открытое нарушение приведет к снижению статуса, и всеми силами избегает этого, что также является мощным животным импульсом. Такой вот встречный огонь или, вернее даже, изощренный механизм по созданию огня. Роберт Аксельрод, чей компьютерный эксперимент, подтверждающий теорию реципрокного альтруизма, мы уже разбирали, также изучал колебания норм. Он предположил, что крепкий моральный кодекс покоится не только на нормах, но и на «метанормах»: общество не одобряет не только непосредственных нарушителей, но и тех, кто им потворствует, не высказывая должного неодобрения^[695]. Будь прелюбодеяние Диккенса предано гласности, его друзьям пришлось бы оборвать с ним отношения, иначе они бы сами подверглись ostracismу за «нарушение санкций».

Современная наука размывает эти метанормы. Гнев брошенной женщины не под силу заглушить никакому детерминизму, а вот гнев общества может слабеть, поскольку люди начинают думать, что измена мужа вызвана естественными причинами (обусловлена биохимией), а негодование жены – произвольная реакция, закрепившаяся в процессе эволюции. Жизнь других (за пределами круга семьи и близких друзей) становится чем-то вроде занимательного фильма, который мы смотрим с отрешенностью абсурдиста. Такова постмодернистская мораль. Дарвинизм и биология вообще – не единственный ее источник, но их влияние весьма значительно.

К сожалению, не все спешат признавать базовый парадокс, о котором мы писали выше: что вина теоретически не обоснована, но практически необходима. Один антрополог высказал следующее мнение о разводе: а) «Я не хочу поддерживать того, кто оправдывается, будто это запрограммировано изнутри и с этим ничего нельзя поделать. Многие ведь как-то справляются с подобными мощными импульсами»; и б) «На наших улицах полно мужчин и женщин, которые говорят себе: «Я – неудачник! У меня было два брака, и ни один из них не удался». Им было бы легче, если бы они знали, что это естественный паттерн поведения. Я не считаю, что люди должны мучиться после развода»^[696].

Эти утверждения, справедливые сами по себе, противоречат друг другу. О любом разводе можно сказать, что он является неизбежным итогом длинной цепи генетических и средовых воздействий, опосредованных биохимически. Однако надо понимать, что, подчеркивая эту неизбежность, мы влияем на публичный дискурс и через него на среду, а через нее – на нейробиологию, делая разводы в будущем еще более неизбежными, чем они могли бы быть. Определяя что-то как неминуемое, мы увеличиваем в будущем степень его неминуемости. Говорить людям, что они не виноваты в былых ошибках, – значит увеличивать вероятность подобных ошибок в будущем. Истина не гарантирует освобождения.

Иными словами, истина зависит от того, как мы ее трактуем. Если мужчине сказать, что тяга к изменам «естественна» и, по существу, неудержима, то таковой она у него и будет. Во времена Дарвина мужчинам говорили совсем другое: что животные импульсы –

грозные противники, которых все же, прилагая постоянные и упорные усилия, можно победить. В викторианской Англии это являлось истиной для многих мужчин. Свобода воли, в определенном смысле, была сформирована их верой в нее.

Тогда, могут возразить мне, почему бы, опираясь на их успешный опыт, и нам не верить в то же самое? Нет, скажу я, верить в метафизическую концепцию свободы воли не стоит, а вот практиковать ее в повседневной жизни не помешало бы. Жесткая внутренняя дисциплина викторианцев не противоречит идее детерминизма; она была продуктом среды, в которой вера в возможность полного самоконтроля витала в воздухе и где к несчастным, которые не сумели его достичь, применялись самые жестокие моральные санкции. Как ни странно, пример этих несчастных является аргументом в пользу хотя бы частичного воссоздания той атмосферы. Во всяком случае, он свидетельствует о том, что такое влияние возможно; само их существование дает основание считать концепцию свободы воли «истинной» с прагматической точки зрения^[697]. Но сможет ли такой прагматизм перевесить реальную истину? Сможет ли практичная «вера» в свободу воли устоять против лавины свидетельств ее отсутствия? Это уже другой вопрос.

Однако даже если эта затея выгорит и концепт вины сохранится ради благополучия общества, нам придется решать проблему ее ограничения утилитарными рамками: наказывать людей лишь тогда, когда наказание необходимо для общего блага, и не позволять чувству справедливости требовать большего. И кроме того, придется еще как-то примирять необходимые моральные санкции с безграничным состраданием, которое практически всегда уместно.

Милль как пуританин

Оправданно ли с точки зрения общественного блага развертывание войны против разводов с введением более жестких санкций для изменщиков и с полной нетерпимостью к их оправданиям, будто измены «естественны»? Тут мнения могут разойтись. Впрочем,

детерминизм в любом случае проблема, потому что полное устранение нравственных норм крайне нежелательно; так или иначе, а без них не обойтись.

Мораль является единственным способом получить дивиденды от взаимодействий с ненулевой суммой (ни родственной, ни реципрокный альтруизм для этого не подходят). Мораль заставляет нас не забывать о благе других людей (не входящих в круг родных и близких) и в итоге повышает благополучие общества. Чтобы осознать преимущества такого порядка, необязательно быть утилитаристом. Вообще-то, мораль – не единственный способ получить дивиденды, но самый дешевый и наименее отталкивающий. Общество, в котором никто не садится за руль пьяным, безусловно, выигрывает. И согласитесь, как-то спокойнее, когда люди соблюдают данное правило под влиянием усвоенных нравственных норм, а не из страха перед полицией. Собственно, это и есть ответ людям, сомневающимся, стоит ли принимать всерьез такие понятия, как «мораль» и «ценности». Стоит – и не потому, что традиция хороша сама по себе, а потому, что только крепкие нравственные нормы могут обеспечить эффективное взаимодействие с ненулевой суммой без привлечения толпы полицейских.

Джон Стюарт Милль понимал, что нравственные нормы могут быть столь же удушливыми и жуткими, как вездесущая полиция. В своей книге «О свободе» он сетовал на жизнь «под надзором враждебной и устрашающей цензуры»^[698]. Занятно, но он написал эту оду нравственной стойкости сразу после изложения своей этической философии – утилитаризма.

Однако Милль сетовал не на все крепкие нравственные нормы, а только на крепкие и бессмысленные – запрещающие поведение, которое никому не вредит, и, таким образом, не оправданные с точки зрения утилитаризма. В викторианской Англии любые отклонения от статистической нормы (например, гомосексуализм) рассматривались как серьезные преступления против человечества, хотя вреда они никому не причиняли. Развод также считался постыдным явлением, даже если и муж и жена хотели разойтись и у них не было детей.

Примечательно, что Милль порицал не все правила, например, он многозначительно уклонился от обсуждения общего права на выход из брака^[699] и излагал свои взгляды на брачную ответственность в

весьма туманных выражениях: «Когда человек обещаниями или поступками дает основание и поощряет к тому, чтобы другой человек положился на то, что он будет постоянно поступать известным образом, основал бы на этом свои надежды, свои расчеты и согласно с этим принял бы какие-нибудь решения, которыми в большей или меньшей степени условливается дальнейшая его жизнь, то в таком случае для этого человека возникает целый ряд нравственных обязанностей, которыми он может, конечно, пренебречь, но которые не признать он не может». И касательно выхода из брака при наличии детей: «И если, кроме того, отношения между двумя состоящими в обязательстве сторонами породили последствия для других, если... как это бывает в браке, дали существование третьему лицу, то по отношению к этому третьему лицу на обе состоящие в обязательстве стороны падают известные нравственные обязанности, и выполнение этих обязанностей, или, во всяком случае, способ их выполнения, в значительной степени условливается продолжением или прекращением того обязательства, из которого они истекли»^[700]. Другими словами, покидать семью плохо.

Жалобы Милля, высказанные в книге «О свободе», относились к викторианской морали, а не к морали вообще. Он писал: «В жизни общества действительно было такое время, когда элемент самобытности и индивидуальности был чрезмерно силен, и социальный принцип должен был выдержать с ним трудную борьбу. Тогда затруднение состояло в том, чтоб людей, сильных физически или умственно, привести к подчинению себя таким правилам, которые стремились контролировать их побуждения... Но теперь обществу не угрожает уже никакой опасности от индивидуальности, а, напротив, действительная опасность, угрожающая теперь человечеству, состоит не в чрезмерности, а в недостатке личных побуждений и желаний»^[701]. Интересно, что бы Милль написал про наше время. Вряд ли бы он стал нападать на бессмысленные отголоски викторианской морали, вроде гомофобии, его скорее бы задел гедонизм, который в конце 1960-х крепко ассоциировался с левым мировоззрением (галлюциногенные наркотики и секс) или в конце 1980-х – с правым мировоззрением (негаллюциногенные наркотики и дорогие автомобили).

Скорее всего, Милль осудил бы гедонизм, даже если он не наносил вреда никому, кроме самого гедониста. Милль писал, что мы не должны наказывать людей за пренебрежение к своему личному долговременному благополучию в пользу сиюминутных животных импульсов, однако такие люди должны иметь в виду, что, поскольку они подают дурной пример, мы вправе дистанцироваться от них и можем удерживать наших друзей от следования их примеру. «Человек, который обнаруживает самонадеянность, упрямство, самодовольство, который не умеет довольствоваться умеренными средствами, не может воздержаться от вредных слабостей, предается чувственным наслаждениям в ущерб наслаждениям сердца и ума, – такой человек должен ожидать, что невысоко будет стоять во мнении других людей и не возбудит к себе большого расположения, и всякий ропот с его стороны будет совершенно неоснователен, если только не заслуживает он расположения людей какими-нибудь высокими социальными достоинствами и проявлению их не препятствуют те его личные недостатки, которые касаются только его самого»^[702].

Здесь либерал Джон Стюарт Милль встречается с пуританином Сэмюэлем Смайлом. Хотя Милль высмеял идею «радикально испорченной» человеческой природы, которая должна быть подавлена во имя духовного прогресса, он тем не менее сомневался, что высокие чувства, питающие мораль, могли бы цвести без должного ухода. Он писал: «Правда в том, что едва ли найдется хотя бы одно хорошее качество, присущее человеческому характеру, которое не противоречило бы врожденным позывам человеческой природы»^[703]. Даже Смайлс не мог бы сказать лучше. Настоятельные рекомендации по самоограничению, которые он дает в своей книге «Самопомощь», отражают его не слишком радужное представление о человеческом характере.

Несмотря на то что их книги, изданные в 1859 году, казалось бы, отражают совершенно противоположные идеи, Смайлс и Милль во многом сходятся. Оба они (наряду с Дарвином) с радостью приняли левоцентристские политические реформы, проводимые в Англии, и разделяли философские взгляды. Смайлс был большим поклонником утилитаризма, известного тогда как «философский радикализм».

Суждения Милля о человеческой природе хорошо согласуются с современным дарвинизмом. Конечно, было бы преувеличением

утверждать, что мы изначально злы – или, как постулировал высмеянный Миллем кальвинизм, не можем быть добрыми, покуда остаемся людьми. Компоненты морали (от эмпатии до вины) имеют глубокую основу в человеческой природе, однако они не соединяются сами собой в поведение, являющееся истинно доброжелательным, – мы не запрограммированы на общее благо. Они также не способствуют нашему собственному счастью. Наше счастье никогда не было в приоритете у естественного отбора, а даже если бы и было, то все равно не возникло бы само собой в обстановке, столь отличной от контекста нашей эволюции.

Дарвинизм и идеология

И снова парадокс: новая парадигма, отрицая старую мораль, выступает адептом морального консерватизма. Она демонстрирует, что наличие «нравственных чувств» само по себе не гарантирует нравственного поведения, и утверждает, что для достижения общего блага нужны крепкие нравственные нормы. Примечательно: несмотря на то, что часто взаимное отстаивание личных интересов приводит двух или более людей к извлечению общей выгоды, распространить эту выгоду на все общество не получится, пока не будет крепкой морали.

Связан ли подобный моральный консерватизм с политическим? Нет, хотя политические консерваторы даже больше радеют за моральную строгость. Они склонны продвигать нравственные нормы, которые пользуются поддержкой их товарищей по партии или, по крайней мере, благословлены «традицией». Дарвинист же, напротив, смотрит на освященные временем нравственные нормы с подозрением.

С одной стороны, нормы, которые давно существуют, должны, вероятно, обладать какой-то совместимостью с человеческой природой и отвечать чьим-то интересам. Только вот чьим? Нравственные нормы формируются в процессе борьбы за власть, а власть, как мы знаем, обычно распределяется запутанно и неравномерно, так что понять, чьи интересы она обслуживает, бывает очень непросто.

Новая парадигма как нельзя лучше подходит для анализа нравственных норм и выявления, кто в них несет издержки, а кто извлекает выгоду. Только делать это надо очень осторожно: следует исключить те нормы, которые не имеют практического смысла, не забывая при этом, что очень многие нормы его имеют, поскольку они выросли из неформальных компромиссов, которые, хотя никогда и не являются чисто демократическими, иногда весьма плюралистичны. К тому же не исключено, что эти компромиссы основываются на истинах о человеческой природе, усвоенных практически и не всегда очевидных. Мы должны смотреть на моральные аксиомы так же, как старатель смотрит на сверкающие камни: с большим почтением и с наименьшим подозрением (пока экспертиза не подтвердит их ценность).

Как назвать такой двойственный подход? Сложно сказать. С одной стороны, он вполне подходит под определения консервативного, поскольку предполагает уважение к традиции. Но, с другой стороны, его можно назвать и либеральным, если либерализм не приравнивается к гедонизму или моральному попустительству. Моральная философия либерализма, изложенная «радикальным» Джоном Стюартом Миллем в очерке «О свободе», предполагает здоровую оценку мрачных сторон человеческой природы и необходимость в самоограничении и даже в осуждении.

С биологическим детерминизмом (или просто детерминизмом) та же штука. Сплошная двойственность. Он постулирует, что лишение свободы всегда является не только моральной трагедией, но и практической потребностью, и акцентирует внимание на том, что в первую очередь надо ликвидировать неблагоприятные социальные условия (например, бедность), толкающие людей к наказуемому поведению. Дарвин понимал это. Он придерживался идеи детерминизма и признавал философскую бессмысленность возмездия. В своих заметках он писал: «Верящий в эти взгляды будет уделять большое внимание воспитанию». Животные, отметил Дарвин, «нападают на слабых и болезненных, как мы на нечестивых. Мы должны жалеть, помогать и обучать, создавая непредвиденные преграды, чтобы помочь движущей силе»^[704].

Все же, как написал Дарвин, если плохой человек «неисправимо плох, то ничто не вылечит его»^[705]. Истинно так. Хотя новая

парадигма, вслед за либералами, настаивает на психической пластичности. Однако, как показывает опыт, пластичность не безгранична и, конечно же, не вечна: многие механизмы психического развития действуют в течение первых двух или трех десятилетий жизни. Пока неясно, как происходит становление разных черт характера. Может ли мужчина быть неисправимым насильником до тех пор, пока его уровень тестостерона не снизится в среднем возрасте? Порой ответы оказываются такими, что правые политики с радостью хватаются за них и предлагают запирать несчастных, а ключ выкидывать.

В ближайшие годы эволюционная психология будет заметно влиять на моральный и политический дискурс, и повесить ярлык на это разностороннее влияние не получится. Когда это станет ясно, дарвинистам не придется больше отбиваться от критиков слева и справа. И они с удвоенным рвением возьмутся за науку.

Глава 18

Дарвин постигает религию

В своем «Дневнике» я писал, что «невозможно дать сколько-нибудь точное представление о тех возвышенных чувствах изумления, восхищения и благоговения, которые наполняют и возвышают душу», когда находишься в самом центре грандиозного бразильского леса. Хорошо помню свое убеждение в том, что в человеке имеется нечто большее, чем одна только жизнедеятельность его тела. Но теперь даже самые величественные пейзажи не могли бы возбудить во мне подобных убеждений и чувств. Могут справедливо сказать, что я похож на человека, потерявшего способность различать цвета...

Автобиография (1876)^[706]

Когда корабль Ее Величества «Бигль» покинул Англию, Дарвин был ортодоксальным и праведным христианином. Позже он вспоминал, как «некоторые офицеры (хотя и сами они были людьми ортодоксальными) от души смеялись надо мной, когда по какому-то вопросу морали я сослался на Библию как на непреложный авторитет». Однако постепенно в нем стали зарождаться сомнения. Ветхий Завет стал казаться ему «до очевидности ложной историей мира», а описанный там Бог – «мстительным тираном». Новый Завет вызывал меньше вопросов, но все же Дарвин считал, что его «совершенство зависит отчасти от той интерпретации, которую мы ныне вкладываем в его метафоры и аллегории».

Дарвин жаждал восстановить статус-кво и «отнюдь не был склонен отказаться от своей веры», напротив – «снова и снова возвращался к фантастическим мечтам об открытии в Помпеях или где-нибудь в другом месте старинной переписки между какими-нибудь выдающимися римлянами или рукописей, которые самым поразительным образом подтвердили бы все, что сказано в Евангелиях». Не помогло: «Понемногу закрадывалось в мою душу неверие»^[707].

Утратив христианскую веру, Дарвин много лет придерживался расплывчатого теизма. Он верил в «Первопричину», божественный разум, запустивший естественный отбор с какой-то конечной целью. Однако его опять стали одолевать сомнения: «Можно ли положиться на человеческий ум в его попытках строить такого рода обширные заключения; на человеческий ум, развившийся, как я твердо убежден, из того слабого ума, которым обладают более низко организованные животные?»^[708] В итоге Дарвин стал агностиком, в приподнятом настроении мог забавляться теистическими сценариями, но такое случалось редко.

Но в одном Дарвин всегда оставался христианином. Как и прочие люди его времени и положения, он был адептом евангелической идеи нравственного самоограничения. Он жил по принципам, которые звучали на проповедях в английских церквях и нашли отражение в «Самопомощи» Сэмюэля Смайлса. Человеку предписывалось быть «деятельным и самоотверженным», чтобы оставаться «вооруженным против искушения низких соблазнов». А это, как мы видели, было для Дарвина «высшей степенью нравственного развития» – осознавать, «что мы должны контролировать свои мысли и «даже в самых затаенных мыслях не вспоминать грехов, делавших прошедшее столь приятным для нас»^[709].

Имея подобные воззрения, Дарвин с тем же успехом мог бы называться индуистом, буддистом или мусульманином. Темы строгого самоограничения и контроля животных побуждений присутствуют во всех мировых религиях. Концепция братской любви, которая столь импонировала Дарвину, также была широко распространена. За шесть столетий до Иисуса Лао-цзы сказал: «Это путь Дао... – платить на оскорбление добротой»^[710]. Священные тексты буддистов призывают к «вселенской любви... не подтачиваемой ненавистью и не

вызывающей вражды»^[711]. В индуизме есть доктрина «ахимса» – отсутствие всяких разрушительных намерений.

Какой вывод дарвинист может сделать из этого поразительного единодушия? Что разным людям в разные века открылась универсальная божественная истина? Не совсем.

Вопросы духовности новая парадигма рассматривает примерно так же, как вопросы морали. Люди склонны говорить и верить в то, что соответствует их интересам, укоренившимся в процессе эволюции. Из этого не следует, что люди, придерживавшиеся определенных идей, лучше распространяли свои гены. Некоторые религиозные нормы, например целибат, напротив, этому препятствуют. Скорее можно предположить, что доктрины, к которым люди привязываются, соответствуют психическим функциям, сформировавшимся в ходе естественного отбора. Например, они могут утолять какую-то глубинную психологическую потребность (вера в загробную жизнь соответствует желанию выжить) или, наоборот, подавлять какое-то неутолимое стремление, которое иначе бы делало жизнь невыносимой (например, похоть). Так или иначе, устоявшиеся верования должны быть объяснимы в терминах эволюционного развития психики. Раз люди на разных концах света склонны верить примерно в одно и то же, значит, это составляет общее ядро их психики и обрисовывает особенности человеческой природы.

Указывает ли это на то, что схожие религиозные учения содержат некие вечные ценности, которыми следует руководствоваться в жизни? Дональд Кэмпбелл, один из первых психологов – адептов нового дарвинизма, так и предположил. В обращении к Американской психологической ассоциации он говорил о «возможных источниках валидности в правилах, которые были выработаны, проверены, просеяны сквозь сотни поколений человеческой социальной истории. На чисто научных основаниях эти правила можно считать лучше проверенными, чем самые обоснованные психологические и психиатрические рассуждения о том, как нужно жить»^[712].

Кэмпбелл сказал это в 1975 году, как раз после публикации «Социобиологии» Уилсона и прежде чем цинизм нового дарвинизма полностью выкристаллизовался. Сегодня многие дарвинисты не разделяют его оптимизма. Они замечают, что хотя эти идеи и соответствуют особенностям нашей психики, но из этого вовсе не

следует, что они для нее благотворны. Напротив, некоторые из них даже паразитируют на ней; они – «вирусы», как выразился Ричард Докинз^[713]. Например, идея о том, что инъекции героина доставляют удовольствие, продолжает заражать людей, подталкивая их к недальновидному, разрушительному поведению.

Однако даже если идеи служат долгосрочным интересам людей, то, скорее всего, это те люди, которые их «продают», а не «покупают». Религиозные лидеры часто имеют высокий статус, а их проповеди нередко являются формой эксплуатации, искусным направлением воли слушателя на цели говорящего. В самом деле, и проповеди Иисуса, и проповеди Будды, и Лао-цзы имели эффект усиления власти Иисуса, Будды и Лао-цзы, подъем их статуса в растущих группах людей.

Впрочем, нельзя сказать, что религиозные доктрины всегда навязываются людям. Конечно, Десять заповедей имели конкретную авторитарную власть, утвержденную богом и реализуемую от его имени политическими лидерами. Иисус тоже, хотя и не имел политической власти, регулярно взывал к поддержке бога. Впрочем, Будда, пожалуй, единственный из всех не апеллировал к божественной власти. И хотя он был рожден в знатном семействе, он сбросил бремя своего статуса, чтобы бродить по миру и проповедовать; его движение началось с нуля.

Многие люди в разные времена воспринимали религиозные доктрины без особого принуждения извне. Вероятно, это влекло какое-то психическое вознаграждение. Все мировые религии, по сути, идеологии самопомощи. Кэмпбелл полагал, что расточительно отвергать вековые религиозные традиции, даже не изучив их как следует. Мудрецы, возможно, были корыстны (как и все мы), однако из этого вовсе не следует, что они не были мудрецами.

Демоны

Все мировые религии роднит одна общая идея – дьявольское искушение. Снова и снова мы видим, как злое существо под видом невинности стремится соблазнить людей на кажущийся

незначительным, но в конечном счете имеющий важное значение проступок. В Библии и Коране есть Сатана. В буддистских священных текстах есть искуситель Мара, коварно призывающий на помощь своих дочерей, Рати (желание) и Рагу (удовольствие).

Все это мало напоминает научную доктрину, однако хорошо отражает динамику приобретения привычек: медленно, но верно. Например, естественный отбор «хочет», чтобы мужчины занимались сексом с как можно большим количеством женщин, и реализует эту цель с помощью хитрых приманок: сначала мужчина просто отвлеченно задумывается о внебрачном сексе, потом начинает размышлять о нем постоянно и, наконец, понимает, что не в силах от него удержаться. Дональд Саймонс заметил: «Говоря, что «всякий, глядящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем», Иисус понимал, что мысль способна провоцировать соответствующее поведение»^[714].

Не случайно, что демоны и торговцы наркотиками начинают соблазнение одинаково («Попробуй немного, тебе понравится») и что многие религиозные люди считают наркотики оружием дьявола. Привыкание к сексу и власти сродни формированию зависимости: у человека меняется биохимия. Чем больше власти он получает, тем больше ее хочется. Любое неожиданное уменьшение вызывает дурноту, даже если эта доза казалась достаточной. Единственная привычка, которую естественный отбор никогда «не хотел» поощрять и никак не мог предвидеть, – наркомания. Она пробирается с черного входа и подрывает систему поощрений, позволяя получать удовольствие просто от инъекции или таблетки, а не от успешно сделанной работы, еды, совокупления, победы над конкурентами и так далее.

Дьявольское искушение тесно соприкасается с понятием зла. Их роднит образ некоего враждебного существа или враждебной силы, который призван придать эмоциональную окраску духовному наставлению. Когда Будда советует «вырвать корень желаний», чтобы «Мара, искуситель, не мог сокрушать вас снова и снова», он фактически призывает нас на битву^[715]. Предупреждения о том, что наркотики, секс или воинственный диктатор есть «зло», производят почти такой же эффект.

Концепт «зла», хотя и менее метафизически примитивный, чем, скажем, «демоны», плохо вписывается в современную научную картину мира. Впрочем, люди явно находят его полезным, и причина в том, что он метафорически удачен: сила, соблазняющая нас различными удовольствиями, которые отвечают (или отвечали когда-то) нашим генетическим интересам, но не приносят долгосрочного счастья и могут вызвать большие страдания у других, действительно существует. Можно называть эту силу «призраком естественного отбора». Можно – генами. А можно и злом, если так привычнее.

Советуя вырвать «корень желаний», Будда не призывает нас к воздержанию (хотя, конечно, идея воздержания присутствует во многих религиях, поскольку это реальный способ блокировать зависимость). Будда не столько призывает нас отказаться от удовольствий, сколько советует развить полное безразличие к материальным наградам и чувственным удовольствиям: «Надо вырубить весь лес желаний, а не одно дерево»!^[716]

Это фундаментальное противостояние человеческой природе в той или иной мере поощряется всеми мировыми религиями. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле» и «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться»^[717]. В индуистских священных писаниях, как и в буддистских текстах, много внимания уделяется необходимости отказа от удовольствий. Духовно зрелый человек – тот, кто «отказывается от желаний», кто «потерял желание радостей», кто «подобно черепахе, втягивающей свои члены со всех сторон, отдергивает свои чувства от объектов желаний»^[718]. В Бхагавадгите идеальный человек описывается как человек необыкновенной дисциплины, не переживающий о плодах своих действий и равнодушный к хуле и похвале. Этот образ вдохновил Ганди продолжать работу без «надежды на успех или страха перед неудачей».

Нет ничего удивительного в том, что между индуизмом и буддизмом много общего. Будда по рождению был индуистом, но он развил идею чувственного безразличия дальше, доведя ее до суровой максимы «жизнь – есть страдание», которую и поместил в центр своей философии. Если вы смиритесь с неизбежными страданиями и последуете учению Будды, то, как ни странно, обретете счастье.

Во всех этих нападках на чувства есть великая мудрость: удовольствие не только вызывает зависимость, оно еще и быстро кончается. И когда это происходит, взбудораженный мозг требует продолжения. Когда мы уверяем себя, что еще одна ставка, еще одна измена, еще одна ступень карьеры – и мы насытимся, мы врем сами себе, причем делаем это неосознанно: мы запрограммированы верить в то, что достижение следующей цели принесет нам счастье, а счастье запрограммировано так, чтобы испаряться вскоре после того, как мы его достигнем. Естественный отбор манит нас обещаниями, но никогда их не выполняет. Как сказано в Библии: «Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается»^[719]. Так мы и проживаем всю жизнь, даже не приблизившись к цели.

Мудрецы советуют выйти из игры, но это, ни много ни мало, подстрекательство к бунту, восстанию против Творца! Удовольствия – кнут, который естественный отбор использует, чтобы управлять нами, чтобы держать нас в плену своей искаженной системы ценностей. Воспитание безразличия к удовольствиям – один из возможных путей к освобождению. И хотя очень немногие могут похвастаться заметными успехами на данном пути, все же распространенность этого совета свидетельствует о том, что продвинуться по нему можно.

Правда, есть и другое, более циничное объяснение. Чтобы примирить бедняков с их тяжелым положением, достаточно убедить их, что в материальных удовольствиях нет ничего хорошего. Увещевания в пользу отречения от страстей могут быть просто инструментом социального контроля и даже притеснения. Взять хотя бы обещание Иисуса, что в загробной жизни «будут первые последними и последние первыми»^[720]. Звучит как вербовка: он обещает дать им то, о чем они мечтают, и отбирает то единственное, что у них есть, – право бороться за мирской успех. Вот уж воистину опиум для народа.

Возможно, так оно и есть. Однако не стоит забывать, что удовольствия мимолетны, постоянное стремление к ним – ненадежный источник счастья (что отмечали и Сэмюэль Смайлс, и Джон Стюарт Милль). Правда, понять нам это очень непросто, но тут приходит на помощь новая эволюционная парадигма.

В древних священных писаниях разбросаны намеки на то, что погоня за удовольствиями, богатством, славой зиждется на

самообмане. Бхагавадгита учит, что люди, «увлеченные удовольствиями и властью», «лишены понимания». Жажда награды – все равно что жить в «джунглях иллюзий»^[721]. Будда говорил, что «лучшее из достоинств – бесстрастность, лучший из людей – тот, кто имеет глаза, чтобы видеть»^[722]. В Екклесиасте написано: «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою»^[723].

Некоторые из упомянутых высказываний, если рассматривать их в контексте, весьма неоднозначны, однако все они точно подчеркивают свойственную человеку нравственную предвзятость в свою пользу. Иисус говорил: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» и «Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»^[724].

Будда излагает ту же идею проще: «Ошибку другого заметить легко, свою же почувствовать трудно»^[725]. Он видел, что много заблуждений произрастает из человеческого стремления к превосходству. Предостерегая своих последователей от догматических перебранок, он сказал: «В суждениях о видимом и слышимом, о добродетелях и делах благочестия, о мыслях и учениях других людей, – они, смотря на других с презрением и будто обрадовавшись тому решению, упрямо установились на своем понимании, говоря: «Наши противники – все глупцы и невежды»^[726].

Компенсировать подобную предвзятость можно братской любовью. По природе своей мы не склонны проявлять милосердие к тем, кто не входит в круг наших родных и близких. Не будь у нас этой подлой склонности, два тысячелетия назад не пришлось бы выдумывать новую религию специально для того, чтобы ее искоренить.

Отказ от чувственных удовольствий также связан с братской любовью. Поступать великодушно и участливо крайне сложно, если не прекратить тешить свое эго. В общем, некоторые религиозные догмы можно с уверенностью назвать последовательной программой по извлечению выгоды из взаимодействий с ненулевой суммой.

Теории братской любви

Остается вопрос: с чего все началось? Почему идея братской любви так хорошо прижилась? Оставим пока в стороне тот факт, что на практике она редко реализуется, и что даже самым преданным ее адептам лишь отчасти удается укротить собственное себялюбие, и что институционализованные религии часто попирали эту идею. Нас сейчас интересует лишь, почему она прижилась у нашего вида. В свете дарвинистской теории в идее братской любви все кажется парадоксальным, кроме, пожалуй, риторической силы самого термина, но одним этим живучесть идеи не объяснить.

Существует несколько правдоподобных версий: от крайне циничных до умеренно подбадривающих. К числу последних относится теория философа Питера Сингера. В своей книге «Расширяющийся круг» он задается вопросом, как человеческое сострадание переросло естественные границы, как мы научились сочувствовать не только родственникам и друзьям или членам общества. Сингер обращает внимание на то, что природа человека и структура социальной жизни давно выработали у нас привычку оправдывать свои действия объективными причинами. Требуя от других уважать наши интересы, мы обычно говорим, что просим не больше, чем получил бы любой другой на нашем месте. Сингер полагает, что стоит этой привычке выработаться (в том числе под воздействием реципрокного альтруизма), как включается «автономная аргументация». «Идея объективной защиты своего поведения» выросла из личного интереса, «но в мыслях разумного человека она обретает собственную логику, которая приводит к расширению границ».

На сегодняшний день расширение это достигло впечатляющих масштабов. Сингер рассказывает, как Платон убеждал своих сограждан-афинян принять правило, которое на тот момент было великим моральным достижением: «Он считал, что греки не должны в ходе войны поработать других греков, разорять их земли или разрушать дома; так можно поступать только с представителями других наций»^[727]. Расширение границ морали до границ этнического государства давно стало нормой. Сингер высказал надежду, что рано или поздно оно охватит всю планету: смерть от голода в Африке будет казаться американцам столь же возмутительной, как если бы она случилась у них. Логика приведет нас к великой религиозной идее о

фундаментальном моральном равенстве. И наше сострадание, как и положено, равномерно распространится на все человечество. Дарвин разделял подобные надежды. Он написал в «Происхождении человека»: «Когда человек подвигается вперед по пути цивилизации и небольшие племена соединяются в большие общества, простой здравый смысл говорит всякому, что он должен распространять свои общественные инстинкты и симпатии на всех членов того же народа, хотя бы они лично и не были ему знакомы»^[728].

Сингер считает наши гены исключительно прозорливыми – они давно научились скрывать вульгарный эгоизм за высоким языком этики, используя его для оправдания моральных импульсов, созданных естественным отбором. Теперь пришло время расплаты: тот же язык, подкрепленный стройной логикой, побуждает нас к самоотверженному поведению. Естественный отбор создал холодный рассудок и жаркие моральные импульсы, чтобы заставить нас преследовать собственные интересы, но неожиданным образом их сочетание привело к прямо противоположному результату.

С подбадривающей версией разобрались, переходим к циничной. Она была кратко изложена в начале данной главы: жажда власти проповедников. Десять заповедей, запрещающих ложь, кражи и убийства, сделали паству Моисея более управляемой. А предупреждения Будды о догматических ссорах не давали расколоть основу его власти.

В поддержку циничной версии говорит тот факт, что всеобщая любовь, проповедуемая в разных священных текстах, по сути, таковой не является. Ода самоотверженности в Бхагавадгите включена в несколько иронический контекст: бог Кришна призывает воина Арджуну к самодисциплине, дабы тот эффективнее громил вражескую армию, в которой наверняка имелись члены его рода^[729]. В Послании к Галатам Павел сначала всячески восхваляет любовь, мир, доброту и вежливость, а затем заключает: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере»^[730]. Даже Иисус на самом деле проповедовал не всеобщую любовь: его наказ возлюбить «врага» относился только к врагам-евреям^[731].

В этом свете «расширяющийся круг» Сингера кажется уже расширением не столько моральной логики, сколько сферы политического влияния. Религия эволюционировала вместе с

социумом: от групп охотников-собираателей до племен, городов-государств, этнических государств. Каждый раз, чтобы выйти на новый уровень (а проповедники не упускали возможность расширить границы своей власти), приходилось проповедовать все большую толерантность. Призывы к братской любви в чем-то подобны корыстным призывам политического деятеля к патриотизму. Фактически призывы к патриотизму и есть призывы к братской любви в национальном масштабе^[732].

Существует и третья версия, не столь циничная, но и не столь подбадривающая. Да, Десять заповедей, вероятно, сделали паству Моисея более управляемой, однако не исключено, что это было ей только на руку, ведь взаимное ограничение и уважение приносят выгоду при взаимодействиях с ненулевой суммой. Другими словами, религиозные лидеры, пусть и корыстные, не просто навязали свои интересы массам, они нашли пересечение собственных интересов с интересами масс. По мере роста масштабов социально-экономической организации росла и ненулевая сумма, и людям приходилось вести себя хотя бы с минимальной порядочностью по отношению ко все большему числу людей. А религиозные лидеры с удовольствием наблюдали, как растет их власть.

Однако изменения коснулись не только размера социальной организации, но и ее характера. Наши нравственные чувства формировались в средах, отличных от современной: в деревнях охотников-собираателей и в других ранних обществах, очертания которых теряются в тумане истории; единственное, что можно про них с уверенностью сказать: там не было разветвленной судебной системы и организованных полицейских сил. Мощь карательного импульса демонстрирует, что в былые времена можно было полагаться только на себя, никто больше не стал бы отстаивать ваши интересы.

В определенный момент ситуация начала меняться, и значимость этих импульсов стала падать. Сегодня мы в большинстве своем тратим неоправданно много времени и сил, потворствуя своему чувству негодования: ругаемся на лихачей на дорогах; тратим целый день на оформление кражи, даже если в кошельке была мелочь и поимка вора не защитит нас от неприятностей в будущем; нервничаем

из-за успехов конкурентов на работе, хотя отомстить не можем и своим недовольным видом только портим отношения.

Трудно сказать, в какой момент человеческой истории те или иные моральные устои начали устаревать. Однако стоит обдумать догадку Дональда Кэмпбелла о том, что религии древних городских цивилизаций, «независимо возникшие в Китае, Индии, Месопотамии, Египте, Мексике и Перу», породили знакомые элементы современных религий: обуздание «множества аспектов человеческой природы», включая «эгоизм, гордыню, алчность... корыстолюбие... похоть, гнев».

Кэмпбелл полагает, что эти ограничения были необходимы для «оптимальной социальной координации»^[733]. Только вот оптимальной для кого – для правителя или для народа, он не уточняет. Мы удовольствуемся тем, что данные два вектора, несмотря на имеющиеся разногласия, не исключают друг друга.

Более того, рассматриваемая «социальная координация» может выходить за рамки любой отдельной нации. Сейчас народы мира более взаимозависимы, чем когда-либо. Это очевидно. Материальный прогресс углубил экономическую интеграцию, и противостоять угрозам, порожденным новейшими технологиями (загрязнение окружающей среды, распространение ядерного оружия), человечество может только сообща. Время, когда политическим лидерам было выгодно разжигать нетерпимость и фанатизм своего народа, безвозвратно проходит.

В индуистских священных писаниях говорится, что единая мировая душа живет в каждом существе, мудрый человек «видит себя во всех и всех в себе»^[734]. Это очень глубокая метафора великой философской истины – равной святости (читай: утилитарной ценности) каждого носителя сознания. И практические правила, основанные на ней – не вреди другим, чтобы «не навредить самому себе»^[735], – оказались провидческими. Древние мудрецы указали, пусть двусмысленно и эгоистично, на истину, которая оказалась не просто действенной и ценной, но и способной увеличить свою ценность в ходе исторического процесса.

Сегодняшняя проповедь

В качестве примера «пуританской совести» викторианской Англии Уолтер Хоутон привел человека, который замечает все свои «грехи и ошибки» и обнаруживает «эгоизм... в каждом усилии и решении»^[736]. Мысль эта восходит, по крайней мере, к Мартину Лютеру, сказавшему, что святой – тот, кто понимает, что все его поступки эгоистичны.

Такое определение святости хорошо подходит к Дарвину. Вот его характерное высказывание: «Какое ужасно эгоистичное письмо я пишу, но я так устал, что ничего, кроме приятного тщеславия и писания о себе любимом, меня не взбодрит»^[737]. (Само собой, это оправдание следовало за отрывком, который ныне очень мало кто счел бы эгоистичным. Дарвин высказал обеспокоенность, но отнюдь не уверенность в том, что его работа на борту «Бигля» получит широкое признание.)

Мы не станем сейчас обсуждать, подходил ли Дарвин под определение святого, данное Лютером, нам важно лишь то, что дарвинизм, опираясь на него, способен любого человека сделать святым. Никакая другая доктрина так не обостряет осознание собственного скрытого эгоизма, как новая эволюционная парадигма. Если вы поймете ее, примете и станете применять на практике, то оставшуюся жизнь проживете в глубоких раздумьях о сущности своих мотивов.

Поздравляю! Вы сделали первый шаг к исправлению моральных склонностей, встроенных в нас естественным отбором. Второй шаг – не дать новообретенному цинизму отравить ваш взгляд на всех остальных: соединить резкость по отношению к себе со снисходительностью по отношению к ближним; несколько ослабить безжалостность суждений, чтобы не быть безразличным и даже враждебным к их благополучию; щедро проявлять сочувствие, которое эволюция отмерила нам так скупое. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то станете человеком, который внимательно относится к благу других – в идеале не менее внимательно, чем к своему собственному.

Дарвин шел по этому пути с приемлемым усердием. Хотя он чутко воспринимал и презрительно относился к тщеславию других людей, главная линия его поведения с другими состояла в великой моральной серьезности, все свои насмешки он направлял на себя. Даже когда он

не мог не ненавидеть кого-то, он старался держать свою ненависть под спудом. Вот как он писал Гукеру про своего заклятого врага Ричарда Оуэна: «Я становлюсь совершенно бесноватым из-за Оуэна» и «Я хочу, чтобы мои чувства стали более ангельскими»^[738]. Преуспел он в этом или нет, не так уж важно (не преуспел). Важно, что полушутливое применение слова «бесноватый» в отношении собственной ненависти показывает большую моральную неуверенность в себе и меньшее самомнение, чем у большинства из нас. (Еще занятнее то, что чувства Дарвина вряд ли были запредельны; хотя Оуэн и представлял некоторую угрозу статусу Дарвина своим недоверием к естественному отбору, но был злобным человеком, которого многие не любили^[739].) Дарвин же довольно близко подошел к почти невозможному и высоко похвальному: бесстрастный, основательный, современный (если не постмодернистский) цинизм по отношению к себе, сочетающийся с викторианской серьезностью по отношению к другим.

Мартин Лютер также говорил, что хронические муки совести – знак Божьей благодати. Если это так, то Дарвин был ею буквально переполнен. Он мог всю ночь ворочаться без сна, если не успевал ответить на часть корреспонденции от надоедливых поклонников^[740].

Возникает вопрос: что же может быть благодатного в муках? Ответ – это выгодно окружающим. Возможно, Лютер имел в виду, что нравственно измученный человек – носитель Божьей благодати. И таким (по крайней мере, метафорически) Дарвин временами был: лупой утилитаризма. С помощью магии ненулевой суммы утилитаризм превратил его небольшие жертвы в большую прибыль для других людей. Потратив несколько минут на написание письма, он мог скрасить день, а может быть, и неделю какой-нибудь неизвестной душе. Совесть предназначена не для этого, то были не те люди, которые могли бы вознаграждать его за любезность, и часто оказывались слишком далеки, чтобы повлиять на моральную репутацию Дарвина. Как мы видели, хорошая совесть, в наиболее востребованном, в наиболее моральном смысле этого слова, работает далеко не только так, как ей «велел» естественный отбор.

Некоторых людей беспокоит, что новая дарвиновская парадигма лишит их осознания собственного благородства. Если любовь к детям – лишь забота о собственной ДНК, если помощь другу – плата за

предоставленные услуги, если сострадание к угнетенному – отказ от низкосортной добычи, тогда чем гордиться? Ответ: поведением, как у Дарвина. Возвысьтесь над зовом приятно функционирующей совести, помогите тому, кто вряд ли поможет вам в ответ, и делайте это тогда, когда никто не видит. Вот единственный способ быть истинно нравственным животным. Теперь, в свете новой парадигмы, мы можем видеть, насколько это трудно, насколько прав был Сэмюэль Смайлс, говоря, что хорошая жизнь – сражение против «морального невежества, эгоизма и порока», настоящих врагов.

Другое противоядие против разочарования глубинными основами человеческих мотивов, как ни странно, – благодарность. Если вы не чувствуете благодарности за несколько искривленную моральную инфраструктуру нашего вида, то рассмотрите альтернативу. Особенности естественного отбора таковы, что на заре эволюции было только две возможности: а) со временем создать вид с совестью, состраданием и даже любовью, в глубине своей основанными на генетическом личном интересе; б) не создавать вид, обладающий этими особенностями. Нам повезло. У нас есть база для добропорядочного поведения. Животное, подобное Дарвину, может тратить много времени на беспокойство о других животных, не только о своей жене, детях и друзьях высокого статуса, но о далеких рабах, неизвестных поклонниках, даже лошадях и овцах. Если учесть, что эгоизм был главным критерием в нашем творении, то мы – разумно заботливая группа организмов. В самом деле, если достаточно долго обдумывать беспощадную логику эволюции, то можно прийти к выводу, что наша этика – это почти чудо.

Итог жизни Дарвина

Дарвин был одним из тех людей, кто способен видеть божью благодать в мучениях или страданиях. Незадолго до своей кончины он объявил, что характер его мышления был типично агностическим. А фраза «я несколько не боюсь смерти», произнесенная за день до кончины, почти наверняка отражала его желание поскорее

освободиться от земных страданий, а не надежду перенести в лучший мир^[741].

Дарвиновские размышления о смысле жизни характеризуют его как «человека, не обладающего твердой и никогда не покидающей его верой в существование личного бога или в будущую жизнь с ее воздаянием и наградой». Он полагал, что человек «в согласии с суждением всех мудрейших людей обнаруживает, что наивысшее удовлетворение он получает, если следует определенным импульсам, а именно – социальным инстинктам. Если он будет действовать на благо других людей, он будет получать одобрение со стороны своих ближних и приобретать любовь тех, с кем он живет, а это последнее и есть, несомненно, наивысшее наслаждение, какое мы можем получить на нашей Земле». Однако «разум может подсказывать ему, что он должен действовать вразрез с мнением других людей, чье одобрение он в таком случае не заслужит, но он все же будет испытывать полное удовлетворение от сознания, что он следовал своему глубочайшему убеждению или совести»^[742].

Возможно, что последнее предложение было лазейкой для человека, посвятившего свою жизнь построению теории, которую многие не принимали, теории, которая хотя и верна, однако неизвестно, будет ли служить благу окружающих. Во всяком случае, это теория, с которой нашему виду остается примириться.

Изготовив мерилу для морали, Дарвин дал своей жизни высшую оценку: «Я полагаю, что я действовал правильно, посвятив свою жизнь науке». Впрочем, не чувствуя за собой никаких больших грехов, он все же писал: «Я очень и очень часто сожалел о том, что не оказал больше непосредственного добра моим ближним. Единственным, но недостаточным извинением является для меня то обстоятельство, что я много болел, а также моя умственная конституция, которая делает для меня крайне затруднительным переход от одного предмета или занятия к другому. Я могу вообразить себе, что мне доставила бы высокое удовлетворение возможность уделять благотворительным делам все мое время, а не только часть его, хотя и это было бы куда лучшей линией поведения»^[743].

Дарвин не был безупречным утилитаристом. Как и никто из нас. Тем не менее, готовясь к смерти, он мог по праву полагать, что жизнь свою он прожил достойно и сострадательно, обязанности честно

выполнил и яростно боролся с потоками эгоизма, которые первым разглядел. Его жизнь не была идеальной, но человеческие существа способны на гораздо худшее.

Приложение

Типичные вопросы

В 1859 году Дарвин послал брату Эразму копию своей книги «Происхождение видов» и в ответ получил восторженное письмо. Теория естественного отбора столь логична, писал Эразм, что его ничуть не беспокоит отсутствие ископаемых находок, которые могли бы подтвердить последовательные эволюционные изменения: «Априорные рассуждения кажутся мне настолько убедительными, что если факты не будут соответствовать теории, то тем хуже для фактов».

Аналогичной точки зрения придерживаются многие эволюционисты (хотя некоторые, разумеется, станут это отрицать). Теория естественного отбора столь изящна и убедительна, что внушает своего рода веру – не *слепую* веру, ибо теория в самом деле способна объяснить самые разные явления, но все-таки веру – состояние, при котором ее сторонники исключают саму возможность обнаружить факты, ставящие под вопрос основные положения.

Должен признаться, что я приверженец этой веры. Поскольку естественный отбор может правдоподобно объяснить не только жизнь вообще, но и человеческую психику в частности, я почти не сомневаюсь, что он сможет объяснить и все остальное. Однако это «остальное» – вовсе не пустяк. В человеческих чувствах, мыслях и поведении есть много такого, что по-прежнему озадачивает дарвиниста, и много такого, что не слишком удивляет ученых, зато поражает неспециалистов. Было бы не по-дарвинистски с моей стороны не упомянуть несколько особенно ярких тому примеров. Дарвин был весьма обеспокоен реальными и кажущимися недостатками своей теории; именно его попытки устранить их, помимо прочего, и делают «Происхождение» настолько убедительным. Недостаток, на который сослался Эразм, упомянут в главе под названием «Трудности теории». В более поздних изданиях Дарвин добавил другую главу – «Разнообразные возражения против теории естественного отбора».

Ниже приведен список загадок, окружающих новую дарвинистскую парадигму в приложении к человеческой психике. Хотя данный перечень далеко не полон, он не только отражает их сущность, но и включает потенциальные способы их решения. Кроме того, он

содержит некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов касательно эволюционной психологии и, я надеюсь, поможет устранить кое-какие распространенные заблуждения.

1. Как быть с гомосексуалистами?

Как естественный отбор мог создать людей, не склонных вступать в гетеросексуальные отношения, хотя только они позволяют передать их гены в следующее поколение? На заре социобиологии некоторые эволюционисты полагали, что разрешить сей парадокс может теория родственного отбора. Предполагалось, что гомосексуалисты в некоторых отношениях подобны стерильным муравьям: вместо того чтобы тратить энергию на передачу генов непосредственно следующему поколению, они используют обходные каналы; вместо того чтобы вкладывать в собственных детей, они вкладывают в сиблингов, племянниц, племянников и т. д.

В принципе, такое объяснение могло бы работать. Проблема в том, что в реальном мире, похоже, все устроено иначе. Во-первых, много ли гомосексуалистов тратят свое время на помощь сиблингам, племянникам и племянницам? Во-вторых, чему большинство из них посвящают свои силы и средства? Поискам и поддержанию гомосексуальных союзов. При этом в своем рвении они отнюдь не уступают гетеросексуалам, стремящимся к гетеросексуальным отношениям. Какова эволюционная логика такого поведения? Бесплодные муравьи не милуются с другими бесплодными муравьями.

Примечательно, что бонобо, наши ближайшие родственники, демонстрируют бисексуальность (но не исключительный гомосексуализм). Они часто трутся гениталиями, например, для выражения дружелюбия или снятия напряжения. Это указывает на общий принцип: как только естественный отбор создает новую разновидность удовольствия – в нашем случае стимуляцию половых органов, – эта разновидность может приобрести другие функции. Обычно это происходит либо посредством генетической эволюции, либо вследствие культурных изменений. Так, в Древней Греции возникла культурная традиция сексуальных развлечений с мальчиками. (И с дарвинистских позиций весьма спорно, кто кого эксплуатировал: если мальчики в процессе таких отношений хотя бы

повышали свой статус, то мужчины – опять-таки, с точки зрения дарвинизма – просто зря тратили время.)

В этом смысле тот факт, что сексуальные импульсы некоторых людей отклоняются от типичных каналов, еще одно свидетельство гибкости человеческой психики. В разных средовых условиях она способна на самые разные вещи. (Тюрьма – крайний пример таких условий; когда гетеросексуальное удовлетворение невозможно, сексуальное влечение – особенно сравнительно сильное и неразборчивое *мужское* – может найти ближайший эквивалент.)

Существует ли «ген» гомосексуализма? Есть основания полагать, что некоторые гены более причастны к гомосексуализму, чем другие. Однако это не означает, что существует некий «гей-ген», который неизменно ведет к гомосексуализму вне зависимости от окружающей среды. Также это не означает, что рассматриваемые гены были отобраны естественным отбором именно в силу их вклада в гомосексуальность. (Некоторые гены, без сомнения, повышают вероятность того, что человек займется, скажем, банковским делом или профессиональным футболом, но нет никакого «гена банкира» или «гена футболиста». Есть только гены, обуславливающие, например, нашу физическую силу или, скажем, способность к математике.) Стоит только исключить теорию родственного отбора как вероятное объяснение гомосексуальных наклонностей, как мы сразу обнаружим, что вообразить ген, отобранный *в силу* его вклада в чистый гомосексуализм, не так-то просто. Если и существует некий «гей-ген», который распространился на значительную часть популяции, то это, вероятно, произошло благодаря каким-то иным его заслугам.

Одна из причин, почему некоторых людей так интересует «гей-ген», состоит в том, что они хотят знать, «естественен» гомосексуализм или нет. Ответ на данный вопрос – по крайней мере, им – кажется крайне важным с точки зрения морали. Ген, предрасполагающий к гомосексуализму, отобран именно в силу его влияния на гомосексуализм или по каким-то другим причинам? А может, такой ген – относительно недавнее приобретение и еще не получил существенной поддержки со стороны естественного отбора? Или никакого «гей-гена» вообще не существует? Многие искренне полагают, что это имеет значение.

Но какая разница? Каким образом «естественность» гомосексуализма может повлиять на наши моральные суждения о нем? С точки зрения естественного отбора для мужчины совершенно «естественно» убить любовника, которого он застал в постели со своей женой. Аналогичным образом «естественно» изнасилование. «Естественно» заботиться о том, чтобы ваши дети были сыты и одеты. Однако большинство людей судят о таких вещах по их последствиям, а не по источнику. Что касается гомосексуализма, то можно утверждать следующее: 1) некоторые люди рождаются с такой комбинацией генов и средовых условий, которые предрасполагают их к гомосексуальному образу жизни; 2) нет никакого внутреннего противоречия между добровольным гомосексуализмом среди взрослых и благополучием других людей. Полагаю, на этом можно поставить точку в обсуждении нравственных аспектов этого вопроса.

2. Почему сиблинги так сильно отличаются друг от друга?

Если гены настолько важны, почему люди, имеющие много общих генов, так не похожи друг на друга? В некотором смысле этот вопрос не очень логично задавать психологу-эволюционисту. В конце концов, эволюционная психология изучает не то, как различные гены приводят к разному поведению, а то, как гены, общие для человеческого вида, могут приводить к тем или иным моделям поведения – иногда к разным, иногда к одинаковым. Другими словами, психологи-эволюционисты, как правило, анализируют поведение без учета конкретной генетической конституции индивида. И все же ответ на вопрос о сиблингах проливает свет на центральную проблему всей эволюционной психологии: если ключевое генетическое влияние на человеческое поведение в основном исходит от генов, общих для всех людей, почему люди *в целом* ведут себя так по-разному?

Возьмем Дарвина. Он был предпоследним из шести детей и как таковой подтверждает удивительную закономерность, которую заметили только недавно: люди, иницирующие или поддерживающие научные революции, крайне редко бывают первенцами. Согласно Фрэнку Саллоуею, который подкрепил эту закономерность обширными данными, то же относится и к людям, иницирующим или поддерживающим *политические* революции.

Как это объяснить? По мнению Саллоуэя, определенную роль может играть тот факт, что младшие дети часто вынуждены соперничать за ресурсы со старшими сиблингами (авторитетными фигурами). На самом деле они могут вступить в конфликт не только с этими конкретными авторитетами, но и со всем истеблишментом. В конце концов, при прочих равных, первенцы, имеющие более высокую репродуктивную ценность, чем их младшие братья и сестры (см. главу 7), должны быть любимчиками родителей. Таким образом, между родителями и старшими детьми часто возникает естественная общность интересов, своеобразный альянс, с которым младшим приходится бороться. Истеблишмент устанавливает закон, младший сиблинг оспаривает его. В таких обстоятельствах наиболее адаптивная стратегия для младших сиблингов – научиться ставить под вопрос принятые правила. Иными словами, видотипичная программа развития может *предрасполагать* детей со старшими братьями и сестрами к радикальному мышлению.

Кроме того, одну из ключевых ролей играет так называемая «неразделенная» (индивидуальная) среда, важность которой генетики осознали только лет десять назад (см.: Plomin & Daniels, 1987). Люди, сомневающиеся в средовом детерминизме, любят указывать на двух братьев, выросших бок о бок, и спрашивать, почему один из них стал, скажем, преступником, а другой – прокурором? Если среда настолько важна, говорят они, то почему эти братья оказались такими разными? Подобные вопросы искажают значения термина «среда». Хотя некоторые аспекты среды, в которой существуют братья, совпадают (одни и те же родители, школа), бóльшая ее часть «индивидуальна» (разные учителя, разные друзья и т. п.).

Как ни парадоксально, утверждает Саллоуэй, индивидуальные среды, в которых растут сиблинги, могут быть особенно диспаратными – и именно потому, что они сиблинги. Например, вы и ваш сосед оба можете быть первенцами, а вот вы и ваш брат – нет. Более того, согласно Саллоуэю, в ходе борьбы за ресурсы один сиблинг, занимая в семейной экологии некую стратегическую нишу, может выпихнуть других сиблингов в другие ниши. Так, младший сиблинг, обнаружив, что старший беспрекословно слушается родителей, может найти другую «нишу», – например, успеваемость в школе. С точки зрения борьбы за расположение родителей, это более

разумное решение, чем конкурировать на уже переполненном рынке паинек.

3. Почему люди не хотят иметь много детей или предпочитают не иметь их вообще?

Данный феномен иногда называют большой эволюционной «тайной». Академики ломают головы над «демографическим сдвигом», который понизил рождаемость в индустриальных обществах, пытаясь объяснить его с точки зрения дарвинизма. Некоторые полагают, например, что в современной среде семья среднего размера только вредит генетическому наследию. Так, вероятность получить больше внуков выше, если у вас будет всего два ребенка, каждого из которых вы сможете отправить в дорогую частную школу, чем если у вас будет пятеро детей, которые будут учиться в дешевых школах и в будущем окажутся неспособными содержать собственных детей. Таким образом, предпочитая не иметь много детей, люди ведут себя адаптивно.

Есть более простое решение: естественный отбор, стремясь заставить нас размножаться, не привил нам непреодолимое, сознательное желание иметь детей. Он наделил нас любовью к сексу и любовью к его последствиям, которые материализуются девять месяцев спустя, но не способностью заранее предугадать такую любовь. (Доказательством могут служить жители островов Тробриан, которые, согласно Малиновскому, не видели связи между сексом и деторождением, однако все равно продолжали размножаться.) Сбои в «программе» возникли только после того, как люди придумали противозачаточные средства.

Выбор размера семьи – один из многих случаев, когда мы перехитрили естественный отбор; сознательно взвесив все «за» и «против» (например, что дети, какими бы милыми они ни были, при некоторых обстоятельствах весьма обременительны), мы можем выбрать более короткие пути к конечным целям, которые он нам «навязал».

4. Почему люди совершают самоубийства?

Опять-таки, можно придумать различные сценарии, в которых такое поведение будет адаптивным. Не исключено, что в анцестральной среде человек, став бременем для своей семьи, мог максимизировать инклюзивную приспособленность, выведя себя из игры. Допустим,

запасы продовольствия настолько скудны, что, потребляя их, он лишает пищи более репродуктивно ценных родственников, тем самым подвергая их жизнь опасности.

Объяснение не так уж и неправдоподобное, однако и не безупречное. В частности, в современной среде самоубийцы крайне редко происходят из голодающих семей.

Кроме того, голод – практически единственное обстоятельство, при котором самоубийство могло иметь дарвинистский смысл. Учитывая общую доступность пищи, почти любой – кроме разве что абсолютно беспомощных инвалидов или стариков – может оказать существенную поддержку своим репродуктивно ценным родственникам: собирать ягоды, ухаживать за детьми, учить их и так далее. (Даже будь вы не имеющим оправдания бременем, разве самоубийство – генетически оптимальный путь? Разве для генов убитого депрессией человека не будет лучше, если он просто уйдет из деревни в надежде обрести счастье в каком-нибудь другом месте – например, встретить незнакомую женщину, которую можно соблазнить или, на крайний случай, изнасиловать?)

Вероятное решение парадокса самоубийства кроется в понимании того, что поведенческие «адаптации», выработанные естественным отбором, – не модели поведения как таковые, а лежащие в их основе ментальные органы. Эти ментальные органы, которые были достаточно адаптивны в одной среде, могут вести к неадаптивному поведению в другой. Так, мы уже убедились, что нелестное мнение о себе иногда бывает адаптивным (см. главу 13). Увы, психический орган, отвечающий за самокритику, не застрахован от сбоев; слишком долгие угрызения совести и копания в себе в итоге могут закончиться самоубийством.

В отличие от древних условий, современная среда чаще приводит к подобного рода сбоям. В ней возможна такая степень социальной изоляции, которая была неизвестна нашим предкам.

5. Почему люди убивают собственных детей?

Инфантицид не просто продукт современной среды. Он был распространен не только в культурах охотников и собирателей, но и в аграрных обществах. Что же это такое: результат адаптации – ментальный орган, который имплицитно вычисляет, когда убийство новорожденного максимизирует генетическую приспособленность?

Вполне возможно. Обычно убивали не только слабых и дефективных детей, но и детей, родившихся при других неблагоприятных обстоятельствах, например, когда у матери уже есть маленькие дети, а мужа нет.

Конечно, в современных условиях объяснить детоубийство как разумную генетическую стратегию сложно. Однако, как мы уже видели (см. главу 4), многие случаи предполагаемого убийства потомков на самом деле представляют собой убийство пасынков, а не родных детей. Львиная доля остальных, я подозреваю, совершается мужьями, которые на самом деле могут быть родными отцами, но сомневаются в этом (сознательно или бессознательно). И в тех сравнительно немногих случаях, когда мать убивает своего собственного новорожденного ребенка, это часто происходит на фоне тех средовых сигналов, которые в анцестральной среде могли означать, что инфантицид генетически выгоден: относительная бедность, отсутствие надежного источника отцовских инвестиций и так далее.

6. Почему солдаты гибнут за свою страну?

Самоотверженность, побуждающая людей прыгать на ручную гранату – или, в анцестральной среде, самоубийственно возглавить оборону против захватчиков с дубинами, – может иметь дарвинистский смысл, если вы находитесь в окружении близких родственников. Однако зачем же умирать за людей, которые просто друзья? Это услуга, за которую они никогда не смогут вам отплатить.

Во-первых, необходимо помнить, что в анцестральной среде, в маленькой деревне охотников и собирателей, средняя степень родства с товарищем по оружию не была ничтожно низкой; напротив, учитывая браки, она могла быть довольно высока (см.: Chagnon, 1988). Обсуждая теорию родственного отбора в седьмой главе, мы сосредоточились на ментальных органах, которые позволяют идентифицировать близких родственников и относиться к ним с особой щедростью; мы предположили, что гены, способствующие такому различению, будут иметь тенденцию процветать за счет генов, способствующих альтруизму по отношению ко всем подряд. Но бывают обстоятельства, которые не подчиняются данному правилу. Одним из таких обстоятельств является коллективная угроза. Если, скажем, на всю группу охотников и собирателей, включая вашу

непосредственную семью и многих близких родственников, нападает враг, чрезмерная храбрость имеет прямой генетический смысл за счет родственного отбора. По всей вероятности, современные солдаты проявляют именно такой неизбирательный альтруизм в военной обстановке. Другое различие между современной войной и анцестральной войной состоит в том, что генетическая выгода от победы теперь ниже. На основании наблюдений за обществами дописьменного периода разумно предположить, что изнасилование или похищение женщин когда-то было неотъемлемой составляющей войны. Разумеется, такая награда с дарвинистской точки зрения вполне оправдывала существенный риск (хотя и не явно суицидальное поведение). Вполне вероятно, что мужчин, продемонстрировавших особую доблесть во время войны, вознаграждали наиболее щедро. В целом наиболее правдоподобное объяснение доблести в военное время заключается в том, что она есть продукт ментальных органов, которые когда-то служили для максимизации инклюзивной приспособленности. Лишившись своей непосредственной функции, эти органы тем не менее сохранились и активно эксплуатируются, прежде всего, политическими лидерами, которые извлекают из войны прибыль (см.: Johnson, 1987).

Человеческое поведение содержит и много других дарвинистских тайн. Каковы функции юмора и смеха? Почему на смертном одре люди делают вопиющие признания? Почему мы даем обеты нестяжания и целомудрия и даже иногда их соблюдаем? Какова функция горя? (Как мы видели в главе 7, оно отражает степень эмоционального инвестирования в покойного. Разумеется, пока человек был жив, эмоциональное инвестирование имело генетический смысл. Но теперь, когда его нет, какую пользу приносит генам скорбь?)

Разгадка этих тайн – одна из важнейших задач современной науки. В поисках ответов мы должны помнить следующее:

- 1) поведением управляют ментальные органы;
- 2) ментальные органы, но не модели поведения суть продукты естественного отбора;
- 3) хотя в изначальной среде эти органы вели к адаптивному поведению (а это единственная причина, по которой естественный

отбор мог их создать), в современных условиях они могут этого не делать;

4) человеческий разум невероятно сложен, что, в зависимости от обстоятельств, он способен породить множество самых разных моделей поведения и что диапазон этих моделей существенно расширяется благодаря беспрецедентному разнообразию обстоятельств в современной социальной среде.

Благодарности

Многие люди проявили большую любезность, читая и комментируя наброски этой книги; среди них: Леда Космидес, Мартин Дали, Мэрианн Айсманн, Уильям Гамильтон, Джон Хартунг, Филип Хефнер, Энн Хулберт, Карен Лерман, Питер Сингер, Дональд Саймонс, Джон Туби, Франс де Вааль и Гленн Вайсфельд. Я им очень благодарен.

Несколько человек смогли проявить достаточно самодисциплины, чтобы прочитать черновик всей книги: Лора Бетциг, Джейн Эпштейн, Джон Пирс, Микей Каус (который также многие годы редактировал другие мои сочинения), Майк Кинсли (который редактировал еще больше моих работ, будучи редактором «Новой республики» и позднее) и Фрэнк Салловей (который любезно помогал мне, в том числе позволил воспользоваться своим архивом фотографий). Гэри Крист дал внятный отзыв на первую, сумбурную версию книги, снабжал меня толковыми советами и оказывал активную моральную поддержку. Каждый из этих людей заслуживает медали.

Марти Перец дал мне длительный отпуск в «Новой республике», оставаясь верным своей политике позволять людям исследовать вещи, которые им интересны. Я счастлив работать с теми, кто действительно уважает идеи. Во время отпуска Генри и Элеонора О'Нил обеспечили мне бесплатное зимнее проживание в Нантуки, позволившее мне написать часть этой книги в самых прекрасных условиях, которые только можно вообразить.

Эдвард Уилсон, написавший «Социобиологию» и «О природе человека», как только увидел мой интерес к данной теме, с того самого момента всегда готов был оказать мне любую помощь. Джон Тилер Боннер, Джеймс Бенигер и Генри Хорн, с которыми мы встречались на семинаре по социобиологии, пока я был в колледже, поддерживали мой интерес. Будучи издателем журнала «The Sciences» в середине 80-х, я имел честь издавать колонку Мела Коннера «On Human Nature». Я много узнал из этой колонки и бесед с Мелом.

Многочисленные ученые (включая многих из тех, кого я упоминал выше, особенно в первом параграфе) позволили мне буквально допросить их, формально или неформально, – Майкл Бэйли, Джек

Бекстром, Дэвид Басс, Милдред Дикманн, Брюс Эллис, Уильям Айронс, Элизабет Ллойд, Кевин Макдональд, Майкл Макгири, Рэндольф Нессе, Крэйг Палмер, Мэтт Рэдди, Питер Стралендорф, Лайонел Тайгер, Роберт Триверс, Пол Турке, Джордж Уильямс, Дэвид Слоан Уилсон и Марго Уилсон. А несколько человек предоставили мне распечатки своих статей, ответив на назойливые вопросы: Ким Бьюлман, Элизабет Кэшден, Стив Гангестада, Март Гросс, Элизабет Хилл, Ким Хилл, Гэри Джонсон, Дебра Джадж, Робби Лоуи, Ричард Мариус и Майкл Рэдди.

Уверен, что кого-то забыл, в том числе многих членов общества Поведения человека и Эволюции, к которым я приставал во время собраний. Мой издатель, Дан Франк, – из тех редких современных издателей, кто тщательно и качественно работает с рукописями. Мардж Андерсон, Атли Карпер, Джинн Мортона и Клоди О’Хин тоже были очень любезны. Мой агент Райф Сагалин щедро делился со мной временем и советами.

И, наконец, моей жене Лизе я обязан более всех. Я до сих пор помню, как она прочитала первый черновик первой части этой книги и объяснила мне, как он плох, ни разу не произнеся этого слова. С тех пор она прочитала несколько черновиков рукописи и часто высказывала схожие пронизательные суждения в столь же дипломатичной манере. Нередко, когда я получал противоречивые советы и пребывал в замешательстве, ее реакция служила мне путеводной нитью. Я не мог бы просить большего (хотя припоминаю, что в нескольких случаях все же просил).

В некоторых вопросах Лиза не согласна со мной. Как и все, кого я упомянул выше, в этом я абсолютно уверен. Но так и бывает, когда наука еще молода, когда она несет в себе нравственный и политический заряд.

Избранная Библиография на русском языке

Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера // Ч. Дарвин. Сочинения. – Т. 9. – М., 1959.

Дарвин Ч. Выражение эмоций // Ч. Дарвин. Сочинения. – Т. 5. – М., 1953.

Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Ч. Дарвин. Сочинения. – Т. 5. – М., 1953.

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». – М., 1977.

Докинз Р. Расширенный фенотип. – М.: Corpus, 2010.

Докинз Р. Эгоистичный ген. – М.: Corpus, 2013.

Докинз Р. Слепой часовщик – М.: Corpus, 2014.

Де Валь Ф. Политика у шимпанзе. – М.: Высшая школа экономики, 2018.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // К. Маркс Ф. Энгельс. Сочинения. – Т. 4. – 2-е изд. – М., 1955.

Мид М. Взросление на Самоа // М. Мид. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988.

Моррис Д. Голая обезьяна. – СПб: Амфора, 2004.

Ридли М. Секс и эволюция человеческой природы. – М.: Эксмо, 2011.

Смайлс С. Саморазвитие. – С.-Петербург, 1900.

моральное
ЖИВОТНОЕ



РОБЕРТ РАЙТ

1

Перевод Н. Волжиной.

[Вернуться](#)

2

Greene (1963), pp. 114–115.

[Вернуться](#)

3

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. *Пер. А. Б. Гофмана.*

[Вернуться](#)

4

Tooby and Cosmides (1992). С. 22–25, 43.

[Вернуться](#)

5

См.: Tooby and Cosmides (1992).

[Вернуться](#)

6

1 См.: Brown (1991) и последняя глава Pinker (1994).

[Вернуться](#)

7

Смайлс С. Саморазвитие умственное, нравственное и практическое.
Пер. В. Вольфсона.

[Вернуться](#)

8

Милль Д. С. О свободе. *Пер. А. Н. Неведомского.*

[Вернуться](#)

9

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1.

[Вернуться](#)

10

LLCD. Т. 3. С. 20. Автобиография.

[Вернуться](#)

11

Clark (1984). С. 168.

[Вернуться](#)

12

Bowlby (1991). С. 74–75; Смайлс (1859).

[Вернуться](#)

13

CCD. Т. 1. С. 460.

[Вернуться](#)

14

Marcus (1974). С. 16–17.

[Вернуться](#)

15

См.: Stone (1977). С. 422; Himmelfarb (1968). С. 278; Young (1936). С. 1–5; Houghton (1957).

[Вернуться](#)

16

Young (1936). С. 1–2.

[Вернуться](#)

17

Houghton (1957). С. 233–34.

[Вернуться](#)

18

Houghton (1957). С. 62, 238; Young (1936). С. 1–4.

[Вернуться](#)

19

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 236.

[Вернуться](#)

20

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1.

[Вернуться](#)

21

См.: Gruber (1981). С. 52–59; современный ответ Пейли см.: Докинз Р. Слепой часовщик.

[Вернуться](#)

22

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 2.

[Вернуться](#)

23

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 2. О приобщении Дарвина к эволюционизму и создании теории естественного отбора см.: Sulloway (1982) и Sulloway (1984).

[Вернуться](#)

24

Clark (1984). Ч. 6.

[Вернуться](#)

25

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1, 2.

[Вернуться](#)

26

Clark (1984). С. 3.

[Вернуться](#)

27

Himmelfarb (1959). С. 8.

[Вернуться](#)

28

Clark (1984). С. 137.

[Вернуться](#)

29

Дарвин Ч. Происхождение видов. Гл. VIII.

[Вернуться](#)

30

Дарвин разграничивал «выживание» и «размножение». Признаки, ведущие к успешному спариванию, он приписывал не естественному, а «половому» отбору. Современное определение «естественного отбора» охватывает оба вышеупомянутых аспекта: сохранение признаков, которые так или иначе способствуют передаче генов организма следующему поколению.

[Вернуться](#)

31

В этой книге я иногда буду говорить о том, что естественный отбор «хочет» или «намерен» сделать то-то или то-то, а также о том, какие «ценности» заложены в нем изначально. В таких случаях я всегда буду использовать кавычки, ибо это просто метафоры. Впрочем, к

метафорам не стоит относиться свысока: они помогут нам морально свыкнуться с позициями дарвинизма.

[Вернуться](#)

32

Обсуждение концептуальных основ эволюционной психологии, см.: Cosmides & Tooby (1987), Tooby & Cosmides (1992), Symons (1989), Symons (1990).

[Вернуться](#)

33

См.: Humphrey (1976), Alexander (1974). С. 335, Ridley (1994).

[Вернуться](#)

34

Некоторые дарвинисты убеждены, что в данном контексте термин «случайный» некорректен. По их мнению, процесс генерации порождает признаки, у которых вероятность оказаться полезными выше, чем у признаков, которые дал бы подлинно случайный процесс. Некоторые полагают, что процесс генерации признаков сам развился через естественный отбор – что гены, управляющие этим процессом, были специально отобраны для обеспечения генерации полезных генов. См., например: Wills (1989). Это важный вопрос, но он не имеет отношения к теме данной книги; хотя ответ на него может пролить свет на скорость, с которой протекает эволюция, он никак не повлияет на наши представления о том, каким типам признаков она благоволит.

[Вернуться](#)

35

[Вернуться](#)

36

Desmond & Moore (1991). С. 51, 54, 89.

[Вернуться](#)

37

Свидетельства добрачных сексуальных отношений см.: Brent (1983). С. 319–320.

[Вернуться](#)

38

Marcus (1974). С. 31.

[Вернуться](#)

39

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. XXI. С. 651–652.

[Вернуться](#)

40

Там же. Гл. VIII. С. 323.

[Вернуться](#)

41

Там же. Гл. XVII. С. 564; Wilson (1975). С. 318–324.

[Вернуться](#)

42

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. VIII, XII, XIV, XVII.

[Вернуться](#)

43

Одна из теорий состоит в том, что изначально эволюция наделила самок особой симпатией к простым свидетельствам хорошего здоровья и выносливости самца (например, более яркой окраске), которые обещали выносливое и живучее потомство. Однако, как только эти предпочтения закрепились, более яркие самцы получили безоговорочное преимущество, которое уже не зависело от того, действительно ли яркая окраска – гарант здоровья. Акцент на яркости и быстрое распространение соответствующих генов, в свою очередь, еще больше усилили предпочтение ярких цветов: самки, которые выбирали ярких самцов, давали яркое, сексуально успешное потомство мужского пола. Возник замкнутый круг: чем большему количеству самок нравился цвет, тем ярче становились самцы, и наоборот. В последнее время данная теория подверглась самой разнообразной критике (хотя не все «альтернативные» теории с ней несовместимы). Увлекательное изложение этой проблемы см.: Ридли М. Секс и эволюция человеческой природы; Cronin (1991).

[Вернуться](#)

44

В некотором смысле Дарвин был на верном пути. Он связал пылкость самцов с более крупными половыми клетками самок. Благодаря размерам, рассуждал он, мужские половые клетки могли относительно легко находить женские. Так, у морских животных, обладающих небольшой степенью подвижности, например, мелкие сперматозоиды имеют гораздо больше шансов добраться до большой яйцеклетки, чем наоборот. Однако поскольку данный процесс носит случайный характер, с эволюционной точки зрения самцы поступали

бы куда разумнее, если бы сначала находили самку и только потом извергали семя. Впоследствии эта склонность самцов искать самок сохранится даже у высших сухопутных животных. Один из существенных недостатков данной теории – невозможность объяснить снижение пылкости самцов и повышение пылкости самок у видов, для которых характерен аномальный дисбаланс в родительском вкладе.

[Вернуться](#)

45

На самом деле один из постулатов новой дарвинистской парадигмы гласит, что путеводная звезда естественного отбора – это не просто «выживание и размножение». Но этот нюанс не будет важен до седьмой главы книги.

[Вернуться](#)

46

Цит. по: Hrdy (1981). С. 132.

[Вернуться](#)

47

Термин «среда эволюционной адаптации» был предложен Джоном Боулби, выдающимся психиатром и биографом Дарвина (Bowlby, 1991).

[Вернуться](#)

48

Относительная важность изучения СЭА, а также роли признаков в приспособленности к современной среде до сих пор активно обсуждается в научных кругах (равно как и само определение СЭА). Журнал «*Ethology and Sociobiology*» даже посвятил целый выпуск (vol. 11, 1990) дискуссиям о значимости СЭА.

[Вернуться](#)

49

См.: Tooby & Cosmides (1990b).

[Вернуться](#)

50

Bateman (1948). С. 365.

[Вернуться](#)

51

«Эгоистичный ген» Ричарда Докинза, его наиболее известная и популярная книга, пропитан идеями Уильямса. В первой главе Докинз признает: «Эволюцию лучше всего рассматривать как результат отбора, происходящего на самом нижнем уровне. На это мое убеждение сильно повлияла замечательная книга Джорджа К. Уильямса...»

[Вернуться](#)

52

Williams (1966). С. 183–184.

[Вернуться](#)

53

Там же. С. 184.

[Вернуться](#)

54

Trivers (1972). С. 139.

[Вернуться](#)

55

Кто именно придал этому теоретическому расширению *окончательную* форму – Триверс или другие ученые – неясно. В 1991 году Клаттон-Брок и Винсент предположили, что вместо родительского «вклада», который трудно определить количественно, следует сосредоточиться на потенциальной скорости размножения каждого пола. На примере разных видов они показали, что пол, для которого характерна более высокая потенциальная скорость воспроизводства, – исключительно надежный предиктор более интенсивного соперничества за доступ к противоположному полу. Я заметил, что многие люди находят относительную потенциальную скорость размножения интуитивно более понятным объяснением робости самок, нежели теорию относительного родительского вклада. Посему в начале главы я сделал акцент на относительной потенциальной скорости размножения и попытался рассказать об этом так, как это сделали бы Клаттон-Брок и Винсент. См.: Clutton-Brock & Vincent (1991).

[Вернуться](#)

56

Цит. по: Buss & Schmitt (1993). С. 227. Разумеется, не исключено, что многие женщины просто беспокоились за свою физическую безопасность.

[Вернуться](#)

57

Cavalli-Storza et al. (1988).

[Вернуться](#)

58

Malinowski (1929). С. 193–194.

[Вернуться](#)

59

Обсуждение ревности у тробрианцев см.: Symons (1979). С. 24.

[Вернуться](#)

60

Malinowski (1929). С. 313–314, 319.

[Вернуться](#)

61

Там же. С. 488.

[Вернуться](#)

62

Точный смысл «универсальности» видотипичных психических адаптаций см.: Tooby & Cosmides (1989).

[Вернуться](#)

63

Trivers (1985). С. 214.

[Вернуться](#)

64

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. XII. С. 434.

[Вернуться](#)

65

Trivers (1985). С. 214.

[Вернуться](#)

66

Notebooks. С. 370. (Позднее Дарвин приписал слово «часто».)

[Вернуться](#)

67

Williams (1966). С. 185–186. Гронелл (Gronell, 1984) изучает вид морских игл, который «лишь частично... согласуется» с прогнозом более выраженной настойчивости у самок, тогда как оба вида морских игл, описанных Клаттоном-Броком и Винсентом (Clutton-Brock & Vincent, 1991), подтверждают его.

[Вернуться](#)

68

V. C. Wynne Edwards, цит. по: West-Eberhard (1991). С. 162.

[Вернуться](#)

69

Trivers (1985). С. 216–118; Daly & Wilson (1983). С. 156; Wilson (1975). С. 326. Клаттон-Брок и Винсент приводят 16 видов, самки которых могут размножаться быстрее самцов за счет высокого родительского вклада последних. У 14 видов самки соперничают за возможность спариться гораздо активнее, чем самцы. Авторы

утверждают, что в двух «возможных исключениях» – у морских коньков (близких родственников морских игл) и нанду – теоретически более высокая скорость размножения самок на практике сводится к нулю особыми экологическими обстоятельствами.

[Вернуться](#)

70

Де Вааль (в русскоязычных изданиях встречается также написание де Валь) (1989). С. 173.

[Вернуться](#)

71

Действительно ли *Homo erectus* – наш прямой предок, точно не установлено.

[Вернуться](#)

72

Реконструкцию праобезьяны, основанную на африканских человекообразных обезьянах (не включая орангутана), см.: Wrangham (1987).

[Вернуться](#)

73

Rodman & Mitani (1987).

[Вернуться](#)

74

Stewart & Harcourt (1987).

[Вернуться](#)

75

См.: Ф. де Валь. Политика у шимпанзе; Nishida & Hiraiwa-Hasegawa (1987).

[Вернуться](#)

76

Badrian & Badrian (1984), Susman (1987), de Waal (1989), Hiraiwa-Hasegawa (1987), Kano (1990).

[Вернуться](#)

77

Wolfe (1991). С. 136–137; Stewart & Harcourt (1987).

[Вернуться](#)

78

См.: Ф. де Валь. Политика у шимпанзе.

[Вернуться](#)

79

Goodall (1986). С. 453–166.

[Вернуться](#)

80

Wolfe (1991). С. 130.

[Вернуться](#)

81

Leighton (1987).

[Вернуться](#)

82

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. XX. С. 632.

[Вернуться](#)

83

Моррис Д. Голая обезьяна. С. 33.

[Вернуться](#)

84

Murdock (1949). С. 1–3. В некоторых обществах брат матери играет бóльшую роль в воспитании детей, чем родной отец. Согласно Ричарду Александеру, обычно это характерно для обществ, члены которых ведут слишком активную половую жизнь, а потому типичный муж не может быть уверен, что на самом деле является отцом своих детей. В таком контексте теория родственного отбора (которую мы подробно рассмотрим в главе 7) подсказывает нам, что мужчине (с дарвинистской точки зрения) гораздо выгоднее инвестировать ресурсы в детей своей сестры, а не жены. См.: Alexander (1979). С. 169–175.

[Вернуться](#)

85

Trivers (1972). С. 153.

[Вернуться](#)

86

Benshoof & Thornhill (1979); Tooby & DeVoro (1987).

[Вернуться](#)

87

Обитатели острова Мангаиа в Полинезии, например, давно известны отсутствием у них романтических отношений. Саймонс (Symons, 1979. С. 110) поддержал это распространенное мнение, однако впоследствии счел его ошибочным (личное общение). Его аспирантка, Йони Харрис (Калифорнийский университет, Санта-Барбара), тщательно изучила общество мангаианцев и пришла к выводу, что романтическая любовь носит универсальный характер (личное общение). Более общее описание см.: Jankowiak & Fisher (1992).

[Вернуться](#)

88

Это не означает, что расчеты самок просты. Тщательный обзор различных качеств, которые самка может «искать» в самце, а также анализ их относительной важности см.: Cronin (1991), а также Ридли М., «Секс и эволюция человеческой природы». Среди прочих авторы упоминают «хорошие гены», повышающие приспособленность потомства мужского или женского пола; гены, повышающие приспособленность потомства только мужского пола (например, гены длинных рогов) за счет более высоких шансов на спаривание; отсутствие патогенов (что снижает риск подхватить болезнь во время секса, а также свидетельствует о наличии патоген-резистентных генов); склонность к инвестициям (аналогичным «брачным подношениям» комаровок) и т. д.

[Вернуться](#)

89

Thornhill (1976).

[Вернуться](#)

90

Buss (1989); Buss (1994). Гл. 2.

[Вернуться](#)

91

Женщины придавали большее значение амбициозности и трудолюбию в 28 из 29 культур со статистически значимыми различиями между полами. Обсуждение специфических моделей поведения и предпочтений, не являющихся универсальными, но вместе с тем свидетельствующих о существовании видотипичных ментальных органов, см.: Tooby & Cosmides (1989).

[Вернуться](#)

92

Trivers (1972). С. 145.

[Вернуться](#)

93

Tooke & Camire (1990). По мнению ученых, чувствительность самок к невербальным подсказкам может являться прямым следствием этой гонки вооружений.

[Вернуться](#)

94

Наблюдения Триверса, а также подробный разбор лежащей в их основе логики см.: в главе 13 «Обман и самообман». Первым ученым, применившим эту логику в контексте спаривания, стала Джоан Локкард (Joan Lockard, 1980). Свидетельства самообмана у мужчин см.: Tooke & Camire (1990).

[Вернуться](#)

95

Я слышал, как некоторые мужчины, обманувшие женщину, утверждали, будто обман заключается не столько в том, что они говорили (например, «Я буду с тобой всегда»), сколько в том, чего они не говорили (например, «Я уверен, что не буду»). Складывается впечатление, что они балансируют на грани фола, прибегая к любым видам обмана, кроме неприкрытой лжи, которую оправдать не так-то просто. В таких случаях ответ на вопрос, сознательно ли был совершен обман, весьма туманен, даже если обманщик осознает обман в ретроспективе.

[Вернуться](#)

96

Kenrick et al. (1990). Доказательства того, что при выборе партнеров для краткосрочных отношений мужчины менее избирательны, чем женщины, см.: Buss & Schmitt (1993).

[Вернуться](#)

97

Trivers (1972). С. 145–146.

[Вернуться](#)

98

Malinowski (1929). С. 524.

[Вернуться](#)

99

См.: Buss (1989); *New York Times*, 13/06/1989, p. C1.

[Вернуться](#)

100

См.: Buss (1994). С. 59. Разумеется, выбирая женщину для инвестиций, мужчина беспокоится не только о ее фертильности, но и о других вещах, например, о потенциальной верности. Последние соображения, однако, более или менее уравниваются тревогой женщины о преданности мужчины (т. е. какова вероятность, что данный конкретный мужчина останется с ней достаточно долго, чтобы вкладывать в ее детей?).

[Вернуться](#)

101

Trivers (1972). С. 149.

[Вернуться](#)

102

Саймонс (Symons, 1979) заметил, что мужчины больше женщин озабочены вопросами физической измены, но упустил из виду специфическую озабоченность женщин эмоциональной неверностью как признаком сокращения ресурсов.

[Вернуться](#)

103

Обзор некоторых из этих исследований см.: Daly, Wilson & Weghorst (1982). Тот факт, что мужская ревность в основном сосредоточена на сексе, а женская – на «потере времени и внимания», отмечали Тейсманн и Мошер (Teismann & Mosher, 1978). Данные, свидетельствующие о том, что жены всех социальных классов чаще мирятся с сексуальной неверностью мужей, чем мужья – жен,

приведены в «Отчете Кинси» (*Kinsey Report*; см.: Symons. 1979. С. 241).

[Вернуться](#)

104

Buss et al. (1992).

[Вернуться](#)

105

Symons (1979). С. 138–141; Badcock (1990). С. 142–160.

[Вернуться](#)

106

Shostak (1981). С. 271.

[Вернуться](#)

107

О гориллах см.: Stewart & Harcourt (1987). С. 158–159. О лангурах см.: Hrdy (1981).

[Вернуться](#)

108

Daly & Wison (1988). С. 47.

[Вернуться](#)

109

Hill & Kaplan (1988). С. 298; Hill (личное общение).

[Вернуться](#)

110

Hrdy (1981). С. 153–154, 189.

[Вернуться](#)

111

Symons (1979). С. 138–141. Аналогичную теорию выдвинули Беншуф и Торнхилл (Benshoof & Thornhill, 1979).

[Вернуться](#)

112

См., например: Hill (1988); Daly & Wilson (1983). С. 318. Вопрос до сих пор остается спорным.

[Вернуться](#)

113

Hill & Wenzl (1981); Grammer, Dittami & Fischmann (1993).

[Вернуться](#)

114

Baker & Bellis (1993). Существуют и другие механизмы, посредством которых женщина может бессознательно ущемлять интересы своего постоянного партнера. Согласно Бейкеру и Беллису, женский оргазм, при условии, что он не происходит задолго до эякуляции, содействует удержанию спермы во влагалище и тем самым увеличивает шансы на оплодотворение. Таким образом, можно предположить, что естественный отбор «хочет», чтобы отцом ребенка стал тот мужчина, который может довести женщину до пика

наслаждения. Бейкер и Беллис действительно обнаружили, что неверные женщины чаще испытывают такой оргазм со своими любовниками, чем с постоянными партнерами. (Впрочем, на сегодняшний день имеются только предварительные данные, а давшая их методология далека от безупречной.) Эти две тактики контролирования зачатия – время совокупления и оргазм – теоретически могут питать разные типы женской интуиции. На ранних стадиях взаимоотношений оргазм может служить мерилем будущей преданности мужчины; если его растущий опыт с женщиной заставляет ее испытывать своевременный оргазм, вероятность зачатия ребенка от незнакомого (и, может быть, не особо заботливого) мужчины снижается. Но если мужчина достаточно «сексуален» – если он может похвастаться брутальностью и другими признаками «хороших генов», – оргазм в испытательный период может случиться раньше, как и было задумано. Между прочим, Бейкер и Беллис также обнаружили, что «двукратные совокупления» – два разных половых партнера в течение 5 дней – более распространены незадолго до овуляции. Ученые видят в этом доказательство теории «соперничества сперматозоидов»: возможно, одной из дарвинистских целей неверности является поединок сперматозоидов различных мужчин внутри матки; в этом случае яйцеклетку скорее всего оплодотворит самый энергичный, самый воинственный сперматозоид. Если в результате такого оплодотворения родится сын, то это будет сын с более энергичными, более агрессивными сперматозоидами.

[Вернуться](#)

115

См.: Betzig (1993a).

[Вернуться](#)

116

Daly & Wilson (1983). С. 320.

[Вернуться](#)

117

Harcourt et al. (1981). Также см.: Wilson & Daly (1992).

[Вернуться](#)

118

Baker & Bellis (1989). Самки многих нечеловекообразных видов, долго считавшихся моногамными (особенно птиц), на самом деле оказались весьма распутными особами. Этим открытием мы обязаны молекулярной биологии, которая позволяет сравнить детенышей с их настоящими отцами. См.: Montgomerie (1991).

[Вернуться](#)

119

Wilson & Daly (1992). С. 289–190.

[Вернуться](#)

120

Symons (1979). С. 241.

[Вернуться](#)

121

Хотя исследование Басса показало, что во всех 23 культурах, в которых были выявлены статистически значимые различия между полами, мужчины придавали гораздо большее значение девственности женщины, чем женщины – девственности мужчины, в 14 культурах таких различий обнаружить не удалось. Большинство из них – современные европейские общества, в которых девственность (как мужчин, так и женщин) – большая редкость. Тем не менее мы знаем, что по крайней мере в некоторых из этих культур, например в

Швеции, женщины, известные своей склонностью к беспорядочным половым связям, не считаются завидными женами. См.: Buss (1994). Гл. 4.

[Вернуться](#)

122

Мид М. Взросление на Самоа. Гл. VII.

[Вернуться](#)

123

Мид М. Взросление на Самоа. Гл. VII.

[Вернуться](#)

124

Freeman (1983). С. 232–236, 245. Слово, которое я перевел как «шлюха», Фриман переводит как «проститутка». Тем не менее он отмечает, что оно имеет более сильную коннотацию позора, чем это подразумевает выбранный им аналог.

[Вернуться](#)

125

Мид М. Взросление на Самоа. Гл. VII; Freeman (1983). С. 237.

[Вернуться](#)

126

Мид М. Взросление на Самоа. Гл. VII.

[Вернуться](#)

127

На острове Мангаиа, как утверждает Йони Харрис (личное общение), неразборчивую женщину называют «slut» («потаскушкой»). Однако сам факт, что это слово английское, заставляет ее усомниться в том, что данное понятие не является следствием западного влияния. Исследования племени аче, см.: Hill & Kaplan (1988). С. 299.

[Вернуться](#)

128

Уильям Янковек (William Jankowiak; личное общение).

[Вернуться](#)

129

Buss & Schmitt (1993), табл. на с. 213.

[Вернуться](#)

130

См.: Tooby & Cosmides (1990a).

[Вернуться](#)

131

Maynard Smith (1982). С. 89–90.

[Вернуться](#)

132

Общий принцип частотно-зависимого отбора сформулировал в 1930 году британский биолог Рональд Фишер, который использовал его для

объяснения примерно равного соотношения новорожденных самцов и новорожденных самок. Причина не в том, как полагают многие, что такое соотношение «хорошо для вида». Все дело в том, что, как только гены, благоприятствующие рождению особей одного пола, начнут доминировать, репродуктивная ценность генов, благоприятствующих рождению особей противоположного пола, вырастет. Поскольку это приведет к их быстрому распространению, баланс восстановится. См.: Maynard Smith (1982). С. 11–19; Fisher (1930). С. 141–143.

[Вернуться](#)

133

Докинз Р. Эгоистичный ген. Гл. 9.

[Вернуться](#)

134

Март Гросс (Mart Gross), Университет Торонто (личное общение).

[Вернуться](#)

135

Dugatkin (1992).

[Вернуться](#)

136

Гипотеза «сексуального сына» была предложена Гангестадам и Симпсоном в 1990 году (Gangestad & Simpson, 1990). Ученые приводят интригующие данные, которые (пусть и косвенно) свидетельствуют о том, что у сексуально раскрепощенных женщин рождается необычно большое количество сыновей, что совершенно логично, если их стратегия направлена на «сексуальных сыновей». (Хотя пол ребенка определяют сперматозоиды, а не яйцеклетки, мать теоретически может менять соотношение мальчиков и девочек –

например, посредством избирательного уничтожения оплодотворенных яйцеклеток.) И все же нет никаких причин, почему соотношение полов не может изменяться под влиянием средовых факторов. В частности, установлено, что у некоторых млекопитающих, оказавшихся в неблагоприятных условиях, рождается больше самок, чем самцов. (Вероятное объяснение этому явлению см. в главе 7.)

[Вернуться](#)

137

Туби и Космидес (Tooby & Cosmides, 1991a) поддерживают гипотезу «шума». В частности, утверждают они, генетическая изменчивость может препятствовать развитию патогенов и лишь незначительно влиять на личности. Дарвинистский взгляд на связь генетики и личности см.: Buss (1991).

[Вернуться](#)

138

Trivers (1972). С. 146.

[Вернуться](#)

139

Уолш (Walsh, 1993) обнаружил обратную корреляцию между оценкой женщиной своей привлекательности и количеством половых партнеров. Данные, свидетельствующие об отсутствии корреляции, были собраны Стивом Гангестадам (личное общение); в этом случае привлекательность женщины оценивали сторонние наблюдатели.

[Вернуться](#)

140

См., например: Chagnon (1968).

[Вернуться](#)

141

Cashdan (1993). Вероятно, данная закономерность работает и в обратную сторону: женщины, которые носят сексуальную одежду и охотно вступают в половую связь, могут, в силу самих этих привычек, оказаться в кругу мужчин, не желающих инвестировать в потомство — по крайней мере, не от этих женщин.

[Вернуться](#)

142

Гангестада (личное общение). См.: Simpson et al. (1993).

[Вернуться](#)

143

Buss & Schmitt (1993). С. 214, 229.

[Вернуться](#)

144

Цит. по: Thornhill & Thornhill (1983). С. 154. Эта статья стала первым подробным анализом изнасилования у людей в рамках новой дарвинистской парадигмы. Также см.: Palmer (1989).

[Вернуться](#)

145

См.: Barret-Ducrocq (1989).

[Вернуться](#)

146

Антропологи Патрисия Дрэпер и Генри Харпендинг предположили, что у девочек и мальчиков подросткового возраста подход к сексу может сильно зависеть от того, есть ли в доме отец. В ходе эволюции, утверждают они, присутствие или отсутствие отца коррелировало со стратегиями, практикуемыми мужчинами в общем, и, следовательно, служило ключом к типу ухаживаний, на которые может рассчитывать женщина. Суть в том, что дети, воспитываемые без отцов, в дальнейшем склонны выбирать краткосрочные сексуальные стратегии. (Один из минусов этой теории состоит в том, что в случае девочек присутствие или отсутствие отца в доме представляется наименее надежным предиктором из всех доступных – по сравнению, скажем, с наблюдением за наиболее распространенными моделями поведения в поколении сверстников.) См.: Draper & Harpending (1982); Draper & Harpending (1988).

[Вернуться](#)

147

Buehlman, Gottman & Katz (1992). На самом деле в рамках исследования были обнаружены два одинаково надежных предиктора развода: заявления мужа, свидетельствующие о его неудовлетворенности супружеской жизнью, и его «отчужденность» во время обсуждения брака – например, неспособность подробно описать первую встречу с женой. Впрочем, подобная отчужденность есть, в некоторой степени, лишь одна из манифестаций неудовлетворенности браком (в действительности между двумя этими показателями имеется сильная корреляция). В любом случае чувства мужа оказались гораздо более надежными предикторами развода, чем чувства жены.

[Вернуться](#)

148

Charnie & Nsuly (1981). С. 336–340.

[Вернуться](#)

149

Саймонс (Symons, 1979) одним из первых поставил под вопрос тезис о парных союзах и усомнился в корректности сравнения людей и гиббонов. Также см.: Daly & Wilson (1983). Поведение гиббонов см.: Leighton (1987).

[Вернуться](#)

150

Alexander et al. (1979).

[Вернуться](#)

151

Можно предположить, что человеческий половой диморфизм частично отражает важность охоты в человеческой эволюции.

[Вернуться](#)

152

Эти цифры взяты из компьютеризированной базы данных, составленной на основании «Этнографического атласа» Дж. П. Мердока. Обратите внимание, что в 6 из 1 154 обществ – т. е. примерно в 0,5 % – одновременно принята полиандрия и полигиния (т. е. и мужчинам, и женщинам разрешается иметь несколько супругов одновременно). На деле полиандрические браки часто оказываются не полиандрией в строгом смысле этого слова, а разновидностью серийной моногамии. Обсуждение полиандрии см.: Daly & Wilson (1983). С. 286–288.

[Вернуться](#)

153

Моррис Д. Голая обезьяна. С. 7, 27, 42.

[Вернуться](#)

154

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. V. С. 255.

[Вернуться](#)

155

Gaulin & Boster (1990).

[Вернуться](#)

156

Alexander (1975), Alexander et al. (1979).

[Вернуться](#)

157

Модель «порога полигинии» у птиц была предложена в 1969 году (Orians, 1969). Также см.: Daly & Wilson (1983). С. 118–123; Wilson (1975). С. 328. Голен и Бостер (Gaulin & Boster) усматривают связь между гипотезой «порога полигинии» и терминологией Александра.

[Вернуться](#)

158

Gaulin & Boster (1990). Я использую термин «неполигиничный», поскольку авторы выделяют не полигамные и моногамные общества, а полигиничные и неполигиничные; к категории неполигиничных

обществ относится мизерная доля известных полиандрических обществ.

[Вернуться](#)

159

Если предыдущая невеста юриста не захочет им делиться, он может найти другую женщину, которая захочет. По мере того как все больше и больше мужчин с высоким рейтингом будут находить себе по две-три сговорчивых жены, женщинам будет все сложнее и сложнее настаивать на моногамии, не принося в жертву свою избирательность. Кстати, если вам интересно, почему мы не рассматриваем сценарий, в котором мужчины соглашаются делиться женами, то одна из причин очевидна: большинство мужчин находят идею делиться супругами гораздо более отвратительной, чем женщины. Истинная полиандрия принята лишь в нескольких культурах и всегда сопровождается полигинией. См.: Daly & Wilson (1983). С. 286–288.

[Вернуться](#)

160

Я исхожу из того, что женщина может согласиться выйти замуж за мужчину при юридически закреплённой договорённости, что он никогда не обзаведётся второй женой. Но поскольку мужчины вольны отказаться жениться на таких условиях, некоторые женщины не станут на нем настаивать.

[Вернуться](#)

161

Данный тезис – институализированная моногамия как имплицитный компромисс между мужчинами в относительно эгалитарных обществах – уходит своими корнями в работы различных ученых. Именно в этом направлении указывает Ричард Александер (Alexander, 1975. С. 95), особенно в трактовке Бетциг (Betsig, 1982. С.

217). Первый раз я наткнулся на этот тезис (в той форме, в которой он изложен здесь) в 1990 году, в беседе с Кевином Макдональдом, который, насколько я знаю, никогда не излагал его в письменной форме. Смежные исследования см. McDonald (1990). Связь между моногамией и демократическими ценностями см.: Tucker (1993).

[Вернуться](#)

162

Зулусы: Betsig (1982); инки: Betsig (1986).

[Вернуться](#)

163

Stone (1985). С. 32.

[Вернуться](#)

164

См.: McDonald (1990).

[Вернуться](#)

165

См.: Daly & Wilson (1988); Daly & Wilson (1990a).

[Вернуться](#)

166

Daly & Wilson (1990a). Данная закономерность справедлива только в отношении мужчин старше 35 лет. Как ни странно, выраженные различия между мужчинами младше 24 лет отсутствуют. Дали и Уилсон предлагают следующее объяснение: мужчины, которые достигают физической зрелости в более раннем возрасте, более склонны и к делинквентности, и к сексуальной активности (и, следовательно, к женитьбе). Данные собраны в Дейтrote (1972) и Канаде (1974–1983).

[Вернуться](#)

167

Подробнее о риске, преступлениях и т. д. см.: Daly & Wilson (1988), особенно с. 178–179; Thornhill & Thornhill (1983); Buss (1994); Pedersen (1991). Басс и Педерсен рассматривают такие явления как продукты высокого соотношения полов – отношения мужчин брачного возраста к женщинам брачного возраста. Однако и полигиния, включая полигинию де-факто (т. е. последовательную моногамию), порождает грубый практический эквивалент высокого соотношения полов.

[Вернуться](#)

168

В частности, данной точки зрения придерживается Таккер (Tucker, 1993), который отмечает, что последовательная моногамия поощряет жестокость и насилие среди мужчин.

[Вернуться](#)

169

Уильям «Джонни» Карсон (1925–2005) – американский журналист и телеведущий. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телепрограммы *Tonight Show* на канале NBC. – *Примеч. пер.*

[Вернуться](#)

170

Saluter (1990). С. 2. С 1960 по 1990 год доля и мужчин, и женщин, никогда не состоявших в браке, на самом деле снизилась. На первый взгляд это противоречит идее о том, что при последовательной моногамии многие социально ущемленные мужчины останутся без пары, однако это необязательно так. По мере увеличения количества разводов общее число людей, когда-либо состоявших в браке, будет

стремиться вверх, тогда как среднее количество времени, проведенное в браке, может снизиться. Возможно, для бедных мужчин это снижение особенно выражено. Статистические данные не позволяют однозначно ответить на этот вопрос. Как показывают исследования, сегодня женщины распределены между мужчинами менее справедливо, чем раньше: в 1960 году 7,5 % женщин и 7,6 % мужчин 40 лет и старше никогда не состояли в браке. В 1990 году аналогичные показатели составили 5,3 % для женщин и 6,4 % для мужчин. Что интересно, в период с 1960 по 1990 год доля одиноких мужчин и женщин от 39 до 45 лет в действительности возросла. Сейчас эти показатели составляют 8,0 и 10,5 % соответственно. То же наблюдается и в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет: доля женщин, никогда не состоявших в браке, выросла с 6,9 до 16,4 %, а доля мужчин – с 11,9 до 27,0 %. Разумеется, все эти цифры неоднозначны: многие из тех, кто никогда не состоял в браке (особенно в более молодой возрастной группе), могли бы обзавестись супругом, но предпочли не узаконивать отношения с партнером. В отсутствие статистики по всем типам моногамных взаимоотношений – включая сожительство без брака, а также взаимную верность без сожительства – четкий количественный анализ невозможен.

[Вернуться](#)

171

См.: Symons (1982).

[Вернуться](#)

172

Daly & Wilson (1983). С. 83.

[Вернуться](#)

173

Daly & Wilson (1983). С. 89–91. Учитывая, что в некоторых приемных семьях проблемы могли существовать еще до усыновления ребенка, все вышеупомянутые выкладки могут ввести в заблуждение. Тем не менее, как замечают Дали и Уилсон (с. 87), приемные семьи, в отличие от неполных семей, гораздо реже живут в нищете.

[Вернуться](#)

174

Лора Бетциг (личное общение).

[Вернуться](#)

175

См. главу 12 «Социальный статус».

[Вернуться](#)

176

Wielderman & Allgeier (1992).

[Вернуться](#)

177

Tooby & Cosmides (1923). С. 54.

[Вернуться](#)

178

Tooby & Cosmides (1923). С. 54.

[Вернуться](#)

179

CCD. Т. 2. С. 117–118; Notebooks. С. 574.

[Вернуться](#)

180

См.: Stone (1990). С. 18, 20, 325, 385, 424 и главы 7, 10, 11 в целом.

[Вернуться](#)

181

См., например: Whitehead (1993).

[Вернуться](#)

182

ED. Т. 2. С. 45.

[Вернуться](#)

183

LLCD. Т. 1. С. 132.

[Вернуться](#)

184

CCD. Т. 1. С. 40, 209.

[Вернуться](#)

185

Там же. Т. 1. С. 425, 429, 439. Даже меньшая разница в возрасте была поводом для пересудов. Перед свадьбой Эмма Дарвин писала

матери о помолвке, которая «всех удивила», поскольку невесте было 24 года, а жениху всего 21. ED. Т. 1. С. 194.

[Вернуться](#)

186

CCD. Т. 1. С. 72.

[Вернуться](#)

187

В Англии XIX века браки между двоюродными братьями и сестрами не были редкостью. Секс между близкими родственниками (родными братьями и сестрами, детьми и родителями) несет большую опасность генетической патологии у потомства. Неудивительно поэтому, что инцест запрещен во всех культурах мира. Более того, у человека, по-видимому, имеется врожденный механизм избегания секса с близкими родственниками. Он срабатывает, даже когда родства фактически нет, например, у детей, выращенных вместе в израильских кибуцах. Они избегали любовных связей друг с другом, несмотря на отсутствие формальных запретов. См.: Brown (1995). Гл. 5.

[Вернуться](#)

188

CCD. Т. 1. С. 190.

[Вернуться](#)

189

Там же. С. 196–197.

[Вернуться](#)

190

CCD. Т. 1. С. 211.

[Вернуться](#)

191

Там же. С. 220.

[Вернуться](#)

192

Там же. С. 254.

[Вернуться](#)

193

CCD. Т. 1. С. 229.

[Вернуться](#)

194

ED. Т. 1. С. 255; Desmond and Moore (1991). С. 235; Wedgwood (1980). С. 219–221. Об интересе Эразма см.: CCD. Т. 1. С. 318.

[Вернуться](#)

195

ED. Т. 1. С. 272.

[Вернуться](#)

196

CCD. Т. 2. С. 67, 79, 86.

[Вернуться](#)

197

Papers. Т. 1. С. 49–53.

[Вернуться](#)

198

CCD. Т. 2. С. 443–445.

[Вернуться](#)

199

CCD. Т. 2. С. 443–444.

[Вернуться](#)

200

См.: Notebooks. С. 157, 237.

[Вернуться](#)

201

См.: Sulloway (1979b). С. 27; Sulloway (1984). С. 46.

[Вернуться](#)

202

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

203

Notebooks. С. 375.

[Вернуться](#)

204

См.: Buss (1994).

[Вернуться](#)

205

ED. T. 2. С. 44.

[Вернуться](#)

206

CCD. T. 2. С. 439; ED. T. 2. т. 1.

[Вернуться](#)

207

ED. T. 2. С. 1, 7.

[Вернуться](#)

208

Там же. С. 6.

[Вернуться](#)

209

CCD. T. 2. С. 126.

[Вернуться](#)

210

Здесь я придерживаюсь общепринятого мнения о том, что, размышляя о плюсах и минусах женитьбы, Дарвин не имел в виду никакую конкретную женщину. В его пользу говорят такие фразы, как «а вдруг жена окажется святой и при деньгах», наводящие на мысль о том, что у Дарвина даже не было круга возможных кандидаток. Однако не исключено, что оно может быть ошибочно. Дарвин был достаточно скрытен и предпочитал раньше времени не раскрывать карты. И к тому же, если оставить в стороне тот факт, что Эмма оказалась действительно «святой и при деньгах», после обручения в ноябре Дарвин признался Лайелю, что хотел сделать предложение еще в свой прошлый визит, то есть в конце июля. С трудом верится, что список был составлен всего за несколько недель до выбора невесты и без малейших намеков на него.

[Вернуться](#)

211

CCD. T. 2. C. 119; Himmelfarh (1959). C. 134.

[Вернуться](#)

212

CCD. T. 2. C. 133.

[Вернуться](#)

213

Там же. С. 132, 150, 147.

[Вернуться](#)

214

Daly and Wilson (1988). С. 163. В частности, они говорят о растущей склонности к риску у мужчин, которым не удается спариться, но данная логика в равной степени применима и к другим проявлениям повышенного интереса к сексу, в том числе и к обычной страсти.

[Вернуться](#)

215

Косвенные доказательства добрачной сексуальной активности см. Brent (1983). С. 319–320.

[Вернуться](#)

216

Bowlhy (1991). С. 166.

[Вернуться](#)

217

Notebooks. С. 579.

[Вернуться](#)

218

Brent (1983). С. 251.

[Вернуться](#)

219

CCD. Т. 2. С. 120, 169.

[Вернуться](#)

220

См.: ED. Т. 2. С. 47.

[Вернуться](#)

221

CCD. Т. 2. С. 172. Эмма игриво обращается к Дарвину от третьего лица. Дата письма неясна, но, по словам Дарвина, она написала его «вскоре после нашей свадьбы». Биографы датируют письмо февралем; свадьба состоялась 29 января 1839 г.

[Вернуться](#)

222

Notebooks. С. 619.

[Вернуться](#)

223

Houghton (1957). С. 341; и в целом гл. 13.

[Вернуться](#)

224

Houghton (1957). С. 354–355.

[Вернуться](#)

225

Цитата из Houghton (1957). С. 380–381.

[Вернуться](#)

226

См.: Rasmussen (1981).

[Вернуться](#)

227

См., например: Betzig (1989).

[Вернуться](#)

228

Desmond and Moore (1991). С. 628.

[Вернуться](#)

229

См.: Thomson and Colella (1992) and Kahn and London (1991). Кан и Лондон утверждают, что высокий риск развода, отмечающийся для женщин, вступающих в брак невественницами, связан с особенностями их характера, а не с наличием или отсутствием добрачного секса. Томсон и Колелла отмечают положительную корреляцию между добрачным совместным проживанием и вероятностью развода. Как Кан и Лондон, они приводят доказательство, что эта связь не является причинно-следственной, но сами же признают (см. с. 266), что оно допускает двойное толкование.

[Вернуться](#)

230

Из личного общения с Лорой Бетциг. См.: также Short (1976). Многие викторианские женщины (из высших сословий) прибегали к услугам кормилиц, но не так активно, как в другие эпохи.

[Вернуться](#)

231

Symons (1979). С. 275–276. Симонс перечисляет эти и другие факторы, часто делающие мужчин «партнерами с меньшим эмоциональным вкладом».

[Вернуться](#)

232

CCD. Т. 2. С. 140–141.

[Вернуться](#)

233

Irvine (1955). С. 60.

[Вернуться](#)

234

Rose (1983). С. 149, 181, 169.

[Вернуться](#)

235

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 6.

[Вернуться](#)

236

CCD. Т. 4. С. 147.

[Вернуться](#)

237

Himmelfarb (1959). С. 133.

[Вернуться](#)

238

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 6.

[Вернуться](#)

239

См.: Ellis and Symons (1990).

[Вернуться](#)

240

Kenrick, Gutierrez and Goldberg (1989).

[Вернуться](#)

241

В ходе ряда исследований была обнаружена обратная зависимость между количеством детей и счастьем в браке. Однако, на мой взгляд, это еще ни о чем не говорит. Вероятно, браки, оказавшиеся неудачными (принесшие мало детей или вовсе оставшиеся бесплодными), быстро распадаются и в статистику не попадают, а те, что сохраняются вопреки эволюционной нецелесообразности, объединяют идеально совместимых партнеров, счастье которых не связано с наличием или отсутствием детей.

[Вернуться](#)

242

Почти половина американских браков распадается. Среди бездетных браков этот процент выше. См., например: Essock-Vitale

and McGuire (1988). С. 230; Rasmussen (1981).

[Вернуться](#)

243

Brent (1983). P. 249.

[Вернуться](#)

244

Опрос 1985 года показал, что 26 % всех мужчин, которые когда-либо вступали в брак, либо разъехались, либо развелись со своими супругами. Из тех, кто женился во второй раз, 25 % разъехались или развелись, однако это вовсе не означает, что оставшиеся 75 % сохраняют брак: в опросе участвовали мужчины всех возрастов, вполне вероятно, что некоторые молодые респонденты еще разведутся. К тому же мужчины, повторно вступающие в брак, в среднем старше тех, кто делает это впервые, соответственно, браки, которые распадутся из-за смерти супруга, в статистике не учитываются. Эти цифры являются результатом моих расчетов, выполненных на основе необработанных данных Бюро переписей США.

[Вернуться](#)

245

Rose (1983). С. 108. Рэндольф Несс (1991а) согласился бы с Миллем. Он отмечал, что гармоничные отношения в браке часто ошибочно считаются нормой, поэтому многие испытывают недовольство «отношениями, которые лучше среднего» (с. 28).

[Вернуться](#)

246

Милль Д. С. Утилитаризм. Пер. А. С. Земерова.

[Вернуться](#)

247

Los Angeles Times, от 5 января 1991 г.

[Вернуться](#)

248

Saluter (1990). С. 2.

[Вернуться](#)

249

Расчеты произведены на основании отчета Бюро переписей США за июнь 1985 года: «Время, проведенное в браке на дату опроса, количество браков, чем закончились предыдущие браки, раса, испанское происхождение, пол для лиц в возрасте от 15 лет и старше на дату опроса: США».

[Вернуться](#)

250

Некоторые из этих мужчин придерживаются серийной моногамии. То, что они никогда не связывали себя законными узами брака, не делает их менее опасными конкурентами для менее удачливых мужчин, не имеющих партнерш.

[Вернуться](#)

251

Washington Post, от 1 января 1991 г.; Washington Post, от 20 октября 1991 г.

[Вернуться](#)

252

Rose (1981). С. 107–109.

[Вернуться](#)

253

Stone (1991). С. 384.

[Вернуться](#)

254

New York Times Book Review, от 4 ноября 1991 г. С. 12.

[Вернуться](#)

255

Цифры взяты из опроса Ропера, кратко изложенного у Crispell (1992).

[Вернуться](#)

256

О последствиях разводов по согласию сторон для женщин см., например, Levinsohn (1990).

[Вернуться](#)

257

О биологическом детерминизме см. Fausto Sterling (1983); о различии между полами см. Gilligan (1982).

[Вернуться](#)

258

Shostak (1981). С. 238.

[Вернуться](#)

259

Фразу «мужская порука» придумал Лайонел Тайгер. См.: Lionel Tiger (1969).

[Вернуться](#)

260

New York Times от 12 февраля 1992 г.

[Вернуться](#)

261

См., например, Lehrman (1994).

[Вернуться](#)

262

Cashdan (1993).

[Вернуться](#)

263

См.: Kendrick, Gutierrez and Goldberg (1989).

[Вернуться](#)

264

Например, снижение рождаемости привело два десятилетия спустя к тому, что число 21-летних существенно превышало число 18-летних, число 22-летних – число 19-летних и так далее. Поскольку мужчины, как правило, вступают в брак с более молодыми женщинами, это привело к избытку мужчин на брачном рынке. В такой ситуации мужчины начинают больше ценить моногамные отношения, а женщины, ощущая повышенный спрос, – реже вступать в сексуальные отношения без доказательств любви со стороны партнера. Это служит убедительным объяснением того, что уровень разводов существенно снизился в середине 1980-х годов. См.: Pedersen (1991) and Buss (1994). Гл. 9.

[Вернуться](#)

265

Stone (1977). С. 427.

[Вернуться](#)

266

Colp (1981).

[Вернуться](#)

267

Colp (1981). С. 207.

[Вернуться](#)

268

CCD. Т. 1. С. 524.

[Вернуться](#)

269

Marcus (1974). С. 18.

[Вернуться](#)

270

См., например, Alexander (1987). Александер во многом сформировал эволюционный дискурс о морали.

[Вернуться](#)

271

Kitcher (1985). С. 5, 9.

[Вернуться](#)

272

Дарвин Ч. Происхождение видов. Гл. VIII; CCD, vol. 4. С. 422.

[Вернуться](#)

273

См.: Trivers (1985). С. 172–175; Wilson (1975). Гл. 5, 20.

[Вернуться](#)

274

Дарвин Ч. Происхождение видов. Гл. VIII; о промедлении Дарвина и возможной роли в нем загадки стерильности насекомых см.: Richards (1987). С. 140–156.

[Вернуться](#)

275

Дарвин Ч. Происхождение видов. Гл. VIII.

[Вернуться](#)

276

Hamilton (1963). С. 354–355. Более полную и чаще цитируемую версию теории, а также ее применение к сообществам насекомых см. Hamilton (1964).

[Вернуться](#)

277

На самом деле у сиблингов бурундука – да и вообще у всех представителей его вида – доля общих генов составляет гораздо больше 50 %. То же относится и к человеку. Однако *новые* гены – гены, которые только недавно появились в популяции, – в среднем встречаются у половины полных сиблингов. Именно новые гены играют важнейшую роль в эволюции ранее не существовавших признаков.

[Вернуться](#)

278

Haldane (1963). С. 44. Также см. Trivers (1985). Гл. 3. Как отмечает Гамильтон в своей статье 1964 года, прообраз теории родственного отбора можно найти и у Фишера (Fisher, 1930).

[Вернуться](#)

279

Trivers (1985). С. 110.

[Вернуться](#)

280

Другие возможные механизмы включают врожденную способность распознавать химические сигналы, сравнимые с таковыми у общественных насекомых, а также «фенотипическое сопоставление», при котором индивид считает родственником любой организм, который похож (по виду или запаху) на него, или другой организм, отнесенный к числу родственников ранее. См.: Wilson (1987); Wells (1987); Alexander (1979); Р. Докинз. Расширенный фенотип. Гл. 8.

[Вернуться](#)

281

Hamilton (1963). С. 354–355.

[Вернуться](#)

282

CCD, vol. 4. С. 424. Это примечание написано рукой Эммы. Предположительно она записывала слова Дарвина под диктовку, когда он чувствовал себя особенно плохо.

[Вернуться](#)

283

На самом деле Дарвин понимал, что в определенных контекстах так называемый родственный отбор применим и к людям. См.: Происхождение человека. Гл. V. С. 242: «Даже в том случае, если эти люди не оставят потомков, в племени будут все-таки находиться их кровные родственники».

[Вернуться](#)

284

Trivers (1974). С. 250.

[Вернуться](#)

285

Trivers (1985). С. 145–146.

[Вернуться](#)

286

CCD, vol. 4. С. 422, 425.

[Вернуться](#)

287

Там же. С. 426, 428

[Вернуться](#)

288

Robert M. Yerkes. Цит. по: Trivers (1985). С. 158.

[Вернуться](#)

289

LLCD, vol. 1. С. 137; CCD, vol. 4. С. 430.

[Вернуться](#)

290

Trivers (1974). С. 260.

[Вернуться](#)

291

CCD, vol. 2. С. 439.

[Вернуться](#)

292

Trivers (1985). С. 163. Кроме того, Триверс полагает, что психологические механизмы, посредством которых ребенок может отслеживать собственные интересы и интересы своих родителей, а также согласовывать первые со вторыми, имеют определенное сходство с ид, супер-эго и эго соответственно.

[Вернуться](#)

293

Trivers (1974). С. 260.

[Вернуться](#)

294

Манифест коммунистической партии. С. 445.

[Вернуться](#)

295

Братья Смозерс – Том (Том, р. 1937) и Ричард (Дик, р. 1939) – американские музыканты и комики. (*Прим. перев.*)

[Вернуться](#)

296

В некоторых ситуациях родителям выгодно инвестировать в относительно неперспективного ребенка – например, если одному ребенку гарантирован репродуктивный успех, и у этого успеха есть определенный потолок, тогда как другой ребенок хуже экипирован для достижения успеха, но может улучшить свои перспективы

благодаря умеренным инвестициям. Данная логика может подтолкнуть родителей к более активному инвестированию в сыновей. В конце концов, качества, которые делают мужчин желанными половыми партнерами (амбициозность, умение аккумулировать ресурсы), привить легче, чем некоторые из достоинств, которые больше всего ценятся в женщинах (молодость, красота). Таково одно из возможных объяснений распространенной тенденции учителей уделять особое внимание ученикам мужского пола – хотя, разумеется, это вовсе не значит, что упомянутая склонность не поддается сознательной коррекции.

[Вернуться](#)

297

См.: Trivers & Willard (1973).

[Вернуться](#)

298

Trivers & Willard (1973).

[Вернуться](#)

299

Возможно, самый яркий пример изменений в соотношении полов можно обнаружить у благородного оленя. Ключевой переменной является не физическая приспособленность матери как таковая, а ее место в оленьей иерархии, которая коррелирует с репродуктивным успехом потомков мужского пола. У матерей высокого статуса рождаются преимущественно сыновья, а у матерей низкого статуса – дочери. См.: Trivers (1985). С. 293. Наблюдения за поведением древесных крыс см. Daly & Wilson (1983). С. 228.

[Вернуться](#)

300

Desmond & Moore (1991). С. 449. На самом деле Гексли имел в виду не естественный отбор, а неблагородное поведение, подмеченное им у некоторых типов животных.

[Вернуться](#)

301

Dickemann (1979).

[Вернуться](#)

302

Hrdy & Judge (1993). О склонности состоятельных семей считать приоритетными наследниками сыновей см., например, Smith, Kish & Crawford (1987); Hartung (1982). Хартунг обнаружил, что чем более полигинным является общество, тем больше шаблоны наследования согласуются с логикой Триверса – Уилларда.

[Вернуться](#)

303

Betzig & Turke (1986).

[Вернуться](#)

304

Утверждение, что в богатых семьях мальчики оставляют больше потомства, чем девочки, подтверждено Буном (Boon, 1988) в исследовании португальской аристократии XV и XVI веков. (Тем не менее нет никаких оснований ожидать, что данная закономерность сохранится в среде, отличающейся от анцестральной, особенно сегодня, когда люди активно пользуются средствами контрацепции.)

[Вернуться](#)

305

Gaulin & Robbins (1991). Указанные цифры почерпнуты из графиков и могут незначительно отличаться от исходных данных.

[Вернуться](#)

306

С другой стороны, анализируя данные, подтверждающие гипотезу Триверса – Уилларда, нельзя исключать сознательный расчет. Состоятельные родители могут заметить, например, что, в отличие от дочерей, сыновья более склонны использовать деньги для расширения диапазона потенциальных половых партнеров. Обзор этих и других слабых звеньев в доказательной базе см. Hrdy (1987). На сегодняшний день проведено несколько исследований, в рамках которых эффект Триверса – Уилларда в человеческих популяциях так и не был обнаружен, однако мне не известно ни об одном исследовании, которое бы свидетельствовало о противоположном эффекте и могло тем самым опровергнуть многочисленные исследования, которые говорят в пользу эффекта Триверса – Уилларда. Дополнительные исследования, подтверждающие эффект Триверса – Уилларда, см.: М. Ридли. Секс и эволюция человеческой природы.

[Вернуться](#)

307

Hamilton (1964). С. 21.

[Вернуться](#)

308

Freeman (1978). С. 118.

[Вернуться](#)

309

См.: Daly & Wilson (1988). С. 73–77.

[Вернуться](#)

310

Crawford, Salter & Lang (1989). Первая корреляция составила 0,64, вторая – 0,92 (из 1,0).

[Вернуться](#)

311

Bowlby (1991). С. 247; ED, vol. 2. С. 78. Однако чуть ниже Эмма добавляет: «...хотя пройдет много времени, прежде чем мы забудем это бедное маленькое личико».

[Вернуться](#)

312

New York Times, 07/10/1993. Доказательства, что матери больше благоволят здоровым младенцам, чем их близнецам с низкой массой тела, см. Mann (1992).

[Вернуться](#)

313

CCD, vol. 7. С. 521.

[Вернуться](#)

314

Bowlby (1991). С. 330.

[Вернуться](#)

315

CCD, vol. 4. С. 209, 227. Боулби (Bowlby. 1991. С. 272, 283, 287) настаивает, что болезнь и смерть отца глубоко взволновали Чарлза и повлекли за собой длительный период плохого самочувствия. В первые дни Дарвин, несомненно, был безутешен; хотя он не явился на похороны, виной этому, по всей видимости, было его психическое и физическое состояние. Боулби также отмечает, что одному из бесстрастных упоминаний о смерти отца предшествуют извинения за задержку с ответом:

[Вернуться](#)

316

LLCD, vol. 1. С. 133–134.

[Вернуться](#)

317

CCD, vol. 4. С. 143. Также см.: Freeman (1983). С. 70; Desmond & Moore (1991). С. 375.

[Вернуться](#)

318

CCD, vol. 4. С. 225.

[Вернуться](#)

319

CCD, vol. 5. С. 32 (примечание); «Автобиография», гл. «Жизнь в Лондоне».

[Вернуться](#)

320

LLCD, vol. 3. С. 228. Позже Дарвин писал, что его слезы по Энни «утратили ту невыразимую горечь первых дней» (Desmond & Moore. 1991. С. 513), однако это было сказано в утешение близкому другу, который тоже потерял дочь.

[Вернуться](#)

321

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 215.

[Вернуться](#)

322

ССD. Т. 1. С. 306–307; Путешествие. Гл. X.

[Вернуться](#)

323

ССDD. Т. 1. С. 303–304; доказательства недостоверности историй о каннибализме см. с. 306 (прим. 5).

[Вернуться](#)

324

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. XXI. С. 656.

[Вернуться](#)

325

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста. Гл. X.

[Вернуться](#)

326

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста. Гл. X.

[Вернуться](#)

327

ССД. Т. 1. С. 380.

[Вернуться](#)

328

Дарвин. Ч. Путешествие натуралиста. Гл. X. Происхождение человека. Гл. VII. С. 286; также см. Alland (1985). С. 17.

[Вернуться](#)

329

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 231.

[Вернуться](#)

330

Malinowski (1929). С. 501.

[Вернуться](#)

331

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 235.

[Вернуться](#)

332

В первой части «Происхождения человека» Дарвин пишет об «изменчивости или разнообразии умственных способностей у людей одной расы, не говоря уже о еще больших отличиях, существующих между людьми различных рас». Во второй части он ссылается на «низшие расы».

[Вернуться](#)

333

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. V. С. 243; гл. IV. С. 235.

[Вернуться](#)

334

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 234–235.

[Вернуться](#)

335

Там же. Гл. IV. С. 226, 232.

[Вернуться](#)

336

Там же. Гл. IV. С. 231.

[Вернуться](#)

337

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста. Гл. XIII.

[Вернуться](#)

338

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 218.

[Вернуться](#)

339

Дарвин Ч. Выражение эмоций. С. 822.

[Вернуться](#)

340

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 221.

[Вернуться](#)

341

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. V. С. 244. О групповом селекционизме Дарвина и его размышлениях о моральных чувствах см. Stonin (1991).

[Вернуться](#)

342

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. V. С. 243.

[Вернуться](#)

343

См.: D. S. Wilson (1989), Wilson & Sober (1989).

[Вернуться](#)

344

Williams (1966). С. 262. Согласно Уилсону, позиция Уильямса чересчур догматична. См.: Wilson (1975). С. 30.

[Вернуться](#)

345

Дарвин Ч. Выражение эмоций. Гл. VIII. С. 824.

[Вернуться](#)

346

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. V. С. 243.

[Вернуться](#)

347

Williams (1966). С. 94.

[Вернуться](#)

348

См., например, «Происхождение человека».

[Вернуться](#)

349

Строго говоря, теория игр была разработана Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном в их монографии «Теория игр и экономическое поведение» (1953), хотя фон Нейман впервые применил теорию игр еще в 1920-х годах.

[Вернуться](#)

350

Аналогичную мысль высказывает Мейнард Смит в книге «Evolution and the Theory of Games» (Maynard Smith. 1982. С. vii). Он пишет: «В поисках решения понятие человеческой рациональности замещается понятием эволюционной стабильности. Главное преимущество его состоит в том, что у нас имеются веские теоретические основания ожидать, что популяции неизменно стремятся к стабильному состоянию. Что же касается рациональности, то у нас имеются равно веские основания подозревать, что люди поступают рационально не всегда».

[Вернуться](#)

351

Полный и на редкость вразумительный разбор логики дилеммы заключенного см.: Rapoport (1960). С. 173.

[Вернуться](#)

352

См.: Rothstein & Pierotti (1988), хотя, на мой взгляд, их критика модели далека от сокрушительной.

[Вернуться](#)

353

Некоторые ученые проводят тонкую техническую грань между «сотрудничеством» и «реципрокным альтруизмом», однако для наших целей это различие не имеет значения. Далее я буду употреблять эти термины взаимозаменяемо.

[Вернуться](#)

354

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста. Гл. X.

[Вернуться](#)

355

Cosmides & Tooby (1989). С. 70. Также см.: Barkow (1992).

[Вернуться](#)

356

См.: Cosmides & Tooby (1989).

[Вернуться](#)

357

Bowlby (1991). С. 321.

[Вернуться](#)

358

«Око за око» так и не распространилась на всю популяцию. Концом света в этой вселенной стала 1000 поколений – мгновение по эволюционным меркам. Однако ко второму поколению «Око за око» стала самой многочисленной стратегией и даже после 1000 поколений продолжала распространяться быстрее, чем любая другая.

[Вернуться](#)

359

Williams (1966). С. 94.

[Вернуться](#)

360

Много лет спустя оказалось, что в этом вопросе Аксельрод ошибался, на самом деле популяцию «Око за око» можно вытеснить. Впрочем, мораль истории – что сотрудничество порождает сотрудничество – остается в силе: стратегия, которая способна победить «Око за око», еще доброжелательнее, чем сама «Око за око». Она копирует «Око за око» во всем, кроме одного – умения «прощать». Время от времени эта стратегия отвечает на зло добром и при следующей встрече с нечестным игроком выбирает сотрудничество. Данная стратегия наиболее успешна в среде, которая, подобно реальной жизни, отличается высоким уровнем «шума»: игрок периодически неверно толкует или плохо помнит поступки другого. См.: Lomborg (1993); New York Times, 15.04.1992.

[Вернуться](#)

361

Axelrod (1984). С. 99.

[Вернуться](#)

362

В действительности этот ген реципрокного альтруизма может получить и второй импульс: во многих случаях он будет помогать копиям самого себя и, следовательно, распространяться по причинам, не имеющим ничего общего с родственным отбором. См.: Rothstein & Pierotti (1988).

[Вернуться](#)

363

См.: Singer (1984). С. 146. Примеры теории социального обмена см. Gergen, Greenberg & Willis (1980).

[Вернуться](#)

364

Статья Триверса 1971 года изобиловала примерами животных, подтверждающих его теорию, однако способность к реципрокности у некоторых из них – у птиц, у определенных видов рыб – не получила убедительного подтверждения. Впрочем, применимость теории Триверса к млекопитающим – в частности, к приматам и человеку – пока не вызывает нареканий. В 1966 году Уильямс подчеркивал, что наиболее охотно реципрокный альтруизм должен развиваться именно среди млекопитающих – животных, явно способных распознавать других особей и запоминать их предыдущее поведение.

[Вернуться](#)

365

Реципрокный альтруизм у дельфинов изучен более тщательно, чем у морских свинок. См.: Taylor & McGuire (1988).

[Вернуться](#)

366

Wilkinson (1990). Также см.: Trivers (1985). С. 363–366.

[Вернуться](#)

367

См.: de Waal (1982), de Waal & Luttrell (1988); Goodall (1986).

[Вернуться](#)

368

Эмоциональную структуру реципрокного альтруизма см.: Nesse (1990a).

[Вернуться](#)

369

См.: Cosmides & Tooby (1992); Cosmides & Tooby (1989). Краткий обзор экспериментов по выявлению обманщиков см.: Cronin (1991). С. 335–340; Ridley (1994). Гл. 10.

[Вернуться](#)

370

Trivers (1971). С. 49.

[Вернуться](#)

371

Wilson & Daly (1990). Многие из этих убийств, безусловно, мотивированы, прямо или косвенно, сексуальным соперничеством. Однако здесь действует тот же принцип: жестокость таких драк по крайней мере отчасти объясняется тем фактом, что в анцестральной среде слухи о свирепости и силе бойца распространялись быстро.

[Вернуться](#)

372

См.: Trivers (1971). С. 50.

[Вернуться](#)

373

Существуют и другие дарвинистские объяснения альтруизма по отношению к незнакомцам (см., например: Frank, 1990). Так, мы даем чаевые официантам, которых никогда раньше не видели и больше никогда не увидим, и т. д. Тем не менее, на мой взгляд, большинство этих объяснений излишне сложны. Некоторые из них предполагают, что подобная щедрость позволяет альтруисту убедиться в собственном великодушии, после чего ему становится гораздо легче убедить в нем окружающих.

[Вернуться](#)

374

Другие сценарии группового отбора, см. работы Дэвида Уилсона (David S. Wilson), биолога, который убежден: отвращение к групповому селекционизму в последнее время стало носить стихийный характер. Это, в свою очередь, содействует излишне циничным взглядам на человеческую мотивацию. Если Уилсон прав, тогда рано или поздно маятник качнется в другую сторону, обратно к групповому селекционизму. И все же индивидуальный селекционизм занимает прочное место в интеллектуальной истории. Именно отказ от мудреных теорий группового отбора положил начало и последние три десятилетия активно подпитывал наш прогресс в понимании человеческой природы.

[Вернуться](#)

375

Daly & Wilson (1988). С. 254. Также см.: Wilson & Daly (1992).

[Вернуться](#)

376

Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. V. С. 244.

[Вернуться](#)

377

Bowlby (1991). С. 74–76.

[Вернуться](#)

378

Там же. С. 60.

[Вернуться](#)

379

CCD, vol. 1. С. 39, 507; CCD, vol. 3. С. 289.

[Вернуться](#)

380

LLCD, vol. 1. С. 119, 124.

[Вернуться](#)

381

LLCD, vol. 3. С. 220; Desmond & Moore (1991). С. 329. Дарвинизм в движении за права животных см.: James Rachels (1990).

[Вернуться](#)

382

Общие рассуждения на тему адаптивной душевной боли см.: Nesse (1991b).

[Вернуться](#)

383

См.: MacDonald (1988b), особенно с. 158. Также см.: Schweder, Mahapatra, Miller (1987). С. 10–14.

[Вернуться](#)

384

Loehlin (1992). Специалисты по психологии личности определяют «совестливость» не так широко, как я; тем не менее обе дефиниции будут охватывать, например, свойственную Дарвину навязчивую озабоченность социальными обязательствами и мельчайшими деталями своих теорий. По всей вероятности, однажды биологи-эволюционисты докажут, что эта аморфная штука, которую мы называем «совестью», на самом деле состоит из разных адаптаций (или субадаптаций), рассчитанных на разные функции. В настоящей главе я использую данный термин достаточно широко и, можно сказать, вольно.

[Вернуться](#)

385

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. I.

[Вернуться](#)

386

Там же.

[Вернуться](#)

387

Brent (1983). С. 11. (Необходимо отметить, что сам Brent не согласен с данным мнением.)

[Вернуться](#)

388

Дарвин Ч. Автобиография. Ч. I.

[Вернуться](#)

389

Там же.

[Вернуться](#)

390

LLCD, vol. 1. С. 11.

[Вернуться](#)

391

Trivers (1971). С. 53.

[Вернуться](#)

392

См.: Cosmides & Tooby (1992).

[Вернуться](#)

393

Piaget (1932). С. 139.

[Вернуться](#)

394

New York Times, 17.05.1988. Также см.: Vasek (1986). В высшей степени глубокий анализ детской лжи, в том числе склонности детей лгать с целью получения статуса и внимания, см.: Krout (1931). Автор комментирует детские выдумки Дарвина и развеивает миф о том, что некоторые дети – «прирожденные вруны».

[Вернуться](#)

395

Дарвин Ч. Автобиография. Гл. «Детство»; CCD, vol. 2. С. 439.

[Вернуться](#)

396

New York Times, 17.05.1988.

[Вернуться](#)

397

Vasek (1986). С. 288.

[Вернуться](#)

398

CCD, vol. 2. С. 439.

[Вернуться](#)

399

Смайлс С. Саморазвитие. С. 309.

[Вернуться](#)

400

ED, vol. 2. С. 145.

[Вернуться](#)

401

Смайлс С. Саморазвитие. С. 328.

[Вернуться](#)

402

См., например, *Washington Post*, 05.01.1986. Контраст между «личностью» и «характером» связан с различиями между двумя типами ориентации, выделенными Рисманом (Riesman, 1950): «направленностью вовнутрь» и «направленностью вовне».

[Вернуться](#)

403

Смайлс С. Саморазвитие. С. 325–327.

[Вернуться](#)

404

Смайлс С. Саморазвитие. С. 327–328.

[Вернуться](#)

405

Brent (1983). С. 253.

[Вернуться](#)

406

См.: Cosmides & Tooby (1989).

[Вернуться](#)

407

Смайлс С. Саморазвитие. С. 332.

[Вернуться](#)

408

Кроме того, имеются данные, что людям, которые живут в больших городах всю жизнь (или хотя бы в подростковом возрасте), свойственен «макиавеллистский» подход к социальным взаимодействиям. См.: Singer (1993). С. 141.

[Вернуться](#)

409

Daly & Wilson (1988). С. 168.

[Вернуться](#)

410

Смайлс С. Саморазвитие. С. 338, 334.

[Вернуться](#)

411

Другой пример дарвинистского объяснения, как ранняя среда может влиять на характер, см.: Draper & Belsky (1990).

[Вернуться](#)

412

См.: Wilson (1975). С. 565.

[Вернуться](#)

413

Таково одно из многих обоснованных заявлений, за которые Ф. Уилсон подвергся жесточайшей критике в ходе «социобиологических дискуссий» 1970-х годов. См.: Wilson (1975). С. 553.

[Вернуться](#)

414

Houghton (1957). С. 404. Лицемерие как свидетельство устойчивости морального кодекса см.: Himmelfarb (1968). С. 277–278.

[Вернуться](#)

415

James Lincoln Collier, *The Rise of Selfishness in America*; цит. по: *New York Times*, 15/10/1991.

[Вернуться](#)

416

Desmond & Moore (1991). С. 333, 398.

[Вернуться](#)

417

ED, vol. 2. С. 168.

[Вернуться](#)

418

CCD. Т. 2. С. 298.

[Вернуться](#)

419

Краткое изложение симптомов и методов лечения см.: Bowlby (1991).

[Вернуться](#)

420

CCD. Т. 3. С. 397.

[Вернуться](#)

421

CCD. Т. 3. С. 43–46, 345. О рабочей неделе Дарвина см.: Bowlby (1991). С. 409–411.

[Вернуться](#)

422

Bowler (1990).

[Вернуться](#)

423

Gruber (1981). С. 68.

[Вернуться](#)

424

Himmelfarb (1959). С. 210.

[Вернуться](#)

425

Там же. С. 212.

[Вернуться](#)

426

Вопрос, действительно ли динамика естественного отбора делает развитие более сложной и разумной жизни высоко вероятным или даже неизбежным, обсуждается до сих пор. (См., например: Williams [1966], Bonner [1988], Wright [1990].) В любом случае естественный отбор не подразумевает никаких мистических сил, которые делают эту тенденцию неизбежной в буквальном смысле.

[Вернуться](#)

427

Notebooks. С. 276. Объясняя промедление Дарвина, Грубер (Gruber, 1981) особенно подчеркивает записи, подобные этой.

[Вернуться](#)

428

CCD. Т. 3. С. 2.

[Вернуться](#)

429

CCD. Т. 2. С. 47, 430–435.

[Вернуться](#)

430

CCD. Т. 2. С. 150.

[Вернуться](#)

431

Clark (1984). С. 65–66. Другие эмоциональные потрясения, способствовавшие плохому здоровью Дарвина, включают раннюю смерть его матери, которую Боулби (Bowlby, 1991) рассматривает как сопутствующий фактор в «синдроме гипервентиляции» – главной болезни великого натуралиста.

[Вернуться](#)

432

CCD. Т. 3. С. 346.

[Вернуться](#)

433

См.: LLCD. Т. 1. С. 347, или CCD. Т. 4. С. 388–409.

[Вернуться](#)

434

См.: Richards (1987). С. 149.

[Вернуться](#)

435

См.: Gruber (1981). С. 105–106.

[Вернуться](#)

436

Что касается половой рекомбинации, то до открытия генетики секс представлялся значимым препятствием для теории Дарвина. Половое размножение принято рассматривать как «смесь» материнских и отцовских признаков. Но простая «смесь» признаков не приведет к расширению их доступного диапазона. Смешайте две бочки воды – одну горячую, а другую холодную, – и вы получите нечто среднее. Разумеется, достаточно только взглянуть на двух высоких родителей, чей ребенок еще выше, чтобы заподозрить, что эта аналогия некорректна. К тому же нам известно, что жизненный опыт родителей не влияет на наследуемый материал и что воздействие средовых факторов на рост ребенка обычно невелико.

[Вернуться](#)

437

LLCD. Т. 2. С. 54.

[Вернуться](#)

438

Notebooks. С. 541–542.

[Вернуться](#)

439

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле

[Вернуться](#)

440

См.: Freeman (1983), Brown (1991), особенно гл. 3, и Degler (1991).

[Вернуться](#)

441

См.: Hill and Kaplan (1988), особенно с. 282–283.

[Вернуться](#)

442

Hewlett (1988). Разница между представителями племени комбети (7,89 детей) и другими людьми (6, 34) не является статистически значимой, поскольку в исследовании было изучено всего 9 представителей племени комбети; однако если бы выборка была больше, то и разница, скорее всего, оказалась бы более существенной. Среди других культур, в которых была обнаружена связь между статусом и репродуктивным успехом, можно назвать эфе в Заире и мукогода в Кении. См.: Betzig (1993b), Betzig (1986). Наполеон Шаньон (1979) первым указал на неравные репродуктивные возможности в эгалитарных обществах.

[Вернуться](#)

443

Murdock (1945). С. 89.

[Вернуться](#)

444

Ardrey (1970). С. 121. Дарвин мало писал об эволюционных предпосылках социальной иерархии у людей, однако, когда все-таки обращался к этому вопросу (например, при обсуждении наследственной природы «послушания лидеру»), склонялся к концепции «общего блага». См.: «Происхождение видов». Т. 1.

[Вернуться](#)

445

Ardrey (1970). С. 107. См. также: Wilson (1975). С. 281.

[Вернуться](#)

446

Williams (1966). С. 218. Подробное описание процесса возникновения иерархических обществ см.: Stone (1989).

[Вернуться](#)

447

См.: Maynard Smith (1982), гл. 2, или изложение логики Мейнарда Смита у Ричарда Докинза: Dawkins (1976). Гл. 3.

[Вернуться](#)

448

Покорные воробьи, окрашенные в темный цвет, характерный для доминирующих особей, подвергались безжалостному преследованию. Однако если птицы были окрашены как доминанты и имели повышенный уровень тестостерона, они становились успешными доминантами. Учитывая, что незначительное повышение уровня меланина и тестостерона может превратить покорную птицу в доминанту, стоило бы предположить, утверждает Мейнард Смит, что все птицы выберут доминирующую стратегию, если она предоставляет существенные репродуктивные преимущества. Тем не менее это не так. См.: Maynard Smith (1982). С. 82–84.

[Вернуться](#)

449

Цитаты см.: у Betzig (1993a). Данные о зависимости репродуктивного успеха от статуса у других видов см.: у Chitton-Brock (1988).

[Вернуться](#)

450

См.: Lippitt и др. (1958). Данные о последних исследованиях см., например, у Jones (1984).

[Вернуться](#)

451

См.: Strayer and Trudel (1984) и Russon and Watta (1991).

[Вернуться](#)

452

Atzwanger (1993).

[Вернуться](#)

453

Mitchell and Maple (1985). Экспериментальное сравнение механизмов формирования иерархии у человека и других видов см.: Barchas and Fisek (1984).

[Вернуться](#)

454

Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. *Пер. В. Кузина.*

[Вернуться](#)

455

Weisfeld and Beresford (1982).

[Вернуться](#)

456

Цитата из Weisfeld and Beresford (1982). С. 117.

[Вернуться](#)

457

Об эмоциях, стимулирующих борьбу за статус, см.: Weisfeld (1980). В общем об иерархии у людей и других приматов см.: Ellyson and Davidio (1985). Неявным, но универсальным проявлением иерархической структуры является направление внимания при разговоре и других социальных взаимодействиях (кто на кого смотрит и при каких обстоятельствах). См.: Chance (1967).

[Вернуться](#)

458

О верветках см.: McGuire, Raleigh, Brammer (1984). О том, какую важную, хотя и неявную роль играют самки при выборе доминантного самца у верветок, см.: Raleigh and McGuire (1989). Сведения о лидерах студенческих общин были получены в частном разговоре с Макгваером, также см.: New York Times от 27 сентября 1993 г.

[Вернуться](#)

459

Макгваер не измерял уровень серотонина у лидеров студенческих общин до того, как они заняли свой пост, поэтому он полностью не исключает возможность того, что уровень серотонина был у них высок еще до избрания. Однако косвенные доказательства, включая аналогию с человекообразными обезьянами (чей уровень серотонина измерялся до и после повышения статуса), указывают на то, что у человека уровень серотонина повышается схожим образом.

[Вернуться](#)

460

Raleigh и др. (неопубликованная рукопись).

[Вернуться](#)

461

В общем о серотонине см.: Kramer (1993) и Masters and McGuire (1994).

[Вернуться](#)

462

Об обмане см.: Aronson and Mettee (1968). Об импульсивных правонарушениях см.: Linnoila и др. в гл. 6 книги Masters and McGuire (1994).

[Вернуться](#)

463

Как и в случае с реципрокным альтруизмом, тут не стоит преувеличивать отрицательное влияние группового отбора. Если среди трех обезьян, отправляющихся на охоту, будет одна, которая имеет новые гены, заставляющие ее принимать подчиненную роль, то как команда они будут действовать эффективнее, и их коллективный успех так много даст подчиненной особи, что это перевесит издержки низкого статуса (тот факт, что ей достанется наименьшая доля добычи): четверть от пятидесяти фунтов мяса больше, чем треть от двадцати пяти. Существование подобного механизма (называемого некоторыми биологами «групповой отбор»), безусловно, возможно. Однако даже в описанной выше ситуации наиболее ценными генами будут те, которые не предписывают однозначно ни подчинения, ни доминирования, но допускают оба варианта в зависимости от обстоятельств.

[Вернуться](#)

464

De Waal (1982).

[Вернуться](#)

465

Примеры борьбы за статус у самок и самцов шимпанзе см.: de Waal (1984) и Goodall (1986).

[Вернуться](#)

466

Дебора Таннен. Ты меня не понимаешь! Почему женщины и мужчины не понимают друг друга. *Пер. Т. Печурко.*

[Вернуться](#)

467

Daly and Wilson (1983). С. 79.

[Вернуться](#)

468

Читатель может почувствовать парадокс. Ранее мы говорили, что статус во многом определяется окружающей средой. Теперь мы подчеркиваем роль генов в различии статусов у самцов. Однако никто ведь не утверждал, что все различия в признаках, влияющих на статус, обусловлены средовыми различиями. Действительно, чтобы естественный отбор поддержал какой-то генетически обусловленный признак, у него в популяции должны быть варианты. Иначе в чем смысл? Тем не менее в процессе отбора количество вариантов

уменьшается. Например, отбраковываются те гены, которые не способствуют успешной конкуренции за статус. Общий принцип таков: в результате мутаций и сексуальных рекомбинаций появляются новые варианты, в результате естественного отбора их число сокращается.

[Вернуться](#)

469

CCD. Т. 2. С. 29.

[Вернуться](#)

470

Дарвин Ч. Происхождение человека. Т. 2.

[Вернуться](#)

471

Там же.

[Вернуться](#)

472

Perusse (1993).

[Вернуться](#)

473

Цитируется по Symons (1979). С. 162.

[Вернуться](#)

474

Low (1989).

[Вернуться](#)

475

О шимпанзе см.: De Waal (1982). О бонобо см.: De Waal (1989). С. 212; Капо (1990). С. 68. Являются ли человеческие женщины более или менее «амбициозными», чем самки шимпанзе, – вопрос интересный. В определенном смысле они более склонны к конкуренции. Это связано с увеличением мужских отцовских инвестиций (однако женская конкуренция, по-видимому, менее явно обусловлена естественным отбором, чем конкуренция мужчин за самок). Самки шимпанзе, лишённые постоянного партнера, сами отвечают за защиту и социальное продвижение своего потомства, что повышает их физическую агрессивность и стремление к высокому социальному статусу.

[Вернуться](#)

476

Stone (1989).

[Вернуться](#)

477

Джейн Гудолл. Шимпанзе в природе: поведение. Пер. Е. З. Годиной и В. В. Свечникова.

[Вернуться](#)

478

De Waal (1989).

[Вернуться](#)

479

De Waal (1982).

[Вернуться](#)

480

De Waal (1982).

[Вернуться](#)

481

De Waal (1982). Подробнее о ритуалах примирения у приматов см.:
De Waal (1989).

[Вернуться](#)

482

De Waal (1982).

[Вернуться](#)

483

Goodall (1986).

[Вернуться](#)

484

De Waal (1982).

[Вернуться](#)

485

О корреляции между «структурой внимания» и иерархией см.: Abramovitch (1980) и Chance (1967).

[Вернуться](#)

486

См.: Weisfeld (1980). С. 277. О том, почему это работает для повышения статуса, см.: Stone (1989). С. 22–23.

[Вернуться](#)

487

De Waal (1982).

[Вернуться](#)

488

Freedman (1980). С. 336.

[Вернуться](#)

489

Benedict (1934). С. 15.

[Вернуться](#)

490

Там же. С. 99.

[Вернуться](#)

491

В личном общении Гленн Вайсфельд подчеркивала связь между статусом и ценностями.

[Вернуться](#)

492

См.: Chagnon (1968). Гл. 1 и 5.

[Вернуться](#)

493

CCD. Т. 4. С. 140.

[Вернуться](#)

494

О бабочках см.: Lloyd (1986). Об орхидеях, змеях и бабочках см.: Trivers (1985). Гл. 16.

[Вернуться](#)

495

Ирвинг Гофман. Представление себя другим в повседневной жизни.
Пер. А. Д. Ковалева.

[Вернуться](#)

496

Dawkins (1976). С. vi. Alexander (1974). С. 377, заметил, что это «ценный социальный ресурс, даже если он основан на неспособности увидеть эгоистичную репродуктивную подоплеку и оценить ее влияние на собственное поведение... Отбор благоволил способности не осознавать истинные мотивы своего поведения. См. также: Alexander (1975). С. 96, и Wallace (1973).

[Вернуться](#)

497

Дональд Саймонс и Леда Космидес в личном разговоре обозначили основные проблемы при изучении самообмана. О формах самообмана см.: Greenwald (1988).

[Вернуться](#)

498

CCD. Т. 2. С. 438–439.

[Вернуться](#)

499

Papers, Т. 2. С. 198.

[Вернуться](#)

500

Glantz and Pearce (1989), Glantz and Pearce (1990).

[Вернуться](#)

501

Дарвин Ч. Происхождение человека. Т. 1.

[Вернуться](#)

502

См.: Lancaster (1986).

[Вернуться](#)

503

Дарвин Ч. Происхождение человека. Т. 1.

[Вернуться](#)

504

New York Times от 17 мая 1988 г.

[Вернуться](#)

505

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

506

Barlett's Book of Familiar Quotations, 15-е издание.

[Вернуться](#)

507

Doftus (1992).

[Вернуться](#)

508

См., например: Fitch (1970) и Streufert and Streufert (1969). Литературу по этой теме критиковали Miller and Ross (1975) и Nisbett and Ross (1980). С. 231–237. Миллер и Росс относят подобные результаты не только на счет эгоцентризма как такового, но и на счет недостатков избранного способа обработки данных. Это верно, но указывает лишь на необходимость проведения более изощренных

экспериментов. Нисбет и Росс отмечают случаи, когда люди считают себя более ответственными за неудачу, чем за успех. Это также верно и хорошо иллюстрирует потенциал эволюционной психологии. Если она поможет нам лучше разобраться в функции, скажем, самоуважения, то мы сможем понять, почему одни склонны приписывать себе удачи, а другие – поражения и в каких ситуациях это проявляется.

[Вернуться](#)

509

LLCD. T. 1. C. 137.

[Вернуться](#)

510

См.: Krebs, Demon, and Higgins (1988). C. 115–116.

[Вернуться](#)

511

См., например: Buss and Dedden (1990).

[Вернуться](#)

512

Desmond and Moore (1991). C. 491.

[Вернуться](#)

513

См.: Stone (1989).

[Вернуться](#)

514

Hartung (1988). С. 173.

[Вернуться](#)

515

Trivers (1985). С. 417.

[Вернуться](#)

516

Nesse (1990a). С. 273.

[Вернуться](#)

517

CCD. Т. 6. С. 429.

[Вернуться](#)

518

Там же. С. 430.

[Вернуться](#)

519

См.: Dawkins and Krebs (1978).

[Вернуться](#)

520

Alexander (1987). С. 128.

[Вернуться](#)

521

См.: Aronson (1980). С. 138–139. Существует альтернативная интерпретация данных результатов. Она состоит в том, что испытуемые отчаянно боялись, что «жертва» узнает об отступлении и ответит особенно сильным ударом.

[Вернуться](#)

522

См.: цитаты из Шварца и Ховарда в MacDonald (1988b).

[Вернуться](#)

523

См.: Hilgard, Atkinson and Atkinson (1975). С. 52.

[Вернуться](#)

524

См.: Krebs, Demon, and Higgins (1988). С. 109; Gazzaniga (1992). Гл. 6.

[Вернуться](#)

525

Цитируется по: Timothy Ferris «The Mind's Sky» (Bantam Books, 1992). С. 80.

[Вернуться](#)

526

Barkow (1989). С. 104.

[Вернуться](#)

527

CCD. Т. 1. С. 412.

[Вернуться](#)

528

Bowlby (1991). С. 107.

[Вернуться](#)

529

See Bowlby (1991). С. 361; Дарвин Ч. Происхождение видов, Автобиография. Слова Эразма приводятся у Gruber (1981). С. 51.

[Вернуться](#)

530

Bowlby (1991). С. 363.

[Вернуться](#)

531

Бронислав Малиновский. Сексуальная жизнь дикарей Северо-Западной Меланезии. *Пер. И. Ж. Кожановской.*

[Вернуться](#)

532

См.: Cosmides and Tooby (1989). С. 77.

[Вернуться](#)

533

Томас Шеллинг. Стратегия конфликта. *Пер. Т. Даниловой.*

[Вернуться](#)

534

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

535

Trivers (1985). С. 420.

[Вернуться](#)

536

См.: Aronson (1980). С. 109, а также Levine and Murphv (1941).

[Вернуться](#)

537

См.: Greenwald (1980) и Trivers (1983). С. 418.

[Вернуться](#)

538

Цит. по: Miller and Ross (1975). С. 217. Похожий эффект был обнаружен в эксперименте Ross and Sicoly (1979), экс. 2.

[Вернуться](#)

539

См.: Desmond and Moore (1991). С. 495–499.

[Вернуться](#)

540

Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных.

[Вернуться](#)

541

CCD. Т. 1. С. 96, 98, 124, 126.

[Вернуться](#)

542

New York Times от 14 октября.

[Вернуться](#)

543

См., например, Chagnon (1968).

[Вернуться](#)

544

В зависимости от того, что вы считаете психологией войны, будет зависеть роль группового отбора в ее формировании. Если вы считаете, что люди запрограммированы на истинное самопожертвование, то подвиги (например, когда солдат закрывает своим телом гранату, чтобы спасти товарищей) являются обычным поведением для всех представителей нашего вида, и тогда роль

группового отбора будет очевидна. Однако если вы считаете, что нормальным поведением будет эксплуатация своих товарищей (когда солдат старается спихнуть на других самые рискованные задания, а сам предпочитает насильничать и грабить мирное население), то роль группового отбора будет минимальна. См.: Tooby and Cosmides (1988) о том, как внутригрупповой конфликт помогает формировать адаптационные изменения для совместной агрессии без группового отбора. См.: Приложение к этой книге, вопрос 6.

[Вернуться](#)

545

Trivers (1971). С. 51.

[Вернуться](#)

546

CCD. Т. 1. С. 366.

[Вернуться](#)

547

CCD. Т. 6. С. 346.

[Вернуться](#)

548

LLCD. Т. 3. С. 361.

[Вернуться](#)

549

Brent (1983). С. 517–518.

[Вернуться](#)

550

Clark (1984). С. 214.

[Вернуться](#)

551

Clark (1984). С. 3.

[Вернуться](#)

552

CCD. Т. 1. С. 85–89; Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

553

Bowlby (1991). С. 71–74.

[Вернуться](#)

554

Brent (1983). С. 85.

[Вернуться](#)

555

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

556

Там же.

[Вернуться](#)

557

New York Times, 17 мая 1988 г.

[Вернуться](#)

558

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

559

CCD. Т. 1. С. 110.

[Вернуться](#)

560

Desmond and Moore (1991). С. 81.

[Вернуться](#)

561

Goodall (1986). С. 431.

[Вернуться](#)

562

CCD. Т. 1. С. 140, 142; «настолько совершенный, насколько может создать природа» – Bowlby (1991). С. 124.

[Вернуться](#)

563

CCD. Т. 1. С. 143, 141; CCD. Т. 2. С. 80.

[Вернуться](#)

564

CCD. Т. 1. С. 469, 503; Автобиография.

[Вернуться](#)

565

CCD. Т. 1. С. 57, 62; Brent (1983). С. 81; Desmond and Moore (1991).
С. 76.

[Вернуться](#)

566

CCD. Т. 1. С. 416–417.

[Вернуться](#)

567

Из личного разговора с Лорой Бетциг.

[Вернуться](#)

568

CCD. Т. 1. С. 369, 508.

[Вернуться](#)

569

CCD. T. 1. C. 460; Papers. C. 41–43.

[Вернуться](#)

570

Bowlby (1991). C. 210.

[Вернуться](#)

571

CCD. Т. 1. С. 524, 532–533.

[Вернуться](#)

572

Gruber (1981). С. 90.

[Вернуться](#)

573

CCD. Т. 1. С. 517.

[Вернуться](#)

574

См.: Thibaut and Riecken (1955). В тех немногих случаях, когда субъекту казалось, будто человек с низким статусом подчиняется его влиянию по «внутренним причинам» (а не под социальным давлением), то эффект был обратным: симпатия субъекта к человеку с низким статусом вырастала. Авторы предположили, что такое внимание к локусу причинности может быть независимой переменной, не связанной с социальным статусом. Нам же будет достаточно того, что в случаях, когда человек, которому авторы присвоили «низкий статус», проявлял согласие по «внутренним причинам», окружающие начинали воспринимать его как обладающего высоким статусом (несмотря на то что, например, он изначально заявлял о своем низком уровне образования). Это связано с тем, что способность противостоять «социальному давлению» и поступать, согласуясь с «внутренними причинами», неразрывно связана в нашем сознании с высоким статусом.

[Вернуться](#)

575

CCD. Т. 2. С. 284; CCD. Т. 1. С. 512.

[Вернуться](#)

576

Дарвин Ч. Автобиография. Общая оценка Лайеля весьма положительная.

[Вернуться](#)

577

Asch (1955).

[Вернуться](#)

578

Verplanck (1955).

[Вернуться](#)

579

Zimmerman and Bauer (1956).

[Вернуться](#)

580

Himmelfarb (1959). С. 210.

[Вернуться](#)

581

CCD. Т. 6. С. 445.

[Вернуться](#)

582

Sulloway (1991). С. 32.

[Вернуться](#)

583

Там же. Некоторые могут не согласиться с тем, как Салловой употребляет термин «самооценка». Регулярные, но эпизодические сомнения в себе не являются признаком низкой самооценки. Человек с действительно низкой самооценкой никогда бы не набрался храбрости, чтобы бросить вызов общепринятому мнению о сотворении человека. Вполне вероятно, что эволюционные психологи разграничат «низкую самооценку» (с ее хроническими сомнениями) и «неуверенность» (с ее регулярными сомнениями) и докажут, что они калибруются в детстве под воздействием социальной среды. Однако в главном Салловой прав: болезненные сомнения в себе, появившиеся у Дарвина еще в детстве под влиянием отца, помогли ему построить успешную карьеру.

[Вернуться](#)

584

Bowlby (1991). С. 70–73. Салловой (1991) замечает, что если, как считает Боулби, отец виноват в постоянных сомнениях Дарвина в себе, то его стоит отчасти благодарить за научный триумф Дарвина. Салловой, однако, не высказывал предположения, что отец действовал под влиянием психологической адаптации, сформировавшейся специально ради таких случаев.

[Вернуться](#)

585

Боулби признает практическую ценность преувеличенного уважения Дарвина к авторитетам и высказывает предположение, что уважительное отношение к мнению старших выгодно отличало Дарвина от «юных наглецов» и помогало ему завоевывать симпатию важных лиц. «Однако, – добавляет он, – подобное уважение подобает лишь молодежи, в более старшем возрасте оно будет смотреться неуместно, поскольку, придавая статусу других чрезмерное значение и словам других – чрезмерный вес, человек обесценивает собственное мнение» (с. 72). Боулби упоминает преувеличенное почтение Дарвина к авторитетным фигурам, и в том числе к великому ученому Уильяму Томсону лорду Келвину, который разгромил его теорию. Дарвин учел замечания и переписал книгу и впоследствии делал это не раз, в результате чего последние издания «Происхождения видов» мало напоминают оригинал. Однако, как ни странно, эта тактика была совершенно оправданна с эволюционной точки зрения: подобная гибкость автора помогла теории утвердиться.

[Вернуться](#)

586

См.: Aronson (1980). С. 64–67.

[Вернуться](#)

587

Brent (1983). С. 376.

[Вернуться](#)

588

CCD. Т. 6. С. 250, 256. Другие биографы придерживались интерпретации Брента. См., например: Bowlby (1991). С. 270–271,

279.

[Вернуться](#)

589

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

590

См.: LLCD. Т. 2. С. 156.

[Вернуться](#)

591

LLCD. Т. 2. С. 238, 241.

[Вернуться](#)

592

LLCD. Т. 2. С. 165–166.

[Вернуться](#)

593

Там же. С. 8–9.

[Вернуться](#)

594

См.: Bowlby (1991). С. 254.

[Вернуться](#)

595

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

596

LLCD. Т. 2. С. 237.

[Вернуться](#)

597

CCD. Т. 6. С. 432.

[Вернуться](#)

598

CCD. Т. 6. С. 100, 387, 514, 521.

[Вернуться](#)

599

LLCD. Т. 2. С. 116.

[Вернуться](#)

600

LLCD. Т. 2. С. 116–117.

[Вернуться](#)

601

LLCD. Т. 2. С. 117–119. Другие биографы, например Gould (1980), придерживаются аналогичной интерпретации.

[Вернуться](#)

602

Цит. по: Rachels (1990). С. 34.

[Вернуться](#)

603

Papers. Т. 2. С. 4.

[Вернуться](#)

604

Эта точка зрения особенно оправдана, учитывая постоянно меняющиеся правила, принятые в научном сообществе. Веком ранее ученый, первым написавший о теории (даже в личной переписке, как Дарвин Грею), имел приоритет, даже без публикаций. Эта традиция порядком растеряла свои позиции к середине XIX века, но окончательно не отошла (из личной беседы с Салловеем).

[Вернуться](#)

605

См.: Rachels (1990).

[Вернуться](#)

606

Цит. по: Clark (1984). С. 119.

[Вернуться](#)

607

Eiseley (1958). C. 292.

[Вернуться](#)

608

Desmond and Moore (1991). C. 569.

[Вернуться](#)

609

Clark (1984). C. 115.

[Вернуться](#)

610

LLCD. T. 2. C. 117.

[Вернуться](#)

611

Brent (1983). C. 415.

[Вернуться](#)

612

LLCD. T. 2. C. 145.

[Вернуться](#)

613

Bowlby (1991). C. 88–89.

[Вернуться](#)

614

См.: эпиграф к этой главе.

[Вернуться](#)

615

LLCD. Т. 2. С. 128.

[Вернуться](#)

616

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

617

Существенная помощь союзнику при минимальных затратах имеет смысл, поскольку обязывает его служить вам.

[Вернуться](#)

618

См.: Alexander (1987).

[Вернуться](#)

619

Papers. Т. 2. С. 4.

[Вернуться](#)

620

Clark (1984). С. 119.

[Вернуться](#)

621

Bowlby (1991). С. 60, 73.

[Вернуться](#)

622

Notebooks. С. 538.

[Вернуться](#)

623

Ричард Александер: «Внутригрупповая дружба предполагает межгрупповую вражду».

[Вернуться](#)

624

Переход от одного к другому ознаменовался публикацией в 1918 году книги Литтона Страчи «Знаменитые викторианцы», где автор порицает викторианское притворство, в том числе на примере Флоренс Найтингейл.

[Вернуться](#)

625

Авторитетный разбор эволюционных и других биологических аспектов фрейдизма см.: Sulloway (1979a), особенно в гл. 7.

[Вернуться](#)

626

Daly and Wilson (1990b).

[Вернуться](#)

627

Nesse (1991b).

[Вернуться](#)

628

ССО. Т. 2. С. 439.

[Вернуться](#)

629

Brent (1983). С. 24.

[Вернуться](#)

630

Desmond and Moore (1991). С. 138.

[Вернуться](#)

631

Цит. по: Bowlby (1991). С. 350.

[Вернуться](#)

632

См.: Buss (1991). С. 473–477; и Tooby and Cosmides (1990a).

[Вернуться](#)

633

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

634

Фрейд З. Введение в психоанализ (1922).

[Вернуться](#)

635

Там же. Фрейд сформулировал тщательно продуманные правила, пытаясь объяснить исключения из общей тенденции отгонять болезненные воспоминания.

[Вернуться](#)

636

MacLean (1983). С. 88. Четкое описание эволюции психики см.: Jastrow (1981).

[Вернуться](#)

637

Nesse and Lloyd (1992). С. 614.

[Вернуться](#)

638

Slavin (1990).

[Вернуться](#)

639

См.: Nesse and Lloyd (1992). С. 608.

[Вернуться](#)

640

Nesse and Lloyd (1992). С. 611.

[Вернуться](#)

641

Фрейд З. Недовольство культурой. *Пер. А. Руткевича.*

[Вернуться](#)

642

Фрейд З. Введение в психоанализ (1922).

[Вернуться](#)

643

См.: Connor (1989). Гл. 1 и 6; Graham, Doherty, and Malek (1992); Wyschogrod (1990), особенно С. xiii – xxvii.

[Вернуться](#)

644

Notebook. С. 550, 629.

[Вернуться](#)

645

Дарвин Ч. Происхождение человека.

[Вернуться](#)

646

Clark (1984). С. 197.

[Вернуться](#)

647

Hofstadter (1944). С. 45.

[Вернуться](#)

648

Rachels (1990). С. 62.

[Вернуться](#)

649

Rachels (1990). С. 65. Описание этики Спенсера см. в первой части гл. 2.

[Вернуться](#)

650

См.: Rachels (1990). С. 66–70.

[Вернуться](#)

651

Распространенное мнение о том, что Дэвид Ньюм первым выявил «натуралистическую ошибку», весьма спорно. См.: Glossop (1967). С. 533.

[Вернуться](#)

652

Mill (1874). С. 385, 391, 398–399.

[Вернуться](#)

653

Encyclopedia of Philosophy, Macmillan. Т. 5. С. 319.

[Вернуться](#)

654

LLCD. Т. 2. С. 312.

[Вернуться](#)

655

Дарвин Ч. Происхождение человека.

[Вернуться](#)

656

Некоторые авторы (например, Richards (1987). С. 234–241) подчеркивали различия между этикой Дарвина и классическим утилитаризмом. Дарвин сам это признавал, однако различия были скорее связаны с теоретическими выкладками, чем с практическим применением (см. прим. на с. 442). По утверждению Грубера (Gruber (1981). С. 64), Дарвин «принял этику утилитаризма», по крайней мере, в самом общем ее смысле; он оценивал действия «с точки

зрения их реальных последствий для живых существ, а не с точки зрения какого-то вечного predetermined морального кодекса». Такой подход к моральной оценке может показаться самоочевидным сегодня, когда этический дискурс ведется примерно в таких терминах, однако в XIX веке он отличал этику Дарвина и Милля от основного дискурса. У этих ученых было еще одно общее: несмотря на то что Дарвин употреблял термин «благополучие», а Милль – «счастье», оба они считали благополучие/счастье каждого человека в равной степени важным при моральных расчетах. Этот эгалитаризм, как мы обсудим далее в данной главе, лежит в основе утилитаризма. И это основная причина, почему утилитаризм считался «левым» учением в викторианской Англии. О восхищении Дарвина моральной и политической философией Милля см.: ED. T. 2. С. 169.

[Вернуться](#)

657

См.: MacIntyre (1966). С. 251.

[Вернуться](#)

658

См.: Mill (1863). С. 307–308; и вступление Алана Раяна. С. 49.

[Вернуться](#)

659

Mill (1863). С. 274–275.

[Вернуться](#)

660

То, что Милль придерживался «утилитаризма правил», – доказанный факт. См.: Mill (1863). С. 291, 295. Об утилитаризме правил и утилитаризме действия см.: Smart (1973).

[Вернуться](#)

661

Mill (1863). С. 288.

[Вернуться](#)

662

Само существование удовольствия и боли – вообще субъективного опыта – является более глубокой загадкой, чем многие люди, включая эволюционистов, осознают (хотя Джон Мейнард Смит упоминал об этом). См.: Wright (1992).

[Вернуться](#)

663

Gruber (1981). С. 64, 66.

[Вернуться](#)

664

Desmond and Moore (1991). С. 120.

[Вернуться](#)

665

Можно справедливо усомниться, является ли то, что принято считать дарвиновским обоснованием примата «наибольшего блага или благополучия общества» (см. один абзац в т. 1 «Происхождения человека»), действительно таковым. Как и во многих дискуссиях вокруг утилитаризма, в этом отрывке стирается грань между предписанием и описанием; не совсем ясно (по крайней мере, для меня), говорит ли Дарвин, что люди должны беспокоиться о «благе»

или «благополучии», а не о «счастье» общества, или что люди по природе своей больше беспокоятся о «благе» или «благополучии», а не о «счастье». Часто подобное стирание грани является признаком натуралистической ошибки (выведение «должен» из «есть»). Также подозрение вызывает дарвиновское определение общего блага как «средств, благодаря которым возможно большее число особей может вырасти в полном здоровье и силе и развить все свои способности при данных условиях». Такой взгляд на происхождение нравственных чувств (что они развивались для «блага группы») вызывал искушение впасть в натуралистическую ошибку: поскольку эволюция, по видимому, создала моральные импульсы для продвижения моральных ценностей (во что Дарвин все больше верил), значит, нет веских оснований усомниться в том, что природа ведет к благу, по крайней мере, в данном конкретном контексте. Тем не менее, как мы видели в этой главе, в других контекстах Дарвин решительно отвергал моральный авторитет природы.

[Вернуться](#)

666

См. предыдущее примечание. Дарвин, признававший возможность группового отбора, не осознавал, что индивидуальный эгоизм пронизывает всю природу. Поэтому, с одной стороны, его коробили игры кошки с мышью, но, с другой стороны, он воспринимал нравственные чувства человека более оптимистично, чем современный эволюционист.

[Вернуться](#)

667

Этот довод ключевым образом отличается от всех прочих, приведенных в данной книге. Здесь утверждается не только то, что новая эволюционная парадигма способна помочь нам осознать, какие моральные ценности мы выбираем, но и в том, что она может реально повлиять на наш осознанный выбор базовых ценностей. Некоторые дарвинисты оспаривают «осознанность» выбора, однако они

совершают натуралистическую ошибку (вернее, совершили уже давно, что повело их по неверному пути). Мы, в отличие от них, натуралистическую ошибку не совершаем. Наоборот, изучая природу (выявляя истоки карательного импульса), мы понимаем, как нас заставили совершать ее раньше; мы обнаруживаем, что аура божественной истины, окружающая возмездие, является не чем иным, как инструментом, посредством которого природа (естественный отбор) заставляет нас некритически принимать ее «ценности». Осознав это, мы можем эффективнее противостоять иллюзиям и, следовательно, с меньшей вероятностью совершим ошибку.

[Вернуться](#)

668

Huxley (1984). С. 80, 83.

[Вернуться](#)

669

Singer (1981). С. 168.

[Вернуться](#)

670

Williams (1989). С. 208.

[Вернуться](#)

671

Предисловие Алана Раяна к книге Милля – Mill (1863).

[Вернуться](#)

672

См.: Betzig (1988).

[Вернуться](#)

673

Дарвин Ч. Происхождение человека. Т. 1.

[Вернуться](#)

674

Дарвин Ч. Происхождение человека. Т. 2; Notebooks. С. 571.

[Вернуться](#)

675

Один четкий подход к проблеме детерминизма и виновности см.:
Daly and Wilson (1988). Гл. 11.

[Вернуться](#)

676

Ruse (1986). С. 242–243.

[Вернуться](#)

677

Mill (1863). С. 334.

[Вернуться](#)

678

Евангелие от Матфея 5:39; Исход. Вторая книга Моисеева 21:24.

[Вернуться](#)

679

Милль мог бы избежать противоречия, если бы одобрил вину и наказание за их практическую пользу, однако он не пошел по этому пути. «Принцип, гласящий, что каждому должно воздаваться по заслугам, т. е. добром за добро и злом за зло, не только является частью идеи справедливости, как мы ее определили, но и сообщает этому чувству ту моральную силу, которая в глазах людей ставит его выше, чем просто пользу» (Mill (1863). С. 334).

[Вернуться](#)

680

Dawkins (1982). С. 11.

[Вернуться](#)

681

О материализме и детерминизме Дарвина см.: Gruber (1981) и Richards (1987).

[Вернуться](#)

682

Notebooks. С. 526, 535. Влияние среды, естественно, не ограничивается «примером других» и «обучением». Однако он явно считал, что все сводится к наследственности и влиянию среды.

[Вернуться](#)

683

Notebooks. С. 536.

[Вернуться](#)

684

Скиннер постарался разоблачить миф о свободе воли в книге «По ту сторону свободы и достоинства». Он утверждает, что понятия вины и доверия существуют исключительно из-за их практической необходимости, а не философского смысла. Он не знал, что эти понятия были созданы естественным отбором, который косвенно признал их практическую ценность.

[Вернуться](#)

685

Notebooks. С. 608.

[Вернуться](#)

686

Там же.

[Вернуться](#)

687

Notebooks. С. 608.

[Вернуться](#)

688

Там же. С. 614.

[Вернуться](#)

689

Daly and Wilson (1988). С. 269.

[Вернуться](#)

690

См.: Saletan and Watzman (1989).

[Вернуться](#)

691

Notebooks. С. 608. Полный отрывок, расшифрованный редакторами, гласит: «Злого человека нужно воспринимать как больного. Мы не можем не питать отвращения к нездоровому оскорбительному намерению, каковыми считаем злобу. Жалость была бы более уместна, чем ненависть и отвращение».

[Вернуться](#)

692

Сам Милль не был сторонником этой точки зрения, однако ее придерживался его отец и некоторые его предшественники – сторонники утилитаризма, и в том числе итальянский теоретик права XVIII века Чезаре Беккария.

[Вернуться](#)

693

Daly and Wilson (1988). С. 256.

[Вернуться](#)

694

Bowlby (1991). С. 352.

[Вернуться](#)

695

Axelrod (1987).

[Вернуться](#)

696

Цит. по: Franklin (1987). С. 246–247.

[Вернуться](#)

697

Я употребляю термин «прагматичный» в смысле (возможно, искаженном), в котором Уильям Джеймс использовал его, а не в более строгом смысле, в котором его использовал Чарлз С. Пирс, основатель прагматической философской школы.

[Вернуться](#)

698

Mill (1859). С. 61.

[Вернуться](#)

699

См.: Himmelfarb (1974). С. 273–275. Химмельфарб рассматривает Милля как человека, который под влиянием своей радикальной жены придерживался консервативных моральных взглядов, нашедших отражение во многих его работах (например, в книге «О свободе»).

[Вернуться](#)

700

Mill (1859). С. 104.

[Вернуться](#)

701

Там же. С. 61. Доказательства того, что книга «О свободе» была издана в либеральный период социальной истории Англии, см.: Himmelfarb (1974). Гл. 6 и Himmelfarb (1968). С. 143.

[Вернуться](#)

702

Mill (1859). С. 78.

[Вернуться](#)

703

Mill (1874). С. 393. Также см.: Himmelfarb (1974) и (1968). Гл. 4.

[Вернуться](#)

704

Notebooks. С. 608.

[Вернуться](#)

705

Там же.

[Вернуться](#)

706

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

707

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

708

Там же.

[Вернуться](#)

709

Smiles (1859). С. 16, 333; Происхождение человека. Т. 1.

[Вернуться](#)

710

Singer (1989). С. 631.

[Вернуться](#)

711

«Buddha' s Farewell Address» Hunt (1982). С. 4.

[Вернуться](#)

712

Campbell (1975). С. 1103.

[Вернуться](#)

713

См.: Dawkins (1976). С. 207; и вся глава о «мемах», также см. гл. 6 в Dawkins (1982).

[Вернуться](#)

714

Symons (1979). С. 207.

[Вернуться](#)

715

«The Way of Truth», Burn (1982). С. 68.

[Вернуться](#)

716

«The Way of Truth», Burn (1982). С. 66.

[Вернуться](#)

717

Евангелие от Матфея, 6:19, 6:27.

[Вернуться](#)

718

Бхагавадгита, II-55, 58.

[Вернуться](#)

719

Екклезиаст, 6:7.

[Вернуться](#)

720

Евангелие от Матфея, 19:30.

[Вернуться](#)

721

«Бхагавадгита», II-44, 52.

[Вернуться](#)

722

«The Way of Truth», Burn (1982). С. 65.

[Вернуться](#)

723

Екклезиаст, 6:9.

[Вернуться](#)

724

Евангелие от Иоанна, 8:7; Евангелие от Матфея, 7:5.

[Вернуться](#)

725

«The Way of Truth», Burn (1982). С. 65.

[Вернуться](#)

726

Сутта Нипата. *Пер. с английского Н. И. Герасимова.*

[Вернуться](#)

727

Singer (1981). С. 112–114.

[Вернуться](#)

728

Дарвин Ч. Происхождение человека. Т. 1.

[Вернуться](#)

729

Некоторые современные интерпретации трактуют эту «войну» как метафору внутренней борьбы: чувственные желания должны подвергаться яростной атаке.

[Вернуться](#)

730

Послание к Галатам, 6:10.

[Вернуться](#)

731

Hartung (1993).

[Вернуться](#)

732

См.: Johnson (1987).

[Вернуться](#)

733

Campbell (1975). С. 1103–1104.

[Вернуться](#)

734

Бхагавадгита, II:55.

[Вернуться](#)

735

Бхагавадгита, XIII:28.

[Вернуться](#)

736

Houghton (1957). С. 62.

[Вернуться](#)

737

CCD. Т. 1. С. 496.

[Вернуться](#)

738

Bowlby (1991). С. 352.

[Вернуться](#)

739

Bowlby (1991). С. 450.

[Вернуться](#)

740

LLCD. Т. 1. С. 124.

[Вернуться](#)

741

ED. Т. 2. С. 253. Фрэнсис Дарвин: «Я ни капли не боюсь умереть».

[Вернуться](#)

742

Дарвин Ч. Автобиография.

[Вернуться](#)

743

Там же.

[Вернуться](#)